

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВЕСТНИК
ТОМСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА
ФИЛОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

Научный журнал

2021

№ 71

Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-29496 от 27 сентября 2007 г.
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Индексируется в БД Scopus
и Web of Science Core Collection's Emerging Sources Citation Index

Учредитель – Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет»

*Редакционная коллегия журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Т.А. Демешкина (Томск, Россия) –
главный редактор
И.А. Айзикова (Томск, Россия) –
зам. главного редактора
Ю.М. Ершов (Севастополь, Россия) –
зам. главного редактора
Д.А. Катунин (Томск, Россия) –
отв. секретарь
П.П. Каминский (Томск, Россия) –
зам. отв. секретаря
К.В. Анисимов (Красноярск, Россия)
Н.В. Жилякова (Томск, Россия)
Е.В. Иванцова (Томск, Россия)
В.С. Киселев (Томск, Россия)
Н.А. Мишанкина (Томск, Россия)
Т.Л. Рыбальченко (Томск, Россия)
В.А. Суханов (Томск, Россия)
И.В. Тубалова (Томск, Россия)

*Editorial Board
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

T.A. Demeshkina (Tomsk, Russia) –
Editor-in-Chief
I.A. Aizikova (Tomsk, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
Yu.M. Yershov (Sevastopol, Russia) –
Deputy Editor-in-Chief
D.A. Katunin (Tomsk, Russia) –
Executive Editor
P.P. Kaminskiy (Tomsk, Russia) –
Deputy Executive Editor
K.V. Anisimov (Krasnoyarsk, Russia)
N.V. Zhilyakova (Tomsk, Russia)
Ye.V. Ivantsova (Tomsk, Russia)
V.S. Kiselev (Tomsk, Russia)
N.A. Mishankina (Tomsk, Russia)
T.L. Rybalchenko (Tomsk, Russia)
V.A. Sukhanov (Tomsk, Russia)
I.V. Tubalova (Tomsk, Russia)

*Редакционный совет журнала
«Вестник Томского государственного
университета. Филология»*

Дж.Ф. Бейлин (Стоуни-Брук, США)
Е.Л. Березович (Екатеринбург, Россия)
Е.Л. Вартанова (Москва, Россия)
Н.Д. Голев (Кемерово, Россия)
Е.А. Добренко (Шеффилд, Великобритания)
М.Н. Липовецкий (Боулдер, США)
З.И. Резанова (Томск, Россия)
И.В. Силантьев (Новосибирск, Россия)
А.Н. Соболев (Санкт-Петербург, Россия)
С.Л. Фрэнкс (Блумингтон, США)
Т.В. Шмелева (Великий Новгород, Россия)

*Editorial Council
of the Tomsk State University
Journal of Philology*

J.F. Bailyn (Stony Brook, US)
E.L. Berezovich (Yekaterinburg, Russia)
Ye.L. Vartanova (Moscow, Russia)
N.D. Golev (Kemerovo, Russia)
E.A. Dobrenko (Sheffield, UK)
M.N. Lipovetsky (Boulder, US)
Z.I. Rezanova (Tomsk, Russia)
I.V. Silantev (Novosibirsk, Russia)
A.N. Sobolev (Saint Petersburg, Russia)
S.L. Franks (Bloomington, US)
T.V. Shmeleva (Veliky Novgorod, Russia)

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИНГВИСТИКА

Балашова Л.В. Идиоматика и актуальная языковая картина мира (на материале фразеосемантической группы «Космос» в русском языке XXI в.)	5
Болотин А.В. О некоторых особенностях подтекста в медиадискурсе публициста	25
Губина Г.В., Гузикова М.О. Немануальный компонент жестовой речи в мультилингвальном общении	38
Данилина Н.И., Разумовская Е.А. Проявление индивидуально-авторского начала в жанре диссертации (у истоков языка науки)	56
Ленец А.В., Овсиенко Т.В. Динамика лингвокультурных констант в современном немецкоязычном пространстве (Австрии, Германии, Швейцарии)	70
Ионкина Е.Ю., Тихаева В.В. Реализация коммуникативной тактики провокации в интервью-портрете: основные сценарии речевого поведения адресата (на материале немецкой прессы)	91
Мерзликина О.В. Зооморфные метафоры «домашний скот» в русской и галисийской языковых картинах мира	114
Панасенко Н.И. Каналы получения информации в фитонимической лексике: вкус	133
Соколова М.Г. Логико-структурный и динамический аспекты изучения семантики дендронима <i>тополь</i> в русской лирике XVIII–XX вв.	152
Чиршева Г.Н., Коровушкин П.В. Переключения кодов в речи пятилетних детей-билингвов	169
Шпильная Н.Н. Реплицирование: вторая реплика и метаязыковые операторы диалога (на материале диалоговых форматов Интернета)	185

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Барковская Н.В., Громинова А. Антология «Ruská moderna» (2011): опыт поэтического перевода русской поэзии в Словакии	201
Зубов А.А. Жанры популярной литературы и механизмы когнитивного распознавания	216
Ибатуллина Г.М., Огородова В.В. Инициация Дурака в рассказе Л.Н. Толстого «Утро помещика»	232
Каяниди Л.Г. Орнитологическая символика (орел / коршун) в трагедии Вячеслава Иванова «Прометей»	245
Королева В.В. «Гофмановский текст русской литературы» в творчестве русских символистов	270
Фаритов В.Т. Поэтика трансгрессии: Н.В. Гоголь, А. Белый, Ф. Ницше	282
Шунейко А.А., Чубисова О.В. Сто лет «Заблудившегося трамвая» Н.С. Гумилева в отражении отечественной аналитики	294

ЖУРНАЛИСТИКА

Зуйкина К.Л., Соколова Д.В. Особенности идентификации фейковых новостей молодежной аудиторией	310
---	-----

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

Дубровская С.А., Киржаева В.П. «Дело рецензирования»: рецензия в мире современной науки как артефакт, институция и форма рефлексии. Рецензия на книгу: Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: Жанр, исследования, тексты ...	327
---	-----

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ	333
----------------------------------	-----

CONTENTS

LINGUISTICS

Balashova L.V. Idiomatics and the Current Language Picture of the World (Based on the Material of the Phraseosemantic Group “Cosmos” in the Russian Language of the 21st Century)	5
Boletnov A.V. Some Features of the Subtext in the Media Discourse of a Publicist	25
Gubina G.V., Guzikova M.O. Non-Manual Features in Multilingual Sign Language Communication	38
Danilina N.I., Razumovskaya E.A. The Manifestation of the Author in the Dissertation (At the Origins of the Language of Science)	56
Lenets A.V., Ovsienko T.V. Dynamics of Linguocultural Constants in the Modern German-Speaking Space (Austria, Germany, Switzerland)	70
Ionkina E.Yu., Tikhayeva V.V. Implementation of the Provocation Communication Tactic in Portrait Interviews: Main Scenarios of the Addressee’s Speech Behavior (Based on the Material of the German Press)	91
Merzlikina O.V. Zoomorphic Metaphors “Livestock” in Russian and Galician Language Pictures of the World	114
Panaseenko N.I. Information Processing Channels in Phytonymic Lexicon: Taste	133
Sokolova M.G. The Logical-Structural and Dynamic Aspects of Studying the Semantics of the Dendronym POPLAR in Russian Lyrics of the 18th–20th Centuries	152
Chirsheva G.N., Korovushkin P.V. Code-Switches in the Speech of Five-Year-Old Bilingual Children	169
Shpilnaya N.N. Turn-Taking: The Second Conversational Turn and Metalanguage Dialogue Operators (Based on Dialogical Internet Formats)	185

LITERATURE STUDIES

Barkovskaya N.V., Grominová A. The Anthology <i>Ruská Moderna</i> (2011): An Experience of Poetic Translation of Russian Poetry in Slovakia	201
Zubov A.A. Genres of Popular Fiction and the Mechanics of Cognitive Recognition	216
Ibatullina G.M., Ogorodova V.V. The Fool’s Initiation in Leo Tolstoy’s “A Landlord’s Morning”	232
Kaijanidi L.G. Ornithological Symbolism (Eagle/Vulture) in Vyacheslav Ivanov’s Tragedy “Prometheus”	245
Koroleva V.V. “Hoffmann’s Text” in the Works of Russian Symbolists	270
Faritov V.T. The Poetics of Transgression: Nikolai Gogol, Andrei Bely, Friedrich Nietzsche	282
Shuneyko A.A., Chibisova O.V. One Hundred Years of Nikolay Gumilyov’s “The Lost Tram” in the Reflection of Russian Analytics	294

JOURNALISM

Zuykina K.L., Sokolova D.V. Fake News: Can Young People Distinguish Fact from Fiction?	310
---	-----

REVIEWS, CRITIQUES, BIBLIOGRAPHY

Dubrovskaya S.A., Kirzhaeva V.P. “The Work of Reviewing”: The Review as an Artefact, Institution and Form of Reflection in the Academic World of Today. BOOK REVIEW: Dolgorukova, N.M. & Pleshkov, A.A. (eds) (2020) <i>Nauchnoe Retsenzirovaniye v Gumanitarnykh Distsiplinakh: Zhanr, Issledovaniya, Teksty</i> [Academic Reviewing in the Humanities: Genre, Studies, Texts]. Moscow: Higher School of Economics	327
--	-----

INFORMATION ABOUT THE AUTHORS IN RUSSIAN	333
---	-----

ЛИНГВИСТИКА

УДК 811.161.1'276.1'37

DOI: 10.17223/19986645/71/1

Л.В. Балашова

ИДИОМАТИКА И АКТУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА (НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «КОСМОС» В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XXI в.)

В статье в лингвокогнитивном аспекте исследуется функционирование идиом, включающих в свой состав члены лексико-семантической группы «Космос», в текстах русского языка XXI в. Выявляются лингвистические, когнитивные и культурологические факторы, влияющие на активность в употреблении членов фразеосемантической группы в XXI в., основные виды модификаций указанных идиом в современной речи, а также степень актуальности различных компонентов (наивных и научных, архаических и современных) той картины мира, которая репрезентируется с помощью исследуемых идиом.

Ключевые слова: русский язык, космос, идиома, языковая картина мира, принципы идиоматизации

Введение

Современная антропоцентрическая лингвистика обусловила новые подходы к исследованию многих традиционных проблем языкоznания (см.: [1–10]). Одним из перспективных в этом направлении признается исследование роли фразеологических единиц (ФЕ) в формировании языковой картины мира (ЯКМ) (см.: [11–17]), поскольку ФЕ являются «наиболее культурно маркированными образными единицами любого языка» [18. С. 5]; а «в современных нам значениях и форме фразеологизмы отображаются «окультуренное» мироосознание природы, межличностных и социальнов групповых отношений, а также осознание своего «Я» как личности, эмоционально переживающей все, что имеет место или происходит в мире, воспринимающей его не только разумом, но и духовно – как нравственные установки» [19. С. 7].

В связи с этим дискуссионными остаются две принципиально значимые проблемы. Во-первых, исследователи расходятся в трактовке того, насколько уникальной является ЯКМ, отраженная в национальной фразеологии. В частности, в большей части работ по данной проблеме подчеркивается этноспецифичность и / или традиционность, даже архаичность этой картины: фразеология – это «святая святых национального языка, в которой неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации» [20. С. 7] (ср. также: [21–24]). В других работах [12; 13; 25–27] отмечается возможность диалектического взаимодействия разных концептуальных

компонентов (универсальных, типологических и уникальных, архаических и современных и т.п.): «...категория этнического в сфере идиоматики находится в диалектическом единстве с категорией универсального» [28. С. 72]. Во-вторых, малоизученным остается вопрос о том, насколько активно фразеологизмы различного происхождения используются в современной речи; насколько актуальной для современных носителей языка и осознанной ими является картина, которая репрезентируется с помощью таких единиц (см.: [12; 13; 21; 29–31]). Вследствие этого представляется актуальным проанализировать в лингвистическом и когнитивно-культурологическом аспектах функционирование в XXI в. идиом из одной фразеосемантической группы (ФСГ), т.е. таких фразеологизмов, которые включают в свой состав лексемы из одной лексико-семантической группы (ЛСГ).

Общая характеристика фразеосемантической группы «Космос»

Объектом нашего исследования стали выявленные в лексикографических источниках [32–41] 66 идиом, в состав которых входят субстантивы (и их адъективные дериваты), а также именные терминологические сочетания из ЛСГ «Космос». Выбор данного объекта обусловлен несколькими (лингвистическими, когнитивными и культурологическими) причинами.

Во-первых, зафиксированные в составе ФСГ «Космос» **лексемы из ЛСГ «Космос»** относительно многочисленны (16 единиц) и разнообразны в семантическом, этимологическом и функционально-стилистическом аспектах. Показательно, что наиболее активно в состав фразеологизмов включаются исконно русские общеупотребительные лексемы, обобщенно именующие внеземное пространство (ср.: *небо, небесный*) и конкретизирующие космические объекты, видимые с земной поверхности (ср.: *солнце, солнышко, звезда, звездный, луна, лунный, месяц*); например: *между небом и землей; небесная канцелярия; место под солнцем; путеводная звезда*. Наряду с этим в исследуемых идиомах неоднократно фиксируются специальные (обычно иноязычные) термины, называющие космические объекты и траекторию их движения в космическом пространстве (ср.: *метеор, комета, орбита, апогей, зенит*); обнаружены также единичные примеры устаревшей книжной лексики (ср.: *светило*); например: *достигнуть апогея; выходить на орбиту; восходящее светило*. Таким образом, используемая в составе идиом лексика ориентирована на отражение преимущественно наивной антропоцентрической картины мира – тех объектов внеземной поверхности, которые может наблюдать обычный человек с поверхности земли. Вместе с тем данной картине присущи компоненты современной научной картины мира, которые, однако, обычно не выходят за рамки школьной программы по астрономии.

Во-вторых, достаточно разнообразна, согласно лексикографическим источникам, **семантика членов исследуемой ФСГ**. Безусловно, наиболее последовательно (около 75%) идиомы с компонентом из ЛСГ «Космос», как фразеологизмы в целом, именуют человека и дают оценку ему как лич-

ности и части социума: его характера и поведения, жизненных установок, эмоций и интеллекта, имущественного и социального статуса, межличностных отношений и т.п. (ср.: *небо коптить* ‘существовать без определённой жизненной цели’; *звездная болезнь* ‘о высокомерном, чванливом поведении лица, пользующегося известностью’; *небо в алмазах* ‘об ощущении счастья, радости, удовлетворении’; *хватать звезды с неба* ‘об очень способном человеке’; *под открытым небом* ‘без крыши над головой’). Физиологическая же сторона жизни человека в семантике членов ФСГ «Космос» отражена спорадически и, как правило, в контаминации с оценкой личности именуемого, его социального положения и т.п. (ср.: *царствие небесное* ‘выражение сожаления о кончине какого-либо человека’; *попытаться манной небесной* ‘недоедать; жить впроголодь’). Значения из других семантических сфер (пространство и время, количество и качество, этапы развития, природные явления и т.п.) представлены примерно в 25% членов ФСГ «Космос» и часто сопровождаются прагматической оценкой именуемых феноменов (ср.: *семь верст до небес [и все лесом]* ‘очень далеко’; *мелькнуть как метеор* ‘очень быстро’; *в апогее* ‘о наивысшей точке в развитии чего-л.’; *разверзлись хляби небесные* ‘о сильном дожде’).

В-третьих, достаточным разнообразием отмечена также **функционально-стилистическая характеристика** членов ФСГ «Космос». Большинство из них являются общеупотребительными или разговорными (ср.: *достать с неба звезду*; *пальцем в небо*; *выть на луну*; *за ушко да на солнышко*; *с неба (луны) свалился*). Вместе с тем около 15% исследуемых идиом, согласно лексикографическим источникам, относятся к книжным, высоким и / или устаревшим (ср.: *царствие (царство) небесное*; *путеводная звезда; как молодой месяц*).

Наконец, разнообразие отличает **происхождение, внутреннюю форму** исследуемых идиом, тот образ, что положен в основу идиоматизации омонимичных свободных сочетаний. В концептуальном аспекте наиболее значимыми оказываются две универсальные оппозиции, реализуемые через противопоставление земной поверхности и внеземного пространства: «верх (+) – низ (–)», «близко (норма, достижимо) – далеко (вне нормы, недостижимо)». Данные представления, характеризующие общечеловеческую наивную картину мира, в конкретных фразеологизмах могут накладываться на архаические, в основном сакральные образы, присущие многим языческим и религиозным культурам (ср.: небо как твердый свод над поверхностью земли с прикрепленными к нему, движущимися по нему космическими телами – *с неба (луны) свалился*; небо как место пребывания высших сакральных сил – *вопить к небу*; гром *небесный*; астрологическая взаимосвязь судьбы человека и положения звезд на небе – *звезда взошла / закатилась; родиться под счастливой звездой*). Не противоречат данным представлениям образы, взятые из конкретных языческих и религиозных культов (ср.: *на седьмом небе* – о нескольких небесных сферах упоминается в трудах Аристотеля и в Коране; *манна небесная* – о пище, которую, согласно Библии, Бог с неба послал Моисею и голодавшему в пустыне

народу после их исхода из Египта). Научная картина мира отражена в принципах идиоматизации значительно меньшего числа исследуемых фразеологизмов (ср.: *вывести на орбиту; выйти на орбиту* – освоение человеком космоса с середины XX в.; *черная дыра* – обоснование наличия особых зон в космическом пространстве, которые возникают в результате полного гравитационного коллапса вещества, стало возможно после распространения теории относительности Эйнштейна).

Таким образом, в формировании идиом из ФГС «Космос» ведущую роль играет наивная, антропоцентрическая, преимущественно архаическая картина мира (ср.: [42]). Данной ЯКМ не чужды компоненты современной научной картины, которые обычно не выходят за рамки тех знаний, что получает носитель языка в школе. Наличие идиом, во внутренней форме которых отражены архаические представления неславянских языческих культов и нехристианских догматов (египетских, античных, мусульманских), не противоречит утверждению, что репрезентируемая с помощью идиом ЯКМ ориентирована на мировосприятие обычного человека. С одной стороны, русская культура в течение веков непосредственно и опосредованно взаимодействовала с данными культурами; с другой – астрологические практики получили в последние десятилетия широкое распространение в российском обществе.

Функционирование фразеосемантической группы «Космос» в русском языке XXI в.

Основные факторы, влияющие на функционирование идиом в современной речи

Согласно данным Национального корпуса русского языка (НКРЯ)¹ абсолютное большинство исследуемых идиом (89,4%) используются в коммуникации XXI в. (преимущественно в публицистических и художественных текстах), т.е. являются актуальными для современных носителей русского языка² (общее число употреблений – более 3000). Однако количество вхождений разных членов ФСГ «Космос» в соответствующие тексты далеко не одинаковое и зависит от нескольких факторов, причем ни один из них не является ведущим.

В частности, среди не зафиксированных в НКРЯ XXI в. фразеологизмов (10,6% всех исследуемых идиом) абсолютное большинство имеет **функционально-стилистические** ограничения (устаревшие, книжные, сниженно-разговорные, просторечные) и / или содержит в своем составе лексемы с такого рода маркерами; например: *питьаться манной небесной* (книжн.) –

¹ Национальный корпус русского языка. URL: <http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html> (дата обращения: 02.03.2020).

² При использовании НКРЯ был задан подкорпус, ограниченный текстами 2000–2020 гг.

манна (книжн., религ.); звезда с ушами (внелитературный сниженный и бранный эвфемизм). Аналогичные характеристики присущи и малочастотным (не более 10 вхождений) идиомам (30,3%); например: олух царя небесного (устар., прост.) – олух (прост.); через (сквозь) тернии к звездам (ритор.) – терние (устар., книжн.); вонять к небу (книжн.) – вонять (высок.); апогей славы (книжн.) – апогей (астр.). Вместе с тем среди высокочастотных (более 100 вхождений) идиом, которые составляют 15,1% всех фразеологизмов, а также относительно высокочастотных (51–100 вхождений) идиом (13,6%), фиксируются единицы с такого же рода ограничениями; например: царствие (царство) небесное (высок.) (172 вхождения) – царствие (устар.); достигнуть (достичь) апогея (книжн.) (68 вхождений); быть в зените славы (успеха, известности) (книжн.) (60 вхождений) – зенит (астр.).

Не оказывает решающего влияния на число употреблений ФЕ и этимология, **внутренняя форма идиом**. Так, количество употреблений конкретных фразеологизмов, в основе которых лежат архаические, сакральные (христианские, античные и иные) образы, далеко не одинаковое (ср.: звезд с неба не хватает – 180 вхождений; на седьмом (десятлом) небе – 177; царствие (царство) небесное – 172; звездный час – 142; путеводная звезда – 76; гром небесный – 15; разразились (разверзлись) хляби небесные – 15). Примечательно, однако, что идиомы, сформированные на базе современных научных открытий, освоения космоса и вошедшие в язык более или менее недавно, представлены в НКРЯ относительно небольшим числом примеров, особенно в сравнении с количеством употреблений исходных (терминологических) сочетаний (ср.: черная дыра – 23 вхождения в идиоматических (переносных) значениях, тогда как в астрономическом – 821; вывести (выводить) на орбиту – 4 вхождения в переносном значении, тогда как в терминологическом – 370; выйти (выходить) на орбиту – 3 вхождения в переносном значении, тогда как в терминологическом – 76). Например: *Остальные спутники либо не выходили на орбиту, либо откачивались общаться с землей, оказавшись в космосе*. А. Милкус // Комсомольская правда (КП), 2014.07.24¹. – *Российская литературная премия «Дебют» стала для меня первой серьезной школой, первой премией, благодаря которой я вышел на орбиту общественного признания*. А. Нитченко // РИА Новости, 2008.09.18; *Рентгеновский телескоп eRosita... предназначается для исследований скоплений галактик, черных дыр и получения данных о природе темной материи*. И. Чеберко // Известия, 2014.04.22. – *Дагестан, будучи дотационным регионом, всегда занимал 3–4 место по количеству кредитных организаций... и имел репутацию «черной дыры» в плане транзита и обналички денежных средств*. А. Алексеевских. Банки Северного Кавказа потеряли 40% активов // Известия, 2014.07.02.

На степень востребованности исследуемых идиом могут оказывать влияние их **деривационные и семантические связи** как в рамках данной

¹ Для сокращения объема текста при цитировании периодических изданий указываются только автор, издание и его выходные данные.

фразеосемантической группы, так и за ее пределами. Например, в специализированных словарях фиксируются два фразеологизма с однокоренными лексемами и однотипной семантикой – *коптить небо* и *коптиль неба*, причем первый из них (глагольный), характеризующий ситуацию в целом, относительно частотен в текстах XXI в. – 28 вхождений, тогда как его именной дериват, называющий один из актантов данной ситуации, в НКРЯ не зафиксирован. Отмеченная во фразеологических словарях идиома *вить между небом и землей* не обнаружена, но в текстах XXI в. более или менее активно используется синонимическая идиома с тем же глаголом – *вить в облаках* (37 вхождений).

Статистические показатели оказываются принципиально важными в концептуальном аспекте. Так, в текстах XXI в. не зафиксирована книжная идиома *питьаться манной небесной*. В то же время в НКРЯ очень активно представлен книжный фразеологизм с аналогичной внутренней формой (*как*) *манна небесная* – 193 вхождения. На наш взгляд, различия в их функционировании связаны с особенностями их семантики. Значение именного фразеологизма непосредственно опирается на его внутреннюю форму библейского происхождения ('нечто очень желанное, получение чего обычно неожиданно и не зависит от усилий получателя'), где предмет желаний осмысляется как неожиданно ниспосланная Богом пища для голодающего народа. В глагольном фразеологизме данная внутренняя форма переосмысляется иронически ('недоесть'), т.е. сама ситуация Божественного «подарка» рассматривается как нереальная, на которую в обычной жизни человек вряд ли может рассчитывать. Возможно, подобное отступление от исходной мотивации обусловливает утрату актуальности глагольной идиомы.

Безусловно, наиболее значимым при выборе субъектом речи конкретных фразеологизмов является их **семантика**. При этом самыми частотными в текстах XXI в. становятся идиомы, дающие экспрессивно-оценочную характеристику человека в личностно-социальном аспекте (интеллект, эмоции, характер и поведение, морально-нравственные установки, социальный статус и т.п.). Именно такого рода семантика является типичной для членов данной ФГС и идиоматики в целом. Например: *Но я очень хотел завоевать Кубок Стэнли и сейчас на седьмом небе от счастья*. Н. Брагилевская, П. Лысенков // Советский спорт, 2010.06.11; *А что делать простым учителям, которые звезд с неба не хватают и гениев не растят?* К. Конюхова. // КП, 2013.09.17; *Жил себе Петр Валентинович Никоненко. Только небо коптил. Пил беспробудно в своей коммунальной комнатенке*. А. Селиванова // КП, 2002.03.18; *А где в эти трагические дни был вице-премьер, министр печати Полторанин? – Между небом и землей. Из правительства я ушел еще в конце 92-го*. А. Гришин, Е. Черных// КП, 2013.09.26; *При передаче денег не убоявшийся греха пастор был задержан работниками ФСБ. И теперь молится, рассматривая небо в клеточку*. С. Ищенко. // Труд-7, 2007.07.11.

Не менее активно используются в современной речи идиомы, развивающие абстрактные значения, что также соответствует семантике членов

ФГС «Космос». Например: *Если же тебя [эксперта] не только приглашают, но и еще иногда советуются по важным вопросам, твоя репутация в любой среде взлетает до небес.* Б. Межуев // Известия, 2014.03.04; *В 1950-е годы достигает апогея страх перед атомной бомбой.* Б. Фаликов // Наука и религия, 2011; *С качеством и ценами на обучение по программе PPL – примерно так же, как и у нас. В остальном – небо и земля.* В. Александров // Финансовая Россия, 2002.09.19; *Только люди, очень далекие от госслужбы, считают, что эта работа является манной небесной.* Эта работа требует полного самоотречения. А. Кашеварова // Известия, 2014.01.20.

Модификация (трансформация) идиом в современной речи

В целом в большинстве случаев семантика и формальная структура исследуемых идиом соответствуют лексикографическим данным. Вместе с тем выявляются некоторые специфические (прагматические, сигнификативные, формально-структурные) особенности в функционировании фразеосемантической группы «Космос» в текстах XXI в. Часть из них имеют окказиональный, другие – более устойчивый, регулярный характер.

Так, в **семантическом** аспекте (денотативная, сигнификативная и прагматическая зоны значения) выявляются следующие закономерности.

В ряде случаев многозначные идиомы, согласно данным НКРЯ, имеют тенденцию к утрате одного из лексико-семантических вариантов. В частности, фразеологизмы *между небом и землей*; *под открытым небом* практически не используются в значении ‘не иметь крыши над головой; быть бездомным’, тогда как в значениях ‘быть в неопределенном положении’; ‘вне помещения’ они фиксируются регулярно. Например: *А около 30 специалистов зависли между небом и землей. Их не уволили, но зарплату не платят с прошлого года.* Е. Астафурова // КП. 2013.04.04; *Недаром Италию называют «музеем под открытым небом».* Какая еще другая страна в мире может похвастаться такой статистикой: 95 тыс. соборов, 40 тыс. замков, 30 тыс. памятников городской и усадебной архитектуры, 5, 6 тыс. музеев и археологических парков! Д. Ди Сальво // Известия. 2014.06.05.

Идиома *небесная канцелярия* в текстах XXI в. оказывается почти невостребованной (5 вхождений) в устаревшем значении ‘воображаемая инстанция, осмыслиемая как бюрократическая, контролирующая, согласно мифологическим представлениям, все происходящее’. Кроме того, в данном лексико-семантическом варианте идиома включается в контексты, которые усиливают прагматическую составляющую, – с иронической оценкой случайности, весьма важной для успешной / безуспешной деятельности человека; с негативной оценкой бездеятельности лиц и организаций, когда у пострадавшей стороны остается лишь призрачная надежда на вмешательство высших сил. Например: *Вам в отборе на Евро дали такую группу, что лучшие не придумаешь – такую группу можно только через небесную канцелярию заказать.* Ю. Комова // Советский спорт. 2011.07.03; – Сил

нет терпеть этот беспредел. В небесную канцелярию писать, что ли? – в сердцах бросил Сергей Петрович с третьего этажа на общем собрании жильцов. – Может, там управу найдем? А. Давыденко // КП. 2012.05.30. Напротив, в другом значении, связанном с характеристикой погодных условий, идиома высокочастотна (128 вхождений), причем чаще всего она фиксируется в шутливо-иронических контекстах, подчеркивающих внезапность и непредсказуемость погодных изменений (исключительно в худшую сторону), а также неточность научных прогнозов. Например: *Неприятный сюрприз подготовила небесная канцелярия тюменцам. Всего за несколько минут сильнейший ливень превратил дороги областного центра в бурные реки.* Е. Захарова // КП. 2013.07.13; *Мощнейший циклон за сутки вылил на черноморское побережье столько воды, как в Таиланде за целый месяц в сезон дождей... Что случилось с сантехникой в небесной канцелярии?* Ю. Смирнова // КП. 2014.06.16.

Подобного рода предпочтения обнаруживаются также в **формально-структурном аспекте** – по отношению к факультативным компонентам идиом. В частности, согласно данным НКРЯ при функционировании книжных фразеологизмов *достигать (достигнуть) зенита славы (успеха, известности); быть в зените славы (успеха, известности)* не зафиксировано ни одного употребления с субстантивами *успех, известность*, тогда как с именем существительным *слава* идиомы используются регулярно (60 вхождений) при характеристике людей творческих профессий, ученых и т.п. Например: *Но этот роскошный блондин [актер О. Видов] в зените славы* вдруг уехал из Советского Союза. А. Осипов // КП. 2013.06.11; *В советскую эпоху общество [ЦСКА] пребывало в зените славы*, собирая под свои знамена лучших из лучших. А. Бодров // Советский спорт. 2007.05.02; *Но, несомненно, зенит славы Пирогова как хирурга приходится на время его работы при обороне Севастополя.* // РИА Новости. 2006.10.12.

Наименее частотной, согласно данным НКРЯ, оказывается собственно **формально-структурная** трансформация исследуемых идиом (11 фразеологизмов): усечение / расширение компонентного состава, замена компонента семантически однородным, синтаксическая инверсия, морфологические преобразования, которые обычно носят окказиональный характер и существенно не влияют на внутреннюю форму, семантику модифицируемой идиомы, хотя pragматическая (экспрессивно-оценочная) составляющая в ней может усиливаться. Например: *Тут нельзя работать по принципу «пальцем в небо»... ведь сегодня на основании этой корзины рассчитывается инфляция.* А. Журавская // Новый регион 2. 2011.01.12 (состав идиомы *пальцем в небо* [попадать, попасть] расширен за счет компонента *по принципу*); *У меня было чувство, что, как только родится ребенок, я на седьмое небо улечу.* К. Зангалис // Советский спорт. 2012.02.03 (в идиоме *попадать / попасть на седьмое небо* ‘испытывать чувство восторга, блаженства, счастья’ глагол *попасть* заменен на близкий по семантике компонент *улететь*); *Порой достаточно и пяти минут общения, а юная красавица*

вица уже уносится на седьмое небо на крыльях любви. Д. Перетяжко // КП. 2013.04.05 (как и в предыдущем примере, глагольный компонент заменен близкой по семантике лексемой *уноситься*; кроме того, фразеологизм расширен устойчивым сочетанием *на крыльях любви*, которое конкретизируют причину чувства восторга и не противоречит внутренней форме исходной идиомы).

В НКРЯ также фиксируются отдельные окказиональные формально-структурные трансформации, которые модифицируют внутренний образ, положенный в основу идиоматизации. Например: *Да и что им [оппозиционно настроенным по отношению к власти участникам конференции] обсуждать проблемы «после крушения Путина», потому что им до него семь верст раком*. А. Гришин // КП. 2013.03.07. В данном случае изымается компонент *до небес* и вводится новый компонент *раком*, что усиливает экспрессивно-оценочную составляющую идиомы. Кроме того, трансформация приводит к утрате архаического образа твердого небесного свода, зато во внутренней форме появляется новый семантико-прагматический компонент ‘очень медленно’, что приводит к модификации семантики трансформированного фразеологизма – ‘предельно возможное различие между сравниваемыми объектами, при котором успех, значимость и т.п. одного настолько велики, что второй не способен преодолеть отставание, добиться такого же успеха’.

Следует отметить, что не все формально-структурные трансформации, связанные с изменением внутренней формы идиом, можно признать удачными. Например: *Марина и ее муж Константин Мироненко живут в Петропавловске-Камчатском с родителями, так что свое жилье молодой семье очень даже кстати. – Поздравляем, ваш сын родился под счастливой цифрой – 7 000 000 000! – объяснили чиновники Марине*. А. Катеруша, И. Кравчук // КП. 2011.11.03; *Пермский край родился под несчастливым числом? У астрологов своя версия. Они считают, что крайне неудачно была выбрана дата образования Пермского края, – 1 декабря 2005 года*. А. Смирнова // КП. 2010.01.26. В данных случаях замена лексемы *звезда* на лексемы, называющие числа, приводит к утрате архаического астрологического образа связи судьбы человека с его «звездой», тогда как новый образ «числа» вряд ли уместен (нельзя родиться под числом).

В ряде случаев некорректным нам представляется окказиональное расширение сочетаемости идиом, при котором не учитывается их внутренняя форма. Например: *Приватизация 1990-х была не просто грабительской, но кровавой. На наших кладбищах вопиют к небу целые **кварталы могил погибшей тогда молодежи***. М. Делягин // Известия. 2013.01.09. В данном случае неуместным представляется отнесение фразеологизма к неодушевленному объекту (*могилам*), поскольку они не могут обращаться с мольбой (*вопиять*) к высшим силам (*к небу*). Неуместность сохраняется даже в том случае, если учитывать используемую в высказывании метонимию (могилы погибших как души жертв криминальных разборок), поскольку души умерших, согласно религиозной картине мира, отраженной во внутренней

форме ФЕ, находятся уже не на земле (месте пребывания живых), а в загробном мире (на небе).

Более частотным в текстах ХХI в. является употребление членов фразеосемантической группы «Космос» с **семантической трансформацией**, т.е. в значениях, не отмеченных в современных лексикографических источниках (иногда в совокупности с формально-структурной модификацией). Безусловно, в большинстве случаев речь идет об окказиональных значениях, затрагивающих сигнifikативную и / или прагматическую зону. Так, идиома *небо в алмазах* [увидеть] ‘об ощущении счастья, радости, удовлетворении’ в ироническом контексте используется практически в антонимическом значении – как угроза (ср.: *Я тебе покажу!*): *Люся обиделась. Прошептала: «Ну сейчас ты у меня увидишь небо в алмазах!»*. С. Бабицкий // КП. 2011.12.15). Фразеологизм как птица небесная, фиксируемый в словарях в значении ‘вести беззаботную жизнь’, в контексте: *Это может быть огорчительным, но все технические и социальные новшества, поначалу бывшие свободными, как птицы небесные, постепенно обрастили всё более и более обременительными регуляциями*. М. Соколов // Известия, 2014.05.20 – актуализирует компонент ‘полная независимость’ (с частичной нейтрализацией компонента ‘беззаботность’), ориентируясь непосредственно на прецедентный библейский текст.

Далеко не всегда такого рода окказиональные семантические трансформации представляются уместными и оправданными. Так, в следующем контексте: *Раньше женщины считали, что иностранцы [возможные мужья] им дадут небо в алмазах. А сейчас и в России есть мужчины гораздо состоятельнее заморских принцев*. Б. Андреев // КП. 2006.03.15 – идиома *небо в алмазах* характеризует чувство не эмоционального, духовного, а материального удовлетворения (компонент *алмазы* оценивается не с эстетической, а с материальной точки зрения), что противоречит не только значению ФЕ, но и смыслу прецедентного чеховского текста. Нам также кажется некорректным использование фразеологизма *звезд с неба не хватает* по отношению к артефакту, а не к человеку: *Вместо старой 4-ступенчатой автоматической коробки теперь здесь стоит вариатор. Конечно, он звезд с неба не хватает, но работает плавно и без рывков*. В. Гаврилов // РБК Дейли. 2013.10.01. В данном случае языковое значение, связанное с обычностью, отсутствием особого таланта у человека, трансформируется в окказиональное – ‘не слишком качественный, современный и т.п.’, что вступает в конфликт с внутренней формой ФЕ (механизм не имеет рук и принципиально не может ими дотянуться до звезд).

Наиболее интересными с точки зрения актуальности в современном русском языке членов ФГС «Космос» являются те семантические трансформации, которые имеют относительно регулярный характер (5 и более употреблений в текстах разных авторов), поскольку они свидетельствуют по крайней мере о тенденции к формированию нового лексико-семантического варианта у данных фразеологизмов. Так, идиома *до небес* [поднять, подняться и т.п.] в словарях в обоих значениях обычно имеет

негативную оценку, связанную с компонентом ‘превышение нормы; сверх необходимого’: 1) ‘в максимально возможной степени, очень сильно; слишком сильно (о реализации какого-либо свойства, какого-либо качества)’; 2) ‘(хвалить и т.п.) слишком сильно, что осмысляется как нарушение нормы’. Когда речь идет о духовном развитии, идиома обозначает ‘в состоянии максимального духовного, интеллектуального, эмоционального, эстетического подъема’ с позитивной оценкой ситуации, поскольку *небо* воспринимается уже не только как сфера, предельно удаленная от земной поверхности (места обитания человека), но и как сакральная зона, максимально противопоставленная обыденной жизни человека. Например: *Мне сразу вспомнились детство и мой отец, которому тоже говорили: "Ты существуешь только благодаря тому, что есть мы, музыканты, поднявшие тебя до небес".* С. Спивакова. Не всё (2002).

В современных словарях фразеологизм *звездный дождь* фиксируется исключительно в терминологическом значении ‘обильное падение метеоритов’, тогда как в текстах XXI в. представлено 11 контекстов разных авторов, которые используют эту ФЕ в двух переносных значениях. Первое из них выступает как синоним метафорического значения субстантива *созвездие* ‘группа выдающихся деятелей, писателей, художников, известных лиц и т.п.’. Например: *На «Русской зиме» всех зрителей ждет настоящий «звездный дождь». Так, в прыжках в длину примут участие четыре лучшие в рейтинге IAAF спортсменки этого вида: олимпийская чемпионка Татьяна Лебедева, призер чемпионата мира австралийка Бронвин Томпсон, чемпионка России Оксана Удмуртова и чемпионка Европы Людмила Колчанова. И. Шишкина // Советский спорт. 2007.01.19; [О появившихся одно за другим медийных лицах:] «Прямо Млечный путь, или, как это там называется... звездный дождь...» – подумала я. Вновь прибывшая также была звезда, только не кино, а эстрады. В. Белоусова. По субботам не стреляю (2000). Второе переносное значение, также неоднократно фиксируемое в текстах XXI в., характеризует обилие наград, поощрений, которые внезапно получает человек, и мотивационно опирается на метафорические значения субстантивов *звезда* ‘успех, удача’ и *дождь* ‘обилие чего-л.’. Кроме того, на формирование нового идиоматического значения оказывает влияние семантика близкой в формально-структурном аспекте идиомы *звездный час*. Например: *К счастью, звездный дождь не испортил молодую актрису, она проста и естественна в общении, умеет слушать и слышать, а когда ей делают комплименты, то краснеет, как юная девушка.* Л. Лебедина // Труд-7. 2006.07.19; *Но завод спешил с победным рапортом и в ожидании звездного дождя наград конструкцию не сочли нужным «усложнять».* В. Арон // Труд-7. 2001.01.11.*

Терминологическое сочетание *черная дыра*, в отличие от сочетания *звездный дождь*, согласно лексикографическим источникам, имеет два переносных значения: ‘второстепенное, плохое, неизвестное место’ и ‘уменьшение ресурса; затраты’, которые актуальны для современных носителей языка. Например: *Нужна ли Европе разваленная, нищая Украина? Они ведь*

хотели получить рынок страны с 45-миллионным населением, а не «черную дыру», в которой идет гражданская война. К. Волков // Известия. 2014.06.03. Вместе с тем следует отметить, что выделанные словарями переносные значения в большинстве случаев представлены в текстах в несколько модифицированном варианте. В частности, на базе первого из них за счет метонимического расширения формируется вариант ‘то, что полностью утратилось, исчезло, забыто, стало неизвестным’, где негативная оценка смешается с характеристики абстрактного феномена на причины этого явления и их инициаторов. Например: «Господа либералы отрабатывают свою пайку. Хотят, чтобы мы свое прошлое считали черной дырой. Я их всех ненавижу: горбачева, шеварнадзе, яковлева, – напишите с маленькой буквы, так я их ненавижу». С. Алексиевич. Время second-hand // Дружба народов. 2013; Внезапное, необратимое, абсолютное исчезновение общества. Черная дыра, в которую проваливаются любые средства и намерения, хоть благие, хоть самые порочные. Общество в считанные недели превращается в необратимо недееспособное, и никакими импортными красавицами типа «демократия», «институты гражданского общества» и т.д. его не оживишь. С. Роганов // Известия. 2014.07.07; Мы сделали столько для покаяния, такие жертвы принесли, что куда же еще дальше? Нам, может, распылиться в пространстве, исчезнуть, оставить здесь черную дыру, чтобы все успокоились. А. Гришин // КП. 2014.06.19. Модификация второго переносного значения обычно связана с конкретизацией причин возникновения негативной ситуации: ‘нерентабельный экономический, социальный институт, который требует постоянных финансовых вливаний, затрат вследствие непрофессиональной логистики и / или коррупции его руководства, сотрудников’. Например: Гигантский национализированный «ЮКОС» в руках бездельников и воров очень скоро превратится в огрызок, где закрываются одна за другой погубленные скважины, уволакиваются в «черную дыру» инвестиции, царят воровство и бесхозность. А. Проханов // Завтра. 2003.08.06.

В ряде случаев семантическая трансформация связана с **формально-структурной** и, возможно, **дистрибутивной**, причем иногда такого рода изменения носят достаточно регулярный характер. Так, идиома пальцем в небо [попасть, попадать] со значением ‘о человеке, который говорит или делает что-то невпопад’ в текстах ХХI в. неоднократно фиксируется с переходными глаголами тыкать, ткнуть и именным дериватом тыканье, что приводит к усилению признака активной позиции субъекта – ‘действовать наобум, наугад, не размыслия, не обдумывая’. Например: Есть нечто интригующее в предложении этого Мазепина. Он, наверное, ткнул пальцем в небо, но удачно попал в сложную и актуальную тему. А. Холина // Известия. 2013.06.27; Если говорить серьезно, пока это абсолютно бес почвенные рассуждения, которые скорее похожи на тыканье пальцем в небо. А. Юнашев // Известия. 2013.09.25; Какие-то результаты я назвала исходя из объективных вещей – одна команда была явно сильнее другой, а какие-то, просто ткнув пальцем в небо. Р. Вагин // Советский спорт. 2013.04.15.

Если обязательным компонентом во фразеологизме *с неба свалился* (*упал*) становится сравнительный союз, а позицию субъекта замещает имя, называющее не лицо, а предмет желаний, благоприятные обстоятельства, обуславливающие успех в достижении цели, то идиома развивает значение, аналогичное значению фразеологизма *как манна небесная*. Тем самым в концептуальном плане *небо* начинает ассоциироваться с высшими сакральными силами, а не с предельно удаленным и не связанным с землей, с обычной человеческой жизнью пространством. Например: – *Нам эта помощь как с неба упала!* – делится радостью директор школы бокса Андрей Лазарев. // КП. 2011.04.16; *Да, деньги как с неба свалились, но у меня же ребенок погиб... И тысячи эти не в радость, поперек горла...* В. Карпов // Труд-7. 2002.06.20. Но при подобной формальной трансформации идиомы возможна такая семантическая трансформация, которая не связана с изменением концептуального принципа идиоматизации: падение с неба осмысляется как внезапное появление кого-, чего-либо. Например: *Огромное количество земноводных буквально заполонило автомагистраль. «Они как с неба упали!» – вспоминают очевидцы.* А. Овчинникова // Известия. 2010.05.28.

Не все подобные трансформации представляются удачными, поскольку в них не учитывается не только семантика, но и внутренняя форма фразеологизмов. Однако все они носят окказиональный характер. Так, в контексте: *Под ногами – хляби небесные. Зима решила прикинуться весной.* П. Мейлахс. Отступник // Звезда. 2002 – идиома *разверзлись хляби небесные* при усечении глагольного компонента используется в окказиональном значении ‘большие лужи с грязью; топь’, что соответствует разговорному значению отдельной лексемы *хлябь* ‘жидкая грязь’, но внутренняя форма идиомы (*хляби небесные*), где *хлябь* употреблено в устаревшем лексико-семантическом варианте ‘бездна’, вступает в конфликт со значением субстантива.

В цитируемой речи героя публикации, владельца нескольких АЗС идиома *звезд с неба не хватает* (‘о заурядном, ничем не выдающемся человеке’) используется в 1-м лице при самооценке в окказиональном значении ‘добиваться успеха, материального благополучия’: «*Реализация, конечно, не очень высокая, – признается Андрей Сорокин. – Но она мне позволяет держаться на плаву и иметь прибыль. Звезд с неба не хватаю, на хлеб с маслом зарабатываю.*» Г. Старинская // РБК Дейли. 2013.05.13. Это связано, на наш взгляд с тем, что субъект речи ориентируется на значение другой, близкой в структурном и мотивационном аспектах идиомы *достать с неба звезду* ‘о человеке, который добился успеха, сделав что-то невозможное или осуществив свою мечту’.

К числу других регулярных трансформаций исследуемых идиом относится включение их в такие контексты, которые приводят к **актуализации их внутренней формы**, к ее шутливо-ироническому обыгрыванию и возможному совмещению идиоматического и буквального значений. Такого рода модификации, с одной стороны, усиливают **прагматическую (экспрессивно-оценочную) зону** значений фразеологизмов, а с другой – сви-

действуют об осознанности исходной внутренней формы фразеологизмов современными носителями языка. Например: *Первые годы жизни малыши буквально провел между небом и землей; он месяцами «жил» под водой, а потом вместе с мамой (мастером спорта по альпинизму) поднимался на высоту 3800 м на Эльбрус*. Так к нему, одному из первых, были применены новейшие методы лечения подобных заболеваний методом декомпрессии. М. Бойцова. // Петербургский Час пик. 2003.09.17; Но государство по закону обязано **хоронить** только одиноких. Таким образом, покойники оказываются «между небом и землей»: государство не может, близкие не хотят. *Их-то мы и берем*. Н. Грачева // КП. 2004.08.04; *Тот [экономически рентабельный водород], по глубокому убеждению Жени, позарез нужен нашим «Ладам» и «Газелям». И в самом деле, не все же им небо коптить и бензин переводить*. В. Викторов // Труд-7. 2007.04.06; *Это положение юридически разобрано в наших святых книгах тысячи лет назад. Ничего нового ни под луной, ни под солнцем, ни вот под этим фонарем*. Д. Рубина. Русская канарейка. Блудный сын (2014).

Выводы

Итак, комплексный (лингвистический, когнитивный, культурологический) анализ лексикографических источников и текстов XXI в. показывает, что русские идиомы, включающие в свой состав лексемы из ЛСГ «Космос» (фразеосемантическая группа «Космос»), обладают рядом специфических особенностей, значимых в лингвистическом и концептуальном аспектах.

1. Языковая картина мира, репрезентируемая исследуемыми идиомами, достаточно разнородна и включает компоненты общих и научных, архаичных и современных, исконно русских и заимствованных (в том числе интернациональных) представлений. Несмотря на это, выявляется тенденция к ориентации данной ЯКМ на отражение наивных, во многом архаических взглядов на внеземное пространство.

2. Данная ФГС устойчива в русском языке XXI в. Тем самым устойчивость сохраняет и та картина мира, которая транслируется внутренней формой указанных фразеологизмов. Об осознанности концептуальных образов, положенных в основу идиоматизации, свидетельствует, в частности, обыгрывание внутренней формы фразеологизмов в текстах XXI в.

3. Большинство зафиксированных речевых ошибок, выявленных при функционировании идиом из ФГС «Космос» в текстах XXI в., имеют концептуальную основу и связаны с игнорированием внутренней формы данных фразеологизмов. Окказиональный характер таких недочетов указывает на низкую речевую культуру конкретных носителей языка. Сделать вывод о том, насколько такого рода речевые ошибки связаны с забвением, непониманием образов, лежащих в основе идиоматизации, представляется преждевременным. Эта проблема требует дополнительного исследования.

4. О лингвистической и концептуальной устойчивости, жизнеспособности ФГС «Космос» в современной речи говорит также тот факт, что в

функционировании ее членов в современных текстах выявляются динамические характеристики, многие из которых носят достаточно регулярный характер и свидетельствуют о некоторых формальных, семантических, функционально-стилистических тенденциях в развитии данной фразеологической подсистемы.

Литература

1. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М. : Языки русской культуры, 1998. 896 с.
2. Балашова Л.В. Горизонтальная модель пространственной метафоры в медийном образе России (жанры аналитического обзора и экспертного мнения) // *Quaestio Rossica*. 2017. Т. 5, № 4. С. 1178–1196.
3. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Три лингвострановедческие концепции: лексического фона, рече-поведенческих тактик и сапиентемы. М. : Индрик, 2005. 1040 с.
4. Дементьев В.В. Речежанровые коммуникативные ценности в новых и новейших сферах русской речи. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 2016. 396 с.
5. Дементьев В.В. «Разговор по душам» в системе ценностей русской речевой коммуникации // *Quaestio Rossica*. 2019. Т. 7, № 1. С. 255–274.
6. Демешкина Т.А. Трансформация диалектной коммуникации под воздействием СМИ // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 413. С. 29–33. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-dialektnoy-kommunikatsii-pod-vozdeystviem-smi> (дата обращения: 21.02.2020).
7. Демешкина Т.А., Верхоторова Н.А., Крюкова Л.Б., Курикова Н.В. Лингвистическое моделирование ситуации восприятия в региональном и общероссийском дискурсе». Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 196 с.
8. Залевская А.А. Национально-культурная специфика картины мира и различные подходы к ее исследованию // Языковое сознание и образ мира. М. : Ин-т языкоznания РАН, 2000. С. 39–54.
9. Иванцова Е.В. Мировидение языковой личности в традиционной русской народно-речевой культуре // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2014. № 4 (30). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mirovidenie-yazykovoy-lichnosti-v-traditsionnoy-russkoy-narodnorechevoy-kulture> (дата обращения: 21.02.2020).
10. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры: Опыт исследования. М. : Академический проект, 2001. 990 с.
11. Балашова Л.В. Речевые жанры в русской идиоматике (семантический и концептуальный аспекты) // Жанры речи. 2017. № 1(15). С. 6–29.
12. Баранов А.Н., Добровольский Д.О. Аспекты теории фразеологии. М. : Знак, 2008. 656 с.
13. Ильясов В.С. Фразеология как способ презентации языковой картины мира (на материале фразеосемантического поля «Питание» в русском и арабском языках) : дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2019. 398 с.
14. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. М. : URSS, 2012. 453 с.
15. Краснобаева-Черная Ж.В. Опыт осмыслиения ценностной картины мира во фразеологии: структурная организация (на материале русского, украинского, английского и немецкого языков) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 54. С. 98–116.
16. Дронов П.С., Полян А.Л. Пространственная концептуализация ментального и эмоционального воздействия: модель экспериенц как поверхность во фразеологии // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2015. № 6 (38). С. 5–18.
17. Тресорукова И.В. «Пищевой код греческой фразеологии: фитоним «огурец» // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 53. С. 98–110.

18. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм. М. : Элпис, 2008. 271 с.
19. Телия В.Н. Предисловие // Большой фразеологический словарь русского языка. М., 2006. С. 6–15.
20. Бабкин А.М. Идиоматика (фразеология) в языке и словаре // Современная русская лексикография 1977. М., 1979. С. 4–19.
21. Борщева О.В. Концептуальное поле «ТРУД» сквозь призму идиоматики: на материале русского и английского языков : дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2012. 303 с.
22. Буянова Л.Ю., Коваленко Е.Г. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности. М. : ФЛИНТА : Наука, 213. 184 с.
23. Веренич Т.М. Черты национального характера во фразеологической картине мира (на материале французского и русского языков) // Филология и лингвистика в современном обществе. М., 2012. С. 51–53.
24. Маслова В.А. Homolingudlis в культуре. М. : Гнозис, 2007. 320 с.
25. Алефиренко Н.Ф., Аглеев И.А. Когнитивная метафора и фразеосемиосис // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. Белгород, 2013. С. 29–32.
26. Наумов К.Д. Концептуализация мира на основе сакральных образов (на материале русской и польской идиоматики) : дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2013. 350 с.
27. Телия В.Н. Русская фразеология: Семантический, pragматический и лингвокультурологический аспекты. М. : Языки русской культуры, 1996. 288 с.
28. Золотых Л.Г. Взаимодействие фразеологической семантики и семиотических средств культуры // Когнитивные факторы взаимодействия фразеологии со смежными дисциплинами. Белгород, 2013. С. 70–75.
29. Балашова Л.В. Идиомы со значением «Власть» в современном российском политическом дискурсе // Политическая лингвистика. 2016. № 4 (58). С. 12–21.
30. Соболева Н.П. Лингвокультурологические аспекты контекстуального использования фразеологизмов в рекламных слоганах // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 45. С. 139–149.
31. Телия В.Н. Первоочередные задачи и проблемы исследования фразеологического состава языка в контексте культуры // Фразеология в контексте культуры. М., 1999. С. 8–25.
32. Академический словарь русской фразеологии. М. : ЛЕКСРУС, 2015. 1168 с.
33. Алефиренко Н.Ф., Золотых Л.Г. Фразеологический словарь: Культурно-познавательное пространство русской идиоматики. М. : Элпис, 2008. 472 с.
34. Бирюх А.К. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь. М. : Астрель : АСТ: Люкс, 2005. 926 с.
35. Большой академический словарь русского языка. Т. 1–24. М. ; СПб. : Наука, 2004–2017.
36. Большой фразеологический словарь русского языка. М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2009. 784 с.
37. Словарь русского языка : в 4 т. М. : Рус. яз., 1981–1984.
38. Словарь-тезаурус современной русской идиоматики. М. : Мир энциклопедий Аванта+, 2007. 1135 с.
39. Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов. М. : Азбуковник, 2007. 1174 с.
40. Фелицына В.П., Мокиенко В.М. Русские фразеологизмы: Лингвострановедческий словарь. М. : Рус. яз., 1990. 220 с.
41. Фразеологический словарь русского языка. М. : Рус. яз., 1994. 543 с.
42. Логический анализ языка. Космос и хаос. Концептуальные поля порядка и беспорядка. М. : Индрик, 2003. 640 с.

Idiomatics and the Current Language Picture of the World (Based on the Material of the Phraseosemantic Group “Cosmos” in the Russian Language of the 21st Century)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 5–24. DOI: 10.17223/19986645/71/1

Liubov V. Balashova, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: balashova53@yandex.ru

Keywords: Russian language, cosmos, idiom, language picture of the world, principles of idiomatization.

The article examines the functioning of 66 members of the phraseosemantic group “Cosmos” in the Russian language in the 21st century in cognitive and linguistic aspects. This group includes idioms that are members of the lexico-semantic group “Cosmos”. The material for the analysis was lexicographic sources and all contexts with these phraseological units recorded in the texts of the 2000–2020 Russian National Corpus (more than 3,000 occurrences). The methodological basis of the research was the idea of phraseology as a complex (linguistic, cognitive and cultural) phenomenon that plays an important role in the representation of the language picture of the world. The aim of the article was to identify the main trends in the functioning of idioms from one phraseosemantic group in the Russian language of the 21st century. The research used a complex method of system-semantic and cognitive-cultural analysis of language phenomena. According to lexicographic sources, the semantic, functional-stylistic and conceptual characteristics of the idioms, as well as their constituent lexemes from the “Cosmos” group are given. The relative statistics of the use of these idioms in modern speech, as well as the main factors affecting this process, are established. Specific (pragmatic, significative, formal-structural) features in the functioning of the phraseosemantic group “Cosmos” are revealed. Occasional and regular types of modification (transformation) of idioms in speech are specified, as well as their connection with the representation of the world picture, which is reflected in the internal form of phraseological units. It is noted that this picture includes components of naive and scientific, archaic and modern, primordial and borrowed ideas about extraterrestrial space, but is focused on reflecting mainly everyday, largely archaic views on the cosmic order. It is established that most members of the group function stably in modern texts, which determines the relevance of the transmitted picture of the world. The conceptual images that make up the basis of idiomatization are deliberate, which is indicated by the language game related to the actualization of the idioms’ inner form with formal and semantic modification (transformation) in the texts of the 21st century. The occasional speech errors in the use of the idioms have a cognitive basis and are associated with the neglect of the internal forms of these idioms. The presence of regular formal, semantic, functional and stylistic transformations indicates the relevance of the studied idioms for modern native speakers, as well as the main linguistic and cognitive trends in the development of the phraseological subsystem.

References

1. Arutyunova, N.D. (1998) *Yazyk i mir cheloveka* [Language and the World of the Human]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
2. Balashova, L.V. (2017) The horizontal model of the spatial metaphor in the media image of Russia (genres of analytical review and expert opinion). *Quaestio Rossica.* 4 (5). pp. 1178–1196. (In Russian). DOI: 10.15826/qr.2017.4.274
3. Vereshchagin, E.M. & Kostomarov, V.G. (2005) *Yazyk i kul'tura. Tri lingvostranovedcheskie kontseptsii: leksicheskogo fona, reche-povedencheskikh taktik i sapientemy* [Language and Culture. Three linguistic and cultural concepts: lexical background, speech-behavioral tactics and sapientemas]. Moscow: Indrik.
4. Dement'ev, V.V. (2016) *Rechezhanroyye kommunikativnye tsennosti v novykh i novyshikh sferakh russkoy rechi* [Speech Genre Communicative Values in New and Newest Spheres of Russian Speech]. Saratov: Saratov State University.

5. Dement'ev, V.V. (2019) Heart-to-heart Talk in the System of Values of Russian Speech Communication. *Quaestio Rossica*. 1 (7). pp. 255–274. (In Russian). DOI: 10.15826/qr.2019.1.375
6. Demeshkina, T.A. (2016) The transformation of dialect communication under the mass media influence. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 413. pp. 29–33. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/transformatsiya-dialektnoy-kommunikatsii-pod-vozdeystviem-smi> (Accessed: 21.02.2020). (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/413/4
7. Demeshkina, T.A. et al. (2006) *Lingvisticheskoe modelirovaniye situatsii vospriyatiya v regional'nom i obshcherossiyskom diskurse* [Linguistic Modeling of the Situation of Perception in the Regional and All-Russian Discourse]. Tomsk: Tomsk State University.
8. Zalevskaya, A.A. (2000) Natsional'no-kul'turnaya spetsifik kartiny mira i razlichnye podkhody k ee issledovaniyu [National and cultural specificity of the worldview and various approaches to its study]. In: Ufimtseva, N.V. (ed.) *Yazykovoe soznanie i obraz mira* [Linguistic Consciousness and the Image of the World]. Moscow: The Institute of Linguistics RAS. pp. 39–54.
9. Ivantsova, E.V. (2014) Worldview of the language personality in the traditional Russian folk-speech culture. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 4 (30). pp. 27–42. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/mirovidenie-yazykovoy-lichnosti-v-traditsionnoy-russkoy-narodnorechevoy-kulture> (Accessed: 21.02.2020). (In Russian).
10. Stepanov, Yu.S. (2001) *Konstanty: Slovar' russkoy kul'tury: Opyt issledovaniya* [Constants: Dictionary of Russian Culture: Research Experience]. Moscow: Akademicheskiy proekt.
11. Balashova, L.V. (2017) Speech genres in Russian idiomatics (semantic and conceptual aspects). *Zhanry rechi – Speech Genres*. 1 (15). pp. 6–29. (In Russian). DOI: 10.18500/2311-0740-2017-1-15-6-29
12. Baranov, A.N. & Dobrovolskiy, D.O. (2008) *Aspekty teorii frazeologii* [Aspects of the Theory of Phraseology]. Moscow: Znak.
13. Il'yasov, V.S. (2019) *Frazeologiya kak sposob reprezentatsii yazykovoy kartiny mira (na materiale frazeosemantichestkogo polya "Pitanie" v russkom i arabskom yazykakh)* [Phraseology as a way of representing the linguistic picture of the world (based on the "Nutrition" phraseosemantic field in Russian and Arabic)]. Philology Cand. Diss. Saratov.
14. Kovshova, M.L. (2012) *Lingvokul'turologicheskiy metod vo frazeologii: Kody kul'tury* [Linguoculturological Method in Phraseology: Culture codes]. Moscow: URSS.
15. Krasnobabaeva-Chernaya, Zh.V. (2018) Experience of understanding the axiological world image in phraseology: a structural organization (based on Russian, Ukrainian, English and German). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 54. pp. 98–116. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/54/6
16. Polyan, A.L. & Dronov, P.S. (2015) Spatial conceptualization of mental and emotional impact: experiencer as a surface model in phraseology. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 6 (38). pp. 5–18. (In Russian).
17. Tresorukova, I.V. (2018) The food code of Greek phraseology: the phytonym "cucumber". *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 53. pp. 98–110. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/53/7
18. Alefirenko, N.F. (2008) *Frazeologiya v svete sovremennykh lingvisticheskikh paradigm* [Phraseology in the Light of Modern Linguistic Paradigms]. Moscow: Elpis.
19. Teliya, V.N. (2006) *Predislovie* [Preface]. In: Teliya, V.N. (ed.) *Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Big Phraseological Dictionary of the Russian Language]. Moscow: AST-PRESS KNIGA. pp. 6–15.
20. Babkin, A.M. (1979) *Idiomatika (frazeologiya) v yazyke i slovare* [Idioms (phraseology) in language and vocabulary]. In: *Sovremennaya russkaya leksikografiya 1977* [Modern Russian Lexicography 1977]. Moscow: Nauka. pp. 4–19.

21. Borshcheva, O.V. (2012) *Kontseptual'noe pole "TRUD" skvoz' prizmu idiomatiki: na materiale russkogo i angliyskogo yazykov* [Conceptual field "LABOR" through the prism of idioms: on the material of the Russian and English languages]. Philology Cand. Diss. Saratov.
22. Buyanova, L.Yu. & Kovalenko, E.G. (2013) *Russkiy frazeologizm kak mental'no-kognitivnoe sredstvo yazykovoy kontseptualizatsii sfery moral'nykh kachestv lichnosti* [Russian Phraseological Unit as a Mental and Cognitive Means of Linguistic Conceptualization of the Sphere of Moral Qualities of a Person]. Moscow: FLINTA: Nauka.
23. Verenich, T.M. (2012) [Traits of national character in the phraseological picture of the world (based on the French and Russian languages)]. *Filologiya i lingvistika v sovremenном obshchestve* [Philology and Linguistics in Modern Society]. Proceedings of the International Conference. Moscow. 20–23 May 2012. Moscow: Vash poligraficheskiy partner. pp. 51–53. (In Russian).
24. Maslova, V.A. (2007) *Homo lingualis v kul'ture* [Homo Lingualis in Culture]. Moscow: Gnozis.
25. Alefirenko, N.F. & Agleev, I.A. (2013) [Cognitive metaphor and phraseosemiosis]. *Kognitivnye faktory vzaimodeystviya frazeologii so smezhnymi distsiplinami* [Cognitive Factors of Interaction of Phraseology with Related Disciplines]. Proceedings of the III International Conference. Belgorod. 19–21 March 2013. Belgorod: ID "Belgorod", National Research University "Belgorod State University". pp. 29–32. (In Russian).
26. Naumov, K.D. (2013) *Kontseptualizatsiya mira na osnove sakral'nykh obrazov (na materiale russkoy i pol'skoy idiomatiki)* [Conceptualization of the world on the basis of sacred images (based on the material of Russian and Polish idioms)]. Philology Cand. Diss. Saratov.
27. Teliya, V.N. (1996) *Russkaya frazeologiya: Semanticheskiy, pragmaticscheskiy i lingvokul'turologicheskiy aspekty* [Russian Phraseology: Semantic, Pragmatic and Linguocultural Aspects]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury.
28. Zolotykh, L.G. (2013) [Interaction of phraseological semantics and semiotic means of culture]. *Kognitivnye faktory vzaimodeystviya frazeologii so smezhnymi distsiplinami* [Cognitive Factors of Interaction of Phraseology with Related Disciplines]. Proceedings of the III International Conference. Belgorod. 19–21 March 2013. Belgorod: ID "Belgorod", The National Research University "Belgorod State University". pp. 70–75. (In Russian).
29. Balashova, L.V. (2016) Idioms with the meaning "power" in contemporary Russian political discourse. *Politicheskaya lingvistika – Political Linguistics*. 4 (58). pp. 12–21. (In Russian).
30. Soboleva, N.P. (2017) Linguoculturological aspects of the contextual use of phraseological units in advertising slogans. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 45. pp. 139–149. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/45/10
31. Teliya, V.N. (1999) Pervoocherednye zadachi i problemy issledovaniya frazeologicheskogo sostava yazyka v kontekste kul'tury [Priority tasks and problems of studying the phraseological composition of the language in the context of culture]. In: Teliya, V.N. (ed.) *Frazeologiya v kontekste kul'tury* [Phraseology in the Context of Culture]. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury. pp. 8–25.
32. Baranov, A.N. & Dobrovolskiy, D.O. (eds) (2015) *Akademicheskiy slovar' russkoy frazeologii* [Academic Dictionary of Russian Phraseology]. Moscow: LEKSIRUS.
33. Alefirenko, N.F. & Zolotykh, L.G. (2008) *Frazeologicheskiy slovar'*: *Kul'turno-poznava-tel'noe prostranstvo russkoy idiomatiki* [Phraseological Dictionary: Cultural and Cognitive Space of Russian Idioms]. Moscow: Elpis.
34. Birikh, A.K. (2005) *Russkaya frazeologiya. Istoriko-etimologicheskiy slovar'* [Russian Phraseology. Historical and etymological dictionary]. Moscow: Astrel': AST: Lyuks.
35. Gorbachevich, K.S. & Gerd, A.S. (eds) (2004 – cont.) *Bol'shoy akademicheskiy slovar' russkogo yazyka* [The Big Academic Dictionary of the Russian Language]. Vols 1–24. Moscow; Saint Petersburg: Nauka.

36. Teliya, V.N. (ed.) (2009) *Bol'shoy frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Big Phraseological Dictionary of the Russian Language]. Moscow: AST-PRESS KNIGA.
37. Evgen'eva, A.P. (ed.) (1981–1984) *Slovar' russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian Language]. Vols 1–4. Moscow: Russkiy yazyk.
38. Baranov, A.N. & Dobrovolskiy, D.O. (eds) (2007) *Slovar'-tezaurus sovremennoy russkoy idiomatiki* [Thesaurus Dictionary of Modern Russian Idioms]. Moscow: Mir entsiklopediy. Avanta+.
39. Shvedova, N.Yu. (ed.) (2007) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka s vkl'yucheniem svedeniy o proiskhozhdenii slov* [Explanatory Dictionary of the Russian Language with the Inclusion of Information about the Origin of Words]. Moscow: Azbukovnik.
40. Felitsyna, V.P. & Mokienko, V.M. (1990) *Russkie frazeologizmy: Lingvostranovedcheskiy slovar'* [Russian Phraseological Units: Linguistic and country studies dictionary]. Moscow: Russkiy yazyk.
41. Molotkov, A.I. (ed.) (1994) *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Phraseological Dictionary of the Russian Language]. Moscow: Russkiy yazyk.
42. Arutyunova, N.D. (ed.) (2003) *Logicheskiy analiz yazyka. Kosmos i khaos. Kontseptual'nye polya poryadka i besporyadka* [Logical Analysis of Language. Space and chaos. Conceptual fields of order and disorder]. Moscow: Indrik.

УДК 811.161.1'271'38'42
DOI: 10.17223/19986645/71/2

А.В. Болотнов

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПОДТЕКСТА В МЕДИАДИСКУРСЕ ПУБЛИЦИСТА

Анализируется специфика подтекста в медиадискурсе публицистов В. Познера и А. Ореха. Выявлены общность и различие подтекста и средств его выражения с учетом жанровой специфики медиатекстов и индивидуальных особенностей языковых личностей; объективные и субъективные факторы, влияющие на содержание и средстваreprезентации подтекстовой информации. На основе дискурсивного и семантико-стилистического анализа определена роль подтекста в отражении интенции авторов-публицистов в медиакоммуникации.

Ключевые слова: медиадискурс, публицистика, подтекст, информационно-медицинская языковая личность, речевой жанр, идиостиль

Феномен подтекста был и остается актуальным в лингвистике, так как это связано с насущной необходимостью человека общаться, явно или косвенно передавая различную информацию и воздействуя на собеседника. Особенno это стало очевидным и разнообразным по форме и используемым средствам в конвергентной медиасреде Интернета, когда роль медиакоммуникации значительно возросла, а арсенал средств и способов передачи информации увеличился.

Между тем сам феномен подтекста и его определение, связь со смежными понятиями по-прежнему остаются дискуссионными (см. работы: [1–8]). Ученые связывают явление подтекста с импликацией, глубинным смыслом текста, пресуппозицией, коннотацией и т.д. При этом есть попытки как дифференцировать данные понятия, рассматривая их в качестве смежных, так и отождествлять некоторые из них. Например, В.А. Кухаренко не дифференцирует подтекст и импликацию: «Подтекст (импликация) – это способ организации текста, ведущий к резкому росту и углублению, а также изменению семантического и/или эмоционально-психологического содержания сообщения без увеличения длины последнего» [1. С. 181].

Другие ученые различают данные понятия по характеру локализации, т.е. масштабам проявления в тексте, связывая подтекст с целой структурой текста, а импликацию – с его фрагментами (И.В. Арнольд [2], С.С. Сермягина [3] и др.). Е.И. Лелис предпринята попытка дополнительной дифференциации подтекста и импликации применительно к художественному тексту: «...импликация нерематична, поэтому однозначна и невариативна; подтекст рематичен, содержит новую для читателя информацию, поэтому многозначен, вариативен, поэтому труднее поддается структурированию» [4. С. 146]. Исследователь считает: «Импликация может содержать информацию, общую для целого ряда текстов. Подтекст уникален» [4. С. 147].

На наш взгляд, разная интерпретация данных понятий вполне возможна, но не является принципиальной, так как очевидна их взаимосвязь, а характер отражения импликации и подтекста в разных типах текстов может быть разным ввиду специфики сферы общения и особенностей восприятия адресатом. На роль адресата и необходимость учета данного фактора при рассмотрении подтекста указывают многие исследователи ([5, 6] и др.). Интерпретация любого текста связана с субъективными факторами деятельности адресата: его тезаурусом, социальным опытом, возрастом, уровнем речевой культуры, целями, особенностями ситуации и т.д. (см. об этом, например: [7]). В информационный тезаурус адресата входят и фоновые знания (пресуппозиция), связанные с подтекстом, актуальные для интерпретации текста.

В известной работе И.Р. Гальперина содержательно-подтекстовая информация выделяется наряду с содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной: «В основе содержательно-подтекстовой информации лежит способность человека к параллельному восприятию двух разных, но связанных между собой сообщений одновременно» [8. С. 40]. По мнению автора, подтекст – «...некая дополнительная информация, которая возникает благодаря способности читателя видеть текст как сочетание линейной и супралинейной информации» [8. С. 46].

Отражаясь в сознании адресата, разные виды информации, выделенные в концепции И.Р. Гальперина, приобретают статус смысла, который может быть поверхностным и глубинным. Глубинный смысл текста рассматривается некоторыми исследователями как «результат творческого обобщения автором и адресатом общего содержания текста, презентированного в сложной многоярусной системе языковых и неязыковых средств (графических, композиционных), реализующей авторское мировидение и его замысел. Является вариативным, недостаточно конкретным и определенным в интерпретационном аспекте. Глобальный концептуальный смысл текста (иначе, глубинный смысл текста) формируется на основе приобщения к смысловой макроструктуре текста, отражающей не только содержательно-фактуальную информацию, но и содержательно-концептуальную и подтекстовую (термины И.Р. Гальперина)» [9. С. 19].

Таким образом, подтекст как сложный феномен соотносится с рядом других понятий: с импликацией, пресуппозицией, глубинным смыслом текста. Подтекст трактуется нами как явно не выраженный имплицитный смысл, который связан с содержательно-концептуальной информацией текста и формированием его глубинного смысла с учетом пресуппозиции, социального и языкового опыта автора и адресата, уровня их культуры, целей и задач, характера описываемой ситуации.

В определении видов подтекста также отсутствует определенность, связанная с разным представлением о соотношении смежных с подтекстом терминов. Ретроспективно направленные и перспективно направленные импликации (подтексты) выделены В.А. Кухаренко [1]. И.Р. Гальперин различает ситуативную содержательно-подтекстовую информацию и ассоциативную [3]. Н.В. Пушкирова дифференцирует эмоциональный и кон-

венциональный типы подтекста (первый создает эмоциональный фон, второй уточняет обстоятельства действия) [10].

Обычно исследования подтекста касаются его отражения в художественных текстах ([1–3, 6, 10] и др.). Подтекст в публицистическом дискурсе изучается редко, хотя исследователи и отмечают его наличие в данной сфере коммуникации, связывая с использованием преимущественно синтаксических средств [11].

Л.А. Будниченко видит своеобразие подтекста в публицистическом дискурсе в том, что он, «во-первых, более определен и конкретен, во-вторых, может быть социально окрашен, выражая авторские оценки» [11. С. 265]. Действительно, публицистика имеет свои особенности. С.Г. Корконосенко определяет её как «вид творческой деятельности, для которого характерны социальная актуальность предмета отражения, идеологическая острота, яркость формы и интенция воздействия на общественное мнение, эмоции и поведение людей» [12. С. 226].

Цель статьи – выявить общие и индивидуальные особенности подтекста и средств его выражения в медиадискурсе публицистов В. Познера и А. Ореха, определить объективные и субъективные факторы, влияющие на содержание и средства презентации подтекста.

Обратимся к анализу конкретного материала. Для исследования нами были взяты посты в блоге В.В. Познера [13–20] и «Реплики» А. Ореха на радио «Эхо Москвы» [21–28] за апрель – июнь 2020 г. Выбор данных информационно-медийных языковых личностей обусловлен их публичностью, известностью, очевидным различием в идиостиле и характере отражения социальной оценочности, возможностью сравнительного анализа их реакций на одни и те же актуальные информационные поводы. Под информационно-медийной языковой личностью нами понимается «носитель языка, формирование и самореализация которого происходит под влиянием новых информационных технологий в результате участия в сетевом общении. Для информационно-медийной личности характерны: открытость как готовность к новой информации и насущная потребность в ней; публичность в оценке новой информации; многоуровневость и мозаичность мировидения, эклектичность мировосприятия; полидискурсивность; индивидуализация, самодостаточность, стремление к самопрезентации; свобода выражения себя, своих оценок и ценностных установок» [29. С. 264].

Методика исследования взятых для изучения медиатекстов является комплексной, основанной на использовании дискурсивного и семантико-стилистического анализа. Изучение 8 постов В.В. Познера и 8 «Реплик» Антона Ореха позволило выявить общность и различие в содержании и средствах презентации феномена подтекста в медиадискурсе данных информационно-медийных личностей; установить объективные и субъективные факторы, влияющие на специфику подтекста в медиадискурсе публицистов (сфера общения, жанрово-стилистические и тематические особенности медиатекстов, выбор коммуникативных тактик и стратегий, идиостилевое своеобразие).

В.В. Познер имеет репутацию интеллектуала, человека эрудированного, профессионала в области журналистики. Стиль его общения демонстрирует высокий уровень речевой культуры, стремление тщательно взвешивать слова, общаясь публично. При этом, затрагивая острые проблемы, отражающие актуальные информационные поводы, журналист использует и подтекст, учитывая фактор адресата. Анализ постов в блогах В.В. Познера позволяет сделать некоторые выводы, касающиеся особенностей средств и способов выражения подтекстовой информации. Рассмотрим их.

Так, касаясь темы распространения ковида в стране и внесенных поправок в Конституцию Российской Федерации, журналист *уходит от прямой конкретизации своего мнения*, призывая «извлечь уроки из всего происходящего» и «голосовать правильно» [13]. Что это означает конкретно, не эксплицируется, остается для размышления, исходя из предыдущего контекста (фактов, указывающих, на то, что о коронавирусной инфекции рассуждают люди, которые «такую чушь несли, что просто уши вяли»; а некоторые избиратели даже не знают количество внесенных в Конституцию поправок).

Элементы недоговоренности иногда проявляются в медиатекстах В. Познера на основе *актуализации многозначности слов* ввиду отсутствия необходимых для понимания зависимых от слова-носителя имплицитного смысла других единиц и *метафоризации* (далее курсивом в статье выделяются анализируемые языковые средства в рассматриваемых фрагментах). Например, рассказывая о впечатлениях вернувшегося с войны человека, увидевшего, как хорошо живут немцы в Германии, журналист использует глагол «задуматься», не уточняя, о чем: «*Задумался* не только он. Люди вернулись гордыми победителями – и многие с вопросами. И я уверен, что отмена парада после 1945 года было продуманным решением Сталина. Направленным на то, чтобы *погасить тот «огонь» гордости и самооценки, который горел в груди этих героев*» [14]. Индивидуально-авторская метафора отражает актуальный смысл «целенаправленно подавить гордость и самооценку у народа-победителя в Великой Отечественной войне», который формируется в данном контексте.

Часто используются и *грамматические средства* выражения скрытого смысла для ухода от прямых оценок предмета речи: *неопределенно-личные местоимения* (*какие-то, какое-то, что-то*), а также *эвфемизация* (*чуть-чуть другое; странное восприятие событий*) в целях смягчения оценки. Приведем пример. Рассказывая об участии в передаче «Большая игра», В.В. Познер отмечает: «...соведущий Дмитрий Саймс высказался в таком роде, что протестами, возможно, управляют *какие-то силы* во главе с Джорджем Соросом, которые хотят «свалить» Трампа. Не буквально так сказал, конечно, но суть его высказываний такова. Словом, что это не общенародное выражение протеста черных и белых, а это *что-то чуть-чуть другое*.

Вчера, находясь в компании вполне интеллигентных людей, я бы даже сказал – скорее либеральных, мне пришлось выслушать довольно страстные слова о том, что сами афроамериканцы во всем виноваты, слава богу,

что слово «черномазые» не прозвучало, хотя оно витало, мол, у черных больше прав, чем у белых... В общем, *какое-то странное восприятие событий* [15]. Резюме В.В. Познера содержит мягкую оценку чужой точки зрения, с которой он не согласен, хотя это несогласие выражено в достаточно сдержанной форме, чтобы не обидеть «вполне интеллигентных людей» (имена не названы).

Разного рода *обобщающие суждения, лишенные конкретизации*, характерны в целом для медиадискурса В.В. Познера: «Впрочем, у *нас* осуждать американскую систему совсем не опасно и даже *поощряется*» [15]. Касаясь сложной ситуации в США в связи с убийством чернокожего гражданина полицейским, журналист оценивает ситуацию в целом, без имен и конкретики: «Говорят и пишут люди, которые плохо разбираются в Америке, которые там не жили, а если и жили, то, как правило, жили как иностранцы и недолго, а не как американцы» [16]. Кто конкретно является объектом критики, остается неясным.

Среди *синтаксических средств*, связанных с феноменом подтекста в медиадискурсе В.В. Познера, отметим *неопределенно-личные предложения*, а также *стилистический прием антифразиса и кавычки как одно из графических средств*, выражающие иронию. Так, оценивая празднование в России юбилея И. Бродского, В.В. Познер отмечает: «Но почему-то ничего или почти ничего *не говорили* о том, как в «славное советское время» Бродского *шельмовали, преследовали, судили, давали срок, оскорбляли*» [17]. Подтекст, усиленный приемом градации, актуализирует скрытый смысл и негативную оценку не только того, что было, но и того, что наблюдается сейчас (замалчивание прошлого). Использование *экспрессивов*, актуализирующих резкое неприятие отношения к Бродскому в советской России, сочетание их с лишенными субъекта действия синтаксическими конструкциями создают эффект скрытого смысла конкретных имен тех, по чьей вине это происходило и происходит: «Я подумал: почему об этом ничего или почти *ничего не было сказано* в день восьмидесятилетия великого поэта, нобелевского лауреата, которого *лишили гражданства и вынуждали* из страны под бурные аплодисменты *подлецов и подонков*» [17].

Неопределенно-личные предложения особенно часто встречаются в медиатекстах В.В. Познера: «Ровно 43 года тому назад в Китайской Народной Республике был *снят* запрет на чтение произведений Шекспира. Да-да, 25 мая 1977 года Шекспир был *разрешен* наконец в КНР. Почему *не разрешали* – я не знаю, но, тем не менее» [18]. Отчасти оценка конкретизируется далее («Вообще я думаю, что запрещать книгу – это показатель не только отсутствия демократии, но и, конечно, недоверия к собственному народу»), однако субъекты действия не называются.

Одним из средств выражения подтекста, связанного с эмоционально-оценочным отношением журналиста к объекту описания или рассуждения, являются *ирония и метафоризация*. В приведенном ниже примере ирония выражается в использовании оборота «так называемая» и метафоры «мрак и ужас сталинского времени», отражающей ассоциативный подтекст о

пытках и репрессиях того времени. Рассуждая о книге В. Гроссмана «Жизнь и судьба», журналист пишет: «Он завершил работу над этой книгой в 1960 году, это было время *так называемой «оттепели»* в Советском Союзе, когда казалось, что *мрак и ужасы сталинского времени* ушли навсегда и что, наконец, люди заживут достойной жизнью. ... Но это было, конечно, заблуждение. Хотя *всесилие КГБ и сталинского террора* все-таки остались позади» [18]. Данное образное обобщение усиливает эффект воздействия, однако на уровне подтекстовой информации остаются субъекты действия, которые не конкретизируются.

Иногда подтекстовая информация содержится в самом названии медиатекстов в блоге В.А. Познера («Об уровне некоторых западных СМИ» [19], «О том, кому не надо давать слово» [20]) и использовании лексемы *намек*. Об отсутствии конкретики можно судить, например, по фрагменту: «...в *разных западных изданиях* возник *негромкий намек* на то, что в России с COVID-19 дело обстоит плохо. Настолько, что я стал получать письма – и до сих пор получаю – от друзей в Америке, которые спрашивают: «Как дела? Здоровы ли вы? Мы слышали, что у вас все очень плохо, тяжелая ситуация», ну и так далее. Ну и мы показывали, как плохо в Италии, в Испании и, конечно, особенно в Америке. Но тут *намек другой*, мол, смотрите, как у них плохо, *а дальние делайте выводы сами, что у нас лучше*».

Интересно, что сам автор далее разъясняет подтекстовую информацию, учитывая фактор адресата и формируя у него определенную оценку таких намеков, противопоставляя эвфемизм и прямую оценку: «*Мягко говоря* – непрофессионально. *Не мягко* я сказал бы так, рассуждение у них такое: поскольку Россию мы не любим, особенно Путина, ничего там успешного быть не может, все там хуже и, следовательно, низкая смертность в России – это обман» [19].

Еще одним средством выражения подтекста в медиадискурсе В.В. Познера служат *риторические вопросы*, которые приглашают к размышлению, являются открытыми и содержат в подтексте авторскую оценку происходящего: «Но зачем же нам отвечать примерно таким же образом? Почему бы просто презрительно не проигнорировать это и не опускаться на их уровень? Может, кто-нибудь мне объяснит?...» [19].

В целом В.В. Познер как публицист использует широкий спектр средств выражения имплицитной информации, включая изобразительно-выразительные средства и приемы (метафоризацию, эвфемизацию, антitezу, риторические вопросы и др.). Данные феномены в медиадискурсе рассматриваемой языковой личности являются сигналами подтекста, стимулируя адресата к ассоциативно-смысловому диалогу с автором.

Чтобы выявить общее и различное, а также наличие жанровой и идиостилевой специфики в средствах выражения подтекста, рассмотрим медиадискурс другого публициста – журналиста и ведущего передачи «Реплика Ореха» на радио «Эхо Москвы» [20–28]. Данный жанр предполагает оперативную реакцию на актуальный информационный повод в виде короткого медиатекста, который, как правило, содержит острую критику, выра-

женную в яркой экспрессивной форме с использованием ряда стилистических приемов и выразительных средств (эфирная специфика, звучащий характер медиатекста как средства выражения подтекста могут быть предметом специального исследования и в данной статье на рассматриваются). Ключевыми средствами выражения подтекстовой информации обычно являются *ирония, гротеск, доведение до абсурда*, имеющие острую социальную оценочность. Обращаясь к ранее рассмотренным типологиям подтекста, отметим, что обычно данный журналист использует *перспективно направленный подтекст*, предполагающий повторение и усиление смысла, актуализированного в начале изложения или выраженного в названии темы «Реплики». Например, в медиатексте «Чтобы не помнили» [23] речь идет о борьбе с памятниками в США. Социальная оценка выражена автором в гротескной форме с использованием приема доведения до абсурда. При этом освещение проблемы включает и проекцию на Россию: *«А по-хорошему, ликвидировать необходимо любые монументы историческим деятелям, поставленные раньше чем 50 лет назад. Потому что все эти люди так или иначе были или расистами, или сексистами, или имели другие неполиткорректные пополнования. Прекрасным будет общество, которое начнет писать историю не просто с чистого листа, а прямо с текущего момента, потому что прошлое было неидеально. Если вы спросите меня, мол, а как же, Антон, с памятниками Ленину или Сталину, я вам отвечу просто: пускай стоят!»* [23].

В медиатексте «Берегите себя, оставайтесь дома!» в качестве средств выражения подтекстовой информации о разных способах борьбы с коронавирусом и отношении к нему журналистом используются *неопределенные местоимения* наряду с *эпитетами, приемами анафоры и синтаксического параллелизма, антитезы*: «Есть полицейская китайская модель. Есть либеральная шведская. Есть раздолбайская бразильская. *Кто-то* хотел снизить нагрузку на медиков. *Кто-то* вырабатывал коллективный иммунитет. *Кто-то* спасал экономику, полагая, что экономические потери приведут к еще более тяжелым последствиям, чем эпидемия. Но, так или иначе, *все нормальные страны* стремились по-своему спасти своих людей и помочь им. *Россия* оказалась в числе стран, *которым не до того*» [24].

Из средств выражения ассоциативной содержательно-подтекстовой информации в медиадискурсе А. Ореха можно отметить следующие:

– *прецедентные тексты*, иногда вынесенные в название и усиливающие прагматику: «Страшная месть» [28] (ассоциация с произведением Н.В. Гоголя), «Валентина и Валентина» [20] (ассоциативная связь с произведением А.В. Вампилова «Валентин и Валентина»);

– *сравнение* в медиатексте «Дагестан – наша маленькая Италия» [27] (в подтексте просматривается связь между критической ситуацией с коронавирусом в Дагестане и Италии);

– *эвфемизмы* («некий лихач», «отравитель с ядом» в медиатексте «Страшная месть», посвященном сюжету о якобы состоявшемся отравлении в Праге): «Истории с неким лихачом, который три недели назад, в раз-

гар пандемии, всевозможных карантинов и закрытия границ прибыл в Прагу с чемоданчиком рицина, чтобы отравить *мэра чешской столицы* и еще *какого-то местного деятеля*, пока кажется мне слишком карикатурной. Вдвойне любопытно связывать это с демонтажем памятника маршалу Коневу. *Максимум, чего я ожидал в ответ на эту акцию пражского начальства, – это переименования станции московского метро*» [28]. В данном случае автор обращается и к иронии как излюбленному приему в своих сообщениях.

Среди средств выражения конвенционального подтекста (уточняющего обстоятельства действия) журналист использует следующие:

– *метафоризацию* («В проекте был *финансовый беспорядок* и при желании ухватиться там было за что» [22]);

– *эвфемизацию в сочетании с анафорой* («Еще раз обратите внимание, что в поддержку Серебренникова выступают самые разные художники. *Даже те, кому его творчество совсем не близко, даже те, кто в иные дни сидит с властью в одном президиуме*» [22]);

– *антифразис* («Такой разгул демократии и прозрачности, что фальсификации становятся просто невозможны. Потому что возможным становится вообще любой способ голосования» [25]).

В целом подтекст в медиадискурсе А. Ореха характеризуется большей остротой социальной оценки, категоричностью и прозрачностью позиции автора. С точки зрения использованных средствreprезентации скрытых смыслов можно сделать вывод, что спектр данных средств особенно широк и многообразен. Наряду с использованием, как и в медиадискурсе В.В. Познера, неопределенно-личных предложений и неопределенных местоимений, обобщений без конкретизации субъектов действий, метафоризации и эвфемизации, широко применяются другие средства выражения подтекстовой информации и воздействия на адресата: гротеск, ирония, прием доведения до абсурда. Некоторые средства используются гораздо чаще, чем в медиадискурсе В.В. Познера, например эвфемизация. Подтекст у В.В. Познера, если воспользоваться типологией Н.В. Пушкаревой [10], чаще является конвенциональным, а у А. Ореха – эмоциональным.

Общие функции подтекста в рассмотренных медиадискурсах В. Познера и А. Ореха заключаются в выражении социальной оценки и авторской позиции, в характеристике информационного повода, в воздействии на массового адресата. Вместе с тем сила воздействия с точки зрения прилагаемых автором усилий у журналистов различается: она имеет сдержанно-интеллигентный характер у В. Познера и напряженно-экспрессивный откровенный характер у А. Ореха. Различие связано с тем, что подтекст в дискурсе А. Ореха в основном является эмоциональным, формирующим эмоциональный фон, а описываемые явления интерпретируются в критическом ключе с использованием разнообразных экспрессивных средств. Если В.В. Познера как публициста можно отнести к носителям речевой культуры элитарного типа, то А. Орех является носителем среднелитературного типа речевой культуры, судя по использованным им языковым

средствам. Отчасти это связано с особенностями идиостиля и медиажанров блога у В.В. Познера и «Реплики Ореха» у Антона Ореха.

Таким образом, сравнение медиадискурсов двух публицистов, совершенно разных по взглядам и идиостилю, позволило установить наличие общих средств презентации подтекста, используемых в их публицистическом дискурсе. Установлены объективные и субъективные факторы, влияющие на специфику подтекста в медиадискурсе публицистов (сфера медийного общения, жанрово-стилистические и тематические особенности медиатекстов, идиостилевое своеобразие информационно-медийных языковых личностей).

В целом дальнейшее изучение подтекста как исключительно важного феномена в медиакоммуникации представляется перспективным как в плане идиостилевых особенностей разных типов информационно-медийных личностей, так и в жанрово-стилистическом аспекте.

Литература

1. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М. : Просвещение, 1988. 192 с.
2. Арнольд И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкоznания. 1982. № 4. С. 83–91.
3. Сермягина С.С. Имплицитное и подтекст: общее и специфическое // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300 (1). С. 27–30. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/implitsitnoe-i-podtekst-obschee-i-spetsificheskoe> (дата обращения: 27.09.2020).
4. Лепис Е.И. Подтекст и смежные явления // Вестник Удмуртского университета. Серия: История и филология. 2011. Вып 4. С. 143–151. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podtekst-i-smezhnye-yavleniya> (дата обращения: 27.09.2020).
5. Воронушкина О.В. Концептуальная база системного описания скрытых смыслов // Филология и человек. 2016. № 1. С. 7–19. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-baza-sistemnogo-opisaniya-skrityh-smyslov> (дата обращения: 27.09.2020).
6. Барабаш Н.А. Многослойность подтекста // Ярославский педагогический вестник. 2007. Вып. 4 (53). С. 103. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/Mnogosloynost-podteksta> (дата обращения: 27.09.2020).
7. Демьянков В.З. Интерпретация политического дискурса в СМИ // Язык СМИ как объект междисциплинарного исследования : учеб. пособие / отв. ред. М.Н. Володина. М., 2003. С. 116–133.
8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М. : КомКнига, 2007. 144 с.
9. Болотнова Н.С. Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезаурус. Томск : Изд-во ТГПУ, 2008. 384 с.
10. Пушкирова Н.В. Подтекст как средство углубления смысловой перспективы прозаического текста // Мир русского слова. 2012. № 3. С. 73–79. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podtekst-kak-sredstvo-uglubleniya-smyslovoy-perspektivy-prozaicheskogo-teksta> (дата обращения: 27.09.2020).
11. Будниченко Л.А. Подтекст в публицистическом дискурсе // Вестник Чувашского университета. 2012. № 2. С. 260–266. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/podtekst-v-publisisticheskem-diskurse> (дата обращения: 27.09.2020).
12. Корконосенко С.Г. Публистика // Медиалингвистика в терминах и понятиях : словарь-справочник / под ред. Л.Р. Дускаевой. М., 2018. С. 226–228.

13. Познер В.В. Это наша страна! URL: <https://pozneronline.ru/2020/06/28192/> (дата обращения: 27.09.2020).
14. Познер В.В. О настоящих героях и Сталине. URL: <https://pozneronline.ru/2020/06/28080/> (дата обращения: 27.09.2020).
15. Познер В.В. О США и сложной системе управления. URL: <https://pozneronline.ru/2020/06/27996/> (дата обращения: 27.09.2020).
16. Познер В.В. О том, что происходит в Америке, и что пишут и говорят об этом у нас. URL: <https://pozneronline.ru/2020/06/27889/> (дата обращения: 27.09.2020).
17. Познер В.В. О великих русских поэтах – Бродском и Самойлове. URL: <https://pozneronline.ru/2020/06/27796/> (дата обращения: 27.09.2020).
18. Познер В.В. О книгах и страхе. URL: <https://pozneronline.ru/2020/05/27674/> (дата обращения: 27.09.2020).
19. Познер В.В. Об уровне некоторых западных СМИ. URL: <https://pozneronline.ru/2020/05/27539/> (дата обращения: 27.09.2020).
20. Познер В.В. О том, кому не надо давать слово. URL: <https://pozneronline.ru/2020/04/26900/> (дата обращения: 27.09.2020).
21. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Валентина и Валентина. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2668211-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
22. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Линия защиты и рубеж обороны. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2664511-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
23. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Чтобы не помнили. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2659420-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
24. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Берегите себя, оставайтесь дома. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2656946-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
25. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Пошли на поправки! URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2652892-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
26. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. «Но буржуазная зараза там так и ходит по пятам». URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2648881-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
27. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Дагестан — наша маленькая Италия. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2644933-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
28. Орех А. РЕПЛИКА ОРЕХА. Страшная месть. URL: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2632838-echo/> (дата обращения: 27.09.2020).
29. Болотнов А.В. Текстовая деятельность как отражение коммуникативного и когнитивного стилей информационно-мейдийной языковой личности. Томск : Изд-во ЦНТИ, 2015. 274 с.

Some Features of the Subtext in the Media Discourse of a Publicist

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 25–37. DOI: 10.17223/19986645/71/2

Aleksey V. Bolotnov, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russian Federation). E-mail: avb@sibmail.com

Keywords: media discourse, journalism, subtext, information and media language personali-ty, idiosyncrasy.

The article points to the problem of defining the subtext and means of its representation in the media discourse of language personalities of publicists. It has been revealed that the subtext is associated with such concepts as implication, presupposition, the deep meaning of the text. The author of the article defines the subtext as an implicit meaning, which is associated with the content-conceptual information of the text and the formation of its deep meaning, taking into account the presupposition, the author's and the addressee's social and linguistic experience, the level of their culture, aims and objectives, the nature of the described situation. The aim of the article is to reveal the general and individual characteristics of the subtext and means of its expression in the media discourse of the publicists Vladimir Pozner and An-

ton Orekh, to define the objective and subjective factors that influence the content of the subtext and means of its representing. The material for the research was Pozner's blog posts and Orekh's "Replica" on the Echo of Moscow radio station for April–June 2020. The research methodology is complex and based on the use of discursive and semantic-stylistic analysis. The study of eight posts by Pozner and eight "replicas" by Anton Orekh made it possible to determine the common and different features of the subtext and means of its expression with due consideration of the genre specificity and individual peculiarities of these public information and media personalities. Among the common features of the expression of subtextual information, an explicitly and/or indirectly expressed social assessment of current news, an appeal to a mass addressee, the use of indefinite personal sentences and indefinite pronouns, generalizing judgments without specifying the subjects of actions, euphemisms, metaphors, and irony were identified. The publicists' individual authorial specificity in the expression of implicit meanings is connected with different levels of acuity and expression in their representation of the social assessment of the news stories they covered, with a different type of speech culture of the publicists, which affects the selection and organization of linguistic means and methods of expressing implicit meanings. Pozner has an elite speech culture, and he is characterized by a restrained-intelligent style in expressing the subtext, the desire to deliver assessments correctly and carefully. Orekh, on the contrary, is characterized by a greater acuteness and openness of his position and an expressive manner of using techniques of reduction to absurdity, grotesque, antiphrasis, playing with precedent texts, irony, individual authorial metaphors. The comparison of the media discourses of the two publicists, completely different in views and idiosyncrasies, has made it possible to determine the common means of representing the subtext used in their media discourse. The objective and subjective factors that influence the specifics of the subtext in the media discourse of the publicists (the sphere of media communication, genre-stylistic and thematic features of media texts, idiosyncrasy of information and media language personalities) have been determined.

References

1. Kukharenko, V.A. (1988) *Interpretatsiya teksta* [Interpretation of the Text]. Moscow: Prosveshchenie.
2. Arnol'd, I.V. (1982) *Implikatsiya kak priem postroeniya teksta i predmet filologicheskogo izucheniya* [Implication as a method of constructing a text and a subject of philological study] *Voprosy yazykoznaniya*. 4. pp. 83–91.
3. Sermyagina, S.S. (2007) *Implitsitnoe i podtekst: obshchee i spetsificheskoe* [The implicit and subtext: general and specific]. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 300 (1). pp. 27–30. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/implitsitnoe-i-podtekst-obschhee-i-spetsificheskoe> (Accessed: 27.09.2020).
4. Lelis, E.I. (2011) The subtext and related notions. *Vestnik Udmurtskogo universiteta. Seriya: Istorija i filologiya – Bulletin of Udmurt University. History and Philology Series*. 4. pp. 143–151. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/podtekst-i-smezhnye-yavleniya> (Accessed: 27.09.2020). (In Russian).
5. Voronushkina, O.V. (2016) The Conceptual Base of the System Description of Implicit Meanings. *Filologiya i chelovek – Philology & Human*. 1. pp. 7–19. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontseptualnaya-baza-sistemnogo-opisaniya-skrytyh-smyslov> (Accessed: 27.09.2020). (In Russian).
6. Barabash, N.A. (2007) *Mnogosloynost' podteksta* [Multilayeredness of subtext]. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin*. 4 (53). [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/Mnogosloynost-podteksta> (Accessed: 27.09.2020).
7. Dem'yankov, V.Z. (2003) *Interpretsiya politicheskogo diskursa v SMI* [Interpretation of political discourse in the Media]. In: Volodina, M.N. (ed.) *Yazyk SMI kak ob'ekt mezdistsiplinarnogo issledovaniya* [Language of the Media as an Object of Interdisciplinary Research]. Moscow: Moscow State University. pp. 116–133.

8. Gal'perin, I.R. (2007) *Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya* [Text as an Object of Linguistic Research]. Moscow: KomKniga.
9. Bolotnova, N.S. (2008) *Kommunikativnaya stilistika teksta: slovar'-tezaurus* [Communicative Stylistics of the Text: Thesaurus Dictionary]. Tomsk: Tomsk State Pedagogical University.
10. Pushkareva, N.V. (2012) Subtext as the way to deepen prosaic text sense perspective. *Mir russkogo slova – The World of Russian Word*. 3. pp. 73–79. [Online] Available from: <https://cyber-leninka.ru/article/n/podtekst-kak-sredstvo-uglubleniya-smyslovoy-perspektivy-prozai-cheskogo-teksta> (Accessed: 27.09.2020). (In Russian).
11. Budnichenko, L.A. (2012) Subtext in Mass-Media Discourses. *Vestnik Chuvashskogo universiteta – Chuvash University Bulletin*. 2. pp. 260–266. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/podtekst-v-publitsisticheskem-diskurse> (Accessed: 27.09.2020). (In Russian).
12. Korkonenko, S.G. (2018) Publitsistika [Opinion journalism]. In: Duskaeva, L.R. (ed.) *Medialingvistika v terminakh i ponyatiyakh: slovar'-spravochnik* [Medalinguistics in Terms and Concepts: Reference Dictionary]. Moscow: FLINTA. pp. 226–228.
13. Pozner, V.V. (2020) Eto nasha strana! [This is our country!]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/06/28192/> (Accessed: 27.09.2020).
14. Pozner, V.V. (2020) O nastoyashchikh geroyakh i Staline [On real heroes and Stalin]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/06/28080/> (Accessed: 27.09.2020).
15. Pozner, V.V. (2020) O SShA i slozhnoy sisteme upravleniya [On the USA and a complex management system]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/06/27996/> (Accessed: 27.09.2020).
16. Pozner, V.V. (2020) O tom, chto proiskhodit v Amerike, i chto pishut i govoryat ob etom u nas [About what is happening in America, and what they write and say about it here]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/06/27889/> (Accessed: 27.09.2020).
17. Pozner, V.V. (2020) O velikikh russkikh poetakh – Brodskom i Samoylove [About the great Russian poets – Brodsky and Samoilov]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/06/27796/> (Accessed: 27.09.2020).
18. Pozner, V.V. (2020) O knigakh i strakhe [About books and fear]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/05/27674/> (Accessed: 27.09.2020).
19. Pozner, V.V. (2020) Ob urovne nekotorykh zapadnykh SMI [On the level of some Western media]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/05/27539/> (Accessed: 27.09.2020).
20. Pozner, V.V. (2020) O tom, komu ne надо давать слово [About who shouldn't be given the floor]. *Pozner Online*. [Online] Available from: <https://pozneronline.ru/2020/04/26900/> (Accessed: 27.09.2020).
21. Orekh, A. (2020) Valentina i Valentina [Valentina and Valentina]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2668211-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
22. Orekh, A. (2020) Liniya zashchity i rubezh obrony [Line of defense and defensive line]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2664511-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
23. Orekh, A. (2020) Chtoby ne pomnili [Not to be remembered]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2659420-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
24. Orekh, A. (2020) Beregite sebya, ostavaytes' doma [Take care of yourself, stay at home]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2656946-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
25. Orekh, A (2020). Poschl na popravki! [Agreed with the amendments] *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2652892-echo/> (Accessed: 27.09.2020).

-
26. Orekh, A. (2020) “No burzhuaznaya zaraza tam tak i khodit po pyatam” [“But there the bourgeois infection Wanders, treading on heels nigh”]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2648881-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
27. Orekh, A. (2020) Dagestan – nasha malen’kaya Italiya [Dagestan is our little Italy]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2644933-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
28. Orekh, A. (2020) Strashnaya mest’ [A Terrible Vengeance]. *Ekho Moskvy* [Echo of Moscow]. [Online] Available from: <https://echo.msk.ru/programs/repl/2632838-echo/> (Accessed: 27.09.2020).
29. Bolotnov, A.V. (2015) *Tekstovaya deyatel’nost’ kak otrazhenie kommunikativnogo i kognitivnogo stiley informatsionno-mediynoy yazykovoy lichnosti* [Textual Activity as a Reflection of the Communicative and Cognitive Styles of Information and Media Linguistic Personality]. Tomsk: Izd-vo TsNTI.

УДК 81'221.24
DOI: 10.17223/19986645/71/3

Г.В. Губина, М.О. Гузикова

НЕМАНУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ЖЕСТОВОЙ РЕЧИ В МУЛЬТИЛИНГВАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ¹

Исследуется функционирование немануального компонента жестовой речи в рамках мультилингвальной жестовой коммуникации. В условиях относительной унимодальности проводится мультимедийный опрос носителей и пользователей двух жестовых языков. Предварительные выводы подтверждают значимость немануальных маркеров и высокую степень их влияния на понимание иностранной жестовой речи, а также выявляют зависимость этого влияния от отношений между используемыми языками.

Ключевые слова: жестовая речь, немануальный компонент жестовой речи, немануальные маркеры жестовой речи, жестовое мультиязычие, бимодальность, унимодальность, межъязыковое взаимодействие глухих

Немануальный компонент и немануальные маркеры

Жестовые языки глухих и слабослышащих людей (далее – ЖЯ), несмотря на свое название, состоят не только из жестов рук. О наличии в них минимальных структурных единиц, аналогичных фонемам звучащих языков, впервые заговорил американский лингвист Уильям Стоуки, выпустивший фундаментальный труд «*Sign language structure*» [1]. В нем Стоуки не только дал обзорное описание лингвистики американского ЖЯ, но и определил главные мануальные составляющие жеста: локализацию, характер движения и конфигурацию руки. Позднее исследователи дополнили список минимальных компонентов ориентацией руки [2] и немануальной составляющей [3], к которой относятся такие речевые маркеры, как мимика, артикуляция, а также движения головой и корпусом тела (далее – немануальные маркеры). В список немануальных артикуляторов обычно входят голова, части лица, плечи, туловище. Отдельно отмечается артикуляция рта, состоящая из «маусинга» – зачастую беззвучного проговаривания губами слов звучащего языка, и губных жестов (жестов рта), воспроизводящихся независимо от звучащего эквивалента [4].

Будучи неотъемлемой частью жестового языка как лингвистического явления, немануальный компонент, однако, еще не изучен в должной мере. Кроме того, ранее немануальные маркеры игнорировались лингвистами вовсе, что могло быть связано с их ошибочной отнесенностью к эмоциональной составляющей речи и распространенной ассоциацией с ее экспрессивным выражением. Все изменилось, когда в 1999 г. исследователи

¹ Статья написана при поддержке гранта РФФИ № 17-29-09136/19.

мимики носителей ЖЯ показали, что у глухих людей выражение эмоций контролируется правым полушарием, в то время как левое полушарие отвечает за выражение лингвистической информации [5]. Таким образом, в результате эксперимента было доказано, что немануальное сопровождение жестов в речи глухих является частью языка, а не его эмотивным компонентом. С этого момента лингвисты начали проявлять интерес к немануальному компоненту как к элементу языковой системы, однако объектом обширных исследований он все еще становится не очень часто [6. Р. 22]. Тем не менее немногочисленные исследования показывают, что использование данного явления затрагивает все уровни языковой системы – от не несущих смыслового значения фонологических компонентов лексических единиц до дискурсивных маркеров [7. Р. 668]. Более того, некоторые работы доказывают, что немануальные маркеры также могут быть обязательным фонологическим компонентом жеста, проявляющимся, к примеру, при разграничении понятий, схожих или совпадающих мануально («минимальные пары жестов») [8. С. 89].

Анализируя специфику употребления немануальных и комбинированных жестов, языковеды классифицируют функции немануального компонента, отталкиваясь от разных оснований и пользуясь методологией, зависящей от конкретного направления исследования. Например, французская исследовательница Эмили Шетла-Пеле определяет эти функции, исходя из выделения двух условных уровней, в которых он проявляется, – лексического и уровня высказывания [6. Р. 22]. Нидерландский лингвист Роланд Пфау делит функции немануального компонента на грамматические (фонология, морфология, синтаксис, прагматика) и просодические (ударение, ритм, интонация) [9. Р. 383]. Обобщая результаты последних исследований, кратко охарактеризуем некоторые функции немануальных маркеров: морфологическую, синтаксическую, просодическую и социолингвистическую.

Морфологическая функция немануального компонента включает в себя в основном две сферы влияния – процесс адъективации при изменении жеста-существительного и процесс адвербализации при изменении жеста-глагола [9. Р. 385]. Существуют исследования, устанавливающие корреляцию между частью речи мануального жеста и сопровождающим его немануальным маркером. Отмечается, например, что в ряде ЖЯ жесты-существительные чаще сопровождаются артикуляцией, а жесты-глаголы – жестами рта. Это проявляется, в частности, в русском [10. Р. 170], австрийском [11] и ирландском [12] ЖЯ.

Немануальный компонент имеет и важное синтаксическое значение. Нахмуренными бровями и энергичными поворотами головы чаще всего маркируется отрицание (в русском, польском [13. Р. 314], американском, германском и большей части других жестовых языков [14. Р. 11]); приподнятые брови и подбородок могут активно участвовать в составлении вопросительных конструкций [15. Р. 186] и маркировании модальности высказывания (существуют модальные выражения лица, отвечающие за определение гипотезы, условности, двойственности, выражение императива [2. Р. 230–232]). Повелительное наклонение и некоторые способы выра-

жения просьбы могут проявляться пристальным взглядом на адресата и суженными глазами, наклонами головы и/или корпуса вперед, покачиванием головой и опусканием уголков губ, нахмуренными бровями [16. С. 45–46]. Наконец, исследования подтверждают, что немануальные маркеры могут использоваться при актуальном членении предложения. К примеру, в американском, русском и каталонском ЖЯ [9. Р. 390] при выделении темы в высказывании важную роль играют приподнятые брови.

Наиболее заметно значимость немануального компонента проявляется в просодическом сопровождении, когда скорость жестикуляции в сочетании с особенностями работы немануальных артикуляторов регулируют интонацию высказывания, позволяют делать ударение на тех или иных понятиях. Зачастую роль немануальных маркеров в жестовой речи сравнивается с аналогичной ролью знаков препинания в речи письменной и тональности в речи звучащей [17. Р. 237].

Некоторые исследователи выделяют особую функцию немануальных маркеров, в частности артикуляции и жестов рта, в качестве показателя некоторых социолингвистических различий в сурдосообществе. Так, работа британских исследовательниц Рейчел Саттон-Спенс и Бенси Уолл на материале британского ЖЯ показала, что особенности артикуляционного сопровождения мануальных жестов могут проявляться в зависимости от языковой политики государства в отношении национального ЖЯ, методики обучения глухих в школах, распространенности ЖЯ на определенной территории, а также окружения глухого и степени его взаимодействия со звучащим языком, маркируя также возможную принадлежность к определенному «социальному классу» [18. Р. 23–24]. Помимо прочего, отмечается, что те или иные маркеры, свойственные «основному» ЖЯ, могут отсутствовать в некоторых его вариантах. Например, в деревенском диалекте балийского ЖЯ не используется артикуляция, сопровождающая жесты в его общепринятом варианте [4. Р. 39].

Мультиязычие и проблема взаимопонятности жестовых языков

Мультиязычие, называемое также многоязычием, полиязычием и плюрилингвизмом, – это практика использования двух и более языков, а также владение связанными с ними социокультурными аспектами коммуникации. В контексте жестовой речи мультиязычие может проявляться унимодально, т.е. владением несколькими ЖЯ, либо бимодально – одновременным владением жестовым и звучащим языками. В узком смысле под мультиязычием глухих понимается прежде всего унимодальное значение [19. Р. 3].

В рамках настоящего исследования необходимо обзорно рассмотреть два следующих явления. Во-первых, важным аспектом изучения языков в контексте их взаимодействия является определение их языкового рода. Одни из первых работ, изучавших генетико-исторические связи между жестовыми языками, касались реконструкции их семейного древа с определением общего прабаща. Американский исследователь Ллойд Андерсон,

проанализировав первые источники, упоминающие ЖЯ, назвал таковым юго-восточный европейский ЖЯ, который, по его мнению, разделился наprotoфранцузский, старопольский и protoиспанский языки [20. Р. 27]. Следуя этой гипотезе, Можно сказать, что protoфранцузский породил русский, американский и многие европейские ЖЯ; protoиспанский стал предком испанского, венесуэльского и ирландского ЖЯ, а британский, германский и шведский ЖЯ произошли от другого – общего северо-восточного европейского ЖЯ. Позже часть предложенных Андерсоном отношений была опровергнута (к примеру, сейчас доказано, что ирландский ЖЯ родствен французскому, но не испанскому ЖЯ [21]), однако проделанная работа стала первой и очень важной попыткой категоризации жестовых языков.

Другой подход предложил квебекский компаративист Анри Виттманн в статье «Classification linguistique des langues signées non vocalement» [22]. Основываясь на схожести лексики разных ЖЯ и их зарегистрированных языковых контактах, Виттманн выделил следующие семьи жестовых языков: французскую, британскую, японскую, немецкую, лионскую и две семьи-прототипа. Ввиду того, что предложенная классификация недостаточно полно освещала известные языки, позже список пополнился арабской, шведской и другими семьями, в том числе семьями языков-изолятов. В настоящий момент дополненная классификация Виттманна считается наиболее подробной и обоснованной, она также цитируется в базе данных Ethnologue (см. характеристику видеоматериала).

Следует отметить попытку объединения ЖЯ в семьи на основании схожести элементов их мануальных азбук – дактилем. Так, проанализировав и сопоставив современные и исторические варианты ручных азбук европейских жестовых языков (всего 76 азбук), исследователи выделили шесть главных языковых групп, включая три большие (австралийскую, британскую, французскую), три малые (русскую, испанскую и шведскую), а также совсем малые группы (польскую, афгано-иорданскую) и языки-изоляты [23. Р. 7].

Как видно, результаты классификаций различаются – языки делятся на семьи и группы в зависимости от типа и материала исследования. Необходимо сказать, что жестовая лингвистика еще не разработала какие-либо принципиальные методы установления принадлежности того или иного ЖЯ к определенной языковой семье [24. Р. 15], поэтому на данный момент не представляется возможным создание сбалансированной и объективной выборки родственных языков. Тем не менее в упомянутых выше работах, а также в ряде других исследований, в том числе в обзорных теоретических трудах [25], многие классификации совпадают. Это дает основание полагать, что некоторые языковые отношения определены достаточно достоверно – в частности, отношения между языками, используемыми в настоящей работе. Так, опираясь на дополненную классификацию Виттманна, лингвисты относят русский, французский и итальянский ЖЯ к французской семье, французский бельгийский ЖЯ – к лионской, германский ЖЯ – к германской.

Далее, поднимая вопрос об особенностях функционирования и значимости немануального компонента в процессе межъязыкового общения,

следует описать проблему взаимопонятности разных ЖЯ. Несмотря на очевидные различия между жестовыми языками, глухие и слабослышащие из разных стран могут найти некоторое взаимопонимание, зависящее прежде всего от интенсивности контактов между конкретными языками и их генетической близости. К факторам, облегчающим понимание иностранного ЖЯ, относят:

1) схожесть лексики, т.е. процент совпадения жестов, используемых в разных языках для аналогичных понятий;

2) иконичность жестов – многие базовые понятия в ЖЯ представлены жестами, чья форма и, чаще всего, мануальная конфигурация отражают обозначаемое понятие [26. С. 42]. С иконичностью также связано явление транспарентности, или прозрачности, – образное свойство жеста, обуславливающее его понимание слышащими людьми. «Прозрачных» жестов, следует отметить, в ЖЯ не так много – к примеру, в исследовании на материале итальянского ЖЯ слышащие информанты, не владеющие никаким жестовым языком, смогли узнать лишь 10% транслируемых жестов [27];

3) некоторые грамматические структуры, выражающиеся мануально, например классификаторные конструкции, обозначающие класс предметов, и многократное исполнение жеста, выражающее множественное число или повторяемость действия [28];

4) некоторые элементы немануального компонента: в частности, отмечают значимость артикуляции, сопровождающей жест в калькирующей речи [29. Р. 354], и выражения лица [30].

Ввиду того, что функции немануального компонента, упомянутые ранее, присущи многим жестовым языкам, их носители, в зависимости от конкретной пары языков, могут гораздо легче распознать тон и настроение собеседника, а также некоторые грамматические конструкции.

Проблема исследования и постановка гипотезы

В данной работе мы решили уточнить коммуникативный потенциал немануального компонента, проявляемый в рамках мультиязычной коммуникации носителей и пользователей разных жестовых языков. Как показано выше, немануальные маркеры жестовой речи нечасто интересуют исследователей в своей совокупности: в основном особое внимание уделяется отдельным компонентам – артикуляции, жестам рта, движению бровей, поворотам головы и т.д. Более того, как правило, исследуются не столько коммуникативные функции этих маркеров в целом и то воздействие, которое они оказывают непосредственно на процесс коммуникации, сколько те свойства, которые ими выражаются в рамках отдельных грамматических явлений. Исходя из этого, цель настоящего исследования состоит в рассмотрении немануального компонента в качестве комплексного языкового явления, а также в определении степени влияния немануальных маркеров на понимание и восприятие речи в условиях мультиязычной жестовой коммуникации.

Несмотря на имеющиеся лакуны, мы привели примеры, которые нам кажутся достаточными для формулирования следующей гипотезы: в ходе межъязыкового унимодального общения носителей и пользователей разных жестовых языков немануальные маркеры в своей совокупности могут проявить специфическую функцию, способствующую пониманию иностранной жестовой речи. Развивая выдвинутую гипотезу, мы также предположили, что степень влияния немануальных маркеров на восприятие иностранной жестовой речи может зависеть от отношений между используемыми коммуникантами языками. Для первичной верификации гипотезы был проведен эксперимент с элементами мультимедийного опроса носителей и пользователей двух жестовых языков. Практическая часть исследования разделилась на следующие этапы:

- 1) определение групп респондентов и подбор соответствующего им набора материалов;
- 2) составление анкеты;
- 3) проведение опроса и анализ полученных ответов.

Далее последовательно опишем результаты каждого этапа работы.

Материал исследования

Респонденты и языки

В эксперименте приняли участие две группы респондентов общей численностью 68 человек. Первая группа состоит из мужчин и женщин в возрасте от 17 до 57 лет – всего 35 носителей и пользователей русского жестового языка, включая 12 человек без нарушения слуха (7 слышащих и 5 слышащих детей глухих родителей) и 23 человека с нарушением слуха (19 глухих и 4 слабослышащих). Вторая группа представлена мужчинами и женщинами от 19 до 52 лет – всего 33 носителя и пользователя французского жестового языка, среди которых 12 человек без нарушения слуха (9 слышащих и 3 слышащих ребенка глухих родителей) и 21 человек с нарушением слуха (17 глухих и 4 слабослышащих).

Характеризуя выборку респондентов, следует отметить, что избранное количество участников в группах и подгруппах может оказаться недостаточно сбалансированным, а потому менее репрезентативным для формулирования комплексных выводов. Поэтому представленные далее результаты оцениваются нами как предварительные и нуждающиеся в последующей проверке, что определяет ход и перспективы дальнейших исследований.

Видеоматериал

Поскольку в настоящее время одним из наиболее удобных способов фиксации жестовой речи с целью ее перевода и исследования является жестовый корпус, для практической части работы мы воспользовались поиском по национальным корпусам русского [31], французского бельгийского [32] и германского [33] жестовых языков. Учитывая, что для итальянского

ЖЯ открытый корпус еще не разработан, материал с его использованием мы взяли с ресурса Babbel Italia [34]. Таким образом, были отобраны 8 видеороликов, включая монологи, спонтанные нарративы или часть интервью – по два ролика на русский (RSL, французская семья [35]), французский бельгийский (LSFB, лионская семья [22]), итальянский (LIS, французская семья [36]) и германский (DGS, германская семья [37]) ЖЯ. Языки выбирались исходя из их отношений с языками информантов обеих групп – исторических и родственных связей, а также принадлежности к определенной семье. Так, в опросе каждой группы был язык:

- 1) родственный языку респондента;
- 2) неродственный, но близкий / имеющий некоторые устойчивые связи с языком респондента;
- 3) неродственный и не имеющий никаких устойчивых связей с языком респондента.

Опираясь на упомянутую выше дополненную классификацию Виттманна, мы определили следующие связи между жестовыми языками. Для русской группы родственным является итальянский ЖЯ (относятся к одной языковой семье), неродственным, но близким – французский бельгийский ЖЯ (имеются исторические связи между языковыми семьями), не имеющим никаких связей – германский ЖЯ (разные семьи, исторические связи которых не доказаны). На тех же основаниях набор языков для французской группы представлен русским, французским бельгийским и германским ЖЯ соответственно.

В каждой монолингвичной паре присутствовали ролик с высокой концентрацией немануальных маркеров (ролик 1) и, напротив, ролик с их менее частым вовлечением в процесс повествования (ролик 2). Отбор таких роликов производился на основе вычисления процентного соотношения:

- 1) всех немануально маркированных жестов ко всем жестам¹, используемых в конкретном ролике;
- 2) немануальных маркеров разного типа (артикуляция, жесты рта, движение бровей, направление взгляда, движения головой и корпусом тела) к общему количеству немануально маркированных жестов, используемых в конкретном ролике.

Тематика текстов и действующие лица различны, в то время как жанр роликов в основном единообразен – в кадре повествование ведется одним носителем языка, отвечающим на определенный вопрос или читающим монолог на заданную тему. Далее кратко охарактеризуем каждую пару роликов.

Русский ЖЯ представлен:

- 1) рассказом по картинке «Шляпа» о подростках, обкидывающих пожилого мужчину снежками в попытке скинуть с него шляпу. Длительность – 28 секунд. Из 50 жестов немануально маркированы 40 (80%). Наиболее часто используемыми маркерами в ролике являются движение бровей (60%) и губные жесты (40%);

¹ Под «жестом» понимается отдельное законченное понятие, выраженное мануально (движением одной или двух рук) или немануально.

2) спонтанным нарративом «Глухие в автобусе» о беседе глухих и реакции слышащих на их жестовую речь. Длительность – 40 секунд. Из 77 жестов немануально маркированы 38 (49%). Наиболее часто используемыми маркерами являются движение бровей (45%) и движения головой и корпусом тела (32%).

Французский бельгийский ЖЯ представлен:

1) монологом «*Langue des signes et émotions*» (фр. «Жестовый язык и эмоции») о проявлении эмоций и его последствиях. Длительность – 41 секунда. Из 88 жестов немануально маркированы 72 (82%). Наиболее часто жесты здесь сопровождаются артикуляцией (42%) и жестами рта (28%);

2) рассказом «*Hippolite*» («Ипполит») о собственном жестовом имени. Длительность – 18 секунд. Из 34 жестов немануально маркированы 14 (41%). Наиболее часто жесты сопровождаются артикуляцией (71%).

Обе записи на итальянском ЖЯ являются отрывками из ролика «*Le espressioni facciali*» (ит. «Выражение лица»):

1) первая запись длится 16 секунд и состоит из нескольких жестовых высказываний о разнице красивого и некрасивого. Из 10 жестов немануально маркированы 8 (80%). Наиболее часто жесты сопровождаются движением бровей (87%);

2) вторая запись длится 17 секунд и повествует о функциях выражения лица. Из 25 жестов немануально маркированы 13 (52%). Наиболее часто жесты сопровождаются движением бровей (46%).

Германский ЖЯ представлен:

1) монологом «*Kennedy*» («Кеннеди») о реакции на убийство президента США. Длительность – 39 секунд. Из 75 жестов немануально маркированы 63 (84%). Наиболее часто используются артикуляция (63%), движения головой и корпусом тела (44%);

2) монологом «*Krankenhaus*» (нем. «Госпиталь») о болезни близкого человека. Длительность – 40 секунд. Из 126 жестов немануально маркированы 65 (52%). Чаще всего используются артикуляция (66%) и движения головой и корпусом тела (30%).

Структура анкеты

Респонденту каждой группы было предложено посмотреть 6 видеороликов – по два ролика на один жестовый язык. К каждому ролику прилагались 4 вопроса, сформулированные письменно на русском или французском языке. Ответы респондентов также давались в письменной форме. Точные формулировки вопросов представлены ниже:

1. О чём данный видеоролик? (перескажите все, что поняли) / *De quoi s'agit-il? (recitez tout ce que vous avez compris)*

2. Преимущественно в каком времени идет повествование: настоящем, прошедшем или будущем? / *Quel temps utilise-t-on principalement: présent, passé ou futur?*

3. Сложно ли было понять речь говорящего? / *Était-t-il difficile à comprendre?*

4. Что, на ваш взгляд, облегчило понимание: знакомые жесты рук, мимика, артикуляция и жесты рта, движения головой и корпусом тела или «другое»? / À votre avis, quelles sont les choses facilitant la compréhension: gestes manuels familiers, expression du visage, articulation de la bouche, mouvements de la tête ou du corps ou «autre»?

Таким образом, каждому респонденту обеих групп в общей сложности нужно было ответить на 24 вопроса.

Анализ полученных данных

Общее понимание роликов

Очевидным образом ролики на языках, более близких языку респондента, понимались лучше, чем ролики на неродственном языке без устойчивых связей. Так, участники русской группы точнее описывали монологи на итальянском и французском бельгийском ЖЯ, в то время как речь на германском ЖЯ поняла сравнительно малая часть опрошенных (рис. 1).

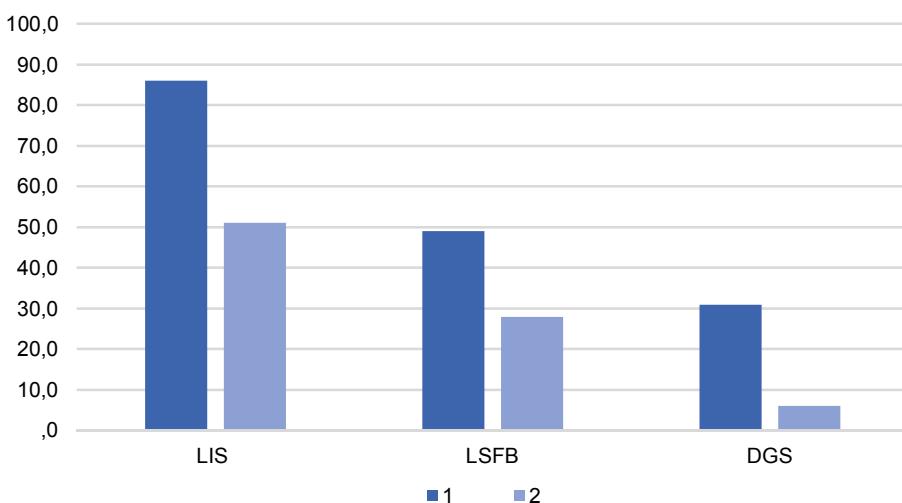


Рис. 1. Понимание роликов респондентами русской группы

Схожие результаты получились при опросе французской группы – ролики на русском и французском бельгийском ЖЯ понимались лучше, чем ролики на германском ЖЯ (рис. 2). Однако здесь, в сравнении с русской группой, участники подробнее и правильно отвечали на вопросы к записям на языке, неродственном их родному языку, но имеющем с ним некоторые связи. По оценке самих респондентов, высокую степень понимания этих записей определил элемент артикуляционного сопровождения жестов, имеющих разное мануальное воплощение в двух ЖЯ, но располагающих одним и тем же словом в звучащей речи.

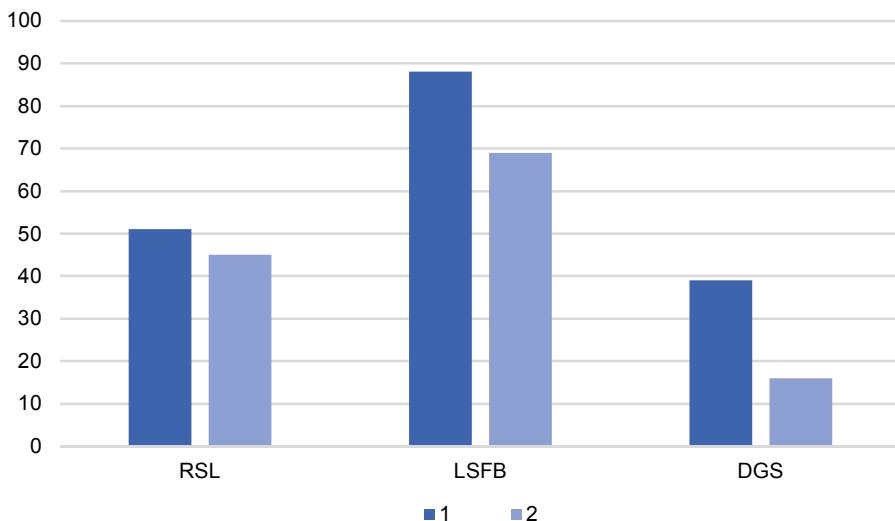


Рис. 2. Понимание роликов респондентами французской группы

Помимо темы ролика, нужно было также определить используемое при повествовании время – настоящее, прошедшее или будущее. В основном с этим заданием успешно справлялись участники обеих групп. В среднем 60% ответов респондентов русской группы оказывались верными, во французской группе средний результат составляет 72%.

Сравнивая ответы респондентов двух групп, можно отметить, что участники французской группы в целом справлялись с заданиями лучше, чем участники русской группы. Более того, в процентном соотношении людей, не сумевших описать ни одно видео, во французской группе меньше, чем в русской (9 против 14%). Несмотря на это, французские респонденты, отвечая на вопрос о сложности понимания, чаще выбирали варианты «сложно» и «очень сложно» в сравнении с респондентами русской группы.

Поскольку сформулировать ответ предлагалось в письменной форме, следует обратить внимание на существенную разницу в уровне владения глухими и слабослышащими участниками обеих групп звучащим языком. Среди 23 таких респондентов русской группы 13 человек (56%) отвечали однословно или оставляли слова-метки вместо полноценного описания. В то же время во французской группе из 21 неслышащего участника лишь у четырех (19%) возникли трудности с выражением мыслей на звучащем языке.

Немануальный компонент

По полученным ответам видно, что монологи с наибольшей концентрацией немануальных маркеров понимались и интерпретировались участниками обеих групп лучше, чем монологи с менее частым их использованием. Так, в русской группе ролики с наибольшим числом маркированных

жестов верно описывали от 31 до 86% участников. Пересказ роликов с более редким употреблением немануальных жестов вызывал большие трудности – здесь справлялись от 14 до 51% респондентов.

Аналогичны результаты опроса французской группы. Правильно и наиболее полно передать сюжет записей с частым использованием немануальных маркеров смогли от 39 до 88% участников. Речь с меньшим количеством немануальных жестов также понималась хуже, с этим заданием справлялись от 16 до 69% респондентов.

В зависимости от языка и конкретного ролика респонденты отмечали разные элементы, которые, на их взгляд, могли поспособствовать пониманию того или иного монолога. В основном они выбирали маркеры, которые преобладали в каждом конкретном ролике, однако чаще выделялось мимическое сопровождение (рис. 3, 4).

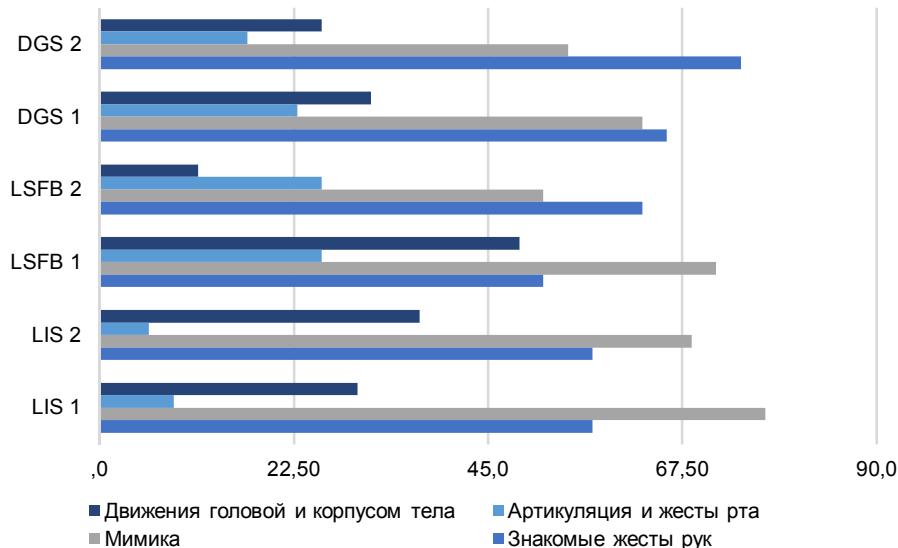


Рис. 3. Элементы, облегчающие восприятие. Русская группа

Так, среди всех представленных вариантов «мимика» преобладает в ответах к трем роликам из шести в русской группе, где ее выбирали от 51 до 77% участников, и в трех роликах из шести во французской группе с результатами от 50 до 94%. Артикуляцию и жесты рта отмечали реже – от 6 до 26% в русской группе, от 19 до 73% во французской. Движения головой и корпусом тела выбирали от 11 до 49% в русской группе и от 31 до 79% во французской группе. Вариант с мануальными жестами преобладал в трех роликах опроса русской группы (с результатами от 51 до 74%) и в двух роликах в опросе французской группы (от 62 до 76%).

Как видно, мануальные жесты, в силу своей большей распространенности, играют безусловно важную роль в процессе межязыкового общения – больше половины респондентов обеих групп обращали внимание именно на мануальную составляющую речи.

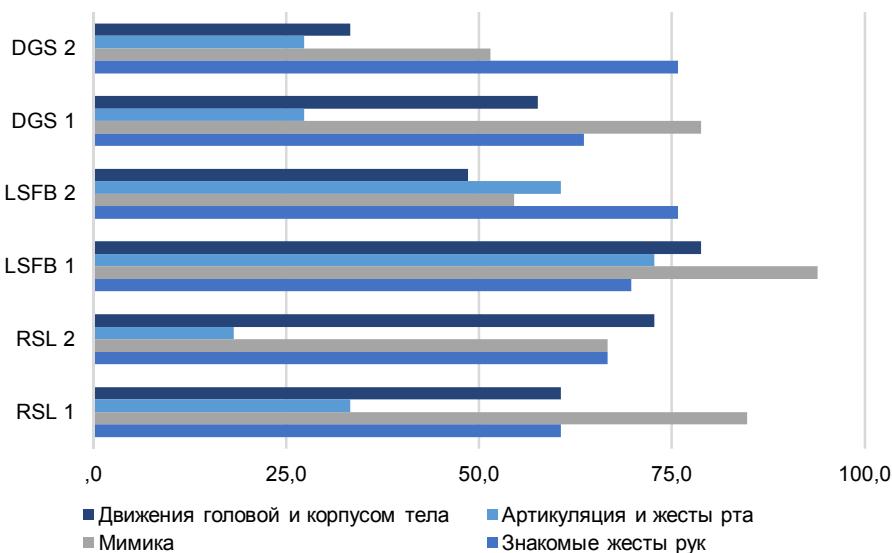


Рис. 4. Элементы, облегчающие восприятие. Французская группа

Тем не менее полученные результаты показывают, что нельзя отрицать важность немануальных жестов. Несмотря на значительный разброс в ответах и разницу в предпочтениях русской и французской групп, и те и другие участники оценивают мимическое сопровождение как один из наиболее значимых компонентов межъязыковой коммуникации наравне с жестами рук. Движения головой и корпусом тела также отметила значительная часть респондентов. Неуниверсальность применения артикуляции и неясную роль жестов рта подтверждают ответы участников русской группы, национальный звучащий язык которой не связан ни с одним из представленных роликами языков.

Важным выводом настоящего исследования является то, что значимость немануального компонента и степень его влияния на понимание иностранной речи зависят от отношений между языками информантов, в данном случае – между жестовым языком респондента и языком, используемым в предложенном видеоролике. Так, в обеих группах на вопрос об элементах, облегчающих понимание ролика, немануальные маркеры лидировали в основном в ответах к роликам на близких или относительно близких респондентам языках – в обоих роликах на итальянском ЖЯ и в одном из роликов на французском бельгийском ЖЯ в русской группе; в обоих роликах на русском ЖЯ и в одном ролике на французском бельгийском ЖЯ во французской группе. Знакомые жесты рук чаще отмечали в ответах к записям на германском ЖЯ – наиболее сложном для восприятия всеми респондентами. В русской группе мануальные жесты лидируют в обоих роликах, во французской группе – в одном из роликов. Таким образом, можно проследить следующую связь: чем сложнее для восприятия язык,

тем больше внимания респонденты обращают на жесты рук, а чем ближе и «знакомее» язык, тем большее влияние на его понимание оказывают немануальные жесты.

Выводы и перспективы

В данной статье была предпринята попытка выдвижения и первичного подтверждения гипотезы о наличии у немануальных маркеров специфической функции, облегчающей восприятие и понимание иностранной жестовой речи. Проведя эксперимент с группами носителей и пользователей русского и французского жестовых языков, мы предварительно подтвердили оба выдвигаемых тезиса:

1. Обилие немануально маркированных жестов действительно может облегчить восприятие иностранной жестовой речи: вне зависимости от связей в языковой паре, более полную и верную интерпретацию увиденного респонденты представляли при описании роликов с наибольшей концентрацией немануального компонента.

2. Значимость немануального компонента и степень его влияния на понимание конкретного ЖЯ зависят от отношений между языками информантов. Чем сложнее для восприятия язык, тем большую роль в его понимании играют жесты рук, и напротив, чем ближе язык исторически или генетически, тем большее влияние на этот процесс оказывают немануальные жесты.

Полученные нами результаты решают поставленную проблему исследования, но поднимают новые вопросы. В ходе работы мы старались поместить участников эксперимента в условия унимодального мультиязычия, предложив им воспринимать и интерпретировать информацию, передаваемую в визуально-жестовой модальности, с одного ЖЯ на другой. Однако ввиду того, что в ходе выполнения заданий участники контактировали и со звучащим языком – читая формулировки и предоставляя ответы, будет не совсем корректно утверждать, что эксперимент состоялся с использованием лишь жестовой речи. Очевидным образом возникает вопрос: отличались бы результаты аналогичного опроса, если бы при формулировании задания и предоставлении ответа использовался родной жестовый язык респондента? Достоверно ответить на него без предварительных исследований нельзя, но мы склонны полагать, что необходимость отвечать на вопросы в письменной форме повлияла на качество интерпретации речи как минимум в русской группе. Так, одной из перспектив дальнейших исследований поставленной проблемы является работа с использованием исключительно жестовых языков.

Другой аспект связан с выборкой респондентов. В настоящей работе приняли участие в основном бимодальные билингвы, владеющие одним жестовым языком и одним или несколькими звучащими языками, однако не столь редки случаи одновременного владения несколькими ЖЯ – это распространено, например, в академической среде исследователей жестовой речи или среди людей, живущих на границе государств с разными нацио-

нальными ЖЯ. Таким образом, перспективным кажется проведение аналогичного опроса среди респондентов, практикующих унимодальное мультиязычие. Так мы планируем, во-первых, определить степень влияния владения несколькими ЖЯ на осуществление мультиязычной коммуникации. Во-вторых, актуальным видится продолжение исследования роли немануального компонента, проводимого теперь уже полностью в унимодальных условиях. Следует также подчеркнуть необходимость привлечения большего числа участников в целях увеличения репрезентативности выборки и повышения объективности оценки полученных результатов.

Литература

1. *Stokoe W.* Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf // Studies in linguistics: Occasional papers. 1960. № 8. 78 p.
2. *Cuxac C.* La langues des signes française: les voies de l'iconicité. Paris : Ophrys, 2000. 391 p.
3. *Battison R.M.* Phonological deletion in American Sign Language // Sign Language Studies. 1974. Vol. 5. P. 1–19.
4. *Bauer A.* Артикуляция слов в русском жестовом языке (РЖЯ) // Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress. Die Welt der Slaven. Sammelbände. P. 35–45.
5. *Bellugi U., Corina D.P., Reilly J.* Neuropsychological studies of linguistic and affective facial expressions in deaf signers // Language and Speech. 1999. № 2. P. 307–331.
6. *Chételat-Pelé E.* Les Gestes Non Manuels en Langue des Signes Française; Annotation, analyse et formalisation : application aux mouvements des sourcils et aux clignements des yeux. Aix-Marseille, 2010. 199 p.
7. *Crasborn O.A.* Non-Manual Structures of Sign Languages // Encyclopedia of Language & Linguistics, Second Edition. 2006. Vol. 8. P. 668–672.
8. Денисова Е.А. Комбинированные жесты в русском жестовом языке // Русский жестовый язык: законодательство, исследования, образование. I межрегиональная научно-практическая конференция. 2017. С. 88–91.
9. *Pfau R., Quer J.* Nonmanuals: their grammatical and prosodic roles // Sign languages (Cambridge Language Surveys). Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 381–402.
10. *Kimmelman V.* Parts of speech in Russian Sign Language: The role of iconicity and economy // Sign Language & Linguistics. 2009. № 12/2. P. 161–186.
11. *Hunger B.* Noun/verb pairs in Austrian sign language (ÖGS) // Sign Language & Linguistics. 2006. № 9/1. P. 71–94.
12. *Mohr S.* Mouth Actions in Sign Languages: An Empirical Study of Irish Sign Language. Berlin: De Gruyter, 2014. 231 p.
13. *Tomaszewski P., Farris M.* Not by the hands alone: Functions of non-manual features in Polish Sign Language // Studies in the Psychology Of language and Communication. Warsaw: Matrix, 2010. P. 289–320.
14. *Zeshan U.* Hand, Head and Face – Negative Constructions in Sign Languages // Linguistic Typology. 2004. Vol. 8. P. 1–58.
15. *Johnston T.* A corpus-based study of the role of headshaking in negation in Auslan (Australian Sign Language): implications for signed language typology // Linguistic Typology. 2018. Vol. 22 (1). P. 185–231.
16. Бородулина Д.А. Средства выражения императива в русском жестовом языке // Русский жестовый язык: Первая лингвистическая конференция : сб. ст. 2012. С. 45–46.
17. *Wilbur R.B.* Phonological and prosodic layering of nonmanuals in American Sign Language // The signs of language revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. Hove : Psychology Press, 2000. P. 215–244.

18. *Sutton-Spence R., Woll B.* The Linguistics of British Sign Language: An Introduction. Cambridge : Cambridge University Press, 1999. 299 p.
19. *Adamou E., Crasborn O., Webster J., Zeshan U.* Forces shaping sign multilingualism // Sign multilingualism. Berlin : Mouton De Gruyter, 2019. 1–22 p.
20. *Woll B., Sutton-Spence R., Elton, F.* Multilingualism: The Global Approach to Sign Languages // The Sociolinguistics of Sign Languages. Cambridge : Cambridge University Press, 2001. P. 8–32.
21. *Matthews P.* The Irish Deaf Community: Survey Report, History of Education, Language and Culture. Vol. 1. Dublin : Linguistic Institute of Ireland, 1996. 295 p.
22. *Wittmann H.* Classification linguistique des langues signées non vocalement // Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée. 1991. Vol. 10, № 1. P. 215–288.
23. *Power J.M., Grimm G.W., List J.-M.* Evolutionary dynamics in the dispersal of sign Languages // Royal Society Open Science. 2020. Vol. 7, № 1. P. 1–15. URL: <https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.191100>
24. *Zeshan U.* Interrogative and Negative Constructions in Sign Languages. Nijmegen : Ispahra press, 2006. 365 p.
25. *Fischer S.D.* Sign languages in their historical context // The Routledge Handbook of Historical Linguistics. Abingdon : Routledge, 2015. P. 442–465.
26. *Борисова Л.В.* Категория иконичности в современной лингвофилософии // Экономические и социально-гуманитарные исследования. 2019. № 2. С. 41–45.
27. *Pizzuto E., Volterra V.* Iconicity and transparency in sign languages: a cross-linguistic cross-cultural view // The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. Hove : Psychology Press, 2000. P. 261–286.
28. *Meir I., Sandler W.* A language in space: The story of Israeli Sign Language. New York : Lawrence Erlbaum, 2008. 352 p.
29. *Sáfrá A., Meurant L., Haesenne T., Nauta H., De Weerdt D., Ormel E.* Mutual intelligibility among the sign languages of Belgium and the Netherlands // Linguistics. 2015. № 53/2. P. 353–374.
30. *Perniss P., Pfau R.* Can't you see the difference? Sources of variation in sign language structure // Visible variation: Comparative studies on sign language structure. Berlin : De Gruyter, 2007. P. 1–34.
31. *Корпус русского жестового языка.* URL: <http://rsl.nstu.ru/>
32. *Corpus LSFB.* URL: <https://www.corpus-lsfb.be/index.php>
33. *DGS Corpus.* URL: www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/korpus.html
34. *Babbel Italia.* URL: <https://it.babbel.com/it/magazine/babbel-e-la-lingua-dei-segni-italiana>
35. *Russian Sign Language* // Ethnologue: Languages of the World. 22nd Edition. 2019. URL: <https://www.ethnologue.com/language/rsl>
36. *Italian Sign Language* // Ethnologue: Languages of the World. 22nd Edition. 2019. URL: <https://www.ethnologue.com/language/ise>
37. *German Sign Language* // Ethnologue: Languages of the World. 22nd Edition. 2019. URL: <https://www.ethnologue.com/language/gsg>

Non-Manual Features in Multilingual Sign Language Communication

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 38–55. DOI: 10.17223/19986645/71/3

Galina V. Gubina, Maria O. Guzikova, Ural Federal University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: golovanic@gmail.com / m.o.guzikova@urfu.ru

Keywords: sign language, non-manual features, non-manual markers, sign multilingualism, bimodality, unimodality, multilingual communication of the deaf.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 17-29-09136/19.

The aim of the article is to determine the role of non-manual features of sign languages (SLs) in the multilingual communication of deaf, hard of hearing and hearing people. Non-manual features refer to significant speech markers ("non-manual markers") such as facial expressions, mouth articulation, head and body movements. The study hypothesizes that a set of non-manual markers has a specific function that can facilitate understanding of a foreign sign language. Extending the hypothesis, we assume that the influence of non-manual features on perception of a foreign SL depends on the genetic and historical links between the languages. In the course of the study, we conducted an experiment with a multimedia survey of two groups of respondents: Russian (35 people) and French (33 people) groups with deaf, hearing and hard of hearing participants. Both groups were offered videos in foreign SLs and questions that determined the degree and complexity of understanding, as well as a subjective assessment of the role of manual and non-manual signs in the perception of each video. We used videos in three sign languages, of which the first was related to the respondent's SL; the second was not related, but had some historical connection with the respondent's SL; the third was not related and had no connection with the respondent's SL. Based on Henri Wittmann's classification, we determined that for the Russian group these languages were Italian SL, French Belgian SL and German SL, while for the French group we chose Russian SL, French Belgian SL and German SL, respectively. For each language, we selected a video with frequent use of non-manual features (80% or more of marked signs) and a video with a lesser degree of their involvement in the narrative process (52% or less of marked signs) – six videos in three foreign SLs for each group in total. As a result of the experiment, we received preliminary confirmation of the hypothesis and came to the following primary conclusions. First, the abundance of non-manually marked signs can facilitate the perception of a foreign sign language: regardless of the relations in the language pair, respondents described videos with a higher concentration of non-manual markers better. Second, the significance of non-manual features and the degree of their influence on the understanding of a particular SL depend on the relationship between the informants' languages and tend to increase by contact with a closer one, while manual signs play a more important role when interacting with an unrelated language. For more comprehensive conclusions, further studies are planned, including the participation of a larger number of respondents.

References

1. Stokoe, W. (1960) Sign Language Structure: An Outline of the Visual Communication System of the American Deaf. *Studies in linguistics: Occasional Papers*. 8.
2. Cuxac, C. (2000) *La langues des signes française: les voies de l'iconicité* [French sign language: the ways of iconicity]. Paris: Ophrys.
3. Battison, R.M. (1974) Phonological deletion in American Sign Language. *Sign Language Studies*. 5. pp. 1–19.
4. Bauer, A. (2018) Artikulyatsiya slov v russkom zhestovom yazyke [Articulation of words in Russian sign language]. *Deutsche Beiträge zum 16. Internationalen Slavistenkongress. Die Welt der Slaven. Sammelbände* [German contributions to the 16th international Slavist Congress. The World of Slavs. Anthologies]. pp. 35–45.
5. Bellugi, U., Corina, D.P. & Reilly, J. (1999) Neuropsychological studies of linguistic and affective facial expressions in deaf signers. *Language and Speech*. 2. pp. 307–331.
6. Chételat-Pelé, E. (2010) *Les Gestes Non Manuels en Langue des Signes Française; Annotation, analyse et formalisation: application aux mouvements des sourcils et aux clignements des yeux* [Non-manual signs in French Sign Language; Annotation, analysis and formalization: application to eyebrow movements and blinking]. PhD thesis. Aix-Marseille.
7. Crasborn, O.A. (2006) Non-Manual Structures of Sign Languages. In: Brown, K. (ed.) *Encyclopedia of Language & Linguistics*. Second Edition. Elsevier. 8. pp. 668–672.
8. Denisova, E.A. (2017) [The combined gestures of Russian sign language]. *Russkiy zhestovyy yazyk: zakonodatel'stvo, issledovaniya, obrazovanie* [Russian sign language: legislation, research, education]. Conference Proceedings. Krasnoyarsk: [s.n.]. pp. 88–91. (In Russian).

9. Pfau, R. & Quer, J. (2010) Nonmanuals: their grammatical and prosodic roles. In: Brentari, D. (ed.) *Sign languages (Cambridge Language Surveys)*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 381–402.
10. Kimmelman, V. (2009) Parts of speech in Russian Sign Language: The role of iconicity and economy. *Sign Language & Linguistics*. 12/2. pp. 161–186.
11. Hunger, B. (2006) Noun/verb pairs in Austrian sign language (ÖGS). *Sign Language & Linguistics*. 9/1. pp. 71–94.
12. Mohr, S. (2014) *Mouth Actions in Sign Languages: An Empirical Study of Irish Sign Language*. Berlin: De Gruyter.
13. Tomaszewski, P. & Farris, M. (2010) Not by the hands alone: Functions of non-manual features in Polish Sign Language. In: Bokus, B. (ed.) *Studies in the Psychology of language and Communication*. Warsaw: Matrix. pp. 289–320.
14. Zeshan, U. (2004) Hand, Head and Face – Negative Constructions in Sign Languages. *Linguistic Typology*. 8. pp. 1–58.
15. Johnston, T. (2018) A corpus-based study of the role of headshaking in negation in Auslan (Australian Sign Language): implications for signed language typology. *Linguistic Typology*. 22 (2). pp. 185–231.
16. Borodulina, D.A. (2012) [Means of expressing an imperative in Russian sign language]. *Russkiy zhestovyy yazyk: Pervaya lingvisticheskaya konferentsiya* [Russian sign language: The 1st linguistic conference]. Conference Proceedings. Moscow: Moscow State University. pp. 45–46. (In Russian).
17. Wilbur, R.B. (2000) Phonological and prosodic layering of nonmanuals in American Sign Language. *The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima*. Hove: Psychology Press. pp. 215–244.
18. Sutton-Spence, R. & Woll, B. (1999) *The Linguistics of British Sign Language: An Introduction*. Cambridge: Cambridge University Press.
19. Adamou, E., Crasborn, O., Webster, J. & Zeshan, U. (2019) Forces shaping sign multilingualism. In: Webster, J. & Zeshan, U. (eds) *Sign multilingualism*. Berlin: Mouton De Gruyter. pp. 1–22.
20. Woll, B., Sutton-Spence, R. & Elton, F. (2001) Multilingualism: The Global Approach to Sign Languages. In: Ceil, L. (ed.) *The Sociolinguistics of Sign Languages*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 8–32.
21. Matthews, P. (1996) *The Irish Deaf Community: Survey Report, History of Education, Language and Culture*. Vol. 1. Dublin: Linguistic Institute of Ireland.
22. Wittmann, H. (1991) Classification linguistique des langues signées non vocalement [Linguistic classification of sign languages]. *Revue québécoise de linguistique théorique et appliquée* [Quebec Journal of Theoretical and Applied Linguistics]. 10 (1). pp. 215–288.
23. Power, J.M., Grimm, G.W. & List, J.-M. (2020) Evolutionary dynamics in the dispersal of sign Languages. *Royal Society Open Science*. 7 (1). pp. 1–15. [Online] Available from: <https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsos.191100>.
24. Zeshan, U. (2006) *Interrogative and Negative Constructions in Sign Languages*. Nijmegen: Isphra press.
25. Fischer, S.D. (2015) Sign languages in their historical context. In: Evans, B. & Bowern, C. (eds) *The Routledge Handbook of Historical Linguistics*. Abingdon: Routledge. pp. 442–465.
26. Borisova, L.V. (2019) Iconicity Category in the Modern Linguaphilosophy. *Ekonomicheskiye i sotsial'no-gumanitarnyye issledovaniya – Economic and Socio-Humanitarian Studies*. 2. pp. 41–45. (In Russian).
27. Pizzuto, E. & Volterra, V. (2000) Iconicity and transparency in sign languages: a cross-linguistic cross-cultural view. In: Emmorey, K. & Lane, H. (eds) *The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima*. Hove: Psychology Press. pp. 261–286.

-
28. Meir, I. & Sandler, W. (2008) *A language in space: The story of Israeli Sign Language*. New York: Lawrence Erlbaum.
29. Sáfár, A. et al. (2015) Mutual intelligibility among the sign languages of Belgium and the Netherlands. *Linguistics*. 53/2. pp. 353–374.
30. Perniss, P. & Pfau, R. (2007) Can't you see the difference? Sources of variation in sign language structure. In: Perniss, P., Pfau, R. & Steinbach, M. (eds) *Visible variation: Comparative studies on sign language structure*. Berlin: De Gruyter. pp. 1–34.
31. Russian Sign Language Corpus. [Online] Available from: <http://rsl.nstu.ru/>.
32. Corpus LSFB. [Online] Available from: <https://www.corpus-lsfb.be/index.php>.
33. DGS Corpus. [Online] Available from: <http://www.sign-lang.uni-hamburg.de/dgs-korpus/index.php/korpus.html>.
34. Babbel Italia. [Online] Available from: <https://it.babbel.com/it/magazine/babbel-e-la-lingua-dei-segni-italiana>.
35. Russian Sign Language. (2019) *Ethnologue: Languages of the World*. 22nd Edition. [Online] Available from: <https://www.ethnologue.com/language/rsl>.
36. Italian Sign Language. (2019) *Ethnologue: Languages of the World*. 22nd Edition. [Online] Available from: <https://www.ethnologue.com/language/ise>.
37. German Sign Language. (2019) *Ethnologue: Languages of the World*. 22nd Edition. [Online] Available from: <https://www.ethnologue.com/language/gsg>.

УДК 81'42.001.4:811.124
DOI: 10.17223/19986645/71/4

Н.И. Данилина, Е.А. Разумовская

ПРОЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКОГО НАЧАЛА В ЖАНРЕ ДИССЕРТАЦИИ (У ИСТОКОВ ЯЗЫКА НАУКИ)

На материале латиноязычной диссертации по анатомии рассматриваются особенности проявления индивидуально-авторского начала в научном тексте XVIII в. Наряду с языковыми средствами смысловой и формально-композиционной организации текста, сходными с современными, отмечается значительно более сильный субъективно-оценочный компонент (обилие экспрессивных лексических и грамматических средств) и богатая образность (преимущественно сравнения и метафоры), наличие риторических приемов диалогизации.

Ключевые слова: язык науки, литературное произведение, жанровый канон, авторизация, оценочность, экспрессивность, метафора

Введение

Проблема «авторского присутствия» в научном тексте привлекла внимание исследователей в конце XX в. – с актуализацией в лингвистике антропоцентрического подхода. Новый круг проблем, которые ставятся и решаются исследователями научной речи, сформулировал С.А. Виноградов: «1) характер конститутивных признаков авторской индивидуальности; 2) системы репрезентации, соотносимые с данными признаками; 3) типология авторской индивидуальности» [1. С. 94]. Новое направление зародилось в рамках функциональной стилистики – как естественный итог изучения научного стиля и осознания того, что он не так имперсонален, как представлялось вначале. Научное знание, по мнению М.П. Котюровой, складывается из трех аспектов: онтологического, аксиологического и методологического; при этом аксиологический аспект напрямую связан с субъектом познавательной деятельности [2. С. 19], выполняет текстообразующую функцию и «проявляется в отборе тех или иных способов интерпретации понятий и количественного использования в тексте средств их выражения» [2. С. 21]. Феномен оценочности в научной речи изучался Н.В. Данилевской. В соответствии с аспектами представления научного знания, обозначенными М.П. Котюровой, автор выделяет «разновидности познавательных оценок – 1) оценка онтологической стороны знания, 2) оценка методологической стороны знания, 3) рефлексивная оценка, 4) коммуникативно-прагматическая оценка» [3. С. 84]. Коммуникативно-прагматической стороне авторской самореализации уделяет особое внимание Е.А. Баженова, акцентируя взаимодействие автора и адресата: «...в отношении изложения научного содержания, т.е. оформления и развертывания текста... субтекст адресации просто необходим», так как он «эксплицирует

логико-композиционную структуру текста», демонстрирует «последовательность мыслительных операций», «управляет вниманием читателя, создавая смысловые опоры для адекватного восприятия и запоминания интеллектуальной информации» [4. С. 221].

Наряду с констатацией общей цели сознательного проявления индивидуально-авторского начала в научной речи исследователями рассматривались и конкретные функции тех или иных маркеров авторского присутствия. Так, Е.А. Баженова выделяет и изучает «1) композиционно-ориентирующие операторы, 2) делимитирующие операторы и 3) мыслительно-активизирующие операторы» [4. С. 222], различные виды ксенопоказателей (кавычки, имена собственные, способы оформления ссылок, ввода чужой речи и т.п.) [5. С. 63]. Классификацию по тем же основаниям, но более детальную предлагает Е.Ю. Викторова [6]. Авторы и цитированных работ, и многих других обращаются к выявлению набора языковых средств авторизации. В целом можно отметить, что средства эти принадлежат разным уровням языковой системы. На семантическом уровне возможен перенос значения от «метафорического сдвига» [7. С. 133] в рамках грамматической основы предложения до целых метафорических высказываний (многочисленные работы по метафорике научной речи, например [8–11]). Синтаксический уровень представлен и специальными языковыми единицами типа союзов и частиц (и шире – дискурсивов [6]), и синтаксическими риторическими структурами [3. С. 88]. На лексическом уровне авторское присутствие проявляется использованием, с одной стороны, предикатов речи и мысли, по умолчанию содержащих в значении «сему антропонимичности» [7. С. 133], с другой – оценочной и экспрессивной лексики [3. С. 8–10; 7. С. 133]. Морфологическим средством авторизации речи выступают косвенные наклонения (конъюнктив, императив) и модальные глаголы [7. С. 133].

Таким образом, в настоящее время лингвистика располагает достаточно развитым теоретическим и методологическим аппаратом для анализа приемов авторизации научной речи. В то же время нельзя сказать, что эта область исследована широко и всесторонне, поскольку собранный материал во многих отношениях фрагментарен: изучается научный дискурс далеко не всех языков и научных сфер, а среди отдельных авторов – преимущественно лингвистов.

Материалом нашего исследования стал текст докторской диссертации «*De circulo sanguinis in corde*» («О кровообращении в сердце») знаменитого немецкого врача А.К. Тебезия (1668–1720), защищенной в 1708 г. в Лейденском университете [12]. Обратиться к нему нас побудили два обстоятельства: во-первых, время создания – период, для которого существование научного функционального стиля в его современном понимании представляется дискуссионным, а такой феномен, как «язык науки» этого периода, не рассматривался с точки зрения его дискурсивных свойств; во-вторых, диссертация, в согласии с этическими принципами науки того времени, написана на латинском языке, поэтому не могла попасть в поле

зрения исследователей, занимающихся проблемами научного дискурса. Между тем язык науки и XVII, и во многом XVIII вв. – это именно латинский язык, и именно в его лоне происходит зарождение тех принципов, которые затем лягут в основу научного стиля современных национальных языков. Названный труд до сих пор не был переведен на русский язык, поэтому перевод всех приводимых в статье цитат выполнен нами.

Автор как субъект оценки

Рассмотрим наш материал, следуя схеме типовых субтекстов научного текста, предлагаемой Е.А. Баженовой. Начнем с субтекста оценки, т.е. «отношения автора к старому и новому знанию» [13. С. 11]. Отметим, что у Тебезия субтекст старого знания и субтекст его оценки связаны практически неразрывно, и связь эта выражена не столько специальными дискурсивными элементами, сколько лексическими и грамматическими средствами. В изучаемом материале мы обнаруживаем следующие виды оценки «эпистемического фона».

Во-первых, упоминаются фамилии исследователей-предшественников, сопровождаемые эпитетами, подчеркивающими значимость и научную добросовестность как самих ученых, так и их трудов: *post Vesalii, Columbi, Fallopii, Spigelii, Riolani, Harvei, aliorumque tot insignium virorum indefessos labores* (после **неутомимых** трудов Везалия, Колумба, Фалопия, Спигелия, Риолана, Гарвея и других **столь же выдающихся** мужей); *Quod omne, cera, artificiosa manu, immissa eleganter nobis sistitur, et iconem, quam fieri potuit accurato primum exhibitum est a Cl. Ruysch* (Все это в воске, **искусной** рукой введенном, для нас застывает **изящно**, и в изображении, **сколь возможно точном**, представлено **славным** Рюйшем). Употребление лексем положительной оценки при фамилии ученого является для Тебезия практически нормой: 11 упомянутым фамилиям из 14 сопутствует эпитет. Данная особенность, хотя не так ярко, характерна и для ссылок на конкретные труды (7 случаев из 12), например ...*ut ingeniose scripsit D. Stroem in nova theoria mot. recipr. machianim.* (как **остроумно** написал господин Штрём в «Новой теории возвр**<атных>** движ**<ений>** жив**<ого>** механ**<изма>**»). Некоторые из подобных эпитетов, вероятно, представляли собой клише, так как подвергаются сокращению: ...*Cl. Bergerum libr.2. de nat: c.28. cito* ...*приведу* гл. 28 2-й кн. **дост**<очти**мейшего** Бергера «О **<человеческой>** прир**<оде>**».

Во-вторых, некоторые знания, по-видимому широко распространенные, излагаются без ссылок на конкретные персоны. Здесь возможны разные варианты. Если излагаемый вопрос представляется автору важным, то используются перифразы, содержащие опять-таки лексику положительной оценки: *De qua re... multi viri egregii amplius commentati sunt.* (Об этом... **многие выдающиеся мужи** **пространнее** написали). В случаях, менее значимых или представляющих автору дискуссионными, используются местоименные выражения без эпитетов или употребляются глаголы в пас-

сивном залоге: *Quamvis enim dentur quidam, qui afferunt, glandulas in basi cordis sibi esse observatas... Eae tamen... a pluribus Anatomicis prorsus negantur* (Хотя ведь встречаются некоторые, кто утверждает, что они наблюдали железы в основании сердца... Однако большинством анатомов они вообще отрицаются); *Sunt etiam, qui glandulam thymum hujus liquoris fontem afferunt, quibus tamen vix affentiedum esse duco* (Есть также те, кто утверждает, что вилочковая железа является источником этой жидкости; с ними, однако, я полагаю, едва ли можно согласиться); *similis redditur haec affertio* (похожее сообщается утверждение).

В-третьих, Тебезий не только оценивает предшествующее знание, но в некоторых случаях упоминает своих коллег безотносительно к их мнениям. Например, во введении он перифразически обращается к ученному собранию (с использованием оценочной лексики): *...judicent viri me peritiores, quorum judicia si benigna accepero, audentior fiam* (...пусть судят люди более меня знающие, чьи благожелательные суждения ежели я приму, стану смелее). Тебезий прибегает к подобному приему и в самом тексте работы, излагая ход своего опыта: *Id quod cum ante hac viris in re anatomica exercitatissimis, tum Lipsiae et Halae et Jenaе, tum alibi in Germania exposuerim, jamque his in terries tot anatomiae statoribus cum obtento af fensu demonstraverim; spero, fore; ut viri me longe sagaciiores hanc rem penitus sint indagaturi* (То, что я до этого мужам, наиболее сведущим в анатомии, в Лейпциге, в Галле, в Йене, как и в других местах в Германии, излагал, и уже в этих землях служителям анатомии при достигнутом одобрении показывал, надеюсь, станет так, что мужи, более меня талантливые, глубже исследуют). Отметим, что экспрессия достигается в описанных случаях не только лексическими, но и грамматическими средствами – употреблением сравнительной и превосходной степени прилагательных. Подобные фрагменты служат увязыванию старого знания с представляемым новым, это риторический прием апелляции к авторитету.

С другой стороны, такие пассажи могут быть рассмотрены и как элементы субтекста авторизации, т.е. «выражения отношения автора к содержанию и форме своего текста» [13. С. 11]. Особенно отчетливо это отношение заявлено в предисловии, где, как и в современных диссертациях, обосновывается актуальность работы. Открытому возвеличиванию предшественников сопутствуют здесь многочисленные разнообразные лексические, синтаксические и грамматические (конъюнктив, герундий, футурум, степени сравнения) средства снижения категоричности, подчеркивания собственной незначительности. Приведем, например, такую цитату: *Tantum tamen abest, ut illi viri eruditи rem omnem cognoverint... nec forsitan per omne speculum novorum inventorum finis sit sperandus* (Нет, однако, того, чтобы эти ученые мужи познали всець целиком... и, пожалуй, в течение всего столетия не стоит надеяться на окончание новых исследований). *Id quod testantur ii, qui... curatiis indagentes pulcherrimos naturae mechanismos... nobis exposuerant. Quibus ut multo plura jugenda supersunt, ita huc quoque collineant paucae haecas conscripti periodi...* (Именно об этом сви-

действуют те, кто... усерднее исследуя прекраснейшие механизмы природы, представили нам... Им остается самое большее соединить, поэтому те немногие фразы, каковые я написал, такую же имеют цель...). Интересно, что экспрессивно выраженное унижение авторского «я» происходит на фоне не только предшествующего, но и последующего знания. Например, такая цитата из основной части работы: *Sic et ego, qui opus minoris momenti, multum tamen ad illud explicandum faciens, molior, non possum non fateri, ut multa alia in corpora sunt, quorum vim rationemque perspicere, nisi qui corpus animale condidit, possit nemo; ita et hic caecutientem esse, illud explicare aggrediens, quod forsan ultra captum est* (Так и я, создавая работу более незначительную, но, однако, важную для объяснения этого, не могу не согласиться, что многое другое есть в теле, значение и устройство чего постичь не может никто, кроме Того, кто создал живое тело; так и я ныне слеп, приступая к объяснению того, что позднее, пожалуй, будет понято). *Hic ea, quae dicenda sunt, tanquam probabilia tantum orbi proponere, animus est; ad nugas nostras deserendas, si clarior pateat veritas, paratissimus* (Отсюда и намерение то, о чем я собираюсь сказать, представить миру только как вероятное, и готовность отказаться от наших пустяков, когда истина станет яснее).

Оценку онтологической стороны излагаемого знания можно разделить на оценку фактов и оценку собственных и чужих утверждений. Факты Тебезий оценивает по двум параметрам. Первый – как часто встречаются наблюдаемые явления: *saepissime* ‘весьма часто’, *accedit* ‘случается’, *tam vulgare et frequens occurrit* (столь обычно и часто встречается). Второй – можно ли их сопоставить с чем-то из известного: *neque aliter ac* (не иначе *и*), *cui simile quid* (на что похоже *то*, что), *prorsus similes* (совершенно похожие). Оценка утверждений возможна с точки зрения вероятности их соответствия действительности (*nimirum* ‘разумеется’, *haud dubie* ‘без сомнения’, *forsitan* ‘возможно’, *videtur* ‘кажется’, *frustra* ‘безрезультатно’) и с точки зрения точности (*ut potius* ‘лучше сказать’). Хотя перечень примеров далеко не полон, можно заметить, что наиболее разнообразно выражение оценки истинности. Мы видим здесь не только наречия и клишированную глагольную форму *videtur*, но и глагольные формы с модальным значением – конъюнктив (*sit*), футурум (*erimus*), герундий (*negandum*), а также развернутые синтаксические построения. Например, *non negandum sit* (не следует отрицать), *abunde puto cum veritate convenire* (думаю, вполне соответствует истине), *ex dictis patere* (из сказанного ясно).

Следует отметить и широкую представленность экспрессивных средств разных уровней: степеней сравнения (*saepissime*, *minus*), лексических единиц с семой интенсивности (*neutiquam* ‘ни в коем случае’, *vix* ‘едва’, *immensus* ‘безмерный’), развернутых синтаксических построений с модальной семантикой или метафорическим сдвигом. Например: *Ut inde dubitationi locus amplius non sit relictus* (Так что теперь больше не остается места для сомнения); *His ita se habentibus vix video, quid obstet minus afferere possim* (Итак, при таком положении дел я едва вижу, что противоречило

бы). Особенno необычно выглядят с точки зрения современных стандартов жанра диссертации эмоционально окрашенные лексемы и конструкции: *forte fortuna nobis occurrentur* (*но счастливой случайности нам встречаются*); *quod mirere* (*что удивительно*); *quae immensa ejus vis, nisi oculis a quolibet facillime subjici, animo comprehendendi vix posset* (*сколь же велика ее сила, едва возможно вообразить, если нельзя было весьма легко увидеть своими глазами*).

Автор и адресат

Субтекст адресации, связанный со смысловым членением текста, в труде Тебезия находит выражение при помощи средств, аналогичных тем, что мы наблюдаем в современном научном дискурсе.

С точки зрения макроструктуры диссертация имеет введение, основную часть, разделенную на 41 параграф, и приложение в виде двух рисунков и списка обозначений анатомических объектов, изображенных на этих рисунках. Отсутствие заключения необычно в сравнении с современными нормами, но при небольшом объеме работы (примерно 5 тыс. слов) не связывается на восприятии читателем основного содержания. Библиографический список также не представлен, ссылки на труды предшественников даны преимущественно в сокращенном виде, что позволяет предполагать высокую осведомленность адресата в обсуждаемом предмете. Приложение связано с основным текстом системой отсылок, напоминающих современные: *Vid. Fig. I. lit. E. E. E.* (рис. 1, Е, Е, Е).

Смысловое членение текста осуществляется и специальными синтаксическими средствами. Каждый параграф, раскрывающий какую-то микротему, начинается вводным словом или конструкцией, аналогичными тем дискурсивам, которые Е.В. Викторова называет «сигналами очередности и последовательности» и «сигналами логических отношений» [6]: *igitur* ‘итак’, *tamen* ‘однако’, *hoc vero* ‘так и’, *atque ut* ‘так же как’, *sed ut... ita e contrario* ‘но как... так, наоборот’, *ita* ‘таким образом’ и т.п. Присутствуют подобные операторы и внутри параграфов, связывая части высказываний.

Управление вниманием читателя автор осуществляет и при помощи экспликации плана развертывания текста: *Ne igitur per ambages demum ad scopum perveniam, omnem cordis vasorumque... descriptionem praetermittam: illa tantem explicaturus, quae proxime rubricae convenient... circulusque sanguinis in corde... exponam* (*Итак, чтобы не окольными путями **перейти**, наконец, к цели, я **опишу** все описание сердца и сосудов... то лишь я **собираюсь изложить**, что подходит ближе всего к теме, и **опишу** круг крови в сердце*); *Praemissa vasorum cordi proprietatem, nunc... sagarius scrutari lubet, et modum... augurari...* (*Предпослав описание сосудов, принадлежащих сердцу, **теперь следует** точнее **исследовать**... и **предположить** способ...*). Этой же цели служат и внутритекстовые отсылки типа *prout supra jam tопui* (*как я **выше** уже упомянул*), *qua de re infra mihi amplior erit sermo* (*о чем у меня **ниже** подробнее будет речь*).

Активизации мыслительных процессов читателя способствует и нарративное изложение собственных опытов, опирающееся на последовательность предикатов мыслительной деятельности: *...suspicio inde mihi nata est, an non forsan...* (...тогда у меня *родилось подозрение, а не может ли быть так...*), *quare ut certus fierem* (чтобы в этом *удостовериться*), *fidere audebam* (я *отважился верить*), *suspicatus* (*подозревая*, что), *hinc satius fore duxi* (я *счел*, что будет лучше), *haec postmodum eadem cura... indagavi* (это я *затем исследовал* с той же заботой), *nes unquam frustra cor aperuerim* (и никогда не *вскрывал сердце безрезультатно*). Тебезий представляет как своего рода нарратив движение не только собственной исследовательской мысли, но и мысли своих предшественников и оппонентов, например: *Miror tamen, cum Cl. Vicussens l.c. dicat...* *quod nec ulterius... aliquid ediserat, nec altius... prosecutus fit...* *Nisi forte... intelligi debeant, aut... nec ulterius deseribendas esse crediderit* (Но меня удивляет, что, хотя *знам* <енитейший> Викуссенс *говорит* в *чтм* <иругемом> *м* <есте>... он *ничего больше... не пишет, и дальше... не исследует*. *Если* только *не следует понимать...* или *он думал...* и *решил, что не стоит* их дальше *описывать*). Отметим и в этих отрывках обилие экспрессивной лексики, модальных операторов и метафорический сдвиг.

Что касается такого распространенного в современном научном языке явления, как авторское «мы», то Тебезию оно, по-видимому, еще чуждо. В тексте диссертации насчитывается 53 случая употребления глаголов в 1 л. ед.ч. и 24 – в 1 л. мн.ч. При этом только в двух из 24 автор имеет в виду себя лично: *...prorsus denegat, quod secus... clarissime demonstramus* (<он> *вообще отрицает, мы, наоборот, самым ясным образом доказали*); *a veritate minus alieni erimus, si afferamus* (*мы будем недалеки от истины, если станем утверждать*). В остальных случаях имеет место риторический прием – инклузивное или обобщенно-личное «мы», т.е. «я и ты, читатель» или «всякий, кто»: *si hoc cum animo reputamus, et ... accusatiarius perspicimus* (*если мы обдумаем это и более внимательно рассмотрим...*), *si paulo fortius pressione instemus* (*если мы наожем немного сильнее*).

Если сопоставить наши подсчеты с подсчетами Е.Ю. Викторовой, сделанными по материалам русскоязычных лингвистических статей 1953–2005 гг. [14], то обнаружится, что частотность одного только риторического «мы» у Тебезия выше совокупной частотности всех средств диалогичности у современных ученых и составляет примерно 1 случай на 240 словоупотреблений. И это при том, что Тебезий применяет и иные средства диалогизации, уже упомянутые нами (например, перифразистические обращения к читателю). То же следует сказать и о я-конструкциях, максимальное число которых в рамках одной современной статьи составило лишь 16. Мы можем заключить, следовательно, что научное знание предстает у Тебезия отнюдь не имперсональным, и автор, ведя активный диалог с читателем, готов нести личную ответственность за высказываемые мысли.

Образный компонент авторского стиля

Отдельно следует рассмотреть образный компонент языка Тебезия, который искусно вставляет в свое научное описание стилистические фигуры, украшающие речь, делающие ее образной, более легкой для восприятия. Это метафоры, сравнения, литоты и гиперболы, эпитеты, перифразы, риторические восклицания, общие места, делающие язык диссертации метким, образным. Заметим кстати, что силу образных сравнений при описании некоторых новых вещей и явлений, которые трудно представить, не видя воочию, понимал в своей «Природе вещей» еще Лукреций, заимствовавший у Демокрита известное сравнение атомов с танцующими в лучах солнца пылинками. Цели наглядности изображения служат у Тебезия сравнения и метафоры.

Приведем примеры сравнений. Во введении, характеризуя будущий предмет исследования – устройство сердца, органа, распределяющего кровь по всему живому организму, анатом, чтобы наглядно представить читателю всю сложность работы сердца, пишет, вводя сравнение: *rauisae hae quas conscripsi periodi, explicantes rivulum sanguini ab oceano abeuntem* (те немногие строки, каковые я написал, имеют такую же цель – описать ручеек крови, отходящий от океана). Здесь, к тому же, видна и эмоциональная составляющая, отношение Тебезия к предмету и его восхищение им. Или сравнение в описании коронарных сосудов сердца: *duae arteriae... corona ad instar basin amplectuntur: emissisque deorsum, tanquam radiis, multis ramis, varie sibimet intextis & junctis spectaculo jucundo cor circumcingunt, ut eapropter cum venis sociis vasorum coronariorum obtinuerint potem* (две артерии... **совершенно как венец**, обхватывают основание сердца: пустивши вниз, **словно лучи**, многочисленные ветви, они, переплетаясь и различно между собой связываясь в привлекательном зрелище, окружают сердце, так что вместе с сопровождающими венами получили имя коронарных сосудов). Кроме двух образных сравнений, это описание весьма поэтично обыгрывает метафору, которая легла в основу устоявшегося термина. С помощью сравнения Тебезий описывает состояние сигмовидных клапанов в систоле сердца: *a sanguine in aortam irruente lateribus tanquam vela expansa* (**надутые** устремляющейся в аорту кровью, **словно паруса**...).

Метафоры в работе Тебезия служат той же цели, что и сравнения (как мы видим из предыдущего примера, эти фигуры у него порой выступают совместно), иными словами, наглядности описания. Этой же цели служат столь необходимые в анатомическом труде рисунки автора, изображающие предмет исследования: мы видим артерии, которые являются *soboles aortae* (**порослью** аорты); «окутанные жиром» и таким образом защищенные ветви сосудов, расположенные ближе к внешней поверхности: *ramos capaci-ores in superfiviem externam... pinguendini involvit, ut rivuli... tuto sanguinem illis infundere possint* (более мощные ветви во внешней поверхности... **окутал жиром**, чтобы ручейки... **безопасно** кровь могли по ним вливать), и

*venae... fibrarum tnuissimo strato **indutae** (вены... **одетые** тончайшим слоем волокон).*

Чтобы описать поведение и положение различных сосудов сердца, Тебезий использует в метафорическом значении различные глаголы, производные с помощью приставок от глагола «бежать, идти», и целые выражения: *decurrere* (разбегаться), *pircurrere (sic!)* (бежать, мчаться); *via regia redire* (возвращаться по главной дороге).

Организм живого существа анатом изображает как живой, порой обладающий собственной волей. Так, описывая, что венозная и артериальная кровь в организме не смешиваются *sine sontica quadam causa* (без некоей уважительной причины), Тебезий использует глагол *abhorrere* ‘с отвращением отворачиваться, испытывать отвращение’: *illam pauxilli sanguinis venosi miscelam cum arterioso adeo abhorrere [velim]* (что та крохотная частичка венозной крови **испытывает столь сильное отвращение** к артериальной). А некоторые каналы и сосудики сосудистой системы сердца столь малы, что *vix inquam conspiciendas se praebant* (едва ли когда-либо дают себя увидеть).

При этом Адам Тебезий охотно и часто выражает восхищение искусственным устройством живого организма. Мы встречаем в описании сердечного устройства оценочные эпитеты: *eleganter* ‘изысканно’, *pulcre* ‘красиво’, *insigniter* ‘замечательно’, *pulcherrimi* ‘прекраснейшие’, *mirus, (ad)mirabilis* ‘удивительный’, *jucundum*, *elegans* ‘привлекательное, изящное’, *stupendum* ‘изумительное’ и пр.

Для описания могущественной силы, стоящей за удивительным по красоте и целесообразности живым организмом, Тебезий использует чаще всего períфразы: Творец, Тот, кто создал, и только дважды слово *deus / DEUS* ‘бог’ (второй раз при этом выделенное разрядкой и прописными буквами).

Кажется, в исследовании Тебезия смешиваются представления о Боге, творце сущего, в том числе и живого организма, и искуснице-природе. Порой они неотделимы друг от друга и употребляются почти как синонимы, что, возможно, позволяет предположить пантеистические убеждения учёного анатома Тебезия. Так, учёный равноговорит о *sapientissimi Creatoris opere* (деянии мудрейшего Творца), о *sapienti Creatoris consilio* (мудром замысле Творца) и о *prudenti naturae consilio* (мудром замысле природы), или: о *summo rerum Opifice* (высшем Творце вещей), гармонично устроившем живой организм, и (почти тут же, параграфом ниже) об *operibus naturae* (творениях природы). Мы, возможно, могли бы говорить в этом отношении, что слово «природа» выступает в труде Тебезия períфразом понятия «Бог-Творец», однако мы видим здесь и некоторое противопоставление: если Бог как творец мира устраивает все гармонично, соразмерно, искусно и задает некие высшие законы созидания (*formationis lex*), которые *perspicere, nisi qui corpus animale condidit, possit nemo* (постичь не может никто, кроме Того, кто создал живое тело), то свойством искусственной природы является созидание разнообразия, внесение в творение некоего мо-

мента игры, случайности, счастливой или несчастливой: *Ut proinde natura, ut alibi, sic et hic ludere aliquando videtur, neque formationis legi in omnibus tam severe adstricta esse velit* (Кажется, что природа, как в других случаях, так и здесь, порой играет, и не желает во всем строго следовать закону строения).

Такое поэтическое оформление научного текста связано со стремлением автора написать текст не только и не столько научный, сколько литературный, в диссертации Тебезия проявляются его поэтические пристрастия: известно, что этот крупный ученый и известный врач был также и поэтом, оставив читателю некоторое число кратких стихотворных произведений в разных жанрах (стихотворения на случай, эпиграммы, галантная лирика, элегии, торжественная ода, духовные стихотворения) [15]. В том, что врач писал стихи, не было в пору «галантного» века ничего удивительного: это было одно из умений и занятий, востребованных в образованном молодом человеке того времени. Иными словами, на рубеже XVII–XVIII вв. литературный труд, в частности поэзия, еще не становится областью профессиональной занятости, а, скорее, является неким хобби, которому образованные люди посвящают свободное время. Большинство ранних, написанных еще в студенческие годы стихотворений Адама Тебезия написаны на немецком языке в стиле маринизма (Джамбатисто Марино). Однако в связи с его научной работой и опубликованным им диссертационным исследованием наибольший интерес, на наш взгляд, представляет его латинская ода «*Fama*», посвященная победе над турками при Белграде (опубликована в 1717 г.). В этой оде, как и в диссертации, Тебезий демонстрирует читателю превосходное владение латинским языком. В оде он для этого использует весь арсенал стилистических приемов, «*die gesamte Palette der dichterischen Moeglichkeiten eines Poeta doctus der galanten Lyrik*» [15. S. 92].

Изложение деталей исследования, облечено в литературные, поэтические выражения, может отражать не только поэтические пристрастия автора, но и быть и свидетельством того, что научная литература еще не выделилась в отдельный, обладающий специфическими чертами сегмент, а в соответствии с европейской, сложившейся еще в Античности традицией не выделяется из общего потока собственно литературных произведений. М. фон Альбрехт, характеризуя литературу античного Рима, пишет, что это понятие куда более широкое, нежели сегодняшняя «литература», ведь кроме «литературы вымысла» в Античности литературой считались также научно-популярные произведения самой разной тематики, речи и частная переписка, т.е. «художественная проза в широком смысле»: «Таким образом, границы между «изящной» и «прикладной» словесностью менее отчетливы, чем в Новое время: даже и «прикладные» тексты часто в определенной мере стремятся к изяществу, а «польза» в глазах римлян вовсе не порок для словесности изящной» [16. С. 17]. Та же ситуация сохраняется и в европейской литературе Средневековья: в понятие литературы включались «философский трактат, историческая хроника, житие святого, религиозное поучение, описание животных или минералов, рассказ о путеше-

ствии или разрозненные заметки «от скуки» [17. С. 7–8]. О том, что литература в традиционалистских культурах остается «автономной реальностью особого рода, отличной от всякой иной реальности, прежде всего от реальности быта и культа» [18. С. 110], писал С.С. Аверинцев. В этот период развития литературы, когда законы жанров уже четко сформулированы, как пишет Аверинцев, «от произведения требуется как можно более отчетливая жанровая идентичность», а от автора с его индивидуальностью – участие «в «состязании» со своими предшественниками и последователями в рамках единого жанрового канона, то есть по одним правилам игры» [18. С. 111, 112]. Каждый последующий автор состязается с предшественниками и своими современниками: «Понятие «состязание» (...лат. *aemulatio*) – одна из важнейших универсалий литературной жизни под знаком рефлексивного традиционализма... Примеры можно с равным успехом брать из литератур эллинизма, Рима, Средневековья, как и Ренессанса, барокко и классицизма: коренного различия не обнаружится» [18. С. 112].

Проблема здесь, на наш взгляд, состоит в следующем: если для традиционалистских культур (каковой является и культура барокко) границы жанровых канонов уже четко сформулированы, то специфических жанровых канонов научной литературы еще не существует: «Ранние научные произведения создавались в жанрах трактатов, диалогов, рассуждений, «поучений», «путешествий», жизнеописаний и даже в стихотворных жанрах (оды и поэмы)» [19. С. 335]. Хотя в случае с Тебезием мы имеем уже вполне стандартизованное оформление и вынесенное в заголовок словосочетание *dissertatio medica*, но язык научного исследования еще не имеет стандарта, и здесь индивидуальность автора получает возможность в полную силу спорить с другими авторами произведений литературы.

Выводы

Начальный этап формирования языка науки определялся античной традицией, согласно которой изложение научного знания не представляло собой отдельного умения, отличного от умения риторического, а научная литература не выделялась из общего потока литературы и не обладала развитой системой собственных жанров. На каком этапе происходит это выделение – еще предстоит выяснить, однако наши наблюдения над языком одной латиноязычной диссертации позволяют предполагать, что язык науки XVII–XVIII вв. значительно более «криторичен» и более «авторизован», чем современный. Наряду с языковыми средствами смысловой и формально-композиционной организации текста, сходными с современными, мы видим значительно более сильный субъективно-оценочный компонент (в частности, обилие экспрессивных лексических и грамматических средств) и богатую образность, служащую наглядности изложения и чуждую современным канонам. Судя по тому, что исследованный нами автор обозначил жанр своей работы как диссертацию, выявленные особенности его языка считались в тот период допустимыми для этого жанра.

Литература

1. Виноградов А.С. Проблема авторской индивидуальности в научном лингвистическом дискурсе // Вестник Череповецкого государственного университета. 2017. № 1. С. 94–100.
2. Котюрова М.П. Смысловая структура русского научного текста и ее экстралингвистические основания (функционально-стилистический аспект) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Свердловск, 1989. 30 с.
3. Данилевская Н.В. Интеллектуальная экспрессия научного изложения: психолингвистический аспект // Социо- и психолингвистические исследования. 2018. № 6. С. 83–89.
4. Баженова Е.А. Прагматические единицы научного текста // Филологические заметки. 2007. Т. 2. С. 221–225.
5. Баженова Е.А. Научный текст и среда // Вестник Пермского университета. Сер. Российской и зарубежной филологии. 2010. Вып. 2 (8). С. 60–64.
6. Викторова Е.Ю. Вспомогательная система дискурса. Саратов : Наука, 2015. 404 с.
7. Супоницкая Н.С. Способы языкового маркирования имплицитного «присутствия» автора в научном тексте // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 7 (61), ч. 1. С. 133–138.
8. Зливко С.Д. Образный компонент научных лингвистических текстов : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Казань, 2008. 18 с.
9. Мишланова С.Л., Уткина Т.И. Метафора в научно-популярном медицинском дискурсе (семиотический, когнитивно-коммуникативный, прагматический аспекты). Пермь : Пермский гос. ун-т, 2008. 428 с.
10. Пулов Е.В. Метафоризация научного дискурса первой половины XX века (на материале лингвистических работ Л.В. Щербы, В.А. Богородицкого, Н.В. Крушинского, И.А. Бодуэна де Куртенэ) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 12 (78), ч. 1. С. 144–147.
11. Пулов Е.В. Сопоставительный анализ метафорики научного дискурса И.А. Бодуэна де Куртенэ и А.А. Реформатского // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 10 (64), ч. 2. С. 133–136.
12. *Thebesius A.Ch.* De circulo sanguinis in corde: Disputatio medica... pro gradu doctoratus. Lugduni Batavorum: Apud A. Elzevier, Academiae Typographium, M DCC VIII. 21 S.
13. Баженова Е.А. Развитие понятия «Смысловая структура научного текста» в функциональной стилистике // Филология в XXI веке. 2019. Спецвыпуск. № S1. С. 8–12.
14. Викторова Е.Ю. О некоторых проявлениях диалогичности в русском научном дискурсе // Филология в XXI веке. 2019. Спецвыпуск. № S1. С. 57–62.
15. Mettenleiter A. Thebesius als Dichter // Mettenleiter A. Adam Christian Thebesius (1686–1732) und die Entdeckung der Vasa cordis: Biographie, Textedition, medizinhistorische Würdigung und Rezeptionsgeschichte. Sudhoffs Archiv (47). Franz Steiner Verlag, 2001. S. 86–109.
16. Альбрехт М. фон. История римской литературы от Андроника до Боззия и ее влияния на позднейшие эпохи / пер. с нем. А.И. Любжин. М. : Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 2003. Т. 1. 704 с.
17. Михайлов А.Д. Введение // История всемирной литературы : в 9 т. Т. 2. М., 1984. С. 7–23.
18. Аверинцев С.С. Историческая подвижность категории жанра: опыт периодизации // Историческая поэтика: Итоги и перспективы изучения. М., 1986. С. 104–116.
19. Тяпкин Б.Г. Научная литература // Большая советская энциклопедия. Т. 17. М., 1974. С. 335–336.

The Manifestation of the Author in the Dissertation (At the Origins of the Language of Science)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 56–69. DOI: 10.17223/19986645/71/4

Natalia I. Danilina, Saratov State Medical University (Saratov, Russian Federation). E-mail: danilina_ni@mail.ru

Elena A. Razumovskaya, Saratov State University (Saratov, Russian Federation). E-mail: razumovskaja@mail.ru

Keywords: language of science, literary work, genre, canon, authorization, evaluation, expressiveness, metaphor.

The research objective is to identify the language features that characterize the genre canon of the dissertation at the initial phase of its formation and the limits of the author's freedom in selecting the language means of implementing this canon. The language of science of the 18th century, as well as of the earlier periods, is Latin, and it is there that the principles are born, which will then form the basis of the scientific style of contemporary national languages. The research material is the Latin text of the PhD thesis of the famous German anatonomist Adam C. Thebesius (1668–1720) *De circulo sanguinis in corde* [About the Circle of Blood in the Heart]. The main research methods are stylistic and discourse analysis. Consistently analyzing Thebesius's text, we have found that many language means of formal and semantic architectonics of the text are similar to modern ones. Compositional features include the presence of an introduction describing the relevance of the research problem and the depth of its knowledge, the text division into paragraphs, the presence of an appendix, the system of bibliographical references and in-text references. Thebesius's text contains the syntactic operators that denote the sequence and logical relations of thought operations (*igitur*, *tamen*, *hoc vero*, *e contrario*, etc.), the evaluation of the truth of the statements (*nimirum*, *haud dubie*, *forsitan*, *videtur*, etc.), the means of reducing categoricity (*conjunctivus*, *futurum*, *gerundium*). Thebesius also uses the first-person plural forms of verbs in an inclusive and generalizing sense. At the same time, we find certain language features that are not present in modern dissertations. For example, the subjective-evaluative component is strongly expressed in Thebesius's text, and it is manifested both by expressive vocabulary (*insignius*, *artificiosus*, *ingeniose*, *forte fortuna*, etc.) and grammatical forms (*comparativus*, *superlativus*). Clarity is often achieved by rich imagery (similes, epithets, expanded metaphors). The noted similarities and differences in the language manifestation of the author allowed us to infer that the identified features of the language were acceptable for the research thesis genre in the 17th and 18th centuries. Thus, our observations suggest that the language of science at that time was significantly more "rhetorical" and more "authorial" than the contemporary one.

References

1. Vinogradov, A.S. (2017) Problem of author's individuality in scientific linguistic discourse. *Vestnik Cherepovetskogo gosudarstvennogo universiteta – Cherepovets State University Bulletin.* 1. pp. 94–100. (In Russian). DOI 10.23859/1994-0637-2017-1-76-13
2. Kotyurova, M.P. (1989) *Smyslovaya struktura russkogo nauchnogo teksta i ee eks-tralingvisticheskie osnovaniya (funktional'no-stilisticheskiy aspekt)* [The semantic structure of the Russian scientific text and its extralinguistic foundations (functional and stylistic aspect)]. Abstract of Philology Dr. Diss. Sverdlovsk.
3. Danilevskaya, N.V. (2018) Intellectual expression of scientific discourse: a psycholinguistic aspect. *Sotsio- i psichoholingvisticheskie issledovaniya – Sociopsycholinguistic Research.* 6. pp. 83–89. (In Russian).
4. Bazhenova, E.A. (2007) Pragmatics of scientific text [Pragmatic units of scientific text]. *Filologicheskie zametki – Philological Studies.* 2. pp. 221–225.

5. Bazhenova, E.A. (2010) Scientific texts and the context. *Vestnik Permskogo universiteta. Ser. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology.* 2 (8). pp. 60–64. (In Russian).
6. Viktorova, E.Yu. (2015) *Vspomogatel'naya sistema diskursa* [Auxiliary System of Discourse]. Saratov: Nauka.
7. Suponitskaya, N.S. (2016) The ways of the language marking of the author's implicit "presence" in the scientific text. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory & Practice.* 7 (61). Pt. 1. pp. 133–138. (In Russian).
8. Zlivko, S.D. (2008) *Obraznyy komponent nauchnykh lingvisticheskikh tekstov* [The figurative component of scientific linguistic texts]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kazan.
9. Mishlanova, S.L. & Utkina, T.I. (2008) *Metafora v nauchno-populyarnom meditsinskom diskurse (semioticheskiy, kognitivno-kommunikativnyy, pragmaticscheskiy aspekty)* [Metaphor in Popular Scientific Medical Discourse (Semiotic, cognitive-communicative, pragmatic aspects)]. Perm: Perm State University.
10. Pulov, E.V. (2017) Metaphorization of scientific discourse of the first half of the 20th century (by the material of linguistic works of I.V. Shcherba, V.A. Bogoroditsky, N.V. Krushevsky, I.A. Baudouin de Courtenay). *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory & Practice.* 12 (78). Pt. 1. pp. 144–147. (In Russian).
11. Pulov, E.V. (2016) Comparative analysis of metaphorics in J.N.I. Baudouin de Courtenay's and A.A. Reformatskii's scientific discourses. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory & Practice.* 10 (64). Pt. 2. pp. 133–136. (In Russian).
12. Thebesius, A.Ch. (1708) *Disputatio medica inauguralis de circulo sanguinis in corde*. Doctoral Thesis. Lugduni Batavorum: Apud A. Elzevier, Academiae Typographium.
13. Bazhenova, E.A. (2019) The development of the concept "scientific text's sense structure" in functional stylistics. *Filologiya v XXI vek – Philology in the XXI Century.* S1. pp. 8–12. (In Russian).
14. Viktorova, E.Yu. (2019) On the dialogue nature of Russian academic discourse. *Filologiya v XXI vek – Philology in the XXI Century.* S1. pp. 57–62. (In Russian).
15. Mettenleiter, A. (2001) *Adam Christian Thebesius (1686–1732) und die Entdeckung der Vasa cordis: Biographie, Textedition, medizinhistorische Würdigung und Rezeptionsgeschichte*. Sudhoffs Archiv (47). Franz Steiner Verlag. pp. 86–109.
16. Al'brekht fon. M. (2003) *Istoriya rims'koy literatury ot Andronika do Boetsiya i ee vliyaniya na pozdneyshie epokhi* [History of Roman Literature from Andronicus to Boethius and Its Influence on Later Epochs]. Translated from German by A.I. Lyubzhin. Vol. 1. Moscow: Greko-latinskiy kabinet Yu.A. Shichalina.
17. Mikhaylov, A.D. (1984) *Istoriya vsemirnoy literatury* [History of World Literature]. Vol. 2. Moscow: Nauka. pp. 7–23.
18. Averintsev, S.S. (1986) Istoricheskaya podvizhnost' kategorii zhanra: opyt periodizatsii [Historical mobility of the category of genre: the experience of periodization]. In: *Istoricheskaya poetika. Itogi i perspektivy izucheniya* [Historical Poetics. Results and perspectives of the study]. Moscow: Nauka. pp. 104–116.
19. Tyapkin, B.G. (1974) Nauchnaya literatura [Scientific literature]. In: *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Vol. 17. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 335–336.

УДК 81'06

DOI: 10.17223/19986645/71/5

А.В. Ленец, Т.В. Овсиенко

ДИНАМИКА ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ КОНСТАНТ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ (АВСТРИИ, ГЕРМАНИИ, ШВЕЙЦАРИИ)¹

Представлен лингвокультурологический анализ динамики констант немецкоязычного ареала (Австрии, Германии, Швейцарии). Феномен идентичности трактуется как исходная площадка для выявления ценностной матрицы немецкоязычного ареала, установления лингвокультурных констант немецкоязычных стран и описания их в динамике на материале трансальпийского политического подкастинга „Servus. Grüezi. Hallo“. Описываются ключевые константы Австрии: нейтралитет и искусство, Германии: экология и демократия, Швейцарии: референдум, отдых и природа.

Ключевые слова: лингвокультура, константа, динамика, идентичность, подкаст, языковая картина мира, немецкоязычный ареал

Введение

Культура постоянно развивается, поскольку развивается и само общество, которое её создаёт. Воплощая в себе образцы поведения в коммуникации, культура формирует и поведение коммуникантов. Соответственно, культура и социум, оказываясь под воздействием внутренних и внешних сил, непрерывно находятся в состоянии динамического изменения. Тем не менее эти изменения, отличаясь целенаправленностью и закономерностью, не влияют в значительной мере на то ядро, которое внутренне присутствует в каждой культуре и сохраняет её целостность. Такое сочетание постоянных признаков в цепи переменных культуры в философии, социологии, культурологии и других гуманитарных науках определяется как «константы культуры» ([1–4] и др.).

Для обозначения неизменной составляющей культуры в современной лингвокультурологии используются также термины «архетипы», «мифологемы», «языковые ключи», «категории культуры», «культурные образцы и др. [5, 2], которые во многом взаимозаменямы, в связи с чем в лингвистике часто используются как синонимы. Глубокое обоснование константы как «концепта, существующего постоянно или, по крайней мере, очень долгое время», было представлено в известной работе отечественного учёного Ю.С. Степанова [6. С. 76]. Константы культуры постоянно взаимодействуют, создавая, таким образом, класс или подгруппу ключевых констант. Отсюда и содержание самой культуры возможно представить по составляю-

¹ Статья выполнена в рамках программы поддержки публикационной активности Южного федерального университета.

шим её ключевым культурным константам или культурным концептам. Константы национальной культуры при этом могут совпадать по названию с константами другой национальной культуры, но будут отличаться по вкладываемому в них смыслу.

Культурная константа есть явление или событие, отношение к которому возникает при необходимости в любую эпоху и в любой культуре, находясь на перекрёстке смыслов и отношений. При этом на каждом историческом этапе константа будет требовать от культуры если не трансформации, то, по крайней мере, её адаптации в связи со сложившимися условиями своего существования. Как же обновляются ключевые характеристики культуры и как не принимаются «чужие»? При исследовании таких изменений в языке учитываются особенности структуры и функционирования той или иной культуры [7].

В связи с вышеизложенным *целью* настоящей *статьи* является анализ динамики лингвокультурных констант немецкоязычного ареала (Австрии, Германии, Швейцарии). Обращение к лингвокультуре именно этих трёх немецкоязычных стран обусловлено «системностью лингвокультуры и синергетики, которые предопределяются системностью единого дискурсивного пространства» [8. С. 21] (в данном случае немецкоязычного). В связи с этим считаем справедливым мнение Н.Ф. Алефиренко о том, что менталитет и лингвокультура являются взаимодeterminирующими категориями для исследования культурных констант. Такое понимание цели исследования предполагает решение следующих задач: определить идентичность как исходную площадку для выявления констант культур немецкоязычного ареала; описать лингвокультурные константы немецкоязычных стран в динамике.

Обзор литературы

Немецкий язык как организующий фактор немецкоязычных стран

Немецкий язык, объединяя представителей стран немецкоязычного ареала (австрийцев, немцев и швейцарцев), сближает их не только в общении, но и в культуре. Это отличает их от других народов Европы. В языке, который является своеобразной народной сокровищницей, зафиксированы незримо присутствующие знания о мире, опыт и культура предыдущих поколений. Вследствие чего язык и культура, взаимно обусловливая друг друга, превращаются в неразрывное целое и создают неповторимый мозаичный рисунок немецкоязычного культурного пространства.

На поликультурный потенциал немецкого языка указывают многие исследователи в области гуманитарных наук [9–11]. Так, в существующем немецкоязычном культурном пространстве присутствует деление, которое нашло своё выражение в разнообразии как ментальностей, так и вариантов немецкого языка. Немецкий язык отличает большое количество диалектов, которых в одной только Германии более пятидесяти.

Согласно Конституции Австрии официальным языком является немецкий в его классическом понимании (*Hochdeutsch*), а в 1951 г. официально

был признан и национальный языковой вариант (*Österreichisches Deutsch*). При этом решением Министерства образования, науки и исследований в Австрийском словаре (1951) австрийский национальный вариант и австро-баварские диалекты получили чёткое разделение.

Образование Республики Гельвеция (*Helvetia*) в 1798 г. можно считать датой основания мультиязычного государства. Но окончательно этому статусу способствовала объявленная Наполеоном новая федеративная Конституция Швейцарии в 1815 г. Статус основных языков окончательно закрепился во времена Швейцарской республики. Необходимость изучать сразу три ведущих языка – немецкий, итальянский, французский – позволила развивать международные связи и всестороннее общение. Кроме того, в Швейцарии сформировался так называемый *Schwyzerdütsch* (швейцарский вариант немецкого языка), который разделён на диалекты.

В формировании национальной идентичности важную роль играет *история*, особенно события XX в. Идентичность определяется несколькими согласованными компонентами: отношение к историческому прошлому (история подтверждает и обосновывает идентичность), актуальная ситуация и цели (современность утверждает идентичность), направленные на будущее (формирует идентичность) [11. S. 158; 12].

Современная европейская идентичность имеет такой существенный параметр, как многообразие или множественность, которая свидетельствует о наличии нескольких частных идентичностей [13. С. 79]. Такими составляющими европейской идентичности являются идентичности немецкоязычного ареала. Каждая из идентичностей (немецкая, австрийская, швейцарская) имеет свою неповторимую историю, лингвистическую характеристику и может быть представлена как своеобразный немецкоязычный код в общеевропейской «мультиидентичности». Условием стабильности существующего в современной Европе многообразия ментальностей является европейская идентичность, понятие которой всё ещё окончательно не сформировано [13. С. 69]. Немецкая, австрийская и швейцарская идентичности формировались в процессе исторических потрясений и политических столкновений, которые и привели к перемене каждого национального самосознания. Кратко остановимся на ключевых моментах формирования каждой из исследуемых идентичностей.

Формирование национальных идентичностей в странах немецкоязычного ареала

Исследования в области истории [3, 14], политологии [15. С. 99], культуры [16; 17. С. 293–371], этнографии [18. С. 5], лингвистики [11] немецкоязычных стран (Австрии, Германии, Швейцарии) показывают, что ядром немецкоязычного сознания, которое формируется из «слов (идей, понятий, концептов) в ассоциативно-вербальной сети» [19. С. 194], является именно идентичность.

В истории становления национальной идентичности немцев выделяются: период Веймарской республики, послевоенный (Вторая мировая война)

период, который ассоциируется с чувством «коллективной вины» за нацистское прошлое; период разделения Германии на два государства; период после объединения Германии как время активного формирования чувства единой национальной идентичности. Исторических работ, посвящённых исследованию идентичности немцев, достаточно много [20].

Периоды исторического прошлого (Вторая мировая война, разделение Германии) оказали значительное влияние на формирование немецкой идентичности, которая включала в себя такие понятия, как „*Kollektivschuld*“ (коллективная вина), „*der deutsche Sonderweg*“ (особый немецкий путь), „*Wifse*“ (раскаяние, искупление). Распространение открытого, реалистичного и нацеленного на будущее образа новой немецкой демократии стало одной из основных задач культурной деятельности в ГДР и ФРГ. Последовательный и глубокий процесс осознания вины немецким народом, частичная утрата своей идентичности, также переосмысление политico-культурных ценностей немцев в период разделения Германии привели к возникновению своеобразной «двойственности» в идентичности [3, 21]. «Двойственность» определяется такими понятиями, как „*Ossis*“ (восточные немцы) и „*Wessis*“ (западные немцы), за которыми стоят различия в социокультурном своеобразии, в миропонимании и даже в самом немецком языке. Всё это скорее являлось причиной разобщения народа, чем его объединения [22. С. 69]. Вопросом, на который предстояло ответить западным и восточным немцам на данном этапе: какое из понятий положить в основу объединённой немецкой идентичности – „*ethnische Zugehörigkeit*“ (этничность) или „*Staatlichkeit*“ (государственность)? Решение проблемы преодоления «разделённого» прошлого западным немцам виделось в Европейском союзе и формировании постнациональной модели идентичности. Восточные немцы ориентировались, прежде всего, на консолидацию всей нации на этнокультурной основе [20. С. 63]. Составляющими элементами немецкой идентичности являются региональная, национальная, европейская и, например, этнокультурная (если речь идёт о переселенцах из других стран), которые часто дополняют друг друга, а иногда противопоставляются.

Не менее трудным был путь по становлению *национальной идентичности* и у австрийцев, которая представляет собой многокомпонентный конструкт, включающий в себя синтез регионального, этнического, социального и культурного компонентов [15, 18]. Австрийцам потребовалось больше времени, чтобы обрести свою идентичность. Становление австрийской идентичности происходило преимущественно на двух уровнях: политическом и культурном. Исторические процессы отражали тесное переплетение немецкой и австрийской культур. В многонациональном государстве Австро-Венгрии немецкого-ворящие граждане были одной среди многих других этнических групп. При этом австрийцы были одной из доминирующих этнических групп в государстве Габсбургов. Тем не менее в XIX в. и австрийцам пришлось отказаться от австрийской идентичности в пользу германской.

В последнее десятилетие XX в. исследователи австрийской идентичности связывают её с топонимом «Австрия», упоминание о котором связы-

вают с термином „*Ostarrichi*“ (впервые упомянут в 996 г.). После окончания Австро-Венгерской монархии в 1918 г. никто не верил в Австрию, династические ограничения исчезли, и возникла „*Deutschösterreich*“ (Немецкая Австрия), которая стремилась объединиться с Германией. Однако их объединение явилось неприемлемым, по мнению держав победительниц. После распада монархии Габсбургов в 1918 г. обсуждались такие термины, как „*Deutschösterreich*“ или „*Südostdeutschland*“. В результате из названия страны исчезло слово «Немецкая» и Австрии была практически навязана независимость [23. С. 3–6]. После отказа Австрии от имперско-монархической традиции австрийцы стали одной из европейских наций, что отразилось и на формировании австрийской национальной идентичности [11. С. 159].

Планомерная политика руководства Австрии способствовала формированию национального самосознания, в котором доминирует гордость за культурное наследие нации, где центральным ориентиром австрийской идентичности считается „*Neutralität*“ (нейтралитет). Так, в 1956 г. 49% австрийцев полагали, что они были самостоятельным народом, и 46% считали, что они были частью немецкого народа. В 1987 г. это было уже три четверти населения страны. В настоящее время более 80% жителей страны определяют себя гражданами Австрии. Важными принципами австрийской идентичности являются ориентация на западные ценности, социальное партнерство, пространственно-территориальная составляющая, культура, природа, образование и австрийский федерализм [15. С. 105–107].

Рассматривая становление *швейцарской национальной идентичности* с позиции истории, необходимо упомянуть о том, что историческое возникновение Швейцарии обусловлено множеством столкновений и войн. Объявленный в 1291 г. договор о вечном альянсе и союзе между тремя кантонами лёг в основу Декларации независимости Швейцарии. Национальный праздник независимости отмечается 1 августа. Со временем количество кантонов союзных земель было увеличено. Это позволило достичь современных границ Швейцарии, а в результате заключения Вестфальского мира 1648 г. добиться независимости и провозгласить нейтралитет Швейцарского союза. Такой союз гарантировал неприкосновенность границ и независимость кантонов друг от друга. Отсюда в самом начале основным ориентиром в становлении швейцарской национальной идентичности становится „*Unabhängigkeit*“ (независимость). Следующий решающий этап в формировании швейцарской идентичности – принятие швейцарским правительством решения о выборе государством статуса „*Neutralität*“ (нейтралитет) (1914 г.). Всё же некоторое отступление от нейтрального курса во время Второй мировой войны (приём более полутора миллионов беженцев и торговые связи с гитлеровской Германией) тоже имело место.

Важными составляющими швейцарской идентичности являются следующие три компонента: гражданская идентичность, т.е. осознание себя гражданином страны, интеграция в общество; национально-культурная идентичность, что отражается в следовании культурным традициям, а также в выбо-

ре одного из четырёх языков (немецкого, итальянского, французского или ретороманского), и, наконец, кантональная идентичность, т.е. признание историко-культурных и территориальных особенностей. Кантональные идентичности тесно переплетаются со швейцарской, являясь в то же время её компонентами [24. С. 79–80]. Наличие трёх компонентов в структуре идентичности швейцарцев объясняет, почему швейцарцы сталкиваются с некоторыми трудностями, вызванными необходимостью отстаивать и не утратить уникальность неоднородной культуры. На наш взгляд, многоязычие Швейцарии позволяет судить об отличительных характеристиках национальной идентичности страны. Несмотря на языковые различия, кантоны объединены в одно государство – Швейцарскую конфедерацию.

В качестве промежуточного вывода следует заключить, что на современном этапе у представителей стран немецкоязычного ареала наличествует двойственная (или даже более) идентичность – национальная и европейская, где такие идеалы, как демократия, свобода, независимость, нейтралитет, по сути являются общими для всех рассматриваемых стран и в то же время имеют свою национальную специфику. Так, для австрийской идентичности принципиальное значение имеет нейтралитет, для швейцарской – независимость и свобода, а для немецкой идентичности – демократия. Исследовать обозначенные базовые константы в качестве макрокомпонентов идентичности считаем возможным на материале цифровых немецкоязычных аудиофайлов медиадискурса, представленных в Интернете.

Материал и методы исследования

Современное интернет-пространство выполняет функцию не только передачи информации о реальной действительности, но и интерпретирует её, фиксируя картину мира здесь и сейчас. Одним из относительно новых, но всё ещё мало используемых, материалов исследования является подкастинг. С момента своего появления в 2004 г. подкастинг стал популярной альтернативой традиционному радио без поддержки радиовещателя. Широкий спектр аудиоподкастов, доступность которых удовлетворяет растущий спрос, переживает в настоящее время второй расцвет. Многие передовые СМИ включают подкастинг в состав своих веб-сайтов. Подкастинг – это и эффективный инструмент в обучении иностранному языку. Результативность изучения иностранного языка с помощью подкастов и цифровых аудиозаписей была успешна доказана. Так что же такое подкастинг?

Термин «подкастинг» состоит из двух частей и означает „*pod*“ – популярный MP3-плеер iPod от Apple, а „*casting*“ – вещание, т.е. трансляция / вещание из мобильного устройства. Вместе с тем большинство подкастов предназначены для небольшой, часто чётко определённой целевой группы, которая заинтересована в конкретной теме. По результатам проведённых исследований немецкими специалистами слушателями подкастов являются представители немецкоязычного населения в возрасте 14 лет и старше. В современных немецкоязычных СМИ многочисленные материалы произ-

водятся в виде подкастов. При этом треть всех слушателей интересуются подкастами из телевидения, фильмов, сериалов и новостей [25. S. 47]. Преимуществом подкастинга, который в современных исследованиях рассматривается как синтез Интернета и радио, заключается в том, что он является частью канала информации, которую можно прослушать в любое время и неограниченное количество раз.

В качестве материала исследования нами были взяты тексты из немецкоязычного подкастинга „Zeit Online“ (<https://www.zeit.de/serie/servus-gruezi-hallo>). В политическом трансальпийском подкастинге „*Servus. Grüezi. Hallo*“ корреспонденты цифрового выпуска газеты „*Die ZEIT*“ еженедельно обмениваются мнениями по актуальным темам из жизни трёх стран (Австрии, Швейцарии, Германии – соответственно приветствиям в трёх странах). В студию приглашаются и гости – эксперты в той или иной сфере. Темы для беседы берутся из всех сфер жизни трёх стран: политическая, общественная, культурная, обсуждается также социокультурное своеобразие каждого из обществ.

Подкастинг „*Servus. Grüezi. Hallo*“ представляет собой такую речевую деятельность, которая осуществляется в процессе дискуссии и закрепляется в виде краткого скрипта на сайте (название, краткое содержание, тема, дата выхода), а также в виде возможного взаимодействия с аудиторией (канал обратной связи, комментарии). Дискурсивная специфика исследуемого подкастинга заключается в формировании единой социокультурной среды, основанной на историческом коллективном коммуникативном поведении представителей различных лингвокультур. Своеобразие каждой из культур достаточно очевидно в аудиоматериале, где факты каждой из культур чётко фиксируются и вербализуются.

Подкаст, являясь жанром массмедиийного дискурса, отражает важную составляющую константы – динамику. Ведь константы содержат как неизменную, так и переменную части. Данное обстоятельство позволяет проследить изменение константы на определённом отрезке времени [6. С. 6]. Проследим динамику лингвокультурных констант на примере подкастинга „*Servus. Grüezi. Hallo*“, материалом которого послужили около 100 подкастов (общей продолжительностью более 60 часов) в период с 2018 по 2020 г. Структурной единицей в подкастинге будем считать информационный выпуск, т.е. еженедельный блок.

В ходе исследования использовались различные методы лингвокультурологии. Для описания константы применялся компонентный анализ доминанты синонимического ряда слова, используемого для вербализации культурно-маркированных характеристик константы. Контекстологический анализ позволил исследовать языковые единицы, репрезентирующие исследуемые константы, в развернутом контексте. С помощью метода статистического подсчёта устанавливалась частотность языковых единиц, репрезентирующих исследуемые константы в подкастинге.

Результаты исследования

Лингвокультурные константы немецкоязычного ареала на поворотах истории

Интерес к идентичности и лингвокультурным константам связан с динамическими процессами современного глобального общества. Миграционные процессы, культурные обмены и межкультурное взаимодействие – отличительные признаки жизни европейского общества второго десятилетия XXI в. В пространстве любой культуры постоянно появляются новые социальные реалии, которые дестабилизируют социальную устойчивость или даже существенно преобразуют привычные системы социальной дифференциации. Так, рост числа людей с миграционными корнями в Европе показывает, что они заметно влияют на развитие лингвокультуры немецкоязычного ареала (см., например, возникновение в немецком языке нового социоэтнолекта *Kiezdeutsch*). Межкультурное взаимовлияние в контексте меняющихся условий европейского пространства изменяет компоненты лингвокультуры в странах немецкоязычного ареала.

Лингвокультура является результатом поведения людей и деятельности общества в целом, основана на символах и включает идеи, модели, ценности [26]. Лингвокультурные константы детерминируются нами как культурно доминирующие ценности, как своеобразное ядро лингвокультуры, необходимое для соблюдения баланса всей структуры. Неизменной совокупности констант культуры не существует, постоянно формируются новые или изменяются уже существующие. В связи с этим в каждой культуре на определённом историческом этапе выделяются доминирующие константы и устанавливаются новые. Культурные константы существенно меняются под влиянием политических, социальных, экономических, религиозных и иных процессов. Так, например, в конце XVIII – начале XIX в. немцы производили впечатление народа крайне непрактичного. Это подтверждается и впечатлениями американского писателя М. Твена, путешествовавшего во второй половине XIX в. по Германии и полагавшего, что немцы более склонны к музыке, литературе и философии, нежели к предпринимательству и технике. Техническая революция и переворот в промышленности, который произошёл в Германии в середине XIX в. (с 30-х и до 70-х гг.), повлиял на появление таких констант в немецкой культуре, как деловитость (достаточно вспомнить целое направление в искусстве и литературе Германии „*Neue Sachlichkeit*“, 1918–1933), дисциплина (*Disziplin ist alles!* *Дисциплина – это всё!* предположительно слова прусского генерала-фельдмаршала Гельмута Мольтке, 1800–1891). Именно деловитость и дисциплина стали отличительными чертами немцев, без которых невозможно сейчас представить современную немецкую культуру. А стереотип о неспособности немцев к предпринимательству стал анахронизмом.

Переломным моментом в истории Австрии явился крах Австро-Венгерской монархии в XX в. Это был не только распад территориального, политического, культурного, языкового порядков, он стал коллективной

травмой всего общества. Отказ от имперско-монархической традиции повлек за собой развитие не только независимости („*Unabhängigkeit*“), некой провинциальности (или региональности / „*Regionalität*“) в характере австрийцев, но и своеобразного чувства юмора (часто «чёрного» юмора / „*schwarzer Humor*“), иронии или самоиронии („*Selbstironie*“). Интересно, что именно в этот период появляются произведения австрийских писателей, философов, отличительной чертой которых становится ирония и самоирония австрийцев [27]. Ирония помогает справиться с трудной ситуацией, а самоирония выполняет функцию «самообороны» и позволяет избежать насмешек со стороны представителей других стран. Примером иронии может быть фраза австрийского чиновника, который в тяжёлый для Австро-Венгерской монархии ситуации, охарактеризовал её в Национальном совете так: „*Die Lage in Österreich ist hoffnungslos, aber nicht ernst*“ («Ситуация в Австрии безнадежна, но не серьёзна»). Данная цитата, которая приписывается во многих источниках различным писателям, стала позже восприниматься как «венская идиома» или своеобразный ироничный девиз австрийцев.

Австрийский юмор (в том числе и его вариант «чёрный» юмор) формировался в течение долгого времени и в результате приобрёл национальные черты представителей всех народов, проживавших когда-то на территории Австро-Венгрии: от венгерского пессимизма до чешского сюрреализма и итальянской забавы. Примером «забавного» чёрного юмора австрийцев могут быть рифмованные шутки, которые всегда начинаются со слов «все дети». Каждый австриец знает эти шутки с детства, а также активно участвует в их создании („*Alle Kinder rennen in den Bunker – nur nicht Renate, die fängt die Granate*“ «Все дети несутся в бункер – только не Рената, которая ловит гранату»). Таким образом, юмор и ирония в результате исторических процессов приобрели неповторимый австрийский «чёрный» оттенок, подчас творческой самоиронии [28. S. 237–244].

Описанные выше компоненты швейцарской идентичности – независимость и нейтралитет – способствовали кристаллизации такой лингвокультурной константы как „*humanitäre Aktivität*“ («гуманитарная активность» или «гуманизм»), которая в ходе Первой мировой войны стала мотивом плакатов и почтовых открыток. Цель этой акции заключалась в преодолении внутренней раздробленности и разобщённости, которые грозили расколоть Конфедерацию. Истоки гуманизма как лингвокультурной константы швейцарцев были заложены, однако, ещё в 1685 г., когда гугеноты преследовались во Франции из-за их протестантских убеждений. И, несмотря на чувствительное финансовое бремя для Швейцарии, тысячи гугенотов нашли здесь для себя убежище [29. S. 261].

Швейцарская гуманитарная традиция формировалась в различных сферах: политической, социальной, культурной, педагогической. В этой связи целесообразно привести высказывание швейцарского социального реформатора, одного из крупнейших педагогов-гуманистов XVIII–XIX вв. Иоганна Генриха Песталоцци (1746–1827): „*Wir wollen nicht die Verstaatli-*

chung des Menschen, sondern die Vermenschlichung des Staates“ («Мы хотим не национализацию человека государством, а гуманизацию государства»). Швейцарская гуманитарная традиция получила своё дальнейшее развитие в связи с деятельностью гуманитарного общества Красного Креста, основание которого стало возможно в 1863 г. благодаря деятельности швейцарского бизнесмена и писателя Анри Дюнана. Неслучайно эмблемой Красного Креста стал швейцарский флаг, основной цвет которого был заменён на белый, а белый крест – на красный.

Очевидно, что для швейцарской культуры константа «гуманизм» означает готовность передавать из поколения в поколение гуманитарную традицию, оказывать материальную помощь жертвам войны, беженцам, а также гражданскому населению и жертвам стихийных бедствий. Естественным продолжением гуманитарной традиции представляется приверженность соблюдения прав человека Швейцарии как в своей собственной стране, так и на международном уровне. В результате «особый гуманитарный случай» („humanitärer Sonderfall“) / гуманитарная традиция и уважение прав человека являются ключевыми «константами швейцарской внешней политики» [30. S. 1–2] и швейцарской лингвокультуры.

Тем не менее на современном этапе, несмотря на существующие традиции, Швейцария ужесточила иммиграционные законы и законы о предоставлении убежища. Данная мера, поддерживаемая абсолютным большинством населения Швейцарии, обусловлена тем, что возросло количество людей, которые покидают свою страну по социальным, а не по политическим причинам. Это объясняет недовольство граждан Швейцарии большим количеством мигрантов в стране. В связи с этим был проведён референдум, в результате которого жители страны проголосовали за отказ в приёме беженцев или их значительное уменьшение в стране.

Переломные повороты в истории оказывают влияние на развитие лингвокультурных констант, которые долгое время оставались статичными. При этом сложившаяся историческая ситуация либо меняет их в значительной степени (пример Австрии), либо меняет их функциональные характеристики (пример Швейцарии), либо способствует возникновению новых констант лингвокультуры (пример Германии).

Лингвокультурные константы немецкоязычного ареала в динамике

Любое лингвокультурное пространство определяется границами культурных процессов, которые происходят внутри социокультурного общества. Успешность процессов в границах только этого общества указывает на его специфику и своеобразие. Константы лингвокультуры проявляются в повседневной жизни как своеобразные стандарты-эталоны. Лингвокультурная константа есть модель представления уже существующих знаний о каком-то фрагменте картины мира. Корпус констант определяется в связи со сложившимися в описываемой культуре представлениями, которыми обладают все члены лингвокультурного общества. Система координат

немецкоязычного пространства изучена достаточно широко ([16, 31–39] и мн. др.), но сравнительного анализа сразу трёх стран (Австрии, Германии и Швейцарии) ещё не проводилось. Анализ ранее проведённых многочисленных исследований по установлению существующих констант и концептов немецкой, австрийской и швейцарской лингвокультур [16, 17, 31–36, 38], а также эмпирический опыт авторов настоящей статьи, полученный во время научных стажировок в трёх странах, позволяет схематично представить их следующим образом (даны в алфавитном порядке):

– **немецкие лингвокультурные константы** – *Arbeit* (работа, труд), *Bier* (пиво), *Bürger* (гражданин), *Demokratie* (демократия), *Direktheit* (прямота, откровенность), *Disziplin* (дисциплина), *Doktor Faust* (доктор Фауст), *Exaktheit* (точность в измерениях), *Fleiß* (прилежность), *Freikörperkultur* (культура нудистского пляжного отдыха), *Fußball* (футбол), *Gehorsam* (послушание), *Gott* (Бог), *Goethe* (Й.В. Гёте), *Genauigkeit* (точность в терминологии), *Gründlichkeit* (основательность), *Höflichkeit* (вежливость), *Kirche* (церковь), *Koalition* (коалиция), *Kollektivschuld* (коллективная вина), *Vergangenheitsbewältigung* (преодоление прошлого), *Ordnung* (порядок), *Pünktlichkeit* (пунктуальность во времени), *Reiselust* (любовь к путешествиям), *Religion* (религия), *Sachlichkeit* (деловитость), *Sauberkeit* (чистота), *Sicherheit* (безопасность), *Toleranz* (толерантность); *Ungestalt* (безобразность), *Universität* (университет), *Verantwortung* (ответственность), *Wende* (перемена строя), *Zeit* (время), *Zuverlässigkeit* (надёжность);

– **австрийские лингвокультурные константы** – *Ästhetismus* (эстетизм), *Ausgleich* (примирение), *Austriazität* (австрийскость), *Badesekultur* (культура купания), *Ball* (бал), *Berge* (горы), *Etikette* (этикет), *Gemütlichkeit* (уют), *Genießer* (гурман / ценитель), *Heldenplatz* (Площадь Героев), *Heuriger* (традиционный австрийский ресторан), *Hierarchie* (иерархия, порядок подчинённости), *Höflichkeit* (вежливость), *Ironie* (ирония), *Kaffeehaus* (кафе), *Kompromiss* (компромисс), *Kultur* (культура), *Kunst* (искусство), *Manierlichkeit* (учтивость), *Mozart* (Моцарт), *Musik* (музыка) и *Musikalität* (музыкальность), *Neutralität* (нейтралитет), *Oper* (опера), *österreichische Lösung* (предполагаемое решение), *Patriotismus* (патриотизм), *Schönheit* (красота), *Schwarzer Humor* (чёрный юмор), *Skifahren* (катание на лыжах), *Selbstironie* (самоирония), *Sparsamkeit* (экономность), *Stolz* (гордость), *Tischkultur* (культура приёма пищи), *Walzer* (вальс), *Wien* (Вена), *Wintersport* (зимние виды спорта);

– **швейцарские лингвокультурные константы** – *Alpen* (Альпы), *Bank* (банк), *Eigenverantwortung* (персональная ответственность), *Freiheit* (свобода), *Freistatt* (убежище), *Frieden* (мир), *Friedlichkeit* (миролюбие), *Gebirge* (горы), *Geld* (деньги), *Gold* (золото), *Gemessenheit* (степенность), *Gleichmütigkeit* (равнодушие), *Humanität* (гуманность), *Kantönligeist* (местный патриотизм), *Landschaft* (ландшафт), *Multikulturalität* (мультикультурализм), *Natur* (природа), *Qualität* (качество), *Schokolade* (шоколад), *Solidarität* (солидарность), *Sonderfall*, *Sonderweg*, *Geheimnisweg* (особый случай,

особый путь, таинственный путь), *Stabilität* (стабильность), *Wanderlust* (страсть к путешествиям), *Wilhelm Tell* (Вильгельм Телль), *Toleranz* (толерантность), *Uhr* (часы), *Unabhängigkeit* (независимость), *Vielfalt* (многообразие), *Vielsprachigkeit* (многоязычие).

Представленный список, естественно, не претендует на абсолютную завершённость и остаётся открытой системой, так как изменения в жизни общества приводят в свою очередь к сдвигам в смыслах констант, отношение к ним и их актуализации в определённый исторический период. Кроме того, некоторые константы наличествуют у отдельных представителей лингвокультуры (ср., например, *Kollektivschuld* (коллективная вина), *Ver-gangenheitsbewältigung* (преодоление прошлого) у немцев преимущественно старшего поколения).

В качестве параметров исследования динамики в специфике лингвокультурного пространства, на наш взгляд, выступают *сформированность лингвокультурных констант* внутри описываемого пространства, *соотношение доминирующих лингвокультурных ценностей в различных сферах* и *концентрация лингвокультурных явлений* для каждого общества. Определение содержания константы культуры возможно по засвидетельствованным контекстам употребления, в том числе и в подкастинге. Рассмотрим динамику лингвокультурных констант в немецкоязычном ареале на примере подкастинга „*Servus. Grüezi. Hallo*“.

Для установления уровня сформированности лингвокультурных констант внутри немецкоязычного пространства были прослушаны и затем проанализированы 96 подкастов. Общее количество проанализированных примеров на немецком языке составляет около 3000 лексических единиц. С помощью количественного метода, являющегося базовым для выяснения частотности употребления лексем, были зарегистрированы и систематизированы лексические единицы, актуализирующие лингвокультурные константы немецкоязычного ареала в подкастинге. Дискурсивный анализ позволил выявить социальный контекст использования лингвокультурных констант в каждой отдельной культуре немецкоязычного ареала. Предварительный этап лингвокультурологического исследования заключался в анализе подкастинга „*Servus. Grüezi. Hallo*“, который позволил установить следующие базовые константы, актуальные для всех трёх стран немецкоязычного ареала: „*Rechtsstaat*“ (государство, основанное на законности) (19%); „*Wohlstand*“ (благополучие) (17%); „*Natur*“ (природа) / „*Alpen*“ (Альпы) (15%); „*Ökologie*“ (экология) / „*Umweltschutz*“ (охрана окружающей среды) (15%); „*Kunst*“ (искусство) / „*Traditionen*“ (традиции) (12%); „*Religion*“ (религия) (7%); „*Körperkultur*“ (физическая культура) (6%); „*Patriotismus*“ (патриотизм) (3%); „*Bildung*“ (образование) (3%) и др. (3%). Константы расположены в соответствии с показателями количества актуализированных ассоциативных лингвистических единиц в подкастинге. Первые две – „*Rechtsstaat*“ (государство, основанное на законности), „*Wohlstand*“ (благополучие) актуализируются чаще всего с большим отрывом от всех остальных.

Установление обозначенных ценностей, выделенных на основе анализа подкастов, позволило прийти к выводу, что среди представителей трёх немецкоязычных лингвокультур существуют значимые ориентиры, что способствуют также взаимопроникновению наиболее общих национальных понятий и терминов. На основе одних и тех же констант культурные темы тем не менее интерпретируются по-разному. Такой ориентир для лингвокультур, например, очевиден в понимании государства, которое основано на равноправии, законе и порядке, для всех немецкоязычных культур: *Grundgesetz* (закон), *Justiz* (правосудие), *Menschenrechte* (права человека), *Ordnung* (порядок), *Verfassung* (конституция), *Wahlen* (выборы). Количество вопросов и тем, затрагиваемых участниками дискуссий, показало, что для каждой из лингвокультур немецкоязычного ареала в определении государственности существуют нюансы. Так, для австрийской лингвокультуры принципиальными категориями являются также *Kompromiss* (компромисс), *Länderfinanzausgleich* (финансовое сбалансирование между землями), *Neutralität* (нейтралитет), *Sozialstaat* (социальное государство), *Sozialpolitik* (социальная политика). Для швейцарской лингвокультуры государственность актуализируется следующими ориентирами: *Abstimmung* (голосование), *Bund* (союз), *direkte Demokratie* (прямая демократия), *Mitbestimmung* (участие в принятии решения), *Referendum* (референдум), *Selbstbestimmungsinitiative* (инициатива самоопределения). Этноспецифическими измерениями государственности для немецкой лингвокультуры являются *Gleichberechtigung* (равноправие), *Koalition* (коалиция), *Sicherheit* (безопасность), *Wahlen* (выборы).

Контекстологический анализ подкастов позволил исследовать языковые единицы в разёрнутом контексте и соотнести доминирующие лингвокультурные ценности с различными сферами жизни каждой из трёх лингвокультур отдельно. Так, для **немецкой лингвокультуры** доминирующими ценностями (42% всех примеров) оказались в общественной жизни (*Burschenschaft* (студенческое объединение), *Hochschule* (вуз), *Lehrerberuf* (профессия учителя), *Migranten* (мигранты), *Rente* (пенсия), *Sozialhilfe* (социальная помощь), *Studienplatz* (место учёбы), *Universitäten* (университеты), *Wohnungsmiete* (квартирная плата)) и в сфере экологии и охраны окружающей среды (*Dürre* (засуха), *Hitze* (жара), *Klimawandel* (изменение климата), *Mülltrennung* (сортировка мусора), *Stromgewinnung* (производство электроэнергии), *Verkehrswende* (переход на экологический вид транспорта)).

Превалирующими константами (более 48% всех примеров) для **швейцарцев** отмечены в сфере благополучия (*Altenpflege* (забота о престарелых), *Ferien* (каникулы), *Geld* (деньги), *Ruhe* (спокойствие), *Urlaub* (отпуск)), здорового образа жизни (*Ökologie* (экология), *Sport* (спорт), *Wandern* (пеший туризм), *Wasser* (вода)) и географического пространства, которое связано с Альпами (*Alpen* (Альпы), *Alpenrepublik* (Альпийская республика), *Flüsse* (реки), *Gebirge* (горы), *Landschaft* (ландшафт), *See* (озеро), *Wälder* (леса)). Следует отметить, что материальное богатство как таковое не входит в число основных ценностей швейцарца. Тем не менее у каждого гражданина Швейцарии должно быть достаточно средств, чтобы обеспе-

чить себе достойное существование. Более принципиальными признаками для жителя Швейцарии являются размеренная, спокойная жизнь и количество свободного времени, которое можно посвятить своему саморазвитию, своим интересам, хобби, родным, близким, друзьям и т.д.

Для *австрийской лингвокультуры* константы доминировали (более 45% всех примеров) в сферах *патриотизма* (*Armee* армия), *Dienst- und Wehrpflicht* (воинская обязанность), *Dorfleben* (жизнь в деревне), *Gewerkschaft* (профсоюз), *Heimat* (родина), *Neutralität* (нейтралитет), *Tracht Kleid* (национальная одежда), *Traditionen* (традиции), *Zivildienst* (альтернативная служба) и *культуры и искусства* (Bands (музыкальные группы), *Fernsehen* (телевидение), *Karneval* (карнавал), *Klassiker* (классики), *Literatur* (литература), *Musik* (музыка), *Oper* (опера), *Theater* (театр)).

Установление концентрации лингвокультурных явлений для каждой лингвокультуры немецкоязычного пространства направлено на выявление культурно-маркированной лексики в подкастинге. При отборе культурно-маркированной лексики нами учитывался тот культурный компонент, который отражал специфику каждой из трёх лингвокультур. Наличие культурного компонента в семантике слова, обозначающего реалию национальной культуры, позволяет распознать особенность описываемого объекта с позиции лингвокультурологии. Под реалией нами понимаются объекты или явления, характерные для культуры определённого народа, обозначения которых зафиксированы в языке. Анализ подкастов позволил выявить концентрацию реалий во всех трёх лингвокультурах преимущественно в сферах государственного устройства, культурной сферы, культуры питания, отдыха и природы, хотя и с небольшими доминантами в каждой из лингвокультур. Представим краткий обзор полученных результатов лингвокультурологического анализа концентрации реалий. Всего было зафиксировано 283 языковые единицы, обозначающие реалии.

Швейцарская лингвокультура демонстрируется преимущественно единицами, обозначающими реалии в сфере государственного устройства и отдыха. Выявленные нами реалии в сфере государственного устройства (25%) представлены в основном понятийными признаками символами национального праздника Швейцарии – дня независимости: *Alpenrepublik* (Альпийская республика), *Auguststrede* (речь президента в день независимости Швейцарии, 1 августа) *Bundesfeiertag* (день национальной независимости Швейцарии), *direkte Demokratie* (прямая демократия), *Fahnenschwingen* (размахивание флагами), *Landgemeinde* (сельская община, собрание, осуществляющее прямое демократическое правление), *Referendum* (референдум), *bilateraler Weg/ Abkommen* (двустронняя конвенция взаимоотношений Швейцарии с ЕС). Реалии доминировали также в подкастах, посвящённых отдыху (21%) швейцарцев: *Aktion* (распродажа), *Badi* (бассейн), *Badewaschl* (отличный пловец), *Car* (туристический автобус), *ennet der Alpen* (по ту сторону Альп), *Karre* (автомобиль), *Da bist du falsch berichtet* (ты плохо проинформирован), *Retourbillett* (билет туда и обратно), *pedalen* (ехать на велосипеде), *Velo* (велосипед).

В ходе анализа этнокультурной специфики в указанных выше сферах было обнаружено, что единицы, обозначающие реалии австрийской лингвокультуры, преобладают в государственной сфере вокруг нейтралитета и компромисса (15%): *identitäre Bewegung* (движение идентичности), *Neutralitätspolitik* (политика нейтралитета), *Neutralitätsgesetz* (закон о нейтралитете), *österreichische Lösung* (предполагаемое решение), *Sanktionen* (санкции). Другой сферой, где доминируют реалии австрийской лингвокультуры, являются культура и искусство (19%): *Cerclesitz* (место в первых рядах), *Christitag* (Рождество), *Jodl* (вид пения йодль), *Gartenschloß* (дворцовый комплекс), *Kaffeehaus* (кофейня), *Landesmuseum* (краеведческий музей), *Trachtkleid* (национальный костюм), *Wiener Oper* (Венская опера), *Wiener Walzer* (венский вальс), *Wiener Schmäh* (венская шутка), „*Dospütd'Musi!*“ / „*Hier spielt die Musik!*“ (Будь осторожен!). Группа реалий в сфере культуры питания и еды (11%) актуальна для австрийской лингвокультуры: *Backhendl* (цыпленок по-венски), *Gespritzte* (вино с содовой), *Manner* (венские вафли), *Wiener Schitzel* (шницель по-венски).

Лексических единиц, обозначающих реалии немецкой лингвокультуры, было обнаружено не так много, что можно объяснить спецификой самого подкастинга, задача которого – познакомить слушателей с социокультурной жизнью Австрии и Швейцарии. Тем не менее для немецкой лингвокультуры выявленные лексические единицы обнаруживаются в сфере государственного устройства (19%) Германии: *Angela Merkel* (Ангела Меркель), *CDU* (Христианско-демократический союз), *CSU* (Христианско-социальный союз), *GroKO* (большая коалиция), *Grünen* (Партия зелёных), *Kanzlerin* (женщина-канцлер), *Koalition* (коалиция), *Wahlsystem* (выборная система). Другая группа реалий характеризует Германию как страну технологий и инноваций (16%): *Netzwerktechnologien* (сетевые технологии), *Bahnverkehr* (железнодорожное движение), *Technologie der Bierbereitung* (технология пивоварения), *zukunftsweisende Technologie* (инновационные технологии), *Digitalisierung* (цифровизация).

Заключение

Лингвокультурные константы объединяют национально-специфические компоненты и отражают сложные процессы и явления, происходящие внутри социокультурного общества. Функция констант заключается в сохранении устойчивости условий существования человека в постоянно изменяющемся мире, в том числе и в языке. Знание констант позволяет человеку адаптироваться к условиям социальной среды.

Лингвокультурные константы обеспечивают целостность сообщества и его культуры. Лингвокультурные константы отражают исторический, политический и социальный опыт общества, его культурные ценности и традиции. Исторические и социальные процессы, происходящие в мире, в значительной степени влияют на развитие национальных языков, лингвокультур и констант. При этом изменение базовых констант заключается в частичной замене их компонентов, полной деконструкции или исчезновении. Динамика лингво-

культурных констант находит своё отражение в речевой деятельности членов социокультурного общества и репрезентируется в современном радиодискурсе и его разновидности подкастинге. Вербализованные в трансальпийском подкастинге „*Servus. Grüezi. Hallo*“ константы позволили выявить динамику лингвокультурных констант в немецкоязычном ареале.

Согласно полученным в ходе исследования данным ключевыми константами лингвокультур трансальпийского пространства являются «правовое государство» и «благосостояние». Преобладание данных констант, подразумевающих гарантию прав и свобод, соблюдение закона, безопасность, возможность проявлять инициативу и сделать выбор, высокий уровень социальной защиты, свидетельствует о том, что они имеют приоритетное значение в ряду общечеловеческих ценностей. Этноспецифическая константат для немецкой лингвокультуры – «экология», которая характеризует немецкую нацию как экологически ответственную. Преобладание констант «отдых» и «природа» в швейцарской культуре свидетельствует о важном символическом значении ландшафтов в жизни швейцарцев. Константа «искусство», преобладающая в австрийской культуре, подтверждает стереотип о мировом значении музыкальной, литературной и искусствоведческой составляющей австрийской лингвокультуры. Все вышеперечисленные константы тесно взаимосвязаны внутри немецкоязычного пространства и формируют каркас картины мира немецкоязычной лингвокультуры.

Литература

1. Луков В.А. Культурные константы: тезаурусный подход // Вестник Московского государственного педагогического университета. Серия: Философские науки. 2014. № 2 (10). С. 111–119.
2. Лурье С.В. Культура и её сценарий: имплицитный обобщённый сценарий как интегратор // Общественные науки и современность. М., 2017. № 2. С. 153–164.
3. Миллер А.И. Дебаты об истории и немецкая идентичность // Политическая наука. 2005. № 3. С. 66–75.
4. Gilson, E. Linguistique et philosophie. Essai sur les constantes philosophiques du langage. Р. : Librairie philosophique J. Vrin, 1969. 309 р.
5. Карасик В.И. Нarrативное измерение лингвокультурных ценностей // Язык и культура. 2019. № 47. С. 59–75.
6. Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М. : Школа «Языки русской культуры», 1997. 824 с.
7. Куссе Х., Чернявская В.Е. Культура: объяснительные возможности понятия в дискурсивной лингвистике // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2019. № 16 (3). Р. 444–462. DOI: 10.21638/spbu09.2019.307
8. Алефиренко Н.Ф. Лингвокультурная природа ментальности // Язык. Словесность. Культура. 2011. № 1. С. 20–39.
9. Язык и культура: поликультурный потенциал немецкого языка // Материалы Международной научно-практической конференции / редакция: Л.А. Иванова, Т.А. Полуянова. Ульяновск : УлГПУ, 2013. 273 с.
10. Немецкий язык в эпоху глобализации: вызовы и перспективы / ред. Л.А. Иванова, Т.А. Полуянова. Ульяновск : УлГПУ, 2014. 223 с.
11. Borčić N., Wollinger S. Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz: Identität und Sprachpolitik // Informatologia. 2008. № 41. S. 156–160.

12. *Кауганов Е.* Дискурс национальной идентичности в послевоенной Германии // Очерки о европейской идентичности и многокультурности : сборник / под ред. М.Ю. Мартыновой. М., 2013. С. 11–74.
13. *Волков В.В., Волкова Н.В., Гладилина И.В.* Русский менталитет и европейская идентичность: Лингвистический и лингвоментальный аспекты // Вестник ТвГУ. Серия: Филология. 2019. № 1 (60). С. 69–80.
14. *Попцов Д.А.* Специфика европейского и национального уровней в структуре идентичности немцев (историко-статистический аспект) // Вестник ТГПУ. 2015. № 9 (162). С. 262–269.
15. *Васильев В.И.* Австрийская идентичность и европейская интеграция // Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. 2013. № 2 (287). С. 98–115.
16. *Чеснокова Л.В.* Концепты немецкой культуры. Ногинск : Аналитика РОДИС, 2017. 432 с.
17. *Национальные коды в европейской литературе XIX–XXI веков.* Н. Новгород : Нижегород. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского, 2016. 677 с.
18. *Холлер Е.В.* Деконструкция деконструкции, или Как исследовать идентичность // Перемены в самосознании и жизненном укладе европейцев на рубеже XX–XXI веков (Австрия, Исландия, Испания, Сербия) / Р.Н. Игнатьев, А.Н. Кожановский, И.А. Кучерова, Е.В. Холлер. М., 2016. Вып. 248. С. 5–13.
19. *Караулов Ю.Н.* Русский язык и языковая личность. М. : Наука, 1987. 263 с.
20. *Грошева Г.В.* Немецкий дискурс о прошлом и проблема соотношения национальной и европейской идентичностей немцев (вторая половина XX – начало XXI в.) // Томский журнал лингвистических и антропологических исследований. 2014. № 3 (5). С. 57–67.
21. *Рогожин А.А.* Проблема генезиса немецкого национального самосознания в контексте международных отношений: история и современность // Вестник Волгоградского государственного университета. 2011. Сер. 4. Ист. № 1(19). С. 98–103.
22. *Хауэр-Тюкаркина О.М.* Дискурс национального в современном немецком обществе // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. 2013. № 4 (71). С. 67–78.
23. *Шимов Я.* Австрия и Венгрия: идентичность на развалинах / Австро-Венгерская империя. М. : Исток, 2003. 608 с.
24. *Бабич И.Л.* Современные конфликты с кавказскими и мусульманскими мигрантами как один из методов сохранения швейцарской идентичности // Государство и право зарубежных стран. 2018. № 3 (12). С. 77–90.
25. *Domenichini B.* Podcastnutzung in Deutschland. Ergebnisse einer empirischen Studie // Media Perspektiven. 2018. № 2. С. 46–49.
26. *Ленец А.В., Овсиенко Т.В.* Фразеологическая презентация лингвокультурных констант «маскульность / фемининность» (на материале немецкого языка) // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2018. № 1 (29). С. 62–68. DOI: 10.29025/2079-6021-2018-1(29)-62-68.
27. *Perloff M.* Ironie am Abgrund. Die Moderne im Schatten des Habsburgerreichs: Karl Kraus, Joseph Roth, Robert Musil, Elias Canetti, Paul Celan und Ludwig Wittgenstein. Wien ; Hamburg : Edition Konturen, 2019. 192 S.
28. *Müller S.* Wiener Schmäh// Johannes Feichtinger, Heidemarie Uhl (Hg.): Habsburg neu denken. Zentraleuropa-Erfahrungen und ihre Gegenwartsrelevanz. Wien ; Köln ; Weimar ; Böhlau, 2016. S. 237–244.
29. *Bär J.* Schlüsselbegriffe als Kulturvermittler. Zur Semantik und Funktion von kulturspezifischen Lexemen des Schweizerdeutsch // Linguistische Treffen in Wrocław. 2018. Vol. 14. S. 259–268. DOI: 10.23817/lingtreff.14-23
30. *Fanzun Jon A.* Schweizerische Menschenrechtspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg – ein Überblick, in: Jusletter (Die grösste juristische Universalzeitschrift der Schweiz) 7. Februar 2005. URL: https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2005/313/_3707.html__ONCE&login=false (дата обращения: 01.02.2020).

31. Заболотских Л.В. Национальная концептосфера как фактор формирования культурной картины мира (на примере Австрии) : дис. канд. культурол. М., 2018. 172 с.
32. Медведева Т.С. Ценности немецкого народа: история и современность // Вестник Удмуртского университета. 2010. № 3. С. 130–134.
33. Медведева Т.С., Опарин М.В., Медведева Д.И. Ключевые концепты немецкой лингвокультуры / под ред. Т.И. Зелениной. Ижевск : Удмурт. ун-т, 2011. 160 с.
34. Муравлëва Н.В., Муравлëва Е.Н. Австрия: Лингвострановедческий словарь. М. : Русский язык-Медиа, 2003. 656 с.
35. Муравлëва Н.В., Муравлëва Е.Н., Назарова Т.Ю. и др. Германия: Лингвострановедческий словарь / под ред. Н.В. Муравлëвой. М. : АСТ, 2011. 991 с.
36. Тахтарова С.С. Прагмалингвистические особенности межкультурной коммуникации в немецкоязычной Швейцарии // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. 2019. № 1. С. 147–154. DOI: 10.23683/1995-0640-2019-1-147-154
37. Холлер Е.В. Функциональность стереотипа в процессе построения идентичности: австрийский кейс // Сибирские исторические исследования. 2017. № 1. С. 74–98.
38. Bühler E. Zum Verhältnis von kulturellen Werten und gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz. Das Beispiel regionaler Gemeinsamkeiten und Differenzen der Geschlechterungleichheit // Geographica Helvetica. 2001. Jg. 56. Heft 2. S. 77–89.
39. Scharloth J. Asymmetrische Plurizentrität und Sprachbewusstsein. Einstellungen der Deutschschweizer zum Standarddeutschen // Zeitschrift für germanistische Linguistik. 2007. Vol. 33, № 2-3. P. 236–267. DOI: <https://doi.org/10.1515/zfgl.33.2-3.236>

Dynamics of Linguocultural Constants in the Modern German-Speaking Space (Austria, Germany, Switzerland)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 70–90. DOI: 10.17223/19986645/71/5

Anna V. Lenets, Tatiana V. Ovsienko, Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russian Federation). E-mail: annalenets@sfedu.ru / tvovsienko@sfedu.ru

Keywords: linguaculture, constant, dynamics, identity, podcast, language picture of the world, German-speaking area.

The aim of the article is to analyze the dynamics of the linguocultural constants of the German-speaking area (Austria, Germany, Switzerland). The establishment, development and consolidation of linguistic and cultural constants in society are influenced by historical and relevant processes and traditions reflected in the language. The study substantiates that the representatives of the countries of the German-speaking area have a dual identity – national and European. For the Austrian identity, neutrality and arts are of fundamental importance; for the Swiss, independence and freedom are important; for the German, it is democracy and ecology. The identified constants find their convincing confirmation in modern radio discourse. The material of the study is the audio files of the German-speaking transalpine political podcast Zeit Online. In the Servus. Grüezi. Hallo podcast, topics of political and sociocultural life in Austria, Germany, Switzerland are presented. A total of 96 podcasts in German were analyzed. The basis of the study is linguoculturological methods and techniques for the study and description of concepts. Semantic-stylistic and contextual analysis, as well as a quantitative calculation method, were also used. German, Austrian and Swiss linguocultural constants were determined based on the analysis. The content of podcast constants revealed the basic constants of the German-speaking space: a state based on legality, prosperity, nature / Alps, ecology / environmental protection, art / traditions, religion, physical education, patriotism, education, etc. The definition of the marked constants allowed concluding that these linguistic cultures have key values that reflect the general national and cultural themes of the German-speaking area. In conclusion, the values common to the German-speaking area are realized with different realities. These realities are fixed in the language and characterize the national specifics of each sociocultural group separately: environmental friendliness for Ger-

man linguistic culture, imagination/creativity for Austrian linguistic culture, and peace for Swiss linguistic culture. In the Austrian national-cultural space, neutrality and art dominate; in the German one, it is coalition and ecology; in the Swiss one, it is referendum, rest and nature. All the found constants are closely correlated within the German-speaking space and form the basis of the picture of the world of the German-speaking linguistic culture. Humanity and solidarity, neutrality and creativity, independence and order are the prevailing components of the German-speaking linguistic culture.

References

1. Lukov, V.A. (2014) Cultural constants: thesaurus approach. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Filosofskie nauki – Vestnik of Moscow City University. Series: Philosophical Sciences.* 2 (10). pp. 111–119. (In Russian).
2. Lur'e, S.V. (2017) The culture and its script. Implicit generalized script as the intracultural integrator. *Obshchestvennye nauki i sovremennost' – Social Sciences and Contemporary World.* 2. pp. 153–164. (In Russian).
3. Miller, A.I. (2005) Debaty ob istorii i nemetskaya identichnost' [Debates on History and German Identity]. *Politicheskaya nauka – Political Science.* 3. pp. 66–75.
4. Gilson, E. (1969) *Linguistique et philosophie. Essai sur les constantes philosophiques du langage.* Paris: Librairie philosophique J. Vrin.
5. Karasik, V.I. (2019) Narrative dimension of linguocultural values. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture.* 47. pp. 59–75. (In Russian). DOI: 10.17223/19996195/47/4
6. Stepanov, Yu.S. (1997) *Konstanty. Slovar' russkoy kul'tury* [Constants. Dictionary of Russian culture]. Moscow: Shkola, Yazyki russkoy kul'tury.
7. Kusse, Kh. & Chernyavskaya, V.E. (2019) Culture: Towards its explanatory charge in discourse linguistics. *Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta. Yazyk i literature – Vestnik of Saint Petersburg University. Language and Literature.* 16 (3). pp. 444–462. (In Russian). DOI: 10.21638/spbu09.2019.307
8. Alefirenko, N.F. (2011) Linguocultural nature of mentality. *Yazyk. Slovesnost'.* *Kul'tura – Language. Philology. Culture.* 1. pp. 20–39. (In Russian).
9. Ivanova, L.A. & Poluyanova, T.A. (eds) (2013) *Yazyk i kul'tura: polikul'turnyy potentsial nemetskogo yazyka* [Language and Culture: Multicultural potential of the German language]. Proceedings of the International Conference. Ulyanovsk. 4–5 April 2013. Ulyanovsk: Ilya Ulyanov State Pedagogical University.
10. Ivanova, L.A. & Poluyanova, T.A. (2014) *Nemetskiy yazyk v epokhu globalizatsii: vyzovy i perspektivy* [The German Language in the Era of Globalization: Challenges and Prospects]. Ulyanovsk: Ilya Ulyanov State Pedagogical University.
11. Borčić, N. & Wollinger, S. (2008) Deutschland, Österreich, Luxemburg und die Schweiz: Identität und Sprachpolitik. *Informatologia.* 41. pp. 156–160.
12. Kauganov, E. (2013) Diskurs natsional'noy identichnosti v poslevoennoy Germanii [Discourse of national identity in post-war Germany]. In: Martynova, M.Yu. (ed.) *Ocherki o evropeyskoy identichnosti i mnogokul'turnosti* [Essays on European Identity and Multiculturalism]. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology RAS. pp. 11–74.
13. Volkov, V.V., Volkova, N.V. & Gladilina, I.V. (2019) Russian mentality and European identity. The linguistic and linguo-mental aspects. *Vestnik TGU. Seriya "Filologiya" – Vestnik TGU Series: Philology.* 1 (60). pp. 69–80. (In Russian).
14. Poptsov, D.A. (2015) Specifics of European and national level in the structure of identity of Germans (historical and statistical aspects). *Vestnik TGPU – Tomsk State Pedagogical University Bulletin.* 9 (162). pp. 262–269. (In Russian).
15. Vasil'ev, V.I. (2013) Austrian identity and European integration. *Obozrevatel' – Observer.* 2 (287). pp. 98–115. (In Russian).
16. Chesnokova, L.V. (2017) *Konsepty nemetskoy kul'tury* [German Culture Concepts]. Noginsk: Analitika RODIS.

17. Sharypina, T.A., Poluyakhtova, I.K. & Men'shchikova, M.K. (eds) (2016) *Natsional'nye kody v evropeyskoy literature XIX–XXI vekov* [National codes in European literature of the 19th – 21st centuries]. Nizhniy Novgorod: Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod.
18. Kholler, E.V. (2016) Dekonstruktsiya dekonstruktsii, ili kak issledovat' identichnost' [Deconstruction of deconstruction, or how to explore identity]. In: Ignat'ev, R.N. et al. *Peremeny v samosoznanii i zhiznennom uklade evropeytsev na rubezhe XX–XXI vekov (Avstriya, Islandiya, Ispaniya, Serbiya)* [Changes in the consciousness and lifestyle of Europeans at the turn of the 20th – 21st centuries (Austria, Iceland, Spain, Serbia)]. Vol. 248. Moscow: Institute of Ethnology and Anthropology RAS. pp. 5–13.
19. Karaulov, Yu.N. (1987) *Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost'* [Russian Language and Linguistic Personality]. Moscow: Nauka.
20. Grosheva, G.V. (2014) German discourse about the past and the problem of correlation of national and European identity of Germans (second half of the 20th – beginning of the 21st centuries). *Tomskiy zhurnal lingvisticheskikh i antropologicheskikh issledovanii – Tomsk Journal of Linguistics and Anthropology*. 3 (5). pp. 57–67. (In Russian).
21. Rogozhin, A.A. (2011) On the issue of German national self-consciousness genesis in the context of international relations: the history and the present. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universitetata. Ser. 4. Iстория. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya – Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations*. 1 (19). pp. 98–103. (In Russian).
22. Khauer-Tyukarkina, O.M. (2013) Diskurs natsional'nogo v sovremenном nemetskom obshchestve [Discourse of the national in modern German society]. *Politiya: Analiz. Khronika. Prognoz – Politeia*. 4 (71). pp. 67–78.
23. Shimov, Ya. (2003) *Avstriya i Vengriya: identichnost' na razvalinakh / Avstro-Vengerskaya imperiya* [Austria and Hungary: Identity on the ruins / Austro-Hungarian Empire]. Moscow: Istok.
24. Babich, I.L. (2018) Contemporary conflicts with Caucasian and Muslim migrants as a method of preserving Swiss identity. *Dialog*. 3 (12). pp. 77–90. (In Russian).
25. Domenichini, B. (2018) Podcastnutzung in Deutschland. Ergebnisse einer empirischen Studie. *Media Perspektiven*. 2. pp. 46–49.
26. Lenets, A.V. & Ovsienko, T.V. (2018) Phraseological representation of linguocultural constants “maskulinity / femininity” (in the framework of the German language). *Aktual'nye problemy filologii i pedagogicheskoy lingvistiki – Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics*. 1 (29). pp. 62–68. (In Russian). DOI: 10.29025/2079–6021-2018-1(29)-62-68
27. Perloff, M. (2019) *Ironie am Abgrund. Die Moderne im Schatten des Habsburgerreichs: Karl Kraus, Joseph Roth, Robert Musil, Elias Canetti, Paul Celan und Ludwig Wittgenstein*. Wien; Hamburg: Edition Konturen.
28. Müller, S. (2016) Wiener Schmäh. In: Feichtinger, J. & Uhl, H. (eds) *Habsburg neu denken. Zentraleuropa-Erfahrungen und ihre Gegenwartsrelevanz*. Wien; Köln; Weimar; Böhlau. pp. 237–244.
29. Bär, J. (2018) Schlüsselbegriffe als Kulturvermittler. Zur Semantik und Funktion von kulturspezifischen Lexemen des Schweizerdeutsch. *Linguistische Treffen in Wrocław*. 14. pp. 259–268. DOI: 10.23817/lingtreff.14-23
30. Fanzun, J.A. (2005) Schweizerische Menschenrechtspolitik seit dem Zweiten Weltkrieg – ein Überblick. *Jusletter (Die grösste juristische Universalzeitschrift der Schweiz)*. 7. Februar. [Online] Available from: https://jusletter.weblaw.ch/juslissues/2005/313/_3707.html _ONCE&login=false (Accessed: 01.02.2020).
31. Zabolotskikh, L.V. (2018) *Natsional'naya kontseptosfera kak faktor formirovaniya kul'turnoy kartiny mira (na primere Avstrii)* [The national conceptual sphere as a factor in the formation of the cultural picture of the world (on the example of Austria)]. Culturology Cand. Diss. Moscow.

32. Medvedeva, T.S. (2010) The values of German people: history and modern time. *Vestnik Udmurtskogo universiteta – Bulletin of Udmurt University*. 3. pp. 130–134. (In Russian).
33. Medvedeva, T.S., Oparin, M.V. & Medvedeva, D.I. (2011) *Klyuchevye kontsepty nemetskoy lingvokul'tury* [Key Concepts of German Linguoculture]. Izhevsk: Udmurt State University.
34. Muravleva, N.V. & Muravleva, E.N. (2003) *Avstriya. Lingvostranovedcheskiy slovar'* [Austria. Linguistic and Cultural Dictionary]. Moscow: Russkiy yazyk-Media.
35. Muravleva, N.V. et al. (2011) *Germaniya. Lingvostranovedcheskiy slovar'* [Germany. Linguistic and Cultural Dictionary]. Moscow: AST.
36. Takhtarova, S.S. (2019) Pragmalinguistic peculiarities of intercultural communication in German speaking Switzerland. *Izvestiya Yuzhnogo federal'nogo universiteta. Filologicheskie nauki – Proceedings of Southern Federal University. Philology*. 1. pp. 147–154. (In Russian). DOI: 10.23683/1995-0640-2019-1-147-154
37. Kholler, E.V. (2017) Functional usefulness of stereotype in the construction of identity: the case of Austria. *Sibirskie istoricheskie issledovaniya – Siberian Historical Research*. 1. pp. 74–98. (In Russian). DOI: 10.17223/2312461X/15/6
38. Bühler, E. (2001) Zum Verhältnis von kulturellen Werten und gesellschaftlichen Strukturen in der Schweiz. Das Beispiel regionaler Gemeinsamkeiten und Differenzen der Geschlechterungleichheit. *Geographica Helvetica*. 2 (56). pp. 77–89.
39. Scharloth, J. (2007) Asymmetrische Plurizentrität und Sprachbewusstsein. Einstellungen der Deutschschweizer zum Standarddeutschen. *Zeitschrift für germanistische Linguistik*. 2–3 (33). pp. 236–267. DOI: 10.1515/zfgl.33.2-3.236

УДК 811.112.2; 303.623+81'42
DOI: 10.17223/19986645/71/6

Е.Ю. Ионкина, В.В. Тихаева

**РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ ТАКТИКИ
ПРОВОКАЦИИ В ИНТЕРВЬЮ-ПОРТРЕТЕ: ОСНОВНЫЕ
СЦЕНАРИИ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ АДРЕСАТА
(НА МАТЕРИАЛЕ НЕМЕЦКОЙ ПРЕССЫ)**

Рассматривается применение тактики провокации как одного из наиболее эффективных приемов речевого воздействия в портретном интервью. Выделяются базовые сценарии речевого поведения адресата в провокационных ситуациях интервью, позволяющие говорить о полном / частичном успехе или неуспехе тактики провокации. На основе прагматического анализа типов реакций адресата на провокацию и методики количественного подсчета делается вывод о степени эффективности данной тактики применительно к интервью-портрету.

Ключевые слова: интервью-портрет, тактика провокации, провоцирование, реакция адресата, сценарий речевого поведения, коопeração / конфликт, коммуникативная неудача, эффективность провокации

Постановка проблемы

В своей профессиональной деятельности журналист неизбежно сталкивается с основной проблемой – удовлетворением читательского или зрительского спроса на определенный информационный продукт через средства массовой информации. Интервью как одна из самых активных и востребованных форм коммуникации представляет собой сферу публичной речи, вызывая, как правило, живой интерес потенциальной аудитории. Журналист всегда несет основную ответственность за успех того или иного интервью, который во многом определяется его коммуникативной компетенцией, умением задавать вопросы и использовать различные тактики коммуникативного взаимодействия с собеседником. Чтобы интервью получилось незаурядным, журналист вынужден прибегать к определенным приемам, среди которых особое место занимает тактика провокации. В средствах массовой информации, в том числе и в печатных, проблема эффективного использования того или иного коммуникативного приема представляет большой исследовательский и практический интерес. Не является исключением и портретное интервью, которое выделяется среди других видов жанра интервью большинством исследователей в области радио- и тележурналистики [1–3]. Интервью-портрет, или персональное интервью, сфокусировано на одном герое, при этом психологические, эмоциональные характеристики личности выступают на первый план. «Это продолжительное общение журналиста с собеседником, целью которого как раз и является раскрытие его индивидуальности перед аудиторией» [1. С. 26]. Ситуация интервью-

портрета становится структурообразующим элементом, поскольку важную смысловую нагрузку несут детали быта, одежды, интерьера, особенности речи героя. Формальный стиль общения в интервью-портрете нередко приобретает характер «дружеской беседы», если собеседник и интервьюер давно знакомы и находятся в близких доверительных отношениях. Интервью-портрет как институциональный тип публичного диалога широко используется в немецкой печатной прессе и ее электронных изданиях.

Феномен провокации и провокационное воздействие изучаются в разных областях гуманитарного знания – лингвистики, журналистики, конфликтологии, прагма- и психолингвистики, социологии, педагогики, юриспруденции. Так, немецкий социолог Р. Парис в статье «Короткое дыхание провокации» («Der kurze Atem der Provokation» (1989)) определил провокацию как социальный процесс. Провокация – это «намеренно вызванное и непредвиденное отклонение от нормы, вовлекающее другого участника в открытый конфликт, вызывая у него реакцию, которая, в свою очередь, делает этого участника в глазах третьих лиц дискредитированным и разоблаченным [4. S. 33]. Ключевыми элементами данного определения являются интенциональность, неожиданность и нарушение норм. По мнению исследователя, провокация идет вразрез с «обычным» диапазоном ожиданий в конкретной ситуации, следовательно, она разоблачает провоцируемого или наносит ущерб его личности, что часто ассоциируется с неуважением и презрением.

В лингвистике провокация рассматривается как особый тип дискурса, «провокативный дискурс», состоящий из определенных провокативных речевых жанров [5. С. 21], или как «провокационная речь», целью которой является выведение или «выпытывание» информации, которую собеседник по какой-то причине не желает сообщать [6. С. 38]. Как коммуникативно-речевое явление провокация подробно рассматривается О.С. Иссерс, которая трактует данный феномен применительно к публичному диалогу. Большое значение исследователь уделяет преднамеренности речевого действия как основному критерию выявления речевой провокации. Другими важными критериями являются осознанность и манипулятивный характер поведения субъекта провокации, что и приводит к негативным последствиям для адресата, вовлеченного в провокационную ситуацию [7. С. 93].

В недавнем исследовании И.К. Айтеновой, Л.А. Балобановой (2016), посвященном речевому поведению радиоведущего в ситуации коммуникативного дискомфорта, отмечается эффективность использования стратегии провокации и ее влияние на собеседника с точки зрения успешности / неуспешности [8]. Однако такие работы единичны, и зачастую провокация рассматривается с позиции ее инициатора в коммуникативном акте, тогда как об эффективности данного приема следует судить, исходя из конкретных образцов речевого поведения адресата. Это и определило актуальность проведенного нами исследования. В настоящей статье предпринимается попытка рассмотреть тактику провокации как один из наиболее действенных приемов, использующихся в диалоге-интервью, и оценить

эффективность ее функционирования в жанре интервью-портрет. Объектом исследования стали фрагменты ситуаций немецких портретных интервью, в которых реализуется тактика провокации. Предметом исследования являются типы реакций адресата в ответ на провокационные речевые действия журналиста. Цель настоящей работы заключается в выявлении сценариев речевого поведения адресата в ситуациях успешного / неуспешного использования тактики провокации. Поставленная цель предполагает решение следующих задач: уточнить понятие «проводка» применительно к диалогу-интервью; выявить структурно-семантические и прагматические особенности реализации тактики провокации в портретном интервью; описать случаи успешного / неуспешного применения данной тактики в интервью и оценить эффективность ее использования.

Материал и методы исследования

Материалом исследования послужили тексты портретных интервью, размещенные в современных немецких электронных изданиях¹. Героями интервью являются известные личности, имеющие достижения в различных профессиональных сферах (спортсмены, писатели, телеведущие, актеры, режиссеры, художники и т.д.), «просто» интересные люди и «звезды». Среди видов портретного интервью выделяется событийное, биографическое, юбилейное, политическое интервью [3. С. 296]). В поле нашего зрения попадают преимущественно портретные событийные интервью, представляющие собой мини-портретные зарисовки, построенные на еженедельных опросах газеты, а также более развернутые биографические портретные интервью, поводом для которых может стать яркий эпизод из жизни героя. «Если основной задачей портретного событийного интервью является показ человека через событие, то в основе биографического портретного интервью лежит биография. Обратившись к ней, журналист может получить разнородные сведения о наиболее значимых для человека этапах жизни, о его жизненном опыте, смене социальных статусов, жизненных приоритетах и целях и т.п.» [3. С. 298]. Кроме того, большой интерес представляет для нас тип интервью со «звездами», который также выделяется в ряду портретных интервью. «Звездное» интервью может быть максимально приближено к беседе, включать многие элементы этого жанра, но всегда более структурировано, имеет более жесткую концепцию и ориентировано на результат, что отражается на манере беседы с интервьюируемым [9. С. 9]. Было проанализировано 150 интервью, общий объем материала исследования составил около 400 страниц (25 п.л.).

Для выявления и рассмотрения ситуаций провокационного воздействия мы использовали следующие методы. Метод контекстуального анализа позволяет установить содержание провокации в исходных репликах интервью.

¹ Spiegel Online, Focus Online, Neue Osnabrücker Zeitung (NOZ), Berliner Zeitung, Playboy, die Welt, die Zeit, planet-interview.de.

вьюера и, соответственно, выделить данные провокационные тактики среди всего потока тактических ходов журналиста в интервью. Прагматическая интерпретация высказываний во взаимодействии с элементами метода конверсационного анализа используется нами с целью выявления повторяющихся образцов поведения участников речевого взаимодействия в интервью-портрете. Конверсационный анализ представляет собой продуктивную базу для анализа любого разговора, в частности интервью, поскольку ориентирован на тщательную работу с эмпирическим материалом и дает возможность сделать вывод об успешности коммуникативной ситуации, складывающейся в ходе диалогического взаимодействия. В данном случае речь идет о провокационной ситуации. На заключительном этапе метод количественного подсчета позволяет установить степень эффективности применения тактики провокации в портретном интервью.

Коммуникативная тактика провокации в интервью-портрете: структурно-семантические и прагматические особенности

Понятия коммуникативной стратегии и тактики становятся центральными при анализе любой формы диалогического взаимодействия, поскольку речевое поведение всегда подчинено определенному коммуникативному плану. В рамках прагмалингвистического подхода стратегия определяется как комплекс речевых действий, направленных на достижение коммуникативной цели. Речевая тактика представляет собой единицу следующего коммуникативного уровня и выступает как одно или несколько действий, способствующих реализации стратегии. Стратегия подчиняет себе речевую тактику, тогда как тактика реализуется через единицы более низкого порядка – коммуникативные ходы.

Поскольку традиционной формой организации интервью является вопросно-ответная форма взаимодействия, в журналистике наиболее часто провокационной тактикой ведения интервью считается провокационный вопрос. Провокационные вопросы задаются с целью разозлить собеседника, возбудить страсти, чтобы на волне вспышки эмоций получить открытый, импульсивный ответ [2. С. 51]. По мнению журналистов, прием провокаций является весьма действенным, но в то же время и коварным способом ведения интервью, поскольку здесь можно ожидать всех возможных последствий. Кроме того, данная тактика ведения интервью нежелательна с точки зрения этики [3]. Взаимосвязь провокации с соблюдением этических стандартов отмечает также М. Пальцевски, который рассматривает провокацию в журналистике как «публичный» метод получения «сенсационной» информации, ассоциируемый, главным образом, с уловкой и обманом. Самым важным из этических законов является поиск правды, поэтому только провокации, осуществляемые с этой целью, имеют истинный смысл [10. Р. 83].

В исследованиях, посвященных диалогическому взаимодействию, речь идет о конкретных речевых тактиках как о приемах речевого воздействия,

имеющих провокационный характер. Провоцирующая речевая тактика определяется как «конфликтогенная технология речевого воздействия» [11. С. 336], и выделяются наиболее продуктивные приемы ее реализации: «прямое обвинение», «угроза», «выражение недоверия», «подозрение», «насмешка», «обвинение чужими устами», «нелицеприятный намек», «ирония» [11. С. 337; 12. С. 18]. В.С. Третьякова относит провокацию к конфронтационным тактикам наряду с угрозой, издевкой, оскорблением, запугиванием, упреком, обвинением, колкостью, реализующим стратегию конфронтации [13. С. 8]. Н.Н. Кошкарова рассматривает тактику провоцирования как одну из тактик конфликтного дискурса, которая с равным успехом может быть использована как интервьюером, так и интервьюируемым [14. С. 57]. Провокация также является главным механизмом речевого воздействия троллинга как одной из форм реализации стратегии дискредитации в рамках виртуального пространства [15. С. 30)], а также основной стратегией создания преднамеренного дискомфорта в радиокоммуникации [8. С. 18]. Говоря о нежелательных последствиях для адресата, исследователи сходятся во мнении, что речевая тактика провокации имеет конфликтный характер. Однако поскольку интервью-портрет относится к институциональному типу публичного диалога, случаи некооперативного диалогического взаимодействия хоть и встречаются довольно часто, но имеют более «сдержаный характер» и не получают явного (эксплицитного) развития благодаря профессиональному опыту журналиста [16].

Применительно к портретному интервью мы даем следующее определение тактики провокации: это намеренный, осознанный, манипулятивный прием речевого воздействия, имеющий негативный подтекст и используемый для получения «скрытой», «нежелательной», «незапланированной» информации о собеседнике на фоне его психологической дестабилизации. В данном случае речь идет о провокации позитивной самопрезентации героя, поскольку с помощью данного приема журналист реализует основные тактические задачи: проникнуть в личное или коммуникативное пространство героя интервью, «раскрыть» собеседника, показать его «истинное лицо», уличить в чем-либо, заставить признаться. Конечная цель провокации – вывести собеседника из психологического равновесия и получить яркую эмоциональную, часто неконтролируемую реакцию.

В контексте портретного интервью тактика провокации способствует реализации основной коммуникативной стратегии журналиста, *стратегии презентации* собеседника, которая заключается в удовлетворении читательского интереса подробностями из личной жизни героя интервью. Тактика провокации может состоять из нескольких коммуникативных ходов, структурированных как вопросительной, так и повествовательной репликами, один из которых имеет доминантную иллоктивную силу, определяющую всю тактику.

При анализе текстов немецких портретных интервью были выделены определенные семантические типы реплик, которые наиболее часто имеют провокационный подтекст. Провокационное намерение в них представлено

косвенно, т.е. является вторичным по отношению к первичному запросу информации и выводится из коммуникативной ситуации. В редких случаях оно может быть эксплицировано журналистом намеренно. Реплики провокации могут иметь форму уточняющего или восполняющего вопроса, а также утверждения с вопросительной семантикой, и представлены следующими типами:

- реплика, содержащая намек на определенные (негативные) черты характера, присущие собеседнику, или отрицающая его положительные качества;
- реплика, выражающая недоверие (сомнение) журналиста к позиции собеседника;
- реплика, содержащая прямую лексически выраженную негативную оценку собеседника;
- реплика, апеллирующая к собственному мнению собеседника как достоверному источнику информации. Это мнение требует уточнения, конкретизации, поскольку кажется неправдоподобным, нелогичным, не вписывается в общие представления о нем как о герое интервью;
- реплика, апеллирующая к слухам, общественному мнению, мнению СМИ. В ней дается прямая или косвенная характеристика интервьюируемому собеседнику, требующая подтверждения или опровержения;
- реплика, выражающая упрек собеседнику;
- реплика с прямым запросом информации, которая противоречит нормам этикета, выходит за «рамки приличий»;
- реплика ввода новой темы, «нежелательной» для собеседника.

Об успехе провокации следует судить по перлокутивным эффектам, которые находят выражение в ответных реакциях собеседника. Поскольку провокация действует не только на когнитивную, но и на эмоциональную сторону восприятия, отрицательные реакции собеседника в данном случае являются скорее нормой, тогда как их отсутствие, наоборот, позволяет говорить о коммуникативной неудаче инициатора провоцирующих речевых действий. Коммуникативной неудачей (далее КН) называется «полное или частичное непонимание высказывания партнером коммуникации, то есть неосуществление или неполное осуществление коммуникативного намерения говорящего» [17. С. 31]. Как известно, появление КН в процессе общения является нежелательным последствием и может привести к конфликту. В случае с провокацией, учитывая ее преднамеренный характер, мы имеем дело с обратной закономерностью. Успешная реализация провокативного замысла, т.е. полное или частичное осуществление коммуникативного намерения говорящего, может привести к некоторому сбою в общении и разрушить гармоничное взаимодействие, однако не является КН по отношению к инициатору провокации. И наоборот, неудачная провокация, т.е. неуспешное осуществление провокативного намерения, рассматривается как КН говорящего, но не приводит к конфликтному взаимодействию.

Сценарии речевого поведения адресата в интервью-портрете

Учитывая тот факт, что провокация журналиста, по сути, имеет две цели – получить откровенную информацию о собеседнике и дестабилизировать его психологически, ответное речевое поведение адресата может развиваться по следующим сценариям:

И. Адресат игнорирует провокацию, дает правдивый ответ без эмоциональной реакции (неуспех провокации).

II. Адресат уклоняется от выдачи «желаемой» информации, эмоциональная реакция может иметь место (частичный успех провокации).

III. Адресат демонстрирует отрицательную реакцию, выдает «желаемую» информацию на фоне острой эмоциональной реакции (полный успех провокации).

Второй и третий сценарии демонстрируют частичную или полную успешность провокационного воздействия, тогда как при первом сценарии провокация оказывается неуспешной. В основе провокационной деятельности журналиста лежит провоцирование, которое рассматривается как разновидность психологического воздействия, результатом которого выступают некоторые изменения в психических характеристиках или состояниях адресата воздействия [18]. Под провоцированием понимаются «неосознаваемые, как правило, символические действия и операции, демонстрирующие психологическое состояние адресанта и вызывающие аналогичное психологическое состояние у адресата» [5. С. 59]. В основе провоцирования лежит коммуникативная активность, которая предполагает взаимодействие людей, находящихся в общении, и «презентацию» внутреннего мира коммуникантов. В.Н. Степанов предлагает считать провоцирование частью коммуникативной компетенции человека и профессиональной компетенции специалиста в сфере массовой коммуникации [19. С. 234–235].

Учитывая специфику работы журналиста в жанре портретного интервью, можно сказать, что провоцирование является неотъемлемой частью его коммуникативной деятельности. Используя различные тактики, журналист получает реакции адресата, из которых по ходу интервью постепенно складывается психологический портрет собеседника, характеризующий его как личность. Если рассматривать провоцирование с этой общей точки зрения как нейтральную речевую деятельность безотносительно к ее отрицательному результату, становится понятно, почему провокационные реплики журналиста не всегда являются успешными. Создавая портрет своего героя, журналист старается раскрыть его как личность, получить откровенную информацию. Провоцирование со стороны журналиста в данном случае – это демонстрация психологического состояния откровенности, доверительности с целью вызвать аналогичное состояние у собеседника, побуждая его к самораскрытию. Выстраивание доверительных отношений становится первостепенной задачей журналиста в рамках интервью-портрета, на фоне которых даже реплики с явным провокационным подтекстом не наносят ущерба эмоционально-психологическому состоянию

адресата, поскольку провоцирование в них используется ненамеренно. Если же провоцирующие действия журналиста приобретают осознанный, манипулирующий характер, то в этом случае следует говорить о деструктивном потенциале провокационных реплик. Стремление добиться своего сопровождается при манипулировании постоянным контролем за производимым эффектом. Манипулятивное воздействие носит скрытый характер и опирается на автоматизмы и стереотипы с привлечением более сложного, опосредованного давления [18. С. 102–103]. Успешность тактики провокации предполагает малую степень доверия между коммуникантами или его отсутствие; значительное давление журналиста на адресата с целью изменить его психологическое состояние в соответствии со своим намерением; сопротивление адресата оказываемому на него давлению, которое в первую очередь проявляется на коммуникативном уровне.

В случае использования тактики провокации мы наблюдаем явное противоречие в соблюдении кооперативных / некооперативных норм общения. С позиции журналиста это противоречие заключается в том, что, преследуя основную, глобальную цель – максимально сблизиться со своим собеседником в рамках кооперативного интервью, он намеренно применяет конфронтационную тактику коммуникативного поведения. Тем самым собеседник непреднамеренно оказывается вовлеченным в потенциально конфликтную ситуацию, и от способов его реагирования во многом будет зависеть кооперативный / некооперативный тип речевого взаимодействия в интервью. Противопоставляя кооперативное и конфликтное взаимодействие, Ю.В. Красноперова говорит о двух дискурсивных стратегиях участников интервью, «стратегии сближения и стратегии дистанцирования», в основе которых лежат две фундаментальные установки – установка на кооперацию и установка на конфликт [20. С. 11]. При этом выбор той или иной установки и соответствующей стратегии в ходе диалогического взаимодействия происходит через категорию вежливости, которая является необходимым условием формального общения и делает возможной коммуникацию при потенциальной напряженности между сторонами [21. Р. 1]. Несмотря на то, что провокация в портретном интервью относится к разряду некооперативных явлений, сопровождающихся вторжением в личностное пространство собеседника, ответное речевое поведение героя интервью не всегда связано с нарушением главных принципов общения, принципа кооперации [22] и принципа вежливости [23].

Таким образом, применительно к интервью-портрету следует говорить о двух возможных типах провокационной деятельности журналиста: провокация в нейтральном понимании как провоцирование собеседника к самораскрытию, которая имеет своим результатом положительные реакции адресата (I сценарий), основывающиеся на доверии между коммуникантами; собственно провокация как конфронтационная, манипулятивная тактика, при использовании которой происходит подрыв доверия между собеседниками, что приводит к негативным ответным речевым действиям адресата (II и III сценарии). Прагматические факторы общения, психологиче-

ский аспект, а также контекстуально зависимое смысловое содержание провокационных реплик являются определяющими факторами при разграничении сценариев речевого поведения адресата. Рассмотрим каждый сценарий подробнее.

I. Сценарий речевого поведения адресата. Как показал анализ материала, наиболее многочисленными являются ситуации интервью, в которых собеседник реагирует на провокацию в целом положительно. Об этом свидетельствуют достаточно подробные, аргументированные ответы героя интервью, в которых выражается его стремление к самораскрытию, желание охарактеризовать себя как личность. Содержание многих вопросов журналиста, которое могло бы спровоцировать негативную реакцию адресата, обидеть или разозлить, не рассматривается самим собеседником как провокационное и обычно игнорируется в контексте портретного интервью. Сюда относятся тщательно продуманные провокационные вопросы и утверждения журналиста, основывающиеся на других источниках массовой информации, мнении третьих лиц из ближайшего окружения «звезды», общественном мнении, слухах; провокационные реплики, апеллирующие к собственному мнению собеседника как достоверному источнику информации; реплики, содержащие прямую лексически выраженную негативную оценку собеседника; общие провокационные вопросы с оценочной семантикой, которые задаются с целью выявления отрицательных качеств характера собеседника, развенчания его положительного образа. Несмотря на провокационный подтекст данных реплик, в них не прочитывается «я» журналиста, его собственное мнение, поскольку он в большей степени заинтересован в получении личного мнения собеседника о себе. Провоцируя своего героя на откровенный ответ такими способами, журналист не оказывает на него отрицательного психологического давления, а лишь демонстрирует значительную долю любопытства. Рассмотрим несколько примеров.

В портретном интервью обычно наблюдается достаточно высокий уровень информированности журналиста о жизни своего «героя». Личная информация о нем, размещенная в СМИ, довольно часто становится предметом обсуждения и поводом для провокации со стороны журналиста. Однако сам герой интервью, как правило, также хорошо знаком с этой информацией, поэтому эффект неожиданности часто нивелируется и провокация воспринимается как «условие игры». В следующем отрывке интервью с немецким путешественником-натуралистом Р. Небергом журналист желает узнать реакцию собеседника на сложившееся о нем мнение в СМИ. Лексическая единица «*Würmerfresser*» («поедатель червей») несет яркий негативный оценочный компонент и придает провокационный характер всему вопросу. Однако провокация остается неуспешной, поскольку адресат не позволяет себя скомпрометировать, а лишь косвенно подтверждает данное мнение с последующей аргументацией:

— *Jetzt ist ja der Mensch Rüdiger Nehberg auch eine Medienfigur. Es gibt viele Fotos, auf denen Sie eine Spinne auf dem Kopf oder eine Schlange um den Hals haben. Welche Rolle hat das für Sie gespielt?*

Nehberg: Man kann seine Ziele und Ideale allein durchsetzen. Wenn man aber dazu noch die Medien auf seiner Seite hat, ist das ein Wahnsinnsmultiplikator. <...>.

– *Hat es Sie jemals gestört, dass viele Medien Sie auf den Würmerfresser reduziert haben?*

Nehberg: So hat es mal angefangen. Damit lebe ich gut. Das war damals so. Aber durch dieses Wissen um die Ernährung im Notfall habe ich mich in die Lage versetzt, Gegenden dieser Erde zu bereisen, monatelang, alleine, von denen andere nur träumen können. <...>. Es ist ein Vorurteil der Gesellschaft, dass ein Wurm etwas Ekelhaftes ist [RN].

Помимо реплик, апеллирующих к мнению СМИ, основанием для провокации нередко становятся какие-либо нестандартные утверждения собеседника, представляющие интерес для массовой аудитории, которые также ложатся в основу заголовка интервью. Такие высказывания нередко содержат экспрессивную сниженную лексику и явно нарушают этические нормы в контексте портретного интервью. Однако вместо отказа от своих слов и оправдания адресат готов комментировать свои утверждения, дает искренний ответ, не стесняясь показать себя в невыгодном свете. Рассмотрим следующий пример:

– *Was ist das Wichtigste am Mannsein?*

Vettel: Dass man zu sich selbst steht, auch wenn es mal Gegenwind gibt oder man aufs Gesicht fällt.

– *Sie sagten mal, dass man manchmal ein Drecksack sein muss. Wann waren Sie zuletzt ein Drecksack?*

Vettel: Das kommt ab und an vor. Ich schaue auf meinen Vorteil, obwohl Konkurrenten dadurch das Nachsehen haben.

– *Muss man auf der Rennstrecke ein bisschen Arschloch sein?*

Vettel: Nicht nur ein bisschen. Es ist notwendig, denn die anderen machen es genauso. Wer nur Vorfahrt gibt, gewinnt nicht [SV].

В данном отрывке интервью с С. Феттелем, немецким чемпионом Формулы-1, журналист желает обсудить тему «мужского поведения» на гоночной трассе, предваряя ее вопросом о том, какое самое важное качество характеризует мужчин. Далее журналист апеллирует к словам собеседника, употребляя довольно грубое выражение «Drecksack» («скотина»), которое он проецирует на самого героя интервью в последующем вопросе. Не добиваясь от адресата отрицательной реакции, сопровождающейся эмоциями обиды или раздражения, журналист формулирует второй вопрос, также используя вульгарную лексему «Arschloch» («дермо»), провоцируя собеседника на резкий ответ. Несмотря на негативный подтекст реплик журналиста и наличие инвективной лексики, тактика провокации в приведенном отрывке интервью не имеет успеха, поскольку адресат дает прямой ответ, игнорируя провокационное намерение. Такое речевое поведение, на наш взгляд, может демонстрировать собеседник, хорошо подготовленный к общению с прессой.

В редких случаях сам журналист может предупредить собеседника, что его следующий вопрос содержит провокационный подтекст. Тем самым

интервьюер пытается смягчить ситуацию, избежать отрицательной реакции со стороны адресата или прерывания беседы. Это можно продемонстрировать следующим примером из интервью с немецким спортсменом А. Боммесом:

– *Wenn ich Sie jetzt frage, was für eine abgezockte Sau Sie denn sind – ist das Gespräch dann beendet?*

Bommes: (lacht) Überhaupt nicht, ich weiß ja genau, was Sie meinen.

– *Die Frage haben Sie Thomas Müller im „Sportschau-Club“ nach dem Pokalfinale gestellt.*

Bommes: Ja, und es gab jede Menge Reaktionen darauf. Dabei hatte ich überhaupt nicht das Gefühl, dass das auch nur ansatzweise ein Problem war. Es war eine Atmosphäre wie in der Sportlerkabine, ich war gefühlsmäßig auch wieder in der Sportlerkabine, und so haben wir dann geredet. <...> [AB].

Называя своего собеседника «*abgezockte Sau*» («*проигравшаяся свинья*»), журналист в последующей реплике напоминает ему, когда и кем была сказана данная фраза. Поскольку и журналист и собеседник знают, о чем идет речь, т.е. имеют одинаковый объем пресуппозиций, данная реплика не вызывает у адресата эмоций обиды или раздражения. Смеховая реакция и последующий аргументированный ответ со стороны собеседника следуют на данный провокационный вопрос.

Таким образом, положительные реакции адресата на провокационные реплики журналиста являются скорее нормой, чем исключением. Собеседник либо игнорирует провокационное намерение, либо распознает его, но не поддается на провокацию. О неуспешном использовании тактики провокации свидетельствуют следующие типы реакций адресата: прямой / косвенный ответ, выражающий согласие или несогласие в сочетании с развернутым ответом; развернутый аргументированный ответ. При этом ход беседы не нарушается, а продолжается в заданном направлении с соблюдением основных норм кооперативного общения. Провокационное намерение интервьюера остается нереализованным в 51% случаев.

II. Сценарий речевого поведения адресата. Второй сценарий коммуникативного поведения интервьюируемого находит свое выражение в таких коммуникативных ситуациях, когда адресат при реагировании на провокацию уклоняется от прямого ответа или отказывается отвечать. Как показывает исследование, провокационные реплики с прямым запросом информации, которая противоречит нормам этикета и выходит за «рамки приличий», а также реплики, содержащие предложение обсудить новую, «нежелательную» для собеседника тему, оказывают значительное манипулирующее воздействие на собеседника. Уклонение от ответа мы рассматриваем, вслед за Ю.В. Красноперовой, как использование «неподдерживавшего» контекст вопроса ответа [20. С. 12]. Крайней формой уклонения является отказ отвечать, когда собеседник по каким-либо причинам отказывается выдавать «желаемую» информацию и придерживается стратегии дистанцирования, не вступая открыто в конфликт. Оба типа реагирования свидетельствуют о частичном успехе провокационного намерения журна-

листа и обусловлены внутренним сопротивлением личности адресата, который стремится уйти от прямого ответа, сохраняя свое лицо. Журналисту удается в некоторой степени скомпрометировать собеседника, вызвать нестандартные реакции, однако его конечная цель получения откровенной информации остается недостигнутой.

В качестве тактического хода провокация была выделена в работе Н. Вит и М. Харитоновой. Авторы считают, что применение провокации в телевьювью стимулирует тактику уклонения собеседника с использованием юмора или иронии, а также смены субъекта оценивания, когда интервьюируемый предлагает обратиться к мнению других людей [24. С. 37]. В разных исследованиях, посвященных интервью, выделяются и другие тактики уклонения: иронизация, игнорирование, собственно имплицитный отказ, обобщение и др. [25]; избегание комментирования, уклонение через апелляцию к более компетентному источнику, постановка встречного вопроса и др. [26]. При реагировании на провокацию в портретном интервью наиболее частыми формами уклонения становятся повествовательная реплика-ирония, реплика-комментарий («Was für eine Frage!», «Eine gute Frage», «Lustig, dass Sie das fragen»), а также встречный вопрос с ироничным подтекстом. При этом смеховая реакция сопровождает различные формы уклонения от ответа, в том числе и отказ отвечать. Приведем пример:

— *Auf der Blitz-Website gibt es zahlreiche Galerien und Videos mit Titeln wie „Sexy Dessous, heiße Wäsche“ oder „Peitsche, Strapse & Korsagen“ – sind das dann auch „topaktuelle Informationen aus der Welt der Schönen und Reichen“ (Sat.1 über Blitz) oder ist das einfach nur „Sex Sells“?*

Cramer: Da muss ich sie doch gleich mal an die Männer in unserer Redaktion weiterleiten... (lacht). Die Leute, die die Website bei uns redaktionell betreuen, wissen, was der Internetuser sehen will und insofern sind dort die Themen etwas anders gewichtet als sie letztendlich bei uns über den Sender gehen

— *Als Moderatorin sind Sie das Gesicht der Sendung und werden insofern von allen Zuschauern mit diesem Format in Verbindung gebracht. Wie stehen Sie denn angesichts dessen zu dieser Galerie?*

Cramer: Das ist unser Internetportal und gehört zu Blitz, aber ich muss mich damit ja nicht zwangsläufig gemein machen. Ich halte mein Gesicht für die Sendung hin und für die Beiträge die dort gezeigt werden und habe da natürlich auch ein Mitspracherecht. <...> [BC].

Как видно из данного отрывка интервью с немецкой телеведущей Б. Крамер, провокационный вопрос журналиста касается актуальной информации сексуального характера, размещенной на сайте ее передачи «Blitz». Однако героиня беседы не дает прямого ответа на поставленный вопрос и ссылается на мнение редакторов сайтов, которые лучше знают, что хотят видеть пользователи Интернета. Ироничный ответ-уклонение, сопровождающийся смеховой реакцией, свидетельствует о частичном успехе провокации журналиста. Журналист продолжает данную провокационную тему, пытаясь выяснить, как же соотносится «лицо» телеведущей с галереей такой информации, поскольку зрители будут сопоставлять ее

именно с таким форматом передачи: «Wie stehen Sie denn angesichts dessen zu dieser Galerie?». Последующий прямой ответ-объяснение на данный вопрос говорит о том, что провокация оказывается неуспешной, поскольку журналисту не удается скомпрометировать героя интервью.

Отказ отвечать как форма реагирования на провокационное утверждение интервьюера может выражаться одним словом или целым предложением; прямо, с использованием лексических средств («*Nein*», «*Ich weiß davon nichts*», «*Das sage ich Ihnen nicht*»), или косвенно, например с помощью восклицания «*Um Gottes willen!*», выражающего нежелание обсуждать предлагаемую тему. Получив отказ, журналист в одних случаях может не настаивать на продолжении темы и переходит к следующему вопросу или все же продолжает начатую тему, реализуя тактику провокации в нескольких коммуникативных ходах. Рассмотрим следующий отрывок интервью с актером Л. Нисоном:

– *Was ist Ihre Hauptantriebskraft im Leben?*

Neeson: Ich bin Vater. Das ist meine Hauptantriebskraft. Ich habe Verantwortung für meine Söhne. <...>. Es sieht – trotz aller Sorgen – gar nicht so schlecht aus.

– *Sprechen wir doch mal über Ihre ganz persönlichen Laster . . . –*

Neeson: (lacht) Ganz sicher nicht! Die sind nichts für die Öffentlichkeit . . .

– . . . *und Dämonen.*

Neeson: Meine Dämonen sind alle „made in Hollywood“. Ich will damit sagen, dass ich schon längst mit meinen eigenen Dämonen in Frieden lebe. Das ist das Schöne am Älterwerden: Man nimmt den ungesunden Begierden irgendwann die Spitze. <...>. Und das tut gut.

– *Wenn Sie nur vier Worte dafür hätten: Wie würden Sie sich beschreiben?*

Neeson: A big lazy bastard. Liam Neeson [LN].

Как видно из данного контекста, журналист переходит от предыдущей нейтральной темы «семейные приоритеты» к провокационной, предлагая обсудить «личные пороки» героя интервью. Собеседник реагирует прямым отказом в сочетании со смеховой реакцией («*Ganz sicher nicht!*»), объясняя свой отказ тем, что данная тема не для общественности. Продолжая провоцировать собеседника, журналист в рамках этой же «неприятной» темы предлагает поговорить о «демонах», на что адресат реагирует иронично и дает лишь косвенный ответ. Определенная степень недоверия собеседника по отношению к журналисту не позволяет ему раскрыться в полной мере. Возникшая коммуникативная неудача на данном отрезке портретного интервью, свидетельствует о частичном успехе провокационного намерения интервьюера. Не настаивая больше на продолжении «нежелательной» для адресата темы, журналист переходит к следующему вопросу, завершая интервью.

Итак, второй сценарий речевого поведения адресата при реагировании на провокацию демонстрирует отклонение от принципа сотрудничества, когда собеседник по каким-либо причинам уклоняется от выдачи «желаемой» информации, но при этом открыто не вступает в конфликт. Провока-

ционное намерение журналиста хотя и распознается собеседником, но остается реализованным не в полной мере. О частичном успехе тактики провокации свидетельствуют следующие типы реакций адресата: уклонение от прямого ответа в сочетании с иронией и смеховой реакцией; встречный вопрос-ирония или комментарий к вопросу в сочетании с косвенным ответом; прямой / косвенный отказ отвечать в сочетании со смеховой реакцией или объяснением. Коммуникативные неудачи, возникающие на определенных участках интервью, не нарушают дальнейшего хода беседы, но могут препятствовать развитию темы. Частичный успех тактики провокации наблюдается в 23% случаев.

III. Сценарий речевого поведения адресата. При использовании тактики провокации всегда есть риск, что коммуникативное взаимодействие может перерасти в конфликт. Третий сценарий речевого поведения интервьюируемого реализуется в ситуациях конфликтного взаимодействия, при этом установка на дистанцирование становится основной дискурсивной стратегией героя в портретном интервью. Ю.В. Красноперова рассматривает конфликт в широком понимании как любое несоответствие ожиданиям собеседников, осознанное или подсознательное отклонение от сотрудничества. Стоит согласиться с автором в том, что конфликт в ходе интервью не следует рассматривать с деструктивной точки зрения, а наоборот, как «явление, способствующее более динамичному естественному взаимодействию партнеров по общению, являющееся следствием большей импровизации» [20. С. 11]. Сходного мнения придерживается М.Ю. Сейранян, трактуя конфликт как «одну из форм взаимодействия, естественную для коммуникативной деятельности человека, и как способ разрешения разногласий, содержащихся как в актуальном, так и глобальном контексте» [27. С. 9]. В случае успешной реализации тактики провокации в портретном интервью отрицательные реакции собеседника являются следствием нарушения с его стороны норм кооперативного взаимодействия. Провокационные реплики журналиста, выраждающие недоверие (сомнение) к позиции собеседника или упрек в его адрес, обладают наиболее сильным деструктивным потенциалом в интервью-портрете, заставляя собеседника терять эмоционально-психологическое равновесие. Подрыв доверия к герою интервью со стороны журналиста происходит в силу того, что в репликах интервьюера угадывается «личностное отношение» к собеседнику, которое противоречит собственным взглядам последнего и зачастую является негативным.

Проведенное исследование показывает, что успех провокационного намерения журналиста напрямую связан с возникновением «полных / частичных»¹ коммуникативных неудач на определенном отрезке интервью. Нередко интервьюеру удается спровоцировать собеседника, намеренно используя определенные лексические единицы, которые вызывают у

¹ Более подробно о типах коммуникативных неудач в портретном интервью см. в статье [28].

последнего недопонимание, а также эмоции удивления, негодования, возмущения или раздражения. Вопрос-переспрос, встречный вопрос-несогласие или реплика-корректировка лексической единицы в сочетании с аргументированным ответом со стороны адресата свидетельствуют о возникновении частичного коммуникативного разногласия между собеседниками. Поскольку собеседник все же выдает «желаемую» информацию на фоне своей отрицательной эмоциональной реакции, то в таких случаях можно говорить о полном успехе тактики провокации журналиста. Рассмотрим следующий отрывок интервью с немецким композитором и исполнителем шансона К. Хоффманом:

– *Haben Sie noch Lampenfieber?*

Hoffmann: Ja klar. Es kommt darauf an, wen ich im Publikum vermute. Da kommt mein altes Schülerverhalten zum Vorschein: Wenn der Mathelehrer im Zuschauerraum sitzt, fange ich an zu zittern.

– *Sie haben viele Songs über Berlin geschrieben. Ist es eine Art Hassliebe, die Sie mit Ihrer Heimatstadt verbindet?*

Hoffmann: Was heißt Hassliebe? Wenn ich in Bielefeld lebte, würde ich auch unglaublich über die Oetker-Halle herziehen. Aber ich liebe natürlich auch meine Stadt. Ich bin da geboren, hier ist mein Kiez, mein kleines Kino und der Krämerladen. <...>. Das ist schon sehr widersprüchlich [KH].

На данном отрезке интервью журналист желает узнать о чувствах своего героя, связанных с его творчеством. Первый вопрос о том, испытывает ли его собеседник волнение перед выходом на сцену, приводит к откровенному положительному ответу-согласию. Далее журналист формулирует провокационный вопрос, используя существительное «*Hassliebe*» («чувство, колеблющееся между ненавистью и любовью»), тем самым ставит под сомнение любовь к родине (чувство патриотизма) своего героя. Данная лексическая единица используется намеренно, чтобы вызвать отрицательную реакцию у собеседника. Не соглашаясь с такой формулировкой вопроса, адресат выражает возмущение в форме переспроса «*Was heißt Hassliebe?*». Последующий развернутый ответ собеседника на фоне эмоциональной реакции свидетельствует об успешности провокационного воздействия.

Восклицательные предложения с яркой негативной эмоциональной окраской в ответах интервьюируемого довольно часто сопровождают реакцию опровержения. В случае опровержения адресат не соглашается (прямо или косвенно) с информацией в пропозиции высказывания журналиста, при этом приводит факты прямо противоположные. Такая реакция может сочетаться с взаимным обвинением («*Das sagen Sie!*») и всегда основывается на различии пресуппозиций коммуникантов. Провокационные реплики журналиста, выражющие намек на негативное поведение собеседника, недоверие к его позиции часто приводят к эмоциональным реакциям опровержения со стороны последнего. Рассмотрим следующий отрывок интервью с известным швейцарским актером Х. Якманом:

Jackman: Auf jeden Fall. Ich habe schon immer sehr gerne geschauspielert. Als Kind in Schulaufführungen, als Jugendlicher in Amateurtheatern. Nicht aus-

zudenken, wenn ich tatsächlich mein ursprüngliches Berufsziel verwirklicht hätte: Journalist...

– ... dann müssten Sie jetzt Hollywood-Stars interviewen.

Jackman: Vielleicht. Es gibt Schlimmeres. Hoffe ich (lacht).

– Ja, selbstverständlich. Leben Sie denn gern im Elfenbeinturm der Stars?

Jackman: Was für eine Unterstellung! Ich lebe mit meiner Familie die meiste Zeit des Jahres in New York. Und wir versuchen, dort ein ganz normales Leben zu führen. Mit Elfenbeinturm hat das gar nichts zu tun (hält kurz inne). Aber es stimmt schon . . . Oft verliere ich leider tatsächlich den Bezug zu dem, was politisch, gesellschaftlich oder kulturell so in der Welt passiert. Es kann schon sein, dass ich sechs Wochen keine Zeitung aufschlage.

– Warum?

Jackman: Weil ich oft für Wochen oder Monate bei Dreharbeiten in einer Art Zeitkapsel verschwinde, in der ich von der Außenwelt praktisch nichts mehr mitkriege. <...> [HJ].

В данной коммуникативной ситуации провокационный вопрос журналиста возникает по мере развития темы «достижение профессиональных планов» героя интервью. Употребляя фразеологическое словосочетание «*Elfenbeinturm der Stars*», журналист тем самым полагает, что его «герой», как и все «звезды», живет в самоизоляции от реального мира. Сам герой интервью считает, что данное мнение о нем не соответствует действительности, а является «подтасовкой фактов». Адресат довольно эмоционально реагирует на провокационный вопрос интервьюера. Его восклицание «*Was für eine Unterstellung!*» и последующая реплика опровержения свидетельствуют о возникновении конфликта на данном отрезке интервью, который не получает дальнейшего развития, поскольку журналист переходит к следующему вопросу, не развивая конфликтную тему. Интервьюер добивается успешной реализации тактики провокации, используя только один тактический ход.

Довольно часто, однако, провокационное намерение журналиста реализуется в нескольких коммуникативных ходах, если ему не удается сразу добиться желаемой реакции адресата. Герой интервью может перебивать журналиста, если возникает угроза «потери лица», нарушая при этом дистанцию общения и главные прагматические принципы, регулирующие межличностные взаимоотношения. Перебивание или «перехват инициативы» является ярким примером некооперативного поведения интервьюируемого и нарушает стереотип речевого общения в рамках интервью [20. С. 13]. Прерывание разговора само по себе рассматривается как невежливое и даже враждебное речевое действие [29. С. 230]. Следующий отрезок интервью с немецким комедиантом Ю. фон дер Липпе начинается с ввода новой темы, которая оказывается «нежелательной» для героя интервью, и он стремится прервать общение:

– *Herr von der Lippe, in Ihrer Archiv-Biografie findet sich eine auffällig lange Liste gesundheitlicher Leiden.*

Von der Lippe: Jetzt hören Sie aber auf! Nein, das können Sie nicht sagen.

– *Doch, im Vergleich zu anderen Prominenten steht da recht viel: Meniskus-Probleme, neigt zu Geschwüren, Schlaflosigkeit, Allergien, erhöhter Cholesterinspiegel ...*

Von der Lippe: Weil ich gern darüber gesprochen habe! Das ist Comedy pur. Sie machen den Leuten eine Freude, wenn Sie von solchen Sachen erzählen. Da denkt jeder: „Die arme Sau, Gott sei Dank hab ich das nicht.“ Das ist immer gut für die Stimmung.

– *Ein weiteres chronisches Leiden ist nach Ihren eigenen Aussagen die Beserwisserei.*

Von der Lippe: Ja, ich bin Freizeitklugscheißer. Aber Freizeit können Sie auch weglassen [JL].

Просьба адресата прекратить обсуждение проблем с его здоровьем выражается лексически, восклицательной формой предложения («Jetzt hören Sie aber auf!»). Реплика перебивания остается без внимания журналиста, который продолжает начатую тему. Оправдание собеседника в последующей реплике («Weil ich gern darüber gesprochen habe!») сопровождается эмоциональной реакцией раздражения. Две негативные реакции адресата на данном отрезке интервью свидетельствуют о конфликтном взаимодействии между коммуникантами и о полном успехе тактики провокации. Добавившись откровенного ответа собеседника, журналист в последующем утверждении вводит новую подтему, что является одним из эффективных способов выхода из конфликтной ситуации.

Типы реакций адресата на провокацию журналиста в портретном интервью

Тип сценария	Типы реакций	Количество реакций, %	Процентное соотношение сценариев
I сценарий (неуспех провокации)	Прямое/косвенное согласие + развернутый ответ	22	51
	Прямое/косвенное несогласие + развернутый ответ	17	
	Развернутый ответ-аргументация	12	
II сценарий (частичный успех провокации)	Уклонение-ирония + смеховая реакция	6	23
	Встречный вопрос-ирония + косвенный ответ	3	
	Реплика-комментарий/смеховая реакция + косвенный ответ	7	
	Прямой/косвенный отказ отвечать + объяснение/смеховая реакция	7	
III сценарий (полный успех провокации)	Вопрос-переспрос/реплика-корректировка + развернутый ответ	7	26
	Оправдание	9	
	Взаимное обвинение + оправдание	2	
	Возмущение + оправдание	4	
	Перебивание	4	

Как показал анализ материала, третий сценарий речевого поведения адресата при реагировании на провокацию является конфликтным, поскольку собеседник распознает провокационное намерение журналиста, поддается на провокацию и оказывается вовлеченным в открытый конфликт. О полном успехе тактики провокации свидетельствуют следующие типы реакций адресата: вопрос-переспрос или реплика-корректировка в сочетании с аргументированным ответом; опровержение или взаимное обвинение в сочетании с опровержением; оправдание в сочетании с возмущением; перебивание. Возникающие коммуникативные неудачи нарушают ход общения на данных участках интервью и зачастую приводят к смене темы, но не прерывают общение в целом. Полный успех тактика провокации имеет в 26% проанализированных ситуаций.

В обобщенном виде сценарии речевого поведения адресата при его реагировании на провокацию, а также процентное соотношение типов реакций, представляющих каждый сценарий, показаны в таблице.

Выводы

Проведенное исследование, результаты которого представлены в настоящей статье, показало, что коммуникативное взаимодействие инициатора провокации (журналист) и объекта ее воздействия (собеседник) в портретном интервью развивается по трем базовым сценариям. Каждый сценарий представляет собой набор типичных способов реагирования адресата на провокацию и позволяет судить о полном / частичном успехе или неуспехе тактики провокации в интервью-портрете. Как видно из таблицы, успешное использование тактики провокации оценивается в 49%, тогда как случаи неуспешного применения данной тактики составляют 51%. При этом абсолютного успеха журналист добивается лишь в 26% случаев.

Количественные данные позволяют сделать вывод, что степень эффективности тактики провокации в портретном интервью в среднем составляет менее 50%. Такой результат получен при анализе всех провокационных ситуаций в совокупности, отобранных из текстов немецких портретных интервью. Если же рассматривать каждое конкретное интервью-портрет в отдельности, то данные показатели могут существенно различаться в зависимости от того, насколько часто будет использоваться данная тактика журналистом и какое влияние она будет оказывать на собеседника. Можно предположить, что тактика провокации, наиболее эффективная в одном интервью, может быть совершенно неэффективной в другом.

Специфические особенности жанра интервью-портрета могут, на наш взгляд, объяснить, почему тактика провокации оказывается эффективной только наполовину. К ним мы относим следующие: 1) характер провокационной деятельности журналиста, который не всегда оказывает манипулирующее, деструктивное воздействие на собеседника, а лишь провоцирует его к самораскрытию на фоне доверительных отношений; 2) близкая степень знакомства интервьюера и интервьюируемого, которая нередко

придает интервью характер «дружеской» беседы; 3) тщательная подготовка журналиста и использование достоверных источников информации, что снимает эффект неожиданности; 4) формальное обязательство героя интервью отвечать на все вопросы, даже при нежелании это делать, а также внутренняя готовность к возможным «ловушкам» журналиста. Эмоционально-психологические характеристики личности собеседника, его стремление к кооперации или желание вступить в конфликт также являются первостепенными факторами, определяющими успех провокации при прочих равных условиях.

Также было установлено, что не все способы выражения провокации оказывают одинаковое воздействие на героя интервью. Наблюдаются некоторые тенденции к взаимозависимости определенных типов провокационных реплик и способов реагирования на них адресата. Знание подобных закономерностей, как и остальных факторов, влияющих на успех провокации, несомненно, может повысить эффективность использования данной тактики не только в портретном, но и в других типах интервью.

Литература

1. Ильченко С.Н. Интервью в журналистике: как это делается : учеб. пособие. СПб. : СПб. гос. ун-т, 2016. 236 с.
2. Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для вузов. М. : Аспект Пресс, 2003. 192 с. URL: <http://eartist.narod.ru/text5/34.htm> (дата обращения: 25.05.2019).
3. Ким М.Н. Основы творческой деятельности журналиста : учеб. для вузов. СПб. : Питер, 2016. 400 с.
4. Paris R. Der Kurze Atem Der Provokation // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Wiesbaden : Springer VS Verlag, 1989. № 41 (1). S. 33–52.
5. Степанов В.Н. Провоцирование в социальной и массовой коммуникации. СПб. : Роза мира, 2008. 268 с.
6. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. 4-е изд. М. : Дело, 2002. 316 с.
7. Иссерс О.С. Стратегия речевой провокации в публичном диалоге // Русский язык в научном освещении. 2009. № 2 (18). С. 92–104.
8. Айтенова И.К., Балобанова Л.А. Речевое поведение радиоведущего в ситуациях коммуникативного дискомфорта (на примере программ информационно-развлекательного вещания) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2016. № 5 (43). С. 5–23. DOI: 10.17223/19986645/43/1.
9. Швец Е.В. «Звездное» интервью в коммуникативно-прагматическом аспекте : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Калининград, 2008. 23 с.
10. Palczewski M. Journalistic Provocation. Definition – Legal and Ethics Aspects – Typology // Media Studies. Warsaw : The Institute of Journalism of Warsaw University. 2008. Vol. 2 (33). P. 71–91 URL: http://mediastudies.eu/article.php?date=2008_2_33&content=palczewski&lang=en
11. Иссерс О.С., Плотникова О.А. Провоцирующие речевые тактики в публичном интервью // Вопросы культуры речи : сб. статей / под ред. А.Д. Шмелева. Т. 10. М., 2011. С. 334–340.
12. Плотникова О.А. Стратегии контроля диалогического взаимодействия в интервью : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Омск, 2007. 23 с.
13. Третьякова В.С. Речевой конфликт и гармонизация общения : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М., 2003. 36 с.

14. Кошарова Н.Н. Пространство конфликтного дискурса в жанре политического интервью // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. 2010. № 17 (198), вып. 44. С. 54–59.
15. Грищенко Л.А., Демидова Т.А. Коммуникативная стратегия дискредитации в интернет-коммуникации (на примере троллинга) // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 55. С. 29–42. DOI: 10.17223/19986645/55/3
16. Красноперова Ю.В., Тарасенко В.В., Саварцева Н.В. Кооперация и конфликт как возможные пути развития интеракции в ходе интервью // Современные проблемы науки и образования : Электронный научный журнал. 2015. № 2-2. URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22601> (дата обращения: 10.06.2019).
17. Ермакова О.Н., Земская Е.А К построению типологии коммуникативных неудач (на материале естественного русского диалога) // Русский язык в его функционировании. Коммуникативно-прагматический аспект. М., 1993. С. 30–64.
18. Доценко Е.Л. Манипуляция: феномены, механизмы и защита. М. : Че-Ро : Юрайт, 2000. 344 с.
19. Степанов В.Н. Провокативный дискурс массовой коммуникации // СМИ и проблемы формирования массового сознания. М., 2009. С. 233–235.
20. Красноперова Ю.В. Дискурсивные стратегии участников интервью : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Иркутск, 2005. С. 20.
21. Brown P., Levinson S. Politeness: Some Universals in Language Usage. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 345 р.
22. Грайс Г. П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. М., 1985. С. 217–237.
23. Leech G. Principles of Pragmatics. London : Londman, 1983. 321 р.
24. Вит Н., Харитонова М. Стимулирование коммуникативных тактик уклонения и противодействия в телевью : сборник научных статей по философии и филологии. Одесса, 2004. Вып. 6. С. 29–39.
25. Головац Л.Б. Коммуникативные средства выражения стратегии уклонения от прямого ответа: на материале английского языка : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Кемерово, 2008. 24 с.
26. Чуриков М.П. Согласие, несогласие и уклонение в аспекте речевого общения: на материале текстов немецких политических интервью : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Пятигорск, 2005. 20 с.
27. Сейранян М.Ю. Конфликтный дискурс и его просодический строй. М. : МПГУ, 2016. 244 с.
28. Ионкина Е.Ю., Тихаева В.В. Коммуникативные неудачи в интервью-портрете (на материале немецкого языка) // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филологические науки. 2019. № 4 (426), вып. 116. С. 80–89. DOI: 10.24411/1994-2796-2019-10411
29. Ерманова Б.Б. Прерывание речевой коммуникации как следствие коммуникативной неудачи // Мир науки, культуры, образования. 2013. № 3 (40). С. 230–232.

Источники примеров

RN – Rüdiger Nehberg im Interview URL: <http://www.planet-interview.de/interviews/ruediger-nehberg/35196/> (дата обращения: 10.06.2019).

SV – Sebastian Vettel im Interview. URL: http://www.focus.de/sport/formel1/tid-34196/formel-1-star-im-playboy-interview-20-fragen-an-vettel-man-muss-auch-mal-ein-arschloch-sein_aid_1133154.html (дата обращения: 15.06.2019).

AB – Alexander Bommes im Interview. URL: <https://www.noz.de/deutschland-welt/medien/artikel/1332/2206-wojo-08-bommes#gallery&0&0&1332> (дата обращения: 10.06.2019).

- BC* – Bettina Cramer im Interview. URL: <http://www.planet-interview.de/interviews/bettina-cramer/34287/> (дата обращения: 16.06.2019).
- LN* – Schauspieler Liam Neeson im Interview. URL: https://www.focus.de/kultur/kino_tv/tid-25477/schauspieler-liam-neeson-im-interview-ich-bin-zwar-nicht-schoen-aber-hoellisch-attraktiv_aid_735912.html (дата обращения: 10.06.2019).
- KH* – Chansonnier Klaus Hoffmann im Interview. URL: <https://www.noz.de/deutschland-welt/medien/artikel/1317/1603-wojo-interview-hoffmann> (дата обращения: 13.06.2019).
- HJ* – Superheld Hugh Jackman im Interview. URL: https://www.focus.de/kultur/kino_tv/hugh-jackman-asdf_id_4011772.html (дата обращения: 10.06.2019).
- JL* – Entertainer Jürgen von der Lippe im Interview. URL: https://www.focus.de/kultur/kino_tv/tid-31788/entertainer-juergen-von-der-lippe-ja-ich-bin-freizeitklugscheisser_aid_1011422.html (дата обращения: 13.06.2019).

Implementation of the Provocation Communication Tactic in Portrait Interviews: Main Scenarios of the Addressee's Speech Behavior (Based on the Material of the German Press)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 91–113. DOI: 10.17223/19986645/71/6

Ekaterina Yu. Ionkina, Viktoriya V. Tikhayeva, Volgograd State Technical University (Volgograd, Russian Federation). E-mail: katya_dzhandalie@mail.ru / tilsitka@yandex.ru

Keywords: portrait interview, provocation tactic, provoking, addressee's response, speech behavior scenario, cooperation/conflict, communication failure, provocation effectiveness.

This article discusses the provocation tactic in order to determine the effectiveness of its implementation in the portrait interview. The latter is an institutional type of a public dialogue widely used in the German print press and its electronic issues. Provocation as a speech communication phenomenon is often considered from the position of its initiator in a communicative act, whereas the success of this tactic should be judged about on the basis of specific patterns of the addressee's communicative behavior. The aim of this work is to identify some scenarios of the addressee's speech behavior in situations of successful/unsuccessful uses of the provocation tactic, which allows evaluating the effectiveness of its functioning in the genre of portrait interview. In relation to the portrait interview, the provocation tactic is defined as a deliberate, conscious and manipulative method of speech influence which has a negative connotation and is used to obtain some "hidden", "undesirable", "unplanned" information about interviewees against the background of their psychological destabilization. The method of contextual analysis made it possible to identify certain semantic types of journalists' phrases which most often have a provocative subtext. The provocative intention is presented indirectly and comes out of a communicative situation. Pragmatic interpretation of statements and conversation analysis were used to scrutinize the addressee's responses to the journalist's provocation. It has been found that the addressee's communicative behavior in response to provocation may develop according to three main scenarios: (1) the addressee ignores provocation and gives a truthful answer without any emotional reaction (the failure of provocation); (2) the addressee evades giving "desirable" information, some emotional reactions may take place (the partial success of provocation); (3) the addressee demonstrates some negative reaction and gives "desirable" information against the background of acute emotional reaction (the complete success of provocation). Each scenario of speech behavior is represented by the corresponding types of the addressee's responses which are based on two fundamental principles – cooperation or conflict. At the same time, the successful implementation of the provocation tactic in a certain segment of an interview is always associated with the emergence of communicative failures and can lead to conflict interaction. According to the results of the study, the provocation tactic proved to be unsuccessful in 51% of cases, while journalists achieved partial or complete success in 23% and 26% of cases, respectively. The quantitative data allows coming to the conclusion that the effectiveness of the provocation tactic in the

portrait interview is on average less than 50%. Specific features of the portrait interview organization, emotional and psychological characteristics of the interviewee's personality, as well as the ways of expressing journalist's provocative intention, are the primary factors influencing the success of provocation. Taking into account these factors can improve the effectiveness of the provocation tactic not only in the portrait interview, but also in other types of interviews.

References

1. Il'chenko, S.N. (2016) *Interv'yu v zhurnalisticke: kak eto delaetsya* [Interview in Journalism: How It's Done]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
2. Lukina, M.M. (2003) *Tekhnologiya interv'yu* [Interview Technology]. Moscow: Aspekt Press. [Online] Available from: <http://evartist.narod.ru/text5/34.htm> (Accessed: 25.05.2019).
3. Kim, M.N. (2016) *Osnovy tvorcheskoy deyatel'nosti zhurnalistika* [Fundamentals of the Creative Activity of a Journalist]. Saint Petersburg: Piter.
4. Paris, R. (1989) Der Kurze Atem Der Provokation. *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*. 41 (1). pp. 33–52.
5. Stepanov, V.N. (2008) *Provotsirovanie v sotsial'noy i massovoy kommunikatsii* [Provoking in Social and Mass Communication]. Saint Petersburg: Roza mira.
6. Zaretskaya, E.N. (2002) *Ritorika: Teoriya i praktika rechevoy kommunikatsii* [Rhetoric: Theory and Practice of Speech Communication]. 4th ed. Moscow: Delo.
7. Issers, O.S. (2009) Strategiya rechevoy provokatsii v publichnom dialogue [The strategy of speech provocation in public dialogue]. *Russkiy yazyk v nauchnom osveshchenii – Russian Language and Linguistic Theory*. 2 (18). pp. 92–104.
8. Aytanova, I.K. & Balobanova, L.A. (2016) Verbal behavior of radio presenters in communicative discomfort situations (entertainment and information radio shows). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 5 (43). pp. 5–23. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/43/1.
9. Shvets, E.V. (2008) “*Zvezdnoe*” interv'yu v kommunikativno-pragmatischekom aspekte [“Star” interview in the communicative and pragmatic aspects]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kaliningrad.
10. Palczewski, M. (2008) Journalistic Provocation. Definition – Legal and Ethics Aspects – Typology. *Media Studies*. 2 (33). pp. 71–91 [Online] Available from: http://mediastudies.eu/article.php?date=2008_2_33&content=palczewski&lang=en.
11. Issers, O.S. & Plotnikova, O.A. (2011) Provotsiruyushchie rechevyе taktiki v publichnom interv'yu [Provoking speech tactics in a public interview]. In: Shmelev, A.D. (ed.) *Voprosy kul'tury rechi* [Questions of the Culture of Speech]. 10. Moscow: V.V. Vinogradov Russian Language Institute RAS. pp. 334–340.
12. Plotnikova, O.A. (2007) *Strategii kontrolya dialogicheskogo vzaimodeystviya v interv'yu* [Strategies for controlling dialogic interaction in interviews]. Abstract of Philology Cand. Diss. Omsk.
13. Tret'yakova, V.S. (2003) *Rechevoy konflikt i garmonizatsiya obshcheniya* [Speech Conflict and Harmonization of Communication]. Abstract of Philology Dr. Diss. Moscow.
14. Koshkarova, N.N. (2010) Prostranstvo konfliktного diskursa v zhanre politicheskogo interv'yu [The space of conflict discourse in the genre of political interviews]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University*. 17 (198). pp. 54–59.
15. Gritsenko, L.A. & Demidova, T.A. (2018) The discrediting speech strategy in internet communication (on the example of the use of trolling). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 55. pp. 29–42. (In Russian) DOI: 10.17223/19986645/55/3
16. Krasnoperova, Yu.V., Tarasenko, V.V. & Savartseva, N.V. (2015) Cooperation and conflict as possible ways of interaction development in the course of interview. *Sovremennye*

- problemy nauki i obrazovaniya – Modern problems of science and education.* 2-2. [Online] Available from: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=22601> (Accessed: 10.06.2019). (In Russian).
17. Ermakova, O.N. & Zemskaya, E.A (1993) K postroeniyu tipologii kommunikativnykh neudach (na materiale estestvennogo russkogo dialoga) [Towards the construction of a typology of communicative failures (based on natural Russian dialogue)]. In: Vinokur, T.G. et al. *Russkiy yazyk v ego funktsionirovani. Kommunikativno-pragmatischeskiy aspect* [Russian Language in Its Functioning. Communicative and Pragmatic Aspect]. Moscow: Nauka. pp. 30–64.
18. Dotsenko, E.L. (2000) *Manipulyatsiya: fenomeny, mekhanizmy i zashchita* [Manipulation: Phenomena, Mechanisms, and Defense]. Moscow: Che-Ro; Yurayt.
19. Stepanov, V.N. (2009) Provokativnyy diskurs massovoy kommunikatsii [Provocative discourse of mass communication]. In: *SMI i problemy formirovaniya massovogo soznaniya* [Mass Media and Problems of Mass Consciousness Formation]. Moscow: [s.n.]. pp. 233–235.
20. Krasnoperova, Yu.V. (2005) *Diskursivnye strategii uchastnikov interv'yu* [Discourse strategies of interview participants]. Abstract of Philology Cand. Diss. Irkutsk.
21. Brown, P. & Levinson, S. (1987) *Politeness: Some Universals in Language Usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
22. Grays, G.P. (1985) Logika i rechevoy obshchenie [Logic and speech communication]. In: Paducheva, E.V. (ed.) *Novoe v zarubezhnoy lingvistike* [New in Foreign Linguistics]. Vol. 16. Moscow: Progress. pp. 217–237.
23. Leech, G. (1983) *Principles of Pragmatics*. London: Londman.
24. Vit, N. & Kharitonova, M. (2004) Stimulirovaniye kommunikativnykh taktik ukloneniya i protivodeystviya v teleinterv'yuu [Stimulating communicative tactics of evasion and counteraction in television interviews]. In: *Sbornik nauchnykh statey po filosofii i filologii* [Collected Articles on Philosophy and Philology]. Vol. 6. Odessa: Odessa I. I. Mechnikov National University. pp. 29–39.
25. Golovash, L.B. (2008) *Kommunikativnye sredstva vyrazheniya strategii ukloneniya ot pryamogo otveta: na materiale angliyskogo yazyka* [Communicative means of expressing the strategy of avoiding a direct answer: on the material of the English language]. Abstract of Philology Cand. Diss. Kemerovo.
26. Churikov, M.P. (2005) *Soglasie, nesoglasie i uklonenie v aspekte rechevogo obshcheniya: na materiale tekstov nemetskikh politicheskikh interv'yuu* [Agreement, disagreement and evasion in the aspect of verbal communication: on the material of the texts of German political interviews]. Abstract of Philology Cand. Diss. Pyatigorsk.
27. Seyranyan, M.Yu. (2016) *Konfliktnyy diskurs i ego prosodicheskiy story* [Conflict Discourse and Its Prosodic System]. Moscow: Moscow State Pedagogical University.
28. Ionkina, E.Yu. & Tikhayeva, V.V. (2019) Communicative failures in the portrait interview (based on the material of the German language). *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of Chelyabinsk State University.* 4 (426). pp. 80–89. (In Russian). DOI: 10.24411/1994-2796-2019-10411
29. Ermanova, B.B. (2013) Interruption of speech as a result of communication failure. *Mir Nauki, Kul'tury, Obrazovaniya.* 3 (40). pp. 230–232. (In Russian).

УДК 811.161.1
DOI: 10.17223/19986645/71/7

О.В. Мерзликина

**ЗООМОРФНЫЕ МЕТАФОРЫ «ДОМАШНИЙ СКОТ»
В РУССКОЙ И ГАЛИСИЙСКОЙ
ЯЗЫКОВЫХ КАРТИНАХ МИРА**

На примере сравнительно-сопоставительного изучения зооморфных метафорических номинаций анализируются характеристики домашних животных, их образа жизни и окружения, ставшие основанием для метафорического переосмысливания. Описываются ассоциативные представления о подобии «образов» человека и животного. Выявляются общие и национально-специфические механизмы метафоризации в русском и галисийском языках. Исследование зооморфных метафор русского и галисийского языков позволяет выявить определенные ценностные и культурные ориентации в языковых картинах мира данных лингвокультур.

Ключевые слова: зооморфная метафора, зооним, языковая картина мира, метафорический перенос, концепт

Введение

Животные являются частью культуры всех народов, и поэтому представления о них широко используются в построении образных идиом, которые служат для выражения определенных реалий повседневной жизни. В этом типе образных выражений мы можем воспринимать оценку животных в определенной лингвокультуре. Зооморфный код культуры, будучи частью языковой картины мира, закрепляется в лексике и фразеологии, концептуализируя черты характера человека, его отношение к другим людям, его нравственную сущность, интеллект и внешность, реалии окружающего мира и т.д., благодаря чему раскрываются как универсальные, так и национальные особенности каждой лингвокультуры. Будучи частью культуры всех народов, животные являются широко используемыми референтами при построении метафорических номинаций, которые служат носителям всех языков для выражения определенных реалий повседневной жизни. Одно из наиболее актуальных направлений лингвокультурологии и когнитивной лингвистики – исследование метафоры. Такое исследование дает возможность изучения как национального своеобразия языковых картин мира сопоставляемых языков, так и анализа универсальных и национально специфичных принципов метафоризации в различных лингвокультурах.

Статья посвящена изучению зооморфной метафоры на материале ее языковых репрезентаций в русском и галисийском языках: образных слов, сравнений и устойчивых выражений, номинирующих «домашний скот» в русском и галисийском языках с точки зрения лингвокультурологии. Анализируются зооморфные метафоры с номинациями «домашний скот» и

определяются универсальные и национально-специфичные особенности репрезентации данных зооморфных метафор в сопоставляемых языках.

Рассмотрены наименования сельскохозяйственных домашних животных, как наиболее близких к человеку, с целью определить особенности ассоциативно-символической связи мира животных с человеком и теми реалиями действительности, которые связаны с его жизнедеятельностью в русском и галисийском языковом сознании, выявить характер и степень сходства и различий в системе зооморфных метафорических номинаций, универсальные и национально специфичные особенности репрезентации зооморфных метафор, эталоны и стереотипы языкового сознания и ценностные приоритеты русской и галисийской лингвокультур, сходства и различия между двумя разными по типу культурами.

Изучение зооморфных метафор является важнейшей частью изучения языковой картины мира, поскольку в зоонимах закодирована культура народа, его психологические, социальные и ментальные черты. Являясь одной из самых продуктивных метафор в языке, зооморфная метафора всегда привлекала внимание лингвистов. Анализу зооморфной метафоры галисийского языка в когнитивном аспекте посвящена фундаментальная работа А. Гонсалес Перейра [1]. Актуальность настоящего исследования обусловлена продуктивностью сравнительного анализа зооморфных метафорических номинаций для выявления этнокультурных особенностей русской и галисийской языковых картин мира, а также обнаружения универсальных и национально специфичных особенностей репрезентации зооморфных номинаций в сопоставляемых языках. Настоящее исследование дает возможность сделать выводы, которые помогут описать языковую картину мира русских и галисийцев, их сходства и отличия.

Методология

В последнее время метафора стала рассматриваться как ключ к пониманию человеческого мышления и процессов формирования как универсального, так и национально-специфического мировоззрения, как когнитивный феномен, как способ познания и оценки мира. Основной идеей когнитивного подхода к метафоре является положение о том, что через метафоры мы категоризируем, структурируем и воспринимаем мир, думаем и действуем в нем. По мнению Дж. Лакоффа, категоризация в своей сущности является продуктом человеческого опыта и воображения – восприятия, двигательной активности и культуры, с одной стороны, с другой – метафорического переноса [1] как способа отождествления вида объекта или опыта при помощи высвечивания одних свойств, преуменьшения или сокрытия других [2. Р. 189].

На современном этапе в лингвистических исследованиях метафоричность считается неотъемлемой частью мышления человека, а метафора рассматривается как важный механизм, который позволяет понимать абстрактные понятия как результат и средство познавательной деятельности

человека, как универсальный когнитивный механизм категоризации и концептуализации действительности.

В основе метафоры лежит механизм ассоциативного отождествления, когда признаки одного предмета или явления переносятся на другой предмет или явление на основе какой-либо аналогии [3. С. 79]. Поскольку значительное количество ценностно важных для человека категорий (время, пространство, состояние, эмоции и т.д.) являются абстракциями и возникает необходимость в их наглядном представлении через простые и доступные для обыденного сознания понятия. Именно потребность в осмыслении и осознании явлений одного рода в терминах другого и приводит к возникновению метафоры в концептуальных структурах мышления [2. Р. 115]. В процессе метафоризации актуализируются релевантные элементы концептуальной сферы-источника и переносятся на сферу-цель [4]. Базовые модели метафорической номинации человека формируются на основе когнитивного механизма, при котором, с одной стороны, образу животного приписываются характеристики, свойственные человеку, а с другой – созданный образ ассоциируется с человеком, которому приписываются зооморфные характеристики [5. С. 12].

Зооморфная метафора – одна из самых распространенных моделей метафорических номинаций, в которой какой-либо признак животного является сферой-источником, а человек выступает в качестве сферы-мишени такого метафорического уподобления. Зооморфная метафора, таким образом, является когнитивной проекцией «образа» животного на характеристику человека или реалий окружающей действительности.

Опыт в данном случае становится ключевым аспектом для создания образных выражений, поскольку никакое образное выражение не может быть адекватно понято независимо от опыта познания окружающего мира [2. Р. 19]. В процессе получения такого опыта человек анализирует окружающую его действительность и соотносит ее с самим собой, в результате чего происходит антропоморфизацией окружающих его жизненных реалий и явлений [3. С. 80]. Зооморфная метафора позволяет использовать воображаемый и в то же время построенный на чувственном опыте образ того или иного животного для характеристики человека и тех реалий, которые связаны с его жизнедеятельностью. Универсальный опыт, построенный на наблюдениях, не всегда приводит к образованию универсальных метафор [6. Р. 4], но каждая культура создает свои национально-специфичные метафорические образы.

Житейские наблюдения над внешностью, поведением, повадками животного определяют оценочные векторы создания зооморфного образа, обусловливающего характерологические основания аналогии. При этом оценки через аналогию с животными получают в первую очередь определенные признаки человека, его поведения, внешности, умственных способностей, характера или определенных реалий окружающей действительности, значимые для коммуникации. Таким образом, в основе вторичной номинации лежит определенный когнитивный признак. Высокий уровень проявления признака имеют практически все зооморфные метафорические

номинации. Они дают общее представление о значении знака, являясь, таким образом, средством передачи содержания признакового характера. Отнесенность определенного признака к его носителю детерминирована национальной культурой каждого народа.

При формировании зооморфного метафорического переноса немалую роль играет стереотипизация, т.е. в основу зооморфной метафоры закладывается самый яркий образ, наиболее характерный для данного животного, который говорящий может легко идентифицировать [3. С. 80]. В системе зооморфных метафор проявляется образно-эмоциональное отношение к одним животным и отсутствие или слабая представленность образно-языковый интерпретации других [7. С. 75].

Для выявления универсальных и специфических особенностей зоонимов, относящихся к группе «домашний скот», в сопоставляемых языках, а также определения специфики их реализации в русской и галисийской картинах мира из толковых и фразеологических словарей, авторами которых являются Т.В. Козлова, С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова, А.П. Евгеньева, А.И. Молотков, Н.А. Истомина, В.М. Огольцев, Х.М. Карбалейра, М.С. Лопес Табоада и М.Р. Сото Ариас, Р.А. Мертинес Сейшо, А. Сантамарина, А. Буитраго [8–18], было отобрано около 160 лексических единиц, образных сравнений и идиом, имеющих переносное метафорическое значение и номинирующих домашний скот. Выбор данной группы обусловлен, прежде всего, их распространенностью и близостью к сравниваемым лингвокультурам, а также той ролью, которую они играли и продолжают играть в жизни человека. Нами были отобраны те лексические единицы и образные выражения, которые позволяют судить о том, какое представление имеют русские и галисийцы о домашних животных анализируемой группы. Таким образом, выбранные лексемы и образные выражения относятся к аспектам внешности и поведения животных, к тому, что люди интерпретируют как характер или состояние животного, к существующим между человеком и животными отношениям, к аспектам, которые указывают на оценки, которые даются животным.

Исследование и результаты

Лингвокультурный код языка находит свое наибольшее отражение в образных выражениях. Метафоричность образов имеет фундаментальное значение для понимания культурных аспектов языка. Это означает, что тысячи образных значений и оценок создают особый набор смыслов, через которые говорящие воспринимают реальность. Таким образом, каждая лингвокультура создает свои собственные метафорические образы, закрепленные в культурных когнитивных моделях, и воплощается в образных построениях их языка с каждой из его особенностей. Такими особенностями культуры являются те, которые предоставляют нам необходимую культурную информацию: характерные элементы материальной или духовной жизни народа, социальные нормы, связанные с вежливостью, суевериями, убеждениями, стереотипами, поведением и т.д.

Сознание человека, антропоцентрическое по своей природе, создает национально маркированные оценочные концепты, которые служат своего рода ориентирами в восприятии окружающего мира. Результатом этого стало создание метафорических номинаций как средств оценки различных свойств личности через их сопоставление с животным миром. Процесс метафоризации, как уже было отмечено, происходит путем восприятия животных через мировоззрение человека, через имеющийся у него социальный опыт и его субъективную оценку типичного поведения и свойств животных, той роли, которую они играют в его жизни. В языковой картине мира зооморфизмы, таким образом, наделены особым ментальным характером ассоциаций, объединяющих человека и животный мир.

Знания об объективной действительности, которые нашли отражение в языковой картине мира и закреплены знаковым способом, не всегда тождественны в разных культурах, потому что каждая лингвокультура находится под влиянием уникального комплекса факторов, значимыми для нее оказываются зачастую разные фрагменты действительности, действия, процессы и т.д. Поэтому, несмотря на то, что окружающая действительность может быть общей для нескольких культур (некоторые животные, природа, и т.д.), оценочные и эмоциональные нагрузки могут быть различными для каждого социума, следовательно, и концептуализироваться по-разному. Иногда случается и так, что одно и то же наименование животного развивает противоположные метафорические значения. Так, в метафорическом употреблении зоонима ‘собака’, актуализируются признаки хорошей и плохой жизни: *cota in can á boa vida* (букв.: как собака для хорошей жизни) и *levar unha vida de cans* (букв.: жить собачьей жизнью – плохой).

Когда мы характеризуем человека посредством зооморфной метафоры, то подчеркиваем собственные инстинкты животного в образе человека. Образы животных переносятся в сферу человека и часто приобретают юмористический, ироничный, уничижительный или даже гротескный оттенок, так что человек может быть сравнен с бесчисленным разнообразием животных (кошка, собака, свинья, осел, и т.д.) [19. Р. 193–194].

Одним из наиболее близких человеку животных, используемых в хозяйстве, является **корова**. Корова в словарях русского языка определяется как крупное рогатое домашнее животное, дающее мясо, молоко и кожу и служащее тягловой силой. В крестьянской семье корова олицетворяла достаток и потерять корову зачастую было равнозначно катастрофе. У многих народов она является символом плодородия и благосостояния. Древние славяне также почитали корову, так как она давала человеку пропитание. По мнению Н.Г. Скляревской, в данную лексему в русской культуре входят семьи «ласковая», «добрая», «смирная», «умная» [20. С. 62].

Если проанализировать устойчивые выражения русского языка, то можно увидеть, что основные характеристики коровы находят в них свое отражение. Стереотипный образ коровы выключает самое характерное для внешнего вида и движений животного, возникающее в сознании человека. В концептосфере носителей русского языка фиксируется представление о

корове как о неуклюжем, неповоротливом, неловком и толстом животном. С коровой в русской лингвокультуре отождествляют неуклюжего человека: *как корова на льду*, толстую, неуклюжую, неповоротливую женщину: *неуклюжая как корова*, а также неуклюжего всадника: *как корова на заборе* (о неуклюжем всаднике). Основой метафорического переноса в данном случае является сема ‘большая’, которая ассоциативно разворачивается в сему ‘толстая’, а ‘толстая’ – в ‘неуклюжую’ [5]. Представление о корове как о кормилице служит для метафоризации человека как безотказного источника доходов: *дойная корова*.

В галисийской лингвокультуре доминирующим признаком образа коровы также является ее размер. Толстую женщину галисийцы, равно как и русские, называют коровой (*vaca*): *ser cota inha vaca* (букв. быть как корова). Данный ассоциативный признак метафорически переносится и на характер человека: *ca ita vaca en brazos* (букв. как корова на руках) – о занудном, тяжелом, надоедливом человеке. В галисийской культуре роль коровы как кормилицы, как источника благосостояния в жизни человека также подвергается метафорическому переосмыслению. Являясь кормилицей в хозяйстве, корова была настолько важна для жизни, что в галисийском языке в образе коровы актуализируется метафорическое значение потери времени: *perder as vacas* (букв. потерять коров), т.е. потерять время. Мы относимся ко времени как к очень ценной вещи и соответствующим образом осмысливаем его [2]. В приведенном примере ценность животного переносится на ценность времени: *perder o tempo – perder as vacas*.

Зооморфные метафоры также могут быть связаны с сюжетами библейских текстов. Так, недостаток, тяжелое время ассоциируется с образом тощих коров – *vacas fracas* (букв. тощие коровы), а время изобилия – с толстыми коровами – *vacas gordas* (букв. тучные коровы). Сферой-мишенью в данном случае выступает не человек, а период изобилия или недостатка.

Общими для русской и галисийской лингвокультур является и такой признак, как ‘неприкосновенность’: *священная корова / vaca sagrada* – о привилегированном, неприкасаемом в силу своего особого положения человеке. Общими в сравниваемых языках являются и признаки ‘глупость’ и ‘удивление’: *cota inha vaca mirando para o tren* (букв. как корова, смотрящая на поезд) и *смотреть как корова на писаные ворота* – с удивлением, ничего не понимая.

Разные направления метафорического переноса образа коровы в русском и галисийском языках могут быть детерминированы национально-культурными различиями. Корова в галисийской культуре использовалась и для сельскохозяйственных работ, так же как и бык. Образ коровы используется в качестве сферы-источника при описании таких качеств характера человека, как трудолюбие, и, напротив, праздность и лень. Для характеристики трудолюбивого человека используется идиома *traballar cota inha vaca* (букв. работать как корова), однако метафорическое значение с общей позитивной оценкой в данном случае несет в себе отрицательно-оценочное значение, т.е. работать как корова – тяжело работать, без отды-

ха. Соответственно, образу коровы приписываются и такие антонимические характеристики, связанные с трудом, как ‘безделье’ и ‘праздность’, *cota unha vaca (cansada)* (букв. как (уставшая) корова) – о ленивом человеке. Национально-маркированными в галисийском языке являются метафорические значения зоонима ‘корова’ в составе фразеологических единиц, характеризующих эмоциональные состояния человека: ‘растерянности’ и ‘замешательства’: *cota unha vaca nun teatro* (букв. как корова в театре) и ‘свободы’: *andar cota vaca sen choxa* (букв. гулять как корова без колокольчика).

В русском языке с образом коровы связывается ‘пропажа’, ‘исчезновение’: *как корова языком слизала* (внезапно, бесследно исчезнуть). Сравнение в данном случае очевидно: большой и шершавый язык коровы быстро и чисто слизывает пищу. Каждое животное в хозяйстве имеет свое предназначение, поэтому выражения *как корове седло, как на корове седло* отражают признак ‘несоответствие’.

Бык в словарях определяется как крупное рогатое животное. При характеристике человека этнокультурно маркированным в символике данного зооморфизма в русском языке оказываются физические характеристики животного и его поведение: сила и агрессивность. Наиболее важным для носителей русского языка является направление развития исходного образа, основанного на характеристике внешнего вида животного, а именно его размера. В сравнении ‘*здоров как бык*’ основой для метафорического переноса, так же как и в случае с зооморфизмом *корова*, является сема ‘*большой*’, однако в случае с *быком* она ассоциативно разворачивается в сему ‘*сильный*’ или ‘*здоровый*’: *здоров как бык* (о крупном, сильном и здоровом человеке). Поведение человека сопоставляется с агрессивным поведением быка или же противопоставляется ему: *набычиться* – передает внутреннюю агрессию, глубокую обиду и ассоциируется с позой быка, готового отразить нападение; *как бык на красную тряпку* – передает агрессию, следовательно, *взять быка за рога* – проявить смелость, решительность. Проанализированный языковой материал показывает, что зооморфная метафора концепта ‘*бык*’ в сравниваемых лингвокультурах в галисийском языке актуализирует такие признаки, как ‘*сила*’: *forte cota un touro* (букв. сильный как бык); ‘*агрессия*’: *máis ruxante ca un touro de Fecha* (букв. мощнее быка на корриде), *arremeter cota un touro (bravo)* (букв. нападать как бык); ‘*смелость*’ и ‘*решительность*’: *coler o boi polos cornos* (букв. взять быка за рога).

Национально-маркированными в галисийском языке оказываются признаки ‘*непонимание*’: *cota boi para palacio* (букв. как бык на дворец, ср. рус. как баран на новые ворота) – о глупом, бестолковом человеке; ‘*свобода*’: *cota o boi no monte* (букв. как бык в горах) – о свободном человеке; ‘*спокойствие*’: *cota o boi de Belén* (букв. как бык в вертепе) – о спокойном человеке, а в русском – это признаки ‘*упрямства*’: *упрям как бык*; ‘*недовольства*’: *смотреть / сидеть как бык* (угрюмо, поглядывая исподлобья) – об угрюмом, недружелюбном человеке.

Свинья является символом нечистоплотности и имеет репутацию нечистого животного, валяющегося в грязи. В поведении свиней выражается

их подлинная натура. Доминантной характеристикой для восприятия образа свиньи, таким образом, является признак ‘грязная’. Очевидно, что данный зооморфизм имеет четкую символическую мотивацию (относится к среде обитания животных), а также высокую степень конвенционализации отрицательных значений, выражаяющих чувство отвержения и отвращения. Тем не менее доминантный признак данного зооморфизма, имеющий ассоциативную ориентацию на характеристику внешних качеств животного, гораздо шире. Быть свиньей может соотноситься с отсутствием надлежащего ухода за собой, за чистотой своего тела, одежды и жилища, нравственной нечистоплотностью, невежеством, грубостью и хамством, неблагодарностью: *свинья свиньей, настоящая свинья*.

Метафорический процесс заключается в трансформации полученного опыта в абстрактные схемы мышления, иными словами метафора придает форму абстрактным идеям [2. Р. 30–33]. Таким образом, внешние черты животного и его поведения переносятся на его внутренние качества: ‘грязный’ – ‘неопрятный’ – ‘непорядочный’ – ‘неблагодарный’. Образно-ассоциативное осмысление зооморфизма «свинья» в русском языке выступает в значении неопрятного, грязного человека: *валяться как свинья в грязи, жить как свинья*. Внешняя нечистоплотность переносится на внутренние качества человека, характеризуя его как непорядочного, аморального, а также неблагодарного, например: *поступать по-свински, свинья грязи найдет*, а в таких выражениях, как *подложить свинью, свинский (хамский)*, образ животного переносится на поступок, поведение человека. Также зооморфизм «свинья» является языковой презентацией таких признаков, как ‘безответственность’: *напиться как свинья*, что также может быть связано и с образом свиньи как символа хамства и нечистоплотности. Нечистоплотность человека, передаваемая с помощью образа свиньи, переносится и на его жилье: *как в свинюшнике* (о грязном жилье). Как *поросенка* характеризуют человека неряшливого, неопрятного или непорядочного. Однако чаще данный зооморфизм используется по отношению к детям и не несет в себе резко отрицательных смыслов.

В галисийском языковом сознании образ свиньи также характеризует нечистоплотного человека в физическом и моральном смысле. Признак ‘нечистоплотность’ реализуется в таких выражениях и лексических единицах, как *sucio cota un porco, porcalleiro, porcallán, cocho, marrán* (о грязном, неухоженном человеке, букв. грязный как свинья), *cortello dos porcos* (букв. свиной двор, свиньюшник), *porcallada, cochada* (пакость, букв. свинство), *maleducado cota un porco* (букв. невоспитанный как свинья), *animal de bellota* (грубый, хам, букв. свинья).

Одной из центральных понятийных сфер, связанных со сферой-источником образа жизни свиньи, является сфера-источник «еда»: свинья – это животное, разводимое в основном для производства мяса, соответственно, ее всегда хорошо кормят, чтобы она набирала вес, кроме того, свинья не особо разборчива в еде. В сопоставляемых лингвокультурных сообществах в метафорическом употреблении анализируемого зоомор-

физма для описания внешности человека доминирует оценочная актуализация признаков ‘толстый’: *толстая как свинья / толстый как боров, как кабан откормиться; gordo com a un porco, cocho* (букв. толстый как боров). Кроме полноты, галисийцы выделяют еще один признак – ‘обжорство’ – *comer com a un porco* (букв. есть как свинья, т.е. есть очень много) и признак ‘сила’: *ter forza com a o porco* (букв. иметь силу как у свиньи). Метафорический перенос в данном случае основывается на внешней характеристики свиньи как толстого животного, сема ‘толстая’ ассоциативно разворачивается в ‘большая’, а ‘большая’ – в ‘сильная’. Неразборчивость свиньи в еде в русском языке также используется как признак метафоризации – *разбираешься как свинья в апельсинах* (о человеке, совершенно не разбирающемся в чем-либо). Национально-маркированным в галисийском языке оказывается признак ‘упрямство’: *com a un porco / com a os cochos* – быть очень упрямым.

В европейской символике **осел** всегда был предметом насмешек. Анализ словарных статей и собранная картотека устойчивых выражений позволили выделить главные ассоциативные признаки зоонима ‘осел’. В русском языке осел ассоциируется прежде всего с глупостью: зооморфизм «осел» (дурак, осталоп) часто выступает в роли инвективы без дополнительных дескрипторов или же с помощью таковых: *осел безмозглый*, а также находит свое выражение в пословице *осла видать по ушам, а дурака – по речам*. Осел в русской лингвокультуре также является символом нерешительности: *буриданов осел* (о крайне нерешительном человеке).

Метафорические значения зооморфизма ‘осел’ в русской и галисийской культурах обладают значительной долей сходства. Так, в галисийской лингвокультуре осел также символизирует глупость. В данном случае подобно тому, как быстрота ума ассоциируется с быстротой движения [21. Р. 386–387], медлительность в движении ассоциируется с медлительностью мысли, поэтому медлительные животные, такие как осел, обычно символизируют глупых людей: *asno / burro* (о глупом человеке), иронически – *tan esperto com a un burro* (букв. умный как осел), *ir de burra e volver de albarda* (ничему не научиться, букв. поехать на осле и вернуться на седле), *burrería, asneira* – глупость, глупый поступок, *pensando morreu un burro* (букв. думая, умер осел, т.е. нужно действовать, а не тратить время на различные мысли). Таким же образом семантическое поле зрения обычно соотносится с интеллектом: острота зрения интерпретируется как интеллектуальная острота – *burro cego* (букв. слепой осел).

В сравниваемых лингвокультурах мы находим общие характеристики зооморфизма «осел» – упрямство: *terco / testudo com a un burro* (букв. упретый, рус. *упрямый как осел*). Люди приписывают ослу такое качество, как упрямство, основываясь на наблюдении за его поведением: любое действие со стороны человека зачастую оказывается бесполезно, чтобы сдвинуть животное с места.

Осел в словарных дефинициях определяется как выночное животное. Отсюда еще один ассоциативный признак – ‘осел – работающее живот-

ное', поэтому в галисийском языке в фокус метафоризации попадает и такой ассоциативный признак, как 'труд': *traballar como un burro* (букв. работать как осел), *cargado coma un burro* (нагруженный как осел), *burro da carga* (работяга), и его антонимический образ – *burro cansado* (букв. уставший осел, т.е. человек, не имеющий желания, намерения что-либо предпринимать). В русском языке данный признак передается лексемой *ишиак* (много работающий человек) и выражением *нагруженный как осел*.

Национально-маркированным является представление об осле как о предмете насмешек: *ter o burro á porta* (букв. иметь осла у двери), т.е. быть предметом насмешек. Сферой-мишенью в галисийском языке может быть не только человек, но и чувства, мысли и умственные способности: *baixar da burra* – осознать ошибку и понять, наконец, то, что было непонятно (букв. слезть с осла), *colher o burro* (букв. взять осла), т.е. беспокоиться, тревожиться.

Ослица в галисийском языке олицетворяет лицемерие: *falso coma unha burra vella, más falsa ca burra vella* (букв. лживый, лицемерный как старая ослица). На наш взгляд, в приведенных примерах особое значение имеет прилагательное *vella* (старая), служащее мотивирующей основой ассоциативного признака: 'старая' ассоциативно соотносится с 'имеющая жизненный опыт', а далее – 'лицемерная'.

Необычным, на наш взгляд, является представление об ослице, как о животном, приносящем удачу, передаваемое посредством образа белой ослицы: *vir a burra branca co diñeiro* (букв. приходить белой ослице с деньгами). Сферой-мишенью в данном случае выступает событие (удача). Факт встречи белой ослицы такой редкий, что ассоциируется с удачей, везением [22]. Кроме того, белый цвет, символизирующий в общих чертах свет, чистоту, доброту, удачу, ассоциируется со всем правильным и положительным. Не стоит также забывать о том, что в этническом сознании носителей галисийского языка осел был и символом бедности, нужды, поскольку далеко не все крестьяне могли позволить себе иметь лошадь в хозяйстве.

В русском языке встречается только один метафорический образ данного зоонима: *глупая как валаамова ослица* – об очень глупой женщине.

Зооморфизм **баран** (**овца**) в русском языке имеет довольно устойчивый стереотипный образ очень глупого, несведущего человека, *как баран на новые ворота* (в полном недоумении, ничего не понимая), *бестолковый / непонятливый как баран*. Овца воспринимается как животное стадное и «безынициативное». Данный зооним в метафорическом значении используется для характеристики человека покорного, безропотно подчиняющегося судьбе, который не сопротивляется обстоятельствам. Метафорический перенос актуализируется также через значения 'невинность', 'безобидность' и 'беззащитность': *невинная овечка* (о смиренном, кротком человеке), *прикинуться овечкой*; *стадо баранов* (о неорганизованной толпе, которая слепо, без рассуждений идет за кем-либо), *согнуть в бараний рог* (подчинить себе, заставить быть послушным и безропотным, безжалостно подавлять кого-либо). Как видим, образ овцы, прежде всего, служит примером человеческого поведения. Человек – общественное существо, и он теряется, если

не принадлежит стаду: человек не может выжить в одиночестве, поддается внушению извне и легко сбивается с правильного пути, беззащитен перед «хищниками» и поэтому нуждается в пастире. Таким образом, в зооморфизме баран (овца) можно выделить два релевантных ассоциативных признака: ‘покорность, беззащитность’ и ‘глупость’. При этом баран отличается особым упрямством – *утерся как баран*, что ассоциативно соотносится со значением глупости, поскольку упрямство выражается в несговорчивости, неуступчивости вопреки здравому смыслу.

В галисийском языке образ барана в большинстве своем совпадает с его образом в русском языке: характеризует глупого или покорного и безропотного человека: *cota unha ovella / cota un carneiro / cota un cordeiro / cota un año* (быть послушным, смирным, без сопротивления следовать стадом за кем-либо, букв. как овца / баран); человека невинного и кроткого: *faite ovella e comerate o lobo* (букв. стань овцой, и волк тебя съест); а также человека упрямого: *testudo / terco cota un carneiro* (букв. упрямый как баран). В галисийском языке существует лексема, обозначающая годовалого ягненка – *año*, с помощью которого характеризуют человека очень смиренного и безобидного. Малый возраст в данном случае метафорически переносится на малый «возраст» человека, т.е. такой же безобидный и смиренный, как ребенок.

В отличие от русского языка, в галисийском языке символическое значение образа овцы как беззащитного животного коррелирует с представлением о трусливом человеке, добавляя еще одну характеристику человека, чье поведение сходно с поведением овцы: *acovardados cota carneiros* (букв. трусливые как бараны).

Как известно, овца обладает ценной шерстью. Данный ассоциативный признак детерминирован в галисийском языке неверbalным знаком «цвет»: *ovella negra* (букв. черная овца, ср. рус. – белая ворона), т.е. овца необычного цвета – необычный, редкий, не такой как все человек, а в русском языке это ее внешние характеристики: человека с очень кудрявыми волосами сравнивают с *барашиком*. Анализируемый ассоциативный признак также служит основой для создания идиомы *с паршивой овцы хоть шерсти клок* (образ ни на что не пригодного человека).

В русском языке метафорический перенос актуализируется также через значение «размер»: *не баран начихал* (не малое количество). Исходная когниция, лежащая в основе метафорического использования указанного образного выражения, включает в себя маркированный признак небольшого размера домашнего скота по сравнению с такими животными, как корова и бык, в метафорических номинация которых также актуализируется данный признак.

В галисийском языке имеется большее количество лексических единиц для обозначения данного животного (овцы), среди которых *pécora*, зооморфизм, имеющий отрицательную оценку и относящийся преимущественно к женщинам: *pécora* – гулящая, развратная женщина, *mala pécora* (букв. плохая овца) – порочный или злобный человек (чаще о женщине). Происхождение данного термина восходит к латинскому *pecus*, что озна-

чало мелкий скот, преимущественно ими были овцы. Когда-то они использовались для расчета в качестве денег, отсюда – *pécora* – это женщина, продающая себя за деньги.

Как показывает языковой материал, и в русском и в галисийском языках зооморфизмы баран и овца наделены разной оценочной коннотацией. Баран ассоциируется с глупостью, упрямством, а овца – с невинностью и кротостью. Что касается русского ‘стада баранов’, то в данном случае скорее преобладает признак ‘глупость’.

Козел на территории распространения христианства имеет негативные ассоциации, поскольку именно это животное в древнееврейских обрядах служило для отпущения грехов: на него возлагались грехи всего еврейского народа и его отпускали в пустыню, откуда и происходит выражение *козел отпущения* (*chibo expiatorio*) – о человеке, на которого сваливают чужую вину или ответственность за чужие поступки). Образ козла в Библии имеет отрицательные оценочные смыслы. Мифологические архетипы становятся прообразом для метафорического переосмысливания зоонима «козел» и представляют взгляд лингвокультурной общности на данный образ.

В словарях русского языка зооним ‘козел’ трактуется как человек, вызывающий неприязнь и раздражение, например в выражении ‘старый козел!’. При анализе идиоматических ипостасей козла можно определить доминантный ассоциативный признак: образ *козла* используется для характеристики подлого и неприятного человека. Если обратиться к устойчивому сравнению *как от козла молока* (т.е. человека, не имеющего никакой пользы, проку) и к идиоме *пускать козла в огород* (позволять действовать там, где человек может быть особенно вреден, или допускать кого-либо к тому, чем он может воспользоваться в корыстных целях), можно прийти к выводу, что козел – это бесполезный или злонамеренный человек. Таким образом, доминантными характеристиками козла в русском языке и их проекциями на человека являются признаки ‘бесполезность’ и ‘злонамеренность, подлость’.

В галисийском языке зооморфизм *cabrón* также характеризует подлого, злонамеренного человека, если речь идет о женщине, то употребляется лексема *cabrona*. Данное метафорическое значение отражено и в такой лексеме, как *cabronada* (злонамеренный поступок), в идиоме *facer algo de cabrón* – делать что-либо со злым умыслом (букв. сдѣлать что-либо козлиное).

Интересна концептуализация поведения козла / козы в выражениях *пускать козла в огород* и соответствующая ему идиома в галисийском языке *meter as cabras na horta* (сейте раздор, букв. пускать коз в огород). Каждая лингвокультура по-своему осмысливает окружающую действительность, отсюда один и тот же зооморфный образ получает различное значение. Если в русском языке, как было отмечено выше, в данном выражении актуализируется характеристика животного как зловредного, недоброжелательного существа, то в галисийском языке – как вносящего раздор. В данном случае в основу метафорического переноса положена оценка поведения козы, которое в галисийской лингвокультуре ассоциируется с агрессивностью.

Маркированным оказывается признак такой характеристики поведения животного, как гнев, раздражение: *estar co cabuxo* (находиться в состоянии раздражения непродолжительное время, букв. быть с козленком) и производный от данной лексемы глагол *encabuxar*. *Cabuxo* (букв. козленок) в приведенном выше примере ассоциируется с раздражением, гневом, для-щимся короткое время. Маленький размер в данном случае метафорически переносится на малое количество времени, а сферой-мишенью метафорического переноса является эмоциональное состояние.

В русской лингвокультуре **коза** воспринимается как животное свое-нравное и озорное. В основу символики зоонима «коза» в русском языке положена оценка поведения животного, обладающего вздорным и непоседливым характером, которое соотносится с поведением женщины или девочки: *коза / козочка* (о резвой, бойкой девочке). Таким образом, релевантным ассоциативным признаком является вздорный и непоседливый характер, прыгучесть и легкость животного: *прыгать как коза, коза в сарафане* (вертлявая).

Образ козы в галисийском языке ассоциируется с несуразным поведением, состоянием сумасбродства и сумасшествия из-за ее необычайной легкости, беспокойства и суеты, способности карабкаться по обрывистым и крутым местам, прыгать и подвергать себя опасности. Мотивация в данном случае основана на культурных конвенциях: коза считается животным нестабильного, непредсказуемого и даже странного поведения; по этой причине она стала ассоциироваться со странным, экстравагантным человеческим поведением, несколько нелогичным и безрассудным. Возможно, именно восприятие козы как животного неразумного и легло в основу метафорического сравнения козы с неразумным поведением женщины в плане сексуальной свободы, т.е. поведение женщины, неконтролируемое мужчиной, ассоциируется с поведением козы на свободе: *facer com a cabra no monte* (букв. делать как коза в горах). В русском языке как козу характеризуют неуклюжего человека: *моститься как коза на кровле*.

Если в русском языке образ козы используется для характеристики взбалмошной представительницы слабого пола, то в галисийском в большей степени акцентирован признак ‘придурковатость’, ‘сумасшествие’, ‘глупость’. Причем данные признаки не являются гендерно-маркированными и могут быть использованы по отношению к обоим полам: *cabra tola / cabuxa tola* (букв. сумасшедшая, безумная коза), *estar como unha cabra* (букв. быть как коза), *máis tolo ca unha cabra* (букв. глупее козы), *ter a cabeza como unha cabra tola* (букв. иметь голову как у глупой козы); *com a cabra que pariu para o lobo* (букв. как коза, родившая для волка). Развитие метафорического значения зоонима ‘коза’ обусловлено в данном случае характерной чертой поведения животного – беспричинно мотать головой, что является признаком упрямства и ассоциативно соотносится с глупостью.

Кроме того, посредством образных представлений о козе в галисийском языке характеризуется состояние алкогольного опьянения *máis borracha ca*

unha cabra (букв. пьянее козы). Среди метафорических номинаций, связанных с глупым поведением и обусловленных данной метафорой, можно выделить еще несколько. Через образ козы галисийцы характеризуют также человека лживого: *mentir com a unha cabra* (букв. врать как коза) и невоспитанного: *com a unha cabra sen solta* (букв. как коза без привязи).

Зооморфные метафоры также могут являться отражением народной мифологической символики, они могут быть связаны с различными историческими, социальными и культурными факторами. Нередко зооморфизмы не имеют отношения к реальным характеристикам животного [23. С. 20]. Так, в русском языке через образ козы характеризуется несговорчивый, упрямый человек: *на козе не подъедешь*.

Таким образом, в русском языке национально маркированным оказывается типичное поведение животного, т.е. его взбалмошность и беспокойство, а для галисийской лингвокультуры доминантным является признак номинации животного для указания на низкие интеллектуальные способности.

Лошадь / конь определяется как животное, используемое для перевозки грузов и человека. Лошадь также использовалась крестьянами в сельскохозяйственных работах. Таким образом, доминантными ассоциативными признаками, связанными с метафорическими номинациями коня / лошади, будет ее восприятие как средства передвижения и рабочей силы. Для русского языка характерно различие в метафорических переносах, связанных с зоонимами «лошадь» и «конь»: лошадь пашет, а конь под седлом. В галисийском языке данное различие не является релевантным.

В русской лингвокультуре ценностная идеализация трудолюбия находит свое отражение в образе лошади, которое тем не менее в большинстве случаев имеет отрицательные смыслы, связанные с тяжелым, изнурительным трудом. В данном случае доминантным признаком на уровне метафорических преобразований выступает ‘измученность, изнуренность’: *пахать как лошадь* (работать очень много и напряженно), *дышать как загнанная лошадь* (измученный, изнуренный гоньбой), *как обозная кляча / как разбитая кляча* (работать до изнеможения, без отдыха; выглядеть измученным и крайне уставшим). Лошадь ассоциируется также с выносливостью, здоровьем: *лошадиное здоровье*. Так, здоровую и рослую женщину сравнивают с *кобылой* (*здоровая как кобыла*), а мужчину – с *жеребцом*. Данная характеристика вербализируется также в идиоме *работать как ломовая лошадь* (о человеке, на которого взваливают самую тяжелую работу) и в *не в коня корм* (о бесполезных, безрезультатных затратах на кого-либо). Ассоциативный признак ‘лошадь как рабочая сила’ в галисийском языке реализуется в противоположном направлении: *espotreado com a un cabalo* (букв. праздный, обленившийся как лошадь). Основой для такого переноса является особенность лошади, находящейся долгое время без работы – она становится ленивой и ее тяжело принудить к труду. В основе метафорических проекций в галисийской лингвокультуре оказывается и сила, и выносливость коня, способность много и тяжело работать: *forte com a un cabalo* (букв. сильный как конь). В галисийском языке находим только один

метафорический образ зоонима *egua / faco* (лошадь / кляча): *estar a dente com a egua galega* (проголодаться, быть голодным, ср. рус. голодный как волк).

Ассоциативный признак ‘лошадь как средство передвижения’ реализуется в идиомах *бегать как лошадь* и *как застоявшийся конь* (проявлять стремление к движению или действию). Сюда же относится и идиома *быть на коне и въехать на (белом) коне* (чувствовать себя победителем). В приведенном примере признак ‘быстрота’ ассоциируется с признаком ‘успех’, поскольку в коне, как средстве передвижения, всегда ценилась его быстрота, соответственно, чем больше возможностей в передвижении, тем больше успех. Образ лошади как средства передвижения детерминирован также и одним из развлечений – скачками и символизирует неизвестность: *темная лошадка*. Общими в приписываемых образу лошади в русской и галисийской лингвокультурах антропоморфными характеристиками являются ревность и скорость: *correr com a cabalo* (букв. бегать как конь).

Как известно, конь является домашним животным, которого, прежде чем использовать в хозяйстве и сделать послушным, нужно обезжать. Отсюда еще один ассоциативный признак коня / лошади – ‘своевольность, норовистость’. Реализованный в идиомах *брыкаться как лошадь, как норовистый конь* данный признак становится референтом ‘своенравности’. Необходимость обезды коня метафорически переносится на человека невоспитанного, с плохими манерами: *ржать как лошадь / конь* (громко смеяться) и *cabalón* (о невоспитанном, с плохими манерами человеке). Увеличительный суффикс *-ón* служит интенсификатором негативной оценочности. Характерными чертами, метафорически переносимыми на лошадь в галисийском языковом сознании, являются ассоциативные признаки ‘неконтролируемость, необузданность’: *cabalo desbocado* (букв. конь необузданный) – о дерзком и грубом человеке.

Заключение

Таким образом, метафорическое переосмысление реализуется в соответствии с доминирующими ценностями антропоморфизации зоонимов, принятых в определенной лингвокультуре, и имеет, как правило, отрицательную аксиологическую направленность. В ядерно-периферийной организации зооморфной метафорической номинации маркируется какой-либо доминантный признак животного, который в дальнейшем подвергается ассоциативному развитию в системе аксиологических ориентиров определенной лингвокультуры. Вариативность признаков, приписываемых животным, и стереотипное отношение к ним обусловлены национально-специфическим мировосприятием носителей определенной языковой группы.

Анализ показал, что в метафоризации зоонимов анализируемой группы в сопоставляемых языках выявляются как специфические национально маркированные, так и универсальные связи, наличие которых становится возможным благодаря распространенности и близости к человеку анализируемой группы животных в русской и галисийской культурах.

Универсальные ассоциации, лежащие в основе зооморфных метафор в русском и галисийском языках, во многом соотносятся с общими характеристиками животного. Наиболее актуальными для обоих языков признаками, лежащими в основе вторичной номинации, являются относящиеся к поведению и внутренним качествам, физическим характеристикам, умственным способностям, менее востребованными – признаки, относящиеся к внешнему виду и деятельности. Признаки эмоционального состояния в отличие от галисийского не представлены в русском языке.

Совпадения обусловлены, очевидно, относительной универсальностью когнитивных процессов, сходством восприятия и переосмысления действительности русскими и галисийцами, что выражается в общности оценки объекта и в общности основания для развития метафорического значения и ассоциативных связях, лежащих в основе метафорического переноса: так, зооним «бык» в сопоставляемых языках воспринимается как сильный и агрессивный, «баран» – как глупый и упрямый, а «свинья» – как грязная и толстая.

Различия в группе зооморфизмов «домашний скот» обнаруживаются в выборе оснований для моделирования метафорического образа и в репертуаре оценочных значений у одной и той же зооморфной номинации. Набор актуализируемых признаков может совпадать не полностью: так, в образных сравнениях концепт «корова» реализуется в русском и галисийском языках через внешний вид животного (признак ‘размер’), в русском языке помимо указанного признака присутствует еще и признак ‘неуклюжесть’ (типичное поведение), чего не наблюдается в галисийском. Данный концепт в сравниваемых лингвокультурах реализуется также через признак ‘ценность’, который в русском языке реализуется через модель использования названия животного для указания свойств характера человека (*дойная корова*), а в галисийском маркированной оказывается ценность времени (*perder as vacas*).

Расхождения выявляются и в составе конкретных признаков, актуализируемых метафорами, и в степени продуктивности развития метафорических значений: метафорическая репрезентация зоонима «коза» в русском языке довольно ограничена и реализуется главным образом через признак ‘резвость, легкость’, тогда как в галисийском через признак ‘глупость’, образуя при этом большее количество метафорических номинаций.

В галисийском языке также были найдены образные сравнения и фразеологизмы, в которых сферой-мишенью метафорического уподобления является не человек, а эмоциональные состояния и абстрактные понятия: время, гнев, беспокойство.

На наш взгляд, факт совпадения признаков, создающих стереотипные представления о домашних животных в русском и галисийском языках, объясняются их прирученностью и распространенностью, а также общими сюжетами мифологических текстов. Более сложные метафорические уподобления, как правило, в большинстве своем национально маркированы. Анализ зооморфных метафор позволяет глубже понять систему ценностей, социальные нормы поведения и стереотипы различных лингвокультур.

Литература

1. *González Pereira A.* Os animais vistos polo galegos: análise das expresións figuradas galegas que retratan o mundo animal. Tesis de doutoramento. Vigo. 2017. URL: <http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/853>
2. *Lakoff G., Johnson M.* Metaphors We Live By. Chicago : University of Chicago Press, 1980.
3. *Дыбо А.В., Никуленко Е.В.* Зооморфная метафора «медведь» в русском, английском и языках Южной Сибири // Язык и культура. 2019. № 45. С. 78–95.
4. *Grady J.* Metaphor // The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics. Oxford : Oxford UP, 2007. Р. 188–213.
5. *Ильяс У.* Зооморфная метафора, характеризующая человека, в русском и турецком языках : дис. ... канд. филол. наук. М., 2004.
6. *Kövecses Z.* Metaphor in culture: universality and variation. Cambridge : Cambridge University Press, 2005.
7. *Резанова З.И.* Метафора в процессах языкового миромоделирования в языке и тексте // Известия Томского политехнического университета. Инженеринг георесурсов. № 305 (4). С. 74–83.
8. *Козлова Т.В.* Идеографический словарь русских фразеологизмов с названиями животных. М. : Дело и сервис, 2001.
9. *Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.* Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. М. : ИТИ Технологии, 2006.
10. *Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой.* 2-е изд. М. : Русский язык, 1981–1984.
11. *Фразеологический словарь русского языка / под ред. А.И. Молоткова.* М. : ACT, 2001.
12. *Энциклопедический словарь символов / авт.-сост. Н.А. Истомина.* М. : ACT, 2003.
13. *Огольцов В.М.* Словарь устойчивых сравнений русского языка (синонимо-антонимический). М. : ACTIO 2001.
14. *Carballeira Anollo X.M. (coord.)* Gran dicionario Xerais da lingua. 2 vols. Vigo : Xerais, 2009.
15. *López Taboada M.C., Soto Arias M.R.* Dicionario de fraseoloxía galega. Vigo : Xerais, 2008.
16. *Martínez Seixo R.A. (dir.)* Dicionario fraseolóxico galego. Vigo : A Nosa Terra, 2002.
17. *Santamarina A. (coord.)* Dicionario de dicionarios. 2003. URL: <http://sli.uvigo.es/Ddd/>.
18. *Buitrago A.* Diccionario de dichos y frases hechas. Madrid : Espasa-Calpe, 2006.
19. *Lakoff G., Turner M.* More than cool reason. A field to poetic metaphor. Chicago : University of Chicago Press, 1989.
20. *Скляревская Г.Н.* Метафора в системе языка. СПб. : Наука, 1993.
21. *Álvarez de la Granja M.* Agudo coma un allo o burro cego. La conceptualización de la inteligencia y de la estulticia a través del lenguaje figurado gallego // Linguistic studies in honour of Prof. Siyka Spasova-Mihaylova / eds. by S. Kaldieva-Zaharieva, R. Zaharieva. Sofia : Bulgarian Academy of Sciences / Institute for Bulgarian Language, 2011. P. 377–413.
22. *Ferro Rubial X.* A comparación fraseolóxica galega como radiografía lingüística // Lenguaje figurado y motivación: una perspectiva desde la fraseología / ed. by M. Álvarez de la Granja. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2008. Р. 129–189.
23. *Хлебникова А.Л.* Метафорическое моделирование образов человека: к проблеме гендерной и этнокультурной специфики // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 406. С. 18–24.

Zoomorphic Metaphors “Livestock” in Russian and Galician Language Pictures of the World

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 114–132. DOI: 10.17223/19986645/71/7

Olga V. Merzlikina, Plekhanov Russian University of Economics (Moscow, Russian Federation). E-mail: o.merzlikina@rambler.ru

Keywords: zoomorphic metaphor, zoonym, language picture of the world, metaphorical transference, concept.

The article analyses zoomorphic metaphors with the naming units “livestock”. The universal and specific features of the representation of these zoomorphic metaphors are determined in the compared languages. Names of domestic animals belonging to the sub-group “livestock” have been considered in order to determine the peculiarities of the associative and symbolic links of animals’ appearance, behaviour, and way of life with the particular appearance and personality, behaviour and way of life of a person in Russian and Galician linguistic consciousness, to identify the set of animal metaphors characterising a person, which are significant in the view of culture, paradigms and stereotypes of linguistic consciousness, as well as value priorities of Russian and Galician linguacultures, similarities and differences between the two cultures of different types. The study is built on a semantically grounded zoonym classification, which is based not only on phenotypic traits of animals, but also on their functional role in people’s life. Characteristics of domestic animals, their behavior and environment forming a basis for metaphorical reinterpretation have been analysed in the context of a comparative analysis of linguistic metaphors, figurative comparisons, idioms with a zoonym component. Metaphorisation results from the perception of the animal world through the worldview of people, their acquired social experience and subjective evaluation of animal behaviour and habits. The analysis of zoomorphic metaphors related to the “livestock” sub-group in Russian and Galician linguacultures shows that, in the centre–periphery structure of zoomorphic metaphorical naming, some of the dominant features of the animal are marked. This feature is developed according to association in the system of linguocultural axiological references. The variability of features attributed to animals and the stereotypical attitude towards them are conditioned by the specific worldview of native speakers. Universal associations that are the basis of zoomorphic metaphors in the compared languages largely correlate with the general characteristics of the animal. The most relevant features for both languages that are represented in the figurative name are behaviour and inner qualities, physical characteristics and mental abilities. Features related to appearance and activity are less frequent. The differences are revealed in the choice of the basis for modelling a metaphorical image, in the repertoire of evaluative meanings, as well as in the degree of productivity of the development of metaphorical meanings. The coincidence of the features in the Russian and Galician languages can be explained by animal domestication, their area of distribution, as well as common subjects of mythological texts. More complex metaphorical comparisons are predominantly nationally marked.

References

1. González Pereira, A. (2017) *Os animais vistos polo galegos: análisis das expresións figuradas galegas que retratan o mundo animal*. Tesis de doutoramento. Vigo. [Online] Available from: <http://www.investigo.biblioteca.uvigo.es/xmlui/handle/11093/853>.
2. Lakoff, G. & Johnson, M. (1980) *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
3. Dybo, A.V. & Nikulenko, E.V. (2019) The zoomorphic metaphor “bear” in Russian, English and the languages of Southern Siberia. *Yazyk i kul'tura – Language and Culture*. 45. pp. 78–95. (In Russian). DOI: 10.17223/19996195/45/6

4. Grady, J. (2007) Metaphor. In: Geeraerts, D. & Cuyckens, H. (eds) *The Oxford Handbook of Cognitive Linguistics*. Oxford: Oxford UP. pp. 188–213.
5. Il'yas, U. (2004) *Zoomorfnaia metafora, kharakterizuyushchaya cheloveka, v russkom i turetskom yazykakh* [Zoomorphic metaphor characterizing a person in Russian and Turkish]. Philology Cand. Diss. Moscow.
6. Kövecses, Z. (2005) *Metaphor in culture: universality and variation*. Cambridge: Cambridge University Press.
7. Rezanova, Z.I. (2002) Metafora v protsessakh yazykovogo miromodelirovaniya v yazyke i tekste [Metaphor in the processes of linguistic world modeling in language and text]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta. Inzhiniring georesursov – Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering.* 305 (4). pp. 74–83.
8. Kozlova, T.V. (2001) *Ideograficheskiy slovar' russkikh frazeologizmov s nazvaniyami zhivotnykh* [Ideographic dictionary of Russian phraseological units with names of animals]. Moscow: Delo i servis.
9. Ozhegov, S.I. & Shvedova, N.Yu. (2006) *Tolkovyy slovar' russkogo yazyka* [Explanatory dictionary of the Russian language]. 4th ed. Moscow: ITI Tekhnologii.
10. Evgen'eva, A.P. (ed.) (1981–1984) *Slovar' russkogo yazyka: v 4 t.* [Dictionary of the Russian language: in 4 volumes]. 2nd ed. Moscow: Russkiy yazyk.
11. Molotkov, A.I. (ed.) (2001) *Frazeologicheskiy slovar' russkogo yazyka* [Phraseological dictionary of the Russian language]. Moscow: AST.
12. Istomina, N.A. (2003) *Entsiklopedicheskiy slovar' simvolov* [Encyclopedic dictionary of symbols]. Moscow: AST.
13. Ogol'tsev, V.M. (2001) *Slovar' ustoychiviykh sravneniy russkogo yazyka (sinonim-antonimicheskiy)* [Dictionary of stable comparisons of the Russian language (synonymous-antonymic)]. Moscow: ASTYu.
14. Carballera Anillo, X.M. (coord.) (2009) *Gran dicionario Xerais da lingua*. 2 vols. Vigo: Xerais.
15. López Taboada, M.C. & Soto Arias, M.R. (2008) *Dicionario de fraseoloxía galega*. Vigo: Xerais.
16. Martínez Seixo, R.A. (dir.) (2002) *Dicionario fraseolóxico galego*. Vigo: A Nosa Terra.
17. Santamarina A. (coord.). (2003) *Dicionario de dicionarios*. [Online] Available from: <http://sli.uvigo.es/DdD/>.
18. Buitrago, A. (2006) *Diccionario de dichos y frases hechas*. Madrid: Espasa-Calpe.
19. Lakoff, G. & Turner, M. (1989) *More than cool reason. A field to poetic metaphor*. Chicago: University of Chicago Press.
20. Sklyarevskaya, G.N. (1993) *Metafora v sisteme yazyka* [Metaphor in the language system]. Saint Petersburg: Nauka.
21. Álvarez de la Granja, M. (2011) Agudo coma un allo o burro cego. La conceptualización de la inteligencia y de la estulticia a través del lenguaje figurado gallego. In: Kaldieva-Zaharieva, S. & Zaharieva, R. (eds) *Linguistic studies in honour of Prof. Siyka Spasova-Mihaylova*. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Bulgarian Language. pp. 377–413.
22. Ferro Rubial, X. (2008) A comparación fraseolóxica galega como radiografía lingüística. In: Álvarez de la Granja, M. (ed.) *Lenguaje figurado y motivación: una perspectiva desde la fraseología*. Frankfurt am Main: Peter Lang. pp. 129–189.
23. Khlebnikova, A.L. (2016) Figurative Modelling of a Person's Images with Regard to Gender and Culture Specificity. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal.* 406. pp. 18–24. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/406/3

УДК 81.373.2

DOI: 10.17223/19986645/71/8

Н.И. Панасенко

КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ: ВКУС

Представлены результаты интегративного лингвокогнитивного исследования обширной группы фитонимов различных языков в аспекте лингвосенсорики (вкусовая модальность восприятия). Ономасиологический анализ фитонимов дает возможность установить лексические и формальные базисы, а также приписываемые им предикатом ономасиологические признаки. Когнитивный анализ позволяет выяснить, как в ономасиологической модели представлены каналы получения информации, и установить их локализацию: в базисе или признаке.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, каналы получения информации, вкус, названия лекарственных растений, ономасиологический базис, ономасиологический признак

Введение

Данная статья представляет результаты исследования фитонимической лексики в романских, германских и славянских языках, целью которого было описать и проанализировать выбранный пласт лексики, а также установить его место и роль в языковых картинах мира. Объектом послужили литературные и народные названия лекарственных растений (ЛР) во французском, немецком, английском, русском, украинском, польском, чешском и словацком языках; всего свыше 10 000 примеров. Для их обработки использовалась специально написанная программа «Флора».

Важными для данного исследования были структурно-семантический анализ и ономасиологический анализ с его последующей когнитивной интерпретацией. Процедура проведения каждого из этих анализов представлена далее.

Структурно-семантический анализ позволил выделить шесть основных структурных моделей в литературных и народных названиях травянистых ЛР (ТЛР) и ЛР-кустарников (ЛРК) и установить наиболее частотные в каждом из изучаемых языков, что дало возможность перейти к более сложному лингвистическому анализу – ономасиологическому. В основе проводимого нами исследования лежит тернарная модель производного и сложного слова, разработанная Е.С. Кубряковой [1], которая добавила к модели М. Докулила предикат-связку или атомарный предикат. Эта модель включает ономасиологический базис, ономасиологический признак и предикат-связку, которые в дальнейшем именуются просто базис, признак и предикат.

В результате была структурно и семантически описана зона базиса и приписываемая ему атомарными предикатами признаковая зона фитони-

мов. Мотивировочные признаки, которые кладутся в основу номинации различных ЛР, можно рассматривать как универсальные категории: пространство, время, форма, цвет и т.д. Признаки, характеризующие ЛР, в большинстве своем являются статическими. Существуют две стратегии распознавания и отождествления объекта: по целостному образу и по броскому признаку. Получив в результате анализа широкий инвентарь универсальных для многих языков признаков, мы можем предположить, что распознавание ЛР и отнесение его к определенному классу происходит главным образом на основании выделения одного или нескольких признаков. Анализ словообразовательной и ономасиологической структуры фитонимов позволяет реконструировать номинативную деятельность человека и установить некоторые принципы номинации, которые формируются на основе обобщения мотивировочных признаков уже известных растений и служат базой для новых наименований.

Однако ни словообразовательный, ни ономасиологический анализ не объясняют, почему названия растений даются через иное понятие – лицо, животное, мифическое существо и пр. Как справедливо замечает Е.С. Кубрякова, «реинтерпретация данных ономасиологического анализа в когнитивных терминах отнюдь не представляет собой процедуру простого перевода с одного языка на другой, но известные переосмысления данных с новых позиций» [2. С. 40–41].

Прежде чем детально описать каналы получения информации в фитонимической лексике, остановимся кратко на базовых понятиях когнитивной лингвистики и обозначим методы, которые были использованы нами при проведении когнитивного анализа.

Когнитивная лингвистика, которую Е.С. Кубрякова назвала «зоничным термином» [3. С. 7], а В.А. Маслова [4. С. 4] наукой будущего, неизменно остается в поле зрения ученых, о чем свидетельствуют многочисленные публикации как российских ученых [5–13], ученых из ближнего [4, 14–17] и дальнего зарубежья (А. Голдберг, Р. Джекендофф, Дж. Лакофф, Р. Лэнекер и др.), фундаментальные работы которых собраны в коллективной монографии «*Cognitive linguistics: basic readings*» [18].

Как показывают ономасиологические исследования конца 1970-х – 1980-х гг., именно этот тип анализа явился конечной целью анализа производной (вторичной) лексики, а его результаты использовались для общей характеристики особенностей изучаемой группы слов и, главное, конкретных способов ее моделирования. Когнитивная лингвистика выявила, однако, возможности и более глубоких обобщений на этом материале путем детального анализа полученных данных именно с когнитивной точки зрения, т.е. по их роли в процессах **познания** мира. В этом смысле и ономасиологический анализ, и словообразовательный оказались определенными этапами в рассмотрении формальных и семантических свойств изучаемого пласта лексики, предваряющими этап **когнитивного** осмыслиения этой лексики.

Когнитивно ориентированный ономасиологический анализ фитонимов позволяет рассмотреть по-новому организацию данной лексико-семантической группы и дать более адекватную интерпретацию ее составных ча-

стей. Когнитивный анализ названий ЛР соответствует сущности когитологии: получение информации (каналы в семантике фитонимов и их сочетаемость); обработка информации (метафора и метонимия); структура представления знаний (использование главным образом фреймовой модели, которая наиболее полно характеризует структуру лечебной деятельности человека и свойства ЛР); реконструкция этапов когнитивной и практической деятельности человека, принципов восприятия и категоризации мира.

Названия ЛР позволяют описать языковую картину мира, присутствующую в сознании говорящего и организующую его внутренний лексикон. Систематизация в терминах когнитивной лингвистики литературных и народных названий ТЛР и ЛРК дает возможность установить, какая именно часть знаний о лекарственном растении отражена в его названии и какие именно признаки кладутся в основу номинации в каждом из рассматриваемых языков. Такими важными признаками являются оценочные и признаки внешнего вида [19].

Отправной точкой когнитивной деятельности человека является получение первичной информации по зрительному, тактильному, обонятельному, вкусовому и слуховому каналам. Чтобы получить суждение об объекте (в нашем случае – о ЛР), его нужно осмотреть, изучить на ощупь, иногда попробовать на вкус. Одной из особенностей нашего лексического материала является отражение сочетаний различных каналов в названии ЛР при несомненном приоритете зрения.

Каналы получения информации в названиях лекарственных растений

Обобщая сказанное выше, ещё раз повторим основные задачи когитологии: изучение способов получения, хранения, обработки и передачи информации. Передача информации осуществляется косвенно, по информационным каналам от поколения к поколению, от народа к народу в виде легенд, преданий и пр., что составляет культурологический аспект семантики фитонимов. Теперь опишем модусы перцепции, которые можно проследить в семантике фитонимов.

Общеизвестно, что источником знаний человека об окружающем мире являются ощущения, восприятия, представления и понятия. Как отмечает Л.М. Лещева, часть знаний формируется ежедневным опытом в результате прямого взаимодействия с окружающей средой на базе ощущений (тепло – холод), часть знаний приобретается на основе более сложного процесса познания – восприятия, дающего информацию о предмете в его целостности при непосредственном воздействии этого предмета на органы чувств [20. С. 51]. Теперь попытаемся описать, как знания, полученные по сенсорным каналам восприятия, в языке находят своё выражение в виде имён существительных (предметных имён), т.е. базисов, или в виде имён атрибутивов (признаковая лексика), т.е. признаков. Категориально мы выделили две группы базисов: именующих растения и прочие и установили, что имеется взаимосвязь между лексическими классами базисов и признаками с

модусами перцепции. Нас также интересует, какие именно установленные нами в процессе ономасиологического анализа признаки получены по зрительному каналу, обонятельному, тактильному, вкусовому и слуховому, в каком языке в семантике фитонима наблюдается приоритет того или иного канала, какой из всех каналов наиболее важен в номинации растений.

Лексика, связанная с модусами перцепции, неоднократно являлась объектом исследования не только лингвистов [19, 21–27], но и психологов [28–31], физиологов [32], антропологов и этнографов [33].

Перцептивная и номинативная деятельность человека тесно взаимосвязаны. Об этом свидетельствует тот факт, что предметные имена, особенно референтные, включают в своё номинативное содержание не только понятия, но и элементы чувственной ступени познания: зрительного, слухового и пространственного представления вещей и предметов [34. С. 16].

Информация, полученная по различным каналам, каким-то образом обрабатывается головным мозгом человека. Утверждают, что центральная нервная система оказывается ответственной за своеобразную интеграцию информации, полученной по разным каналам. Не исключено, что по аналогии с этим слово можно считать такой центральной единицей оперативного сознания [35. С. 8]. Каналами получения информации являются зрение, осязание, обоняние, вкус и слух. В нашем языковом материале они имеют различную степень частотности.

Приоритетное положение во всех рассматриваемых нами языках занимает **зрение**. В славянских языках, где нами было выделено большое число производной лексики, в названиях ЛР зрительный канал прослеживается в таких оценочных признаках, как **физические свойства растения**. Эта же группа признаков приписывается формальным или лексическим базисам. В то же время некоторые базисы сами отражают модусы перцепции. Так, благодаря **зрению** можно описать такие свойства ЛР, как **цвет, форма, особенности строения, время цветения, место произрастания** и ряд других. Из всех выделенных нами базисов такой класс, как растение, наименее представлен в зрительном модусе; **форма** ЛР описывается через название фруктов, овощей и через уже известное растение. Именно в других лексических классах нашли яркое отражение мотивировочные признаки, полученные благодаря зрительному каналу. Это такие признаки, как **форма** (артефакт, части тела животного, человека, вещество, лицо, объект природы и пр.), напр. чешск. *Kněžské čepičky* /шапочки священника/ – Бересклет европейский (*Euonymus europea* L.); базис – артефакт, которому при помощи уменьшительно-ласкательного суффикса приписывается **признак внешнего вида (размер)** в сочетании с **признаком оторжимой от лица принадлежности** → **форма; цвет** (явление природы, металл, вещество и пр.), напр. русск. *Солнечное золото* – Цмин песчаный (*Helichrysum arenarium* (L.) Moench.); **особенности строения** (состояние, части тела, местность, чувство, свойство характера и пр.), напр. укр. *Хлопців любов* – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.); **собственно внешний вид** (существо, части тела животного, животное, насекомое, артефакт и

пр.). Такие признаки, как локативные и темпоральные, представлены единичными примерами.

Поскольку мы работаем с большим корпусом примеров в разноструктурных языках, считаем целесообразным пояснить, как используются различные графические средства и как осуществляется описание того или иного ЛР. Мы выделяем ТЛР и ЛРК, литературные названия (лит.), которые включены в ботанические справочники и известны широкому кругу людей, народные (в тексте подаются курсивом, не обозначаются, так как они преобладают) и научные (латинские). В одних языках первый элемент названия растения пишется с прописной буквы, в других – со строчной; ботанический термин, как правило двуучленный, пишется с прописной буквы. Мы используем прописную букву во всех языках, чтобы показать различие между повседневной и фитонимической лексикой, ср. *майка* – предмет одежды и русск. *Майка* – народное название Одуванчика лекарственного (формальный базис – суффикс *-к* и темпоральный признак, обозначающий время цветения). Для обозначения базиса используется специальный шрифт, ономасиологические признаки подаются полужирным курсивом. В некоторых случаях дается перевод фитонима. Описание фитонима выглядит следующим образом: франц. *Reine des bois* /королева лесов/ – Ясменник душистый (*Asperula odorata* L.), базис – лицо (метафора), которому приписывается **признак-локатив**; высокий статус королевы в социальной иерархии общества позволяет говорить о полезных свойствах данного ЛР (**оценочный признак**).

Тактильные ощущения в названиях ЛР нашли своё отражение преимущественно в признаках, обозначающих физические свойства растения [27]. В зоне базиса практически нет имен растений, низкочастотны и другие лексические классы базисов, такие как животное, чувство, ткань (названия ТЛР), артефакт и прочие (названия ЛРК), напр. англ. *Old man's flannel*, русск. *Суконце* – Коровяк скипетровидный (*Verbascum thapsus* L.).

Канал **обоняния** представлен в фитонимической лексике достаточно ярко, при этом следует отметить, что он обозначается главным образом в признаковой зоне при помощи соответственных прилагательных: душистый, вонючий, зловонный и т.д. Нам удалось выделить только два типа базисов: формальный – суффикс и категориальный – растение [26]. Часто одно растение называется через другое, при этом используются эталоны растительного происхождения, напр. нем. *Schwarzer Flieder* /черная сирень/ – Бузина черная (*Sambucus nigra* L.); англ. *Sweet cinnamon* /сладкая корица/ – Аир болотный (*Acorus calamus* L.).

Слуховой канал в нашем лексическом материале практически не задействован и представлен единичными примерами.

Что же касается такого канала, как **вкус**, то кроме признаков физических свойств в названиях ЛР встречаются и базисы – растения (овощи со специфическим вкусом, известные растения с эталонным вкусом). Из «других» лексических классов базисов как в названиях ТЛР, так и ЛРК можно выделить такие, как напиток, вещество, пищевые продукты. Более подробно такие примеры будут рассмотрены ниже.

Вкус

Вкус традиционно считается периферийной перцепцией. В психологии много работ, посвящённых зрению и слуху, работы же по природе вкуса малочисленны [36–38]. Полагаем, что лингвистических исследований также недостаточно [39–41].

Мы разделяем мнение У. Найссера о том, что вкус – это более пассивное чувство по сравнению со зрением или осязанием [42. С. 159]. Вкусовая информация хотя бы после однократного употребления какого-либо вещества остаётся неизменной, тогда как практически невозможно увидеть одно и то же явление или предмет одинаково.

Следует отметить, что в большинстве языков существуют два способа обозначения вкуса: при помощи прилагательных вкуса и при помощи эталонного объекта. По мнению И.Г. Рузина, основные эталонные атрибуты вкуса определяются словарем через вкус эталонного объекта: сладкий – подобный вкусу сахара, кислый – подобный вкусу лимона. Примечательным представляется и тот факт, что основные вкусовые атрибуты, выделяемые языком, ложатся в основу классификации вкуса в психологии. Почти во всех предлагаемых списках основными являются сладкий, горький, кислый, солёный [23. С. 81]. Что касается эталонов вкуса, то в разных языках они различны. Ж.В. Лечицкая установила, что эталоном горького вкуса для русского языка выступают польнь, хина; для литовского – перец; для английского языка – корка апельсина, кофейный осадок [43]. Нами также были выявлены специфические эталоны вкуса в различных языках, которые будут приведены ниже.

А.А. Романовская [44] сделала подробный анализ прилагательных вкуса в различных словарях русского языка. Так, в словаре С.И. Ожегова прилагательное *сладкий* определяется следующим образом: имеющий приятный вкус, свойственный сахару или меду. Дефиниция прилагательного *горький* такова: резко неприятный на вкус: имеющий вкус горчицы, хинны и т.п.

На основании примеров из художественной литературы Ж.В. Лечицкая выделяет следующие прилагательные вкуса: сладкий, солёный, горький, талый, терпкий, вкусный, острый, пряный, вяжущий, пикантный, жгучий, лакомый, резкий [43. С. 7]. Однако не все из приведённых ею прилагательных имеют одинаковую частотность употребления. Обычно прилагательные вкуса обозначают не только абсолютный признак, который в них содержится, а отношения между признаком и «эталонным предметом», которому приписывается данный признак.

Ж.В. Лечицкая приводит следующие примеры: *кислый* – имеющий своеобразный вкус, подобный вкусу лимона, клюквы; *солёный* – содержащий соль и обладающий свойственным ей специфически острым вкусом [43. С. 8–9]. Данные прилагательные универсальны и отмечаются в большинстве языков. В то же время существуют расхождения в ряде языков при обозначении сложных вкусовых ощущений. Так, в литовском языке имеются прилагательные, обозначающие интенсивные вкусы нерасчле-

ненно (синкетно). Ср.: *gaizūs* – горький, терпкий, прогорклый, едкий (в русском языке данному прилагательному соответствует словосочетание кислая горечь), *gailūs* – едкий, горький, терпкий [45].

Анализируя обонятельные признаки в семантике фитонимов, мы выделили такие, как наличие запаха, его интенсивность, оценочный компонент и ряд других. При описании вкусовых ощущений также можно выделить ряд семантических признаков, например *интенсивность* или *градуальный признак* степени проявления или воздействия вкусовых ощущений: сладковатый, горьковатый, приторный; *оценку* – положительную или отрицательную характеристику вкусовых ощущений с точки зрения личностных, субъективных критериев: вкусный, невкусный, лакомый, сладенький. Ж.В. Лечицкая говорит о бытийности признака – его *наличии или отсутствии*: пресный, несладкий и *синкетизм чувственных восприятий* – вкуса и тактильных ощущений, вкуса и обонятельных ощущений: терпкий, прогорклый, пряный [43. С. 13–14]. Однако данная классификация приемлема не для любого языка, а только для языков с развитой системой аффиксального словообразования.

Обработав большое количество примеров в языковом материале, мы смогли установить в названиях ЛР следующие виды вкусовых признаков (таблица).

Признаки вкуса в названиях ЛР

Прилагательное вкуса	Градуальные признаки	Эталон	Пищевые растения, продукты
Сладкий	приятный, приторно сладкий, сладковатый	сахар, мед малина	сахар, мед малина
Горький	жгучий, горящий, пылающий, острый, обжигающий, кусающий	горчица хина цикорий полынь	горчица перец редька миндаль
Кислый	едкий резкий	уксус барбарис кислота	лимон клюква щавель, капуста, квас
Солёный	–	соль	соль
Специфический	–	–	хлеб, мясо, вино, чай, сыр, салат

Таковы выделенные нами в фитонимах вкусовые характеристики, общие для фитонимической лексики. Однако данные признаки по-разному проявляются в каждом рассматриваемом нами языке, в литературных и народных фитонимах, в названиях ТЛР и ЛРК. Эталоны вкуса также очень различны. Следует отметить, что данный канал более ярко отражен в названиях ТЛР, где можно выделить большое число лексических классов базисов, обозначающих растение или его части. В этих базисах наше внимание привлекает такая группа, как собственно растение с ярко выраженным вкусом (горчица, цикорий, полынь), а также окультуренные растения, которые входят в класс овощей (перец, редька, щавель, капуста, салат) и

специй (майоран, базилик, сельдерей, кориандр, душица), употребляются в пищу как человеком, так и животными. В других же типах базиса можно выделить три лексических класса: напиток (английский язык – чай, русский и украинский языки – квас, словацкий язык – сок), вещество (французский язык – хина, русский – кислота, соль), пищевые продукты (немецкий язык – хлеб, словацкий – хлеб и специфическая выпечка: калач, пагач – изделие из соленого теста).

Все высказанное можно проиллюстрировать следующими примерами.

Вкусовой канал в названиях ЛР

Сладкий вкус

Фитонимы с обозначением сладкого вкуса малочисленны, поскольку сладких ЛР не так уж и много. Выделенные нами примеры связаны с двумя растениями – Солодкой голой (*Glycyrrhiza glabra* L.): нем. лит. Echten Süßholzes, русск. лит. Солодка голая, укр. лит. Солодка гола, нар. Солодець, словацк. лит. Sladovka hladkoplodá, нар. *Lékorica sladká, Sladič drevo, Sladké drievko, Sladký koreň* и Пасленом сладко-горьким (*Solanum dulcamara* L.) – словацк. *Sladká vrbka*.

Горький вкус

Во французском языке в литературных фитонимах на горький вкус растения указывает соответственное прилагательное: *Persicaire âcre* /едкая, жгучая персикиария/ – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.). В народных фитонимах горький вкус имеет градуальный признак: *Piment brûlant* /жгучий/ – Водяной перец. В качестве эталона горького вкуса выступают: *перец* – *Persicaire poivrée* – Водяной перец; *горчица* – *Moutarde* – Пастушья сумка (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.) и *хина* – *Quinquine des Panores* – Арника горная (*Arnica montana* L.).

В немецком языке этот канал получения информации наиболее значимый после зрения [19. С. 309]. В литературных фитонимах **эталонами** горького вкуса выступает **перец**: *Pfeffer knöterich* – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.). Наибольшее число народных фитонимов отражают горький вкус. Мы можем говорить о **градуальных признаках**: *Bitterwurz* /горький/ – Арника горная (*Arnica montana* L.), *Brennender Rüttich* /жгучая редька/, *Scharfer knöterich* /острый перец/ – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.). **Эталонами** горького вкуса служат **перец, редька** /см. примеры выше/, а также **цикорий**: *Cichorie wilde* – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.).

В русском, как и в других славянских языках, вкус обозначается уже не только при помощи специальных прилагательных. Нами было выделено большое число производных слов, причем они более типичны для народных фитонимов. Например, для обозначения горького вкуса используется только одно прилагательное – *Горичейна трава* – Арника горная (*Arnica montana* L.),

остальные же фитонимы в нашем языковом материале представляют собой производные слова, которые могут входить в несколькословные (НСЛ) комплексы: *Гирчак* *богородичный*, *Горчаки* – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.); *Горечавка*, *Горичка*, *Горчавка*, *Горчанка* – Горечавка желтая (*Gentiana lutea* L.); *Горчинка* – Вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis* L.); *Горькуха*, *Горькуша* – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.). В качестве эталона горького вкуса служат *репа* – Репник – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.); *миндаль* – Миндальная трава – Вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis* L.); *цикорий* – Цикорея, Цикория дикая – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.); *перец* – Перец собачий – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.); *горчица* Горчица – Водяной перец и Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium* L.) и производные от этого слова: *Горчица*, *Горчишина* – Водяной перец.

В украинском языке на горький вкус указывают производные и простые слова – *Гірчак* – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.), Чистотел большой (*Chelidonium majus* L.), Пастушья сумка (*Capsella bursa-pastoris* (L.) Medik.); *Горечавка* – Горечавка желтая (*Gentiana lutea* L.); *Горчак*, *Горчак* – Водяной перец; а также **эталонные слова**: *Горчиця* /искаж. *Гірчиця*/, *Перець собачий* – Водяной перец; *Полинчик* – Цмин песчаный (*Helichrysum arenarium* (L.) Moench.); *Цикорий* – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.). Мы можем также говорить о градуальности вкуса. Так, Авран аптечный (*Gratiola officinalis* L.) обладает таким горьким вкусом, что, попробовав его, человек невольно морщится, что находит отражение в его народном названии *Зажмурник*.

В польском языке, в отличие от других языков, литературные и народные слои лексики представлены одинаковым количеством примеров. Например, лит. *Goryczka* – Горечавка желтая (*Gentiana lutea* L.); нар. *Gorzyknot* – Коровяк скопетровидный (*Verbascum thapsus* L.); *Gorzykwiat* – Адонис весенний (*Adonis vernalis* L.). Здесь хотелось бы указать, что русское название ЛР *Горицвет весенний* происходит не от слова «гореть», а от польского *gorzy kwiat* – горький цвет. **Эталоном** горького вкуса в польском языке служит такой лексический класс базиса, как овощи, в частности *перец* – *Wielczy peprz* – Вороний глаз (*Paris quadrifolia* L.).

В чешском языке горький вкус отражен в производных и сложных словах: лит. *Horčiak piererový* – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.); нар. *Hořec žlutý* – Горечавка желтая (*Gentiana lutea* L.); *Goříkwiat* – Горицвет весенний (*Adonis vernalis* L.). **Эталоном** горького вкуса в чешском языке служит такой базис, как овощи – перец (см. соответственное прилагательное в приведенном выше примере – *pieperový*), литературное название Водяного перца – *Rdesno pepřník*.

Среди словацких примеров есть названия двух видов *Полыни*, которая са- ма является растительным **эталоном** горького вкуса: лит. *Palina abrotorská* – Полынь древовидная (*Artemisia abrotanum* L.) и *Palina pravá* – Полынь горькая (*Artemisia absinthium* L.), а также многочисленные просторечные и диалектные дериваты с этим корнем: нар. *Pelinek*, *Pelynek*, *Pelynka*, *Polínek*, *Poliněk*,

Poľnka, *Polyňok* (всего 20 примеров). Горький вкус растения обозначается соответствующими прилагательными: *Horká zelina* – Золототысячник малый (*Centaurium erythraea* Rafn.); *Horká d'atelina* /горький клевер/ – Клевер луговой (*Trifolium pratense* L.); *Zlý jazýček* – Тысячелистник обыкновенный (*Achillea millefolium* L.), а в литературном названии Золототысячника малого эталоном животного происхождения является желчь, имеющая очень горький вкус: *Zemežlč menšia* /малая земляная желчь/.

Некоторые растения содержат млечный сок, на что указывает лексический базис напиток (*mlieko* – молоко). Его горький вкус идентифицируется при помощи признака отторжимой от животного принадлежности, причем все эти животные имеют ярко выраженную негативную коннотацию и акцентируют невозможность употребления этого напитка в пищу человеком: *Psie mlieko* – Чистотел большой (*Chelidonium majus* L.), *Žabie mlieko* – Одуванчик лекарственный (*Taraxacum officinale* Wigg.), *Hadie mlieko* /змеиное/, *Psia mlieko* /собачье/, *Súče mlieko*, *Vlčje mljeko*, *Žabacie mlieko* – Молочай прутьевидный (*Euphorbia virgata* Waldst. & Kit.).

Из приведенных выше примеров явствует, что в НСЛ номинациях лексическим базисом могут быть само растение или базисы из класса «другие». В производной же лексике формальному базису (суффиксу) при помощи предиката сравнения приписывается **оценочный** ономасиологический признак **физические свойства** ЛР.

Кислый вкус

Кислый вкус отражается в таких французских фитонимах: *Oxile de mouton* /кислица барашка/ – Кислица обыкновенная, *Oxalide-oseille* /кислица-щавель/ – Кислица обыкновенная. В качестве **эталона** кислого вкуса служит **щавель**: *Oseille du bucheron* /щавель лесоруба/ – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

В немецком языке **эталоном** растительного происхождения также служит **щавель** *Roßampfer* – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Нами было выделено большое число русских примеров, отражающих данный признак вкуса, главным образом, это производные слова: Заячья кисленица, Заячья кисленка, Заячья кислица, Кислец цветущий, Кисличка, Кислушка – Кислица обыкновенная; а также **эталонные слова**: Воробьева кислота, Заячий квас, Заячий щавель, Заячья капуста – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

В украинском языке кислый вкус представлен производными словами – *Кіслиця*, *Кислець звичайний*, *Кислиць* – Кислица обыкновенная, а также **эталонными словами** и их производными – *Журавльов щавель*, Заячий щавух, *Щавелек*, Заячий квасок, *Кваснічка*, *Квасниця*, *Квасовина*, Заячая капустка – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

В польских литературных фитонимах **эталоном** кислого вкуса также служит **щавель** – *Zajeczy szczawik* – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

Реализация данной вкусовой категории в чешском языке происходит при помощи некоторых **эталонов**: *щавель* – *Štavík, Štawel, Zaječí štava* – Кислица обыкновенная и *капуста* – *Zaječí zeli* – Кислица обыкновенная. Интерес представляет народное название Кислицы обыкновенной *Kysánek* /нечто квашеное, т.е. кислое, от *kysáný* – квашеный/.

В словацкой группе лексики нами было выявлено также достаточное количество фитонимов (1 литературный и 33 народных). Среди анализируемых нами растений есть те, которые сами являются **эталонами** кислого вкуса. Это **Кислица** лит. *Kyslička* – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.) и **Щавель** лит. *Štiav lúčný* – Щавель луговой. Третьим растительным эталоном является **капуста**: *Zajačá kapusta* – Кислица обыкновенная; *Karišpica /искаж. kapustnica* – традиционное словацкое рождественское блюдо из кислой капусты) – Щавель конский (*Rumex confertus* Willd.). В другом случае щавель выступает в качестве лексического базиса в названии Кислицы обыкновенной – *Zajačia štiav*. Кислый вкус передается при помощи соответственных прилагательных: *Kisela jatelinka, Kysla datélina /кислый клевер/* – Кислица обыкновенная, дериватов типа *Kyseláč, Kyselák, Kyselica* – Щавель луговой, а также напитков кислого вкуса (*šťava – сок, kvas*).

Солёный вкус

Примеры с обозначением малочисленны: англ. лит. *Opposite-leaved salt wort* – Солянка содоносная (*Salsola soda* L.); русск. лит. Солерос европейский и Солерос травянистый (*Salicornia europaea* L.), нар. *Салоники* и *Заячья соль* – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.), укр. лит. Солонець європейський и Солонець трав'янистий, нар. *Солинка, Солянка* – Солерос европейский (*Salicornia europaea* L.); словацк. *Pagáčki* /кондитерское изделие из слоеного соленого теста/ – Просвирник лесной (*Malva sylvestris* L.); *Slanobyl'* – Солянка содоносная (*Salsola soda* L.)

Специфический вкус

Большая группа немецких примеров представлена фитонимами, отражающими вкусовые качества известных **продуктов**: *Hundslattich* /собачий салат/ – Одуванчик аптечный (*Taraxacum officinale* Wigg.), *Hasensalat* /заячий салат/, *Kukuckskohl* /кукушкина капуста/, *Hasenkohl* /заячья капуста/, *Kukusbrot* /кукушкин хлеб/, *Himmelbrot* /небесный хлеб/ – Кислица обыкновенная (*Oxalis acetosella* L.).

В польских фитонимах возможно выделение не только вкусовых признаков, но их сочетаний, напр. лит. *Rdest ostrogorski*, нар. *Rdest ostrogorzki* – Водяной перец (*Polygonum hydropiper* L.).

Можно привести ряд словацких примеров, в которых лексический базис представляет собой пищевые продукты специфического вкуса: *Syrčeky, Tvarožky* – Просвирник лесной (*Malva sylvestris* L.); напиток: *Plaňé víno* /полевое вино/ – Будра плющевидная (*Glechoma hederacea* L.), *Červené psí víno* – Паслен сладко-горький (*Solanum dulcamara* L.), пряность: *Planá bazalička* – Мята полевая (*Mentha arvensis* L.).

В словацких примерах также можно выделить сочетания разного вкуса: **мед и лимон** – *Medovka citrónová* – Мелисса лекарственная (*Melissa officinalis* L.), **горький и сладкий** – лит. *Luľok sladkohorký*, нар. *Horkosladká vŕbka, Potmechut' sladkohorká* – Паслен сладко-горький (*Solanum dulcamara* L.).

Вкусовой канал в названиях ЛРК

Данный канал получения информации в названиях ЛРК имеет ряд отличительных особенностей, которые описаны ниже.

Сладкий вкус. Нами были выделены единичные примеры, содержащие такой вкусовой признак, как сладкий: нем. *Honigbeere* /медовая ягода/ – Малина обыкновенная (*Rubus idaeus* L.).

Горький вкус. В немецких фитонимах горький вкус имеет градуальные признаки – *Brennwurz* /горящий/ – Волчье лыко. Его традиционным эталоном является **перец**: *Pfefferstrauch* /перцовый куст/, русск. *Дикий перец*, *Волчий перец*; чешск. *Divoký pepř, Vlčí pepř*; словацк. *Vlčí pepr* – Волчье лыко (*Daphne mezereum* L.).

Кислый вкус. В немецком языке кислый вкус обозначается при помощи соответственных прилагательных в сложных словах – *Saurdorn* /кислая колючка/, *Eßigdorn* /уксус + колючка/, *Eßigflasche* /уксус + бутылка/ – Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.); *Sauerbeere* /кислая ягода/ – Клюква четырехлепестковая (*Oxycoccus palustris* L.). Хотелось бы отдельно прокомментировать народное название Клюквы четырехлепестковой – *Affenbeere* /обезьяня ягода/. Как известно, ягоды клюквы имеют очень кислый вкус. Попробовав их, человек невольно морщится, т.е. делает обезьяньи гримасы. Ягоды барбариса также имеют кислый вкус. Немецкое народное название Барбариса обыкновенного *Beißenbeere* /кусающая ягода/ позволяет говорить о градуальном признаке вкуса.

В русских и украинских фитонимах кислый вкус отражен в производных словах: русск. *Кислица, Кислянка* – Барбарис обыкновенный и в одном сложнопроизводном слове: *Барбарис-кислич* – Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.); укр. *Кислетка, Кислица звичайний, Кислиця, Кисличник* – Барбарис обыкновенный; *Кислянка* – Бересклет европейский (*Euonymus europea* L.).

В украинских несколькословных номинациях нами был выделен пример с соответственным прилагательным вкуса: *Дерево кисле* – Барбарис обыкновенный. В качестве эталонного признака выступает кислый пищевой продукт, популярный среди украинцев, – **квас**: *Квасниця* – Барбарис обыкновенный. Аналогичный пример можно встретить и в польском языке: лит. *Kwaśnica pospolita*, нар. *Kwaśnica* – Барбарис обыкновенный.

Солёный вкус. В немецкой лексике были выявлены только два примера: *Salsendorn* /солёная колючка/ – Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.) и *Kellersalz* /подвал + соль/ – Волчье лыко (*Daphne mezereum* L.) – толкование данных фитонимов требует дальнейшего уточнения.

Специфический вкус. Немецкие названия двух кустарников отражают вкусовые качества пищевых продуктов: *Theeholunder* /чай/ – Бузина черная (*Sambucus nigra* L.) и *Weinzäperchen* /вино/ – Барбарис обыкновенный (*Berberis vulgaris* L.).

Английские фитонимы содержат названия пищевых продуктов: лит. *Crystaltea ledum* – Багульник болотный (*Ledum palustre* L.) и нар. *Bread-and-cheese* – Боярышник кроваво-красный (*Crataegus oxyacantha* L.).

Характеризуя вкусовой канал получения информации в названиях ЛРК, следует отметить, что он представлен не так широко и вариативно, как в названиях ТЛР. Во французском языке вообще отсутствуют названия ЛРК, связанные со вкусом. В литературных фитонимах данный канал прослеживается только в английском и польском языках. Народные же названия обозначают такие признаки вкуса, как кислый, горький, солёный, сладкий, а также вкус конкретных пищевых продуктов. В целом по частотности вкусовой канал занимает третье-четвертое место в названиях ЛРК.

Заключение

Подвергнув анализу лексикон рассматриваемых нами языков в целом и названия ЛР в частности, мы приходим к выводу, что информация о физических, полезных и других свойствах растений, полученная человеком по различным каналам, кодируется в этих названиях. Она может быть свернутой и развернутой. Лексико-семантическая группа фитонимов включает простые, сложные, производные слова, несколькословные номинации и фразы. Способы номинации ЛР объединяют всю лексику флоры в систему как со стороны семантики, так и со стороны структуры слов. Каждый из способов номинации обладает отличительными особенностями. Через названия ЛР, которые являются объектом данного исследования, можно восстановить концепты, существующие в сознании человека, и его взаимоотношения с окружающей средой.

Названия ЛР представляют собой особый пласт лексики. Неслучайно ЛР имеет по несколько (иногда больше ста) названий в каждом языке. Эти названия довольно прозрачны по своей семантике (за исключением единичных примеров с неясной или утраченной этимологией). Поскольку каждое название растения содержит определенный объем информации о свойствах ЛР, форма представления знаний очень важна. Очевидно, что объем такой информации в простом слове и несколькословном комплексе различен. Простые слова невозможно подвергнуть и ономасиологическому анализу, так как в них нельзя выделить ономасиологический признак / базис и связку-предикат, но они часто представляют собой примеры метафоризации и метонимизации. Естественно, главный акцент в нашем исследовании сделан на изучении других словообразовательных моделей.

Комплексный подход, используемый в данном исследовании, позволяет детально описать не только мотивировочные признаки, лежащие на поверхности, но и последовательно вскрыть глубинные уровни сознания че-

ловека, отражающие этапы его когнитивной деятельности, модусы перцепции, которые нашли свое отражение в имени ЛР.

Проведенное исследование показывает, что такой канал получения информации, как вкус, отражен в фитонимической лексике разными способами. В ономасиологической несколькословной модели это могут быть прилагательные, входящие в группу ономасиологических признаков **физические свойства ЛР**; в производной лексике формальным базисом может быть суффикс, которому приписываются указанные выше признаки. В лексических базисах можно выделить класс растений, которые сами являются эталоном вкуса (перец, хина, щавель, лимон, репа, горчица, цикорий, базилик и пр.). Другую группу образуют пищевые продукты, имеющие специфический вкус: мёд, сыр, хлеб, квас, молоко, соль и пр., что позволяет говорить о процессе метафоризации, особенно характерном для народной лексики.

Результаты познавательной и классифицирующей деятельности человека находят свое выражение в системе номинаций, которая может быть прямой и косвенной. Называя предмет, человек классифицирует его и относит к определенному классу. Количество таких классов обусловлено совокупностью знаний и представлений об окружающем мире. Отсюда следует, что название ЛР можно представить как когнитивную модель деятельности человека, отражающую сумму его знаний не только о конкретном растении, но и о процессе познания внешнего мира в ходе исторического развития. Эта деятельность носит универсальный характер и одновременно национально-специфична. Ономасиологический и когнитивный анализ фитонимов позволил установить, с помощью каких языковых форм представлена данная лексика в сопоставляемых языках. Поскольку в этой лексике большую роль играют мотивированные языковые формы, главный акцент в данном исследовании был сделан на них.

Литература

1. Кубрякова Е.С. Части речи в ономасиологическом освещении. М. : Наука, 1978. 115 с.
2. Кубрякова Е.С. Начальные этапы становления когнитивизма: лингвистика, психология, когнитивная наука // Вопросы языкоznания. 1994. № 4. С. 34–47.
3. Кубрякова Е.С. Об установках когнитивной науки и актуальных проблемах когнитивной лингвистики // Вопросы когнитивной лингвистики. 2004. № 1. С. 6–17.
4. Маслова В.А. Введение в когнитивную лингвистику. М. : ФЛИНТА : Наука, 2017. 296 с.
5. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М. : Школа «Языки русской культуры», 1999. I–XV, 896 с.
6. Беляевская Е.Г. Интерпретация знаний о мире в языке: методы изучения // Интерпретация знаний о мире в языке. Тамбов, 2017. С. 82–157.
7. Болдырев Н.Н. Язык и система знаний: Когнитивная теория языка. 2-е изд. М. : Издательский Дом ЯСК, 2019. 480 с.
8. Демьянков В.З. О когниции, культуре и цивилизации в трансфере знаний // Вопросы когнитивной лингвистики. 2016. № 4. С. 5–9.
9. Карасик В.И. Языковые мосты понимания. М. : Дискурс, 2019. 524 с.
10. Кобрина Н.А. Когнитивная лингвистика: истоки становления и перспективы развития // Когнитивная семантика. Ч. 2. Тамбов, 2000. С. 170–175.

11. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М. : Языки славянской культуры, 2004. 560 с.
12. Manerko L. Towards understanding of conceptualisation in cognitive terminology // *Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The Journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava*. Warsaw : De Gruyter Open, 2016. Vol. I, iss. 2. December 2016. P. 129–170. DOI: 10.1515/lart-2016-0012
13. Попова, З.Д., Стернин, И.А. Когнитивная лингвистика. М. : ACT : Восток-Запад, 2010. 314 с.
14. Лещева Л.М. Лексическая полисемия в когнитивном аспекте. М. : Языки славянских культур, 2014. 256 с.
15. Bigunova, N. Cognitive pragmatic regularities in communicative manifestation of positive evaluation // *Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava*. Trnava : University of SS Cyril and Methodius in Trnava, 2019. Vol. IV, iss. 1. June 2019. P. 2–46.
16. Marina O. Cognitive and semiotic dimensions of paradoxicality in contemporary American poetic discourse // *Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava*. Warsaw : De Gruyter Open, 2018. Vol. 3, iss. 1. June 2018. P. 179–222. DOI: 10.2478/lart-2018-0006
17. Prihodko A., Prykhodchenko A. Frame modeling of the concepts of LIFE and DEATH in the English Gothic worldview // *Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava*. Warsaw : De Gruyter Poland, 2018. Vol. III, iss. 2. December 2018. P. 164–203. DOI: 10.2478/lart-2018-0018
18. Cognitive linguistics: basic readings / ed. by D. Geeraerts. (Cognitive linguistics research; 34). Berlin : Mouton de Gruyter, 2006. 485 p.
19. Панасенко Н. Фитонимическая лексика в системе романских, германских и славянских языков (опыт ономасиологического и когнитивного анализа). Черкассы : Брама-Україна, 2010. 452 с.
20. Лещева Л.М. Когнитивная лингвистика: формирование объяснительных моделей // Словообразование и лексические системы в разных языках. Уфа, 1994. Вып. 1. С. 47–55.
21. Жантурина Б.Н. Метафоры на основе перцептивного компонента. М. : ФЛИНТА, 2016. 163 с.
22. Панасенко Н.І. Нюховий канал у назвах лікарських рослин // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Ч. 1: Проблеми сучасної лінгвістики. Черкаси, 1998. С. 157–164.
23. Рузин И.Г. Когнитивные стратегии именования: модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке // Вопросы языкоznания. 1994. № 6. С. 79–100.
24. Усик Л.М. Модусний тип мотивації фітонімів у германських і слов'янських мовах // Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference «Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions» (September 28–29, 2016, Dubai, UAE). № 10 (14), vol. 4 (October 2016). Ajman, 2016. P. 38–41.
25. Majid A., Levinson S.C. The senses in language and culture // *Senses & Society*. 2011. Vol. 6, is. 1. P. 5–18.
26. Panasenko N. Olfactory information processing channel in medicinal plants' names (based on Germanic and Western Slavic languages) // International Scientific and Practical Conference «WORLD SCIENCE». December 2015. № 4 (4), vol. 3. Ajman, UAE. P. 34–42.
27. Panasenko N. Tactile information-processing channel in the plants' names // *Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Jazykovedný zborník* 41. Language, literature and culture in a changing transatlantic world II (PART I: Linguistics, Translation and Cultural Studies). Prešov, 2012. P. 128–153.

28. *Ананьев Б.Г.* Теория ощущений. Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. 456 с.
29. *Переработка информации в зрительной системе: Высшие зрительные функции.* Л. : Наука, 1982. 168 с.
30. *Atwood G.* An experimental study of visual imagination and memory // Cognitive psychology. 1971. Vol. 2, № 3. P. 290–299.
31. *Lederman S.J.* The perception of texture by touch // Tactual perception: a sourcebook. Cambridge ; London, etc. : Cambridge University press, 1982. P. 130–167.
32. *Соколов Е.Н.* Психофизиология цветового зрения // Познавательные процессы: ощущения, восприятия. М. : Педагогика, 1982. С. 167–178.
33. *Энхдэлгэр О.* Цветообозначения в русском языке (с позиций носителя монгольского языка) : дис. ... канд. филол. наук. М., 1996. 132 с.
34. *Языковая номинация. Виды наименований.* М. : Наука, 1977. 357 с.
35. *Кубрякова Е.С.* Лексикон и современные проблемы его изучения // Картина мира: лексикон и текст (на материале английского языка) : сб. науч. тр. МГЛУ. Вып. 375. М., 1991. С. 4–11.
36. *Barreto R.P.J., Gillis-Smith S., Chandrashekar J., Yarmolinsky D.A., Schnitzer M.J., Ryba N.J.P., Zuker C.S.* The neural representation of taste quality at the periphery // Nature. 2015. Vol. 517. P. 373–376.
37. *Beidler L.M.* Mechanisms of gustory and olfactory receptor stimulation // Sensory communication / ed. by W.A. Rosenblith. New York ; London : MIT Press, 1961. P. 143–157.
38. *Lee H., Macpherson L.J., Parada C.A., Zuke C.S., Nicholas J.P.* Rewiring the taste system // Nature. 2017. Vol. 548. P. 330–333.
39. *Коробецкая А.В.* Семантические особенности лексики перцептивной категории вкуса в английских сказках // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 11. С. 3711–3715.
40. *Лаенко Л.В.* Перцептивная картина мира в языке и межкультурной коммуникации (лингвокогнитивный анализ русских и английских прилагательных, обозначающих вкус) // Информация – Коммуникация – Общество (ИКО – 2002). СПб., 2002. С. 350–351.
41. *Матвеева Т.М.* Категоризация вкуса в языке профессиональных дегустаторов (на материале немецкого языка) // Вестник Челябинского государственного университета. Филология. Искусствоведение. 2005. Вып. 57. С. 249–252.
42. *Найссер У.* Познание и реальность: Смысл и принципы когнитивной психологии. М. : Прогресс, 1981. 230 с.
43. *Лечицкая Ж.В.* Прилагательные вкуса в современном русском языке : автореф. дис. ... канд. филол наук. М., 1985. 17 с.
44. *Романовская А.А.* Оценочный фактор системной организации лексики : дис. ... канд. филол наук. Минск, 1993. 185 с.
45. *Либерис А.* Литовско-русский словарь. Вильнюс : Мокслас, 1989. 924 с.

Information Processing Channels in Phytonymic Lexicon: Taste

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 133–151. DOI: 10.17223/19986645/71/8

Nataliya I. Panasenko, University of Ss Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, Slovakia)
E-mail: lartispanasenko@gmail.com

Keywords: cognitive linguistics, information processing channels, taste, medicinal plant names, onomasiological base, onomasiological feature.

The article presents the results of onomasiological and cognitive analysis of phytonymic lexicon. The aim of the research is to compare literary and common medicinal plant names in the languages with different structures: Romance (Latin and French), Germanic (German and English) and Slavic (Russian, Ukrainian, Polish, Czech, and Slovak), and to find out how

information processing channels are reflected in them. Studying the information processing channels by which a person receives information about the outside world is very important for explaining one's cognitive and nominative activities. The study has several stages: onomasiological, then cognitive analysis. Onomasiological analysis of phytonyms makes possible to establish and describe onomasiological bases (lexical and formal), predicates and onomasiological features: features of outlook, evaluative features, features of alienated/unalienated possession, features of warning against the dangerous properties of a herb, and some others. Cognitive analysis allowed indicating all the five information-processing channels in herb names: vision, smell, touch, taste, and hearing. Vision prevails in all the languages under consideration. It can be explained by the fact that it helps describe the look of a medicinal plant (its color, shape, structure features), indicate the time of flowering and collection of medicinal raw materials, and localize the areal of the given plant. Via the tactile information processing channel, it is possible to characterize such properties of the plant's surface as smoothness, elasticity, humidity, oiliness, etc. The analysis of the olfactory information-processing channel gives us possibility to identify in medicinal plant names the presence or lack of smell, its intensity, as well as the evaluating component (pleasant: fragrant, sweet-scented; unpleasant: stinking, fetid, odoriferous, suffocating); complementary properties (sweet, sour); existence of a perception standard for vegetable, animal or other origin (lily of the valley, fir, rosemary, bug, goat, vinegar, lime, honey, etc.). Hearing has the least frequency in this language material. Phytonyms reflecting the taste channel are subject of a more detailed analysis. The results of the study show that this channel is verbalized in the names of medicinal plants with the help of adjectives of taste (sweet, bitter, sour, salty); gradual features (sugary, burning, biting, etc.); corresponding standards of vegetable or animal origin: sweet (sugar, honey, raspberry), bitter (mustard, quinine, chicory, absinth, pepper, radish, horseradish, almond, bile), sour (vinegar, barberry, acid, lemon, cranberry, sorrel, kvass), salty (salt); and also a group of words denoting specific taste associated with a variety of foods (bread, meat, wine, cheese, salad). In the onomasiological model, the channel of taste can be located in the bases and in the features of evaluation denoting physical properties of a medicinal plant.

References

1. Kubryakova, E.S. (1978) *Chasti rechi v onomasiologicheskem osveshchenii* [Parts of Speech in Onomasiological Coverage]. Moscow: Nauka.
2. Kubryakova, E.S. (1994) The early stages of cognitivism: Linguistics – Psychology – Cognitive science. *Voprosy yazykoznaniya*. 4. pp. 34–47. (In Russian).
3. Kubryakova, E.S. (2004) Of cognitive science guidelines and vital problems of cognitive linguistics. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics*. 1. pp. 6–17. (In Russian).
4. Maslova, V.A. (2017) *Vvedenie v kognitivnyu lingvistiku* [Introduction to Cognitive Linguistics]. Moscow: FLINTA: Nauka.
5. Arutyunova, N.D. (1999) *Yazyk i mir cheloveka* [Human Language and World]. Moscow: Shkola "Yazyki russkoy kul'tury".
6. Belyaevskaya, E.G. (2017) Interpretatsiya znanii o mire v yazyke: metody izucheniya [Interpretation of knowledge about the world in a language: methods of study]. In: Besedina, N.A. (ed.) *Interpretatsiya mira v yazyke* [World Interpretation in Language]. Tambov: Derzhavin Tambov State University. pp. 82–157.
7. Boldyrev, N.N. (2019) *Yazyk i sistema znanii. Kognitivnaya teoriya yazyka* [Language and Knowledge System. Cognitive theory of language]. 2nd ed. Moscow: Izdatel'skiy Dom YaSK.
8. Dem'yankov, V.Z. (2016) On cognition, culture and civilization in knowledge transfer. *Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics*. 4. pp. 5–9. (In Russian). DOI: 10.20916/1812-3228-2016-4-5-9
9. Karasik, V.I. (2019) *Yazykovye mosty ponimaniya* [Language Bridges of Understanding]. Moscow: Diskurs.

10. Kobra, N.A. (2000) [Cognitive linguistics: the origins of formation and development prospects]. *Kognitivnaya semantika* [Cognitive Semantics]. Proceedings of the II International Seminar on Cognitive Linguistics. Part. 2. Tambov. 11–14 September 2000. Tambov: Tambov State University. pp. 170–175. (In Russian).
11. Kubryakova, E.S. (2004) *Yazyk i znanie: Na puti polucheniya znanij o yazyke: Chasti rechi s kognitivnoy tochki zreniya. Rol' yazyka v poznaniu mira* [Language and Knowledge: Towards a Knowledge of Language: Parts of speech from a cognitive perspective. The role of language in the knowledge of the world]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
12. Manenko, L. (2016) Towards understanding of conceptualisation in cognitive terminology. *Lege Artis. Language Yesterday, Today, Tomorrow.* 2 (1). pp. 129–170. DOI: 10.1515/lart-2016-0012
13. Popova, Z.D. & Sternin, I.A. (2010) *Kognitivnaya lingvistika* [Cognitive Linguistics]. Moscow: AST: Vostok-Zapad.
14. Leshcheva, L.M. (2014) *Leksicheskaya polisemija v kognitivnom aspekte* [Lexical Polysemy in the Cognitive Aspect]. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur.
15. Bigunova, N. (2019) Cognitive pragmatic regularities in communicative manifestation of positive evaluation. *Lege Artis. Language Yesterday, Today, Tomorrow.* 1 (4). pp. 2–46.
16. Marina, O. (2018) Cognitive and semiotic dimensions of paradoxicality in contemporary American poetic discourse. *Lege Artis. Language Yesterday, Today, Tomorrow.* 1 (3). pp. 179–222. DOI: 10.2478/lart-2018-0006
17. Prihodko, A. & Prykhodchenko, A. (2018) Frame modeling of the concepts of LIFE and DEATH in the English Gothic worldview. *Lege Artis. Language Yesterday, Today, Tomorrow.* 2 (3). pp. 164–203. DOI: 10.2478/lart-2018-0018
18. Geeraerts, D. (ed.) (2006) *Cognitive linguistics: basic readings* (Cognitive linguistics research; 34). Berlin: Mouton de Gruyter.
19. Panasenko, N. (2010) *Fitonimicheskaya leksika v sisteme romanskikh, germanskikh i slavyanskikh yazykov (opyt onomasiologicheskogo i kognitivnogo analiza)* [Phytonymic Vocabulary in the System of Romance, Germanic and Slavic Languages (Experience of onomasiological and cognitive analysis)]. Cherkassy: Brama-Ukraïna.
20. Leshcheva, L.M. (1994) Kognitivnaya lingvistika: formirovaniye ob"yasnitel'nykh modeley [Cognitive linguistics: the formation of explanatory models]. In: *Slovoobrazovanie i leksicheskie sistemy v raznykh yazykakh* [Word Formation and Lexical Systems in Different Languages]. Vol. 1. Ufa: Bashkir State Pedagogical Institution. pp. 47–55.
21. Zhanturina, B.N. (2016) *Metafory na osnove pertseptivnogo komponenta* [Metaphors based on Perceptual Component]. Moscow: FLINTA.
22. Panasenko, N.I. (1998) Nyukhoviy kanal u nazvakh likars'kikh roslin [Olfactory channel in the names of medicinal plants]. *Gumanitarniy Visnik. Seriya: Inozemna Filologiya. Ch. 1: Problemi Suchasnoi Lingvistiki.* pp. 157–164.
23. Ruzin, I.G. (1994) Cognitive strategies of naming: Modalities of perception (sight, hearing, touch, smell, taste) and their expression in language. *Voprosy Yazykoznanija.* 6. pp. 79–100. (In Russian).
24. Usik, L.M. (2016) [The fashionable type of motivation phytonyms in Germanic and words of language]. *Topical Problems of Modern Science and Possible Solutions*. Proceedings of the III International Conference. 10 (14). Vol. 4. Dubai, UAE. 28–29 September 2016. Ajman: WORLD SCIENCE. pp. 38–41.
25. Majid, A. & Levinson, S.C. (2011) The senses in language and culture. *Senses & Society.* 1 (6). pp. 5–18.
26. Panasenko, N. (2015) Olfactory information processing channel in medicinal plants' names (based on Germanic and Western Slavic languages). *International Scientific and Practical Conference "WORLD SCIENCE".* 4–3 (4). pp. 34–42.
27. Panasenko, N. (2012) Tactile information-processing channel in the plants' names. *Language, Literature and Culture in a Changing Transatlantic World II.* Pt. 1. Prešov: University of Prešov. pp. 128–153.

28. Anan'ev, B.G. (1961) *Teoriya oshchushcheniy* [Theory of Sensations]. Leningrad: Leningrad State University.
29. Glezer, V.D. (ed.) (1982) *Pererabotka informatsii v zritel'noy sisteme. Vysshie zritel'nye funktsii* [Processing Information in the Visual System. Higher visual functions]. Leningrad: Nauka.
30. Atwood, G. (1971) An experimental study of visual imagination and memory. *Cognitive Psychology*. 3 (2). pp. 290–299.
31. Lederman, S.J. (1982) The perception of texture by touch. In: by Schiff, W. & Foulke, E. (eds) *Tactual perception*. Cambridge; London, etc.: Cambridge University press. pp. 130–167.
32. Sokolov, E.N. (1982) *Psikhofiziologiya tsvetovogo zreniya* [Psychophysiology of color or vision]. In: Zaporozhets, A.V., Lomov, B.F. & Zinchenko, V.P. (eds) *Poznavatel'nye protsessy: oshchushcheniya, vospriyatiya* [Cognitive Processes: Sensations, perceptions]. Moscow: Pedagogika. pp. 167–178.
33. Enkhdelger, O. (1996) *Tsvetooboznacheniya v russkom yazyke (s pozitsiy nositelya mongol'skogo yazyka)* [Color designations in Russian (from the standpoint of a native speaker of the Mongolian language)]. Philology Cand. Diss. Moscow.
34. Serebrennikov, B.A. & Ufimtseva, A.A. (1977) *Yazykovaya nominatsiya. Vidy naimenovaniy* [Language Nomination. Types of names]. Moscow: Nauka.
35. Kubryakova, E.S. (1991) Leksikon i sovremennye problemy ego izucheniya [Lexicon and modern problems of its study]. In: *Kartina mira: leksikon i tekst (na materiale angliyskogo yazyka)* [Picture of the world: lexicon and text (based on the English language)]. Vol. 375. Moscow: Moscow State Linguistic University. pp. 4–11.
36. Barreto, R.P.J. et al. (2015) The neural representation of taste quality at the periphery. *Nature*. 517. pp. 373–376.
37. Beidler, L.M. (1961) Mechanisms of gustory and olfactory receptor stimulation. In: Rosenblith, W.A. (ed.) *Sensory Communication*. New York; London: MIT Press. pp. 143–157.
38. Lee, H. et al. (2017) Rewiring the taste system. *Nature*. 548. pp. 330–333.
39. Korobetskaya, A.V. (2016) Semanticheskie osobennosti leksiki pertseptivnoy kategorii vkusa v angliyskikh skazkakh [Semantic features of the vocabulary of the perceptual category of taste in English fairy tales]. *Kontsept*. 11. pp. 3711–3715.
40. Laenko, L.V. (2002) [Perceptive picture of the world in language and intercultural communication (linguo-cognitive analysis of Russian and English adjectives denoting taste)]. *Informatsiya – Kommunikatsiya – Obschestvo (IKO – 2002)* [Information – Communication – Society (ICO – 2002)]. Proceedings of the International Conference. Saint Petersburg. 12–13 November 2002. Saint Petersburg: [s.n.]. pp. 350–351. (In Russian).
41. Matveeva, T.M. (2011) Kategorizatsiya vkusa v yazyke professional'nykh degustatorov (na materiale nemetskogo yazyka) [Taste categorization in the language of professional tasters (based on the German language)]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya. Iskusstvovedenie – Bulletin of Chelyabinsk State University*. 24 (239). pp. 249–252.
42. Naysser, U. (1981) *Poznanie i real'nost': Smysl i printsipy kognitivnoy psichologii* [Cognition and Reality: The Meaning and principles of cognitive psychology]. Moscow: Progress.
43. Lechitskaya, Zh.V. (1985) *Prilagatel'nye vkusa v sovremenном russkom yazyke* [Adjectives of taste in modern Russian]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
44. Romanovskaya, A.A. (1993) *Otsenochnyy faktor sistemnoy organizatsii leksiki* [Evaluation factor of the systemic organization of vocabulary]. Philology Cand. Diss. Minsk.
45. Liberis, A. (1989) *Litovsko-russkiy slovar'* [Lithuanian-Russian Dictionary]. Vilnius: Mokslas.

УДК 81'373.221:801.631.5
DOI: 10.17223/19986645/71/9

М.Г. Соколова

ЛОГИКО-СТРУКТУРНЫЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СЕМАНТИКИ ДЕНДРОНИМА *ТОПОЛЬ* В РУССКОЙ ЛИРИКЕ XVIII–XX вв.

Рассматривается синтагматическая и ассоциативно-образная сочетаемость дендронима «тополь» в поэтических контекстах XVIII–XX вв., определяются семантические особенности и динамика функционирования данной лексемы в русской лирике. Систематизированы образы сравнения тематической сферы «Физический мир», характеризующие тополь, по принципу образного поля. Выделена область поэтических формул, определяющих пейзажный образ тополя. Выявлены способы реализации динамики образов сравнения в составе образного поля «тополь – физический мир».

Ключевые слова: русская поэзия, дендронимы, тропы, семантические признаки, образное поле, поэтический образ

Введение

Проблема изучения выразительности и экспрессивности поэтического слова с позиции лексической семантики сохраняет свою актуальность в современном языкоznании, становится предметом дискуссий на научных конференциях [1, 2]. На данный момент хорошо исследован тропический уровень выразительности поэтического слова в работах в области лингвопоэтики и теории художественной речи [3–5], семасиологии [6, 7], образной парадигматики и образных полей [8–11], когнитивной лингвистики [12–14], авторских идиостилей [15, 16].

Между тем данный уровень составляет лишь часть семантического потенциала художественного слова. В него могут входить и другие элементы, в частности актуализация потенциальных компонентов семантической структуры слова, мотивированная поэтическим контекстом; появление эмоционально-экспрессивных, культурно-стереотипных или индивидуальных коннотаций [17, 18]. Результатом этих процессов является «семантическая двуплановость» поэтического слова [19, 20]. Подобная нагруженность языковых единиц в художественном тексте большим смыслом по сравнению со словарными значениями получила название «гиперсемантизированная речь» [17]. Необходимостью изучения всего многообразия уровней и механизмов презентации эстетического значения слова в поэтическом языке обуславливается актуальность предлагаемого исследования.

Предметом рассмотрения в данной статье являются два аспекта общей методологической схемы научного исследования: логико-структурный и динамический [21, 22]. В рамках логико-структурного аспекта выявляется

синтагматическая и ассоциативно-образная сочетаемость дендронима *тополь* в прямом и метафорическом употреблении в поэтических контекстах. В рамках динамического аспекта определяются особенности функционирования данной лексемы в истории поэтического языка.

В современных лингвистических работах представлено многоаспектное описание дендронимов в системе языка и в художественном тексте. В частности, рассмотрены процессы номинаций деревьев, их словообразовательная роль и лингвокультурологический потенциал в сопоставительном аспекте [23, 24]; выявлены грамматические, структурно-семантические и социально-стилистические особенности фитофразем русского и немецкого языков [25]; охарактеризована лексико-семантическая группа «Дендронимы» в поэзии Серебряного века с позиций функционально-системного подхода [6]; рассмотрена полевая организация лексем с семантикой дерева в русском языке [26].

Несмотря на большое количество исследований, посвященных изучению дендронимов, требуется дальнейшее изучение семантических механизмов актуализации образного, эмоционально-оценочного, символического, лингвокультурологического потенциала дендронимов в поэтическом тексте. Обращение к дендрониму *тополь* в предлагаемой работе обусловлено тем, что данная языковая единица является культурно насыщенным знаком и реализует значимый фрагмент поэтической картины мира.

Цель статьи – выявить семантические признаки, формирующие образ *тополя* как элемента поэтического пейзажа, репрезентируемые посредством синтагматической и ассоциативно-образной сочетаемости лексемы *тополь* в поэтических контекстах XVIII–XX вв., и определить динамику их функционирования в хронологическом аспекте.

Достижение поставленной цели связывается нами с решением следующих задач: 1) установить синтагматическую сочетаемость лексемы *тополь* с прилагательными, глаголами и их формами, предложно-падежными формами имен существительных; 2) определить универсальные и индивидуальные семантические признаки данной лексемы, имплицируемые на уровне синтагматической сочетаемости; 3) определить состав образных парадигм, формирующих образное поле «*тополь – физический мир*», и охарактеризовать его специфику; 4) хронологически распределить примеры словоупотребления лексемы *тополь* в прямом и тропическом употреблении в поэтических контекстах.

Методология исследования

Выбор слов по частеречной принадлежности для анализа синтагматической сочетаемости дендронима *тополь* объясняется тем, что они составляют основу построения описания как типа речи [27]. Установление семантических признаков дендронима *тополь* на уровне синтагматической сочетаемости осуществлялось по принципу «за каждым синтаксическим признаком стоит семантический признак» [28. С. 151]. Кроме того, мы ис-

ходили из того, что семантический потенциал слова выступает как образ «определенных на нем синтаксических и семантико-синтаксических отношений» [29. С. 280].

Новизна исследования определяется разноспектральным рассмотрением семантики дендронима *тополь* в поэтических контекстах XVIII–XX вв. в рамках универсальной схемы научного исследования [21, 22] с позиций воспроизводимости и парадигматичности поэтических образов [8].

Материал для исследования отбирался из поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка [30]. Объем выборки составил 732 поэтических контекста XVIII–XX вв., содержащих лексему *тополь* в прямом номинативном и в тропическом употреблении (в качестве предмета и образов сравнения).

Логико-структурный аспект изучения семантики дендронима *тополь* в русской лирике XVIII–XX вв.

Обратимся к логико-структурному аспекту исследования, предполагающему выявление семантического потенциала дендронима *тополь* на уровне синтагматической сочетаемости.

К основным способам развития семантического потенциала поэтического слова в лингвистической литературе [17, 18] относят следующие: 1) отбор и актуализацию тех или иных признаков из импликационала значения лексической единицы (импликационал – вероятностные, вариативные семантические признаки, имплицируемые из интенсионала [17. С. 284]); 2) тропеизацию за счет моделей семантической деривации; 3) формирование эмоционально-оценочных и индивидуально-авторских коннотаций. Анализ сочетаемости дендронима *тополь* с прилагательными, глаголами и их формами, предложно-падежными формами имен существительных в поэтических контекстах позволил выявить семантические признаки, относящиеся к импликационалу значения лексической единицы.

Данные признаки с точки зрения частотности их воспроизводимости в поэтическом языке распределены нами на универсальные (устойчивые, регулярно воспроизводимые в поэтической традиции) и индивидуальные (малоупотребительные или единичные в определенных идиолектах).

Универсальные семантические признаки составили 51 % от общего количества примеров словоупотреблений дендронима *тополь* в прямом номинативном значении. Устойчивость воспроизводимости универсальных семантических признаков определяется тем, что они с наибольшей вероятностью имплицируются словарным значением лексемы *тополь*. Их состав и регулярность воспроизведения представлены в табл. 1. По причине большого количества иллюстративного материала приводим лишь малую часть примеров.

Универсальные семантические признаки дают представление об онтологических свойствах всего класса денотата: цвете листвы, звуках и действиях дерева, размере, форме и др.

Таблица 1

Семантический потенциал дендронима *тополь*
на уровне синтагматической сочетаемости

Универсальные семантические признаки	Примеры поэтических контекстов ¹
‘расположение у дома (сооружения)’ – 13% (21 употребление)	<i>А у низеньких околиц / Звонно чахнут тополя</i> (С.А. Есенин. Гойты, Русь, моя родная... 1914); <i>Увидишь ласточек, и дом, / И сизый тополь над окном</i> (Вс.А. Рождественский. Вино. 1929); <i>Над хатой тополь чернеет узкий</i> (Г.Н. Кузнецова. Такое небо бывает над снегом... 1920–1936); <i>Где тополя шумят над красной черепицей</i> (В.В. Державин. Первоначальное накопление. 1934)
‘стройный’ – 11,3% (18 употреблений)	<i>Отпуши ее к овечкам, / В сад, где стройны тополя</i> (В.Я. Брюсов. Крысолов. 1904); <i>Наверное, стройные тополи / Смотрят на праздник в пыли</i> (В.В. Хлебников. В лесу. 1913); <i>Меня встречает с мыса стройный тополь</i> (А. Туфанов. Я бросил в море ландышей фиалы... 1917)
‘высокий’ – 6,8% (11 употреблений)	<i>Каштанов темная аллея / И тополей высоких ряд / К нему ведут</i> (Н.П. Огарев. Юмор. Часть вторая. 1840–1841); <i>Веселей гляди, напрасных слез не лей, / Средь полей, между высоких тополей</i> (М.А. Кузмин. Снова чист передо мною первый лист... 1907); <i>А утрами – стаи журавлей / Над верхушками высоких тополей</i> (Н.С. Резникова. Ржавчиной разъедена листва... 1937)
‘пахнуть’ – 6,3% (10 употреблений)	<i>Площади, где пахнут тополя</i> (И.Г. Эренбург. Перед Флоренцией. 1912); <i>Земляникой пахнули листики на тополе</i> (И. Северянин. Всадница. 1930); <i>и весь месяц май пахнет горечью тополь</i> (С.М. Гандлевский. «Самолеты летят в Симферополь... 1987)
‘шуметь’ – 6,3% (10 употреблений)	<i>В аллеях тополи шумят / И точно сыплют серебром</i> (К.Н. Льдов. Спиноза. 1888); <i>Не может быть, чтоб – без меня – земля, / Катясь в миражах, цветла и отцветала, / Чтоб без меня шумели тополя</i> (Д. Кнут. Я не умру. И разве может быть... 1928)
‘расположение у воды’ – 6,3% (10 употреблений)	<i>Тополи над спящими водами</i> (А.Н. Плещеев. Странник. 1845); <i>Три тополя у водокачки</i> (Н.Н. Зарудин. Скорый с Курского. 1929); <i>Жаркий ветер, озялся, колыхает / Над арыками тополя</i> (А.А. Баркова. «Ощетинилась степь полудикая...». 1955); <i>С закатом, где тополь над брегом</i> (Д. Самойлов. Там дуб в богатырские трубы... 1970)
‘белый’ – 6% (9 употреблений)	<i>Белый тополь. / Пламенеющий залив</i> (М.А. Волошин. Акрополь. 1900); <i>Как будто упирается в аллею / Высоких белоствольных тополей</i> (А.А. Ахматова. И комната, в которой я болею... 1943)
‘черный’ – 5% (8 употреблений)	<i>Есть черный тополь, и в окне – свет</i> (М.И. Цветаева. В огромном городе моем – ночь... 1916); <i>Как тополя зловеще шелестят / Прозрачно-черными ветвями</i> (Г.В. Adamovich. Есть, несомненно, странные слова... 1923); <i>Сирень в цвету, а тополь уж белес</i> (И.С. Холин); <i>Лишь черный тополь был один / Весенний, черный, влажный</i> (Д. Самойлов)
‘яркий’ – 5% (8 употреблений)	<i>...тополь один еще свеж – / Так же дрожит и шумит и тихо блестит</i> (И.С. Тургенев «Кроткие льются лучи с небес на согретую землю...». 1846); <i>Над ним сверкает тополь</i> (П.Я. Зальцман. Жажда. 1935)

¹ Здесь и далее примеры приводятся по источнику [30].

Универсальные семантические признаки	Примеры поэтических контекстов ¹
‘шелестеть’ – 5% (8 употреблений)	<i>И шелестится по долинам / Листва сгоревших тополей</i> (В.И. Нарбут. Осень. 1909); <i>Солидно шелестящих тополей</i> (Б.А. Слуцкий. Тополя. 1959)
‘трепетать’ – 5% (8 употреблений)	<i>Трепетала листва тополей</i> (В.Я. Брюсов. Побледневшие звезды дрожали... 1896); <i>Тополь солнечный блещет и трепещет, белея</i> (В.И. Иванов. Аттика и Галилея. 1905)
‘темный’ – 3,75% (6 употреблений)	<i>Потемнели тополя</i> (С.М. Городецкий. Кручинка. 1907); <i>Только в редкие просветы / Темно-бурых тополей / Видно розовые светы / Обезумевших полей</i> (Н.С. Гумилев. Лесной пожар. 1910); <i>О томный шорох темных тополей</i> (Саша Черный. Первая любовь. 1910); <i>Темный тополь у скамейки</i> (В.В. Хлебников. Поэт. 1919–1921)
‘тонкий’ – 3,75% (6 употреблений)	<i>Дорогу тонких тополей</i> (Н.В. Мякотина. Меня уводят за собой... 1937); <i>И тополь тонкий и сквозной</i> (В.В. Хлебников. Кто сетку из чисел... 1911–1912)
‘дрожать’ – 3,75% (6 употреблений)	<i>У задрожавших тополей, / Переливающих листами</i> (Андрей Белый. Предчувствие. 1906); <i>Смотрел бы я на камни, залитые солнцем, / На красивую загорелую шею и спину / Некрасивой женщины под дрожащими тополями</i> (А.А. Блок. Вот девушка, едва развившись... 1909)
‘старый’ – 3,75% (6 употреблений)	<i>Среди столетних тополей</i> (Г.В. Иванов. Скромный пейзаж. 1914–1915); <i>Листья старых тополей</i> (В.Т. Шаламов. Это все – ее советы... 1937–1956); <i>...ни голому дождю с его наклонным ростом, ни древним тополям с их тополиным сном</i> (В.В. Казаков. Ни голому дождю с его наклонным ростом... 1981–1982)
‘пирамидальный’ – 3% (5 употреблений)	<i>Тополя пирамидальные / К небу рвутся – без границ</i> (Л.Н. Третьяков. Песня о полушибке. 1890); <i>Вдали от тополей пирамидальных</i> (А.А. Тарковский. Мой город в ранах, от которых можно... 1955)
‘зеленый’ – 3% (5 употреблений)	<i>Как тополь дик и свеж, в тени зеленои / Играющих и шепчущих листов</i> (М.Ю. Лермонтов. Сашка: Нравственная поэма. 1839); <i>Над сонной влагою там тополь зеленел</i> (А.А. Фет. На Днепре в половодье. 1853); <i>Раззеленелись, распушились / И раздушились тополя</i> (Т.В. Чурилин. 1939)
‘качать’ – 3% (5 употреблений)	<i>Чтобы тополей старых качанье, / Обливаемых светом луны</i> (А.А. Григорьев. К Лавинии. 1843); <i>Пойманный тополем ветер качался над рожью белесой</i> (Вс.А. Рождественский. Шопен. 1932–1974)

Индивидуальные семантические признаки составили 49% от общего количества примеров словоупотреблений дендронима *тополь* в прямом номинативном значении. Данные признаки с меньшей степенью вероятности обусловлены интенсионалом лексического значения рассматриваемой лексемы. Они формируют представление об индивидуальных цветовых характеристиках и физических свойствах растительной реалии: ‘бестенный’, ‘большой’, ‘бурый’, ‘ветвистый’, ‘дремучий’, ‘душистый’, ‘желтый’, ‘корявый’, ‘кривой’, ‘прямой’, ‘сквозной’, ‘сухой’, ‘тенистый’, ‘туманный’ и др. Приведем соответствующие иллюстративные фрагменты: *Над ними*

сумрак ив плаучих, / Дубов и **тополей дремучих** (В.Г. Тепляков. Пятая фракийская элегия. 1829); *Аллеи тополей тенистых* (А.И. Полежаев. Эрпели. 1830); *Блажен, кто вырос в сумраке лесов, / Как тополь дик и свеж* (М.Ю. Лермонтов. Сашка: Нравственная поэма. 1839); *Ты знаешь, как тополя ветки душисты* (Муни (С.В. Киссин). На бульварах погасли огни... 1907); *Снова тополи душисты* (Саша Черный. Бульвары. 1908); *И тополя, желтевшие в апреле* (И.Г. Эренбург. Нимфа. 1911); *Тот же тополь сухой и корявый* (В.П. Катаев. Подоконник высокий и грубый... 1920); *Здесь знал я каждый пыльный тополь* (Вс.А. Рождественский. Севастополь моей юности. 1925); *Когда горы весной цветут / Абрикосами, миндалями, / Жасмином, дыханием трав, / Смолистыми тополями* (К.В. Батурина. Луна. 1931); *Пожалей / Сухие ветки тополей* (П.Я. Зальцман. Ветер. 1944); *Снег сухой или тополь прямой* (Д. Самойлов. Снег сухой, как зубной порошок... 1966); *Размытый путь. Кривые тополя* (Н.М. Рубцов. Отплытие. 1967); *где тополь над брегом / Так легок, летуч и ветвист* (Д. Самойлов. Там дуб в богатырские трубы... 1970).

Посредством перечисленных семантических признаков происходит семантическое осложнение и обогащение данной лексемы в поэтическом языке, формируется поэтический образ-понятие *тополь*, основные черты которого охарактеризованы нами в соответствующих публикациях (например, [31]).

Далее рассмотрим ассоциативно-образную сочетаемость дендронима *тополь* в составе различного вида компаративных тропов. Под компаративным тропом в настоящем исследовании понимается знаковая структура, состоящая из двух компонентов – предмета сравнения (характеризуемая реалия) и образа сравнения (источник ассоциативного уподобления) [32]. Логико-структурный аспект исследования семантики дендронима *тополь* в русской лирике предполагает систематизацию компаративных тропов с названным дендронимом как предметом и образом сравнения по принципу образных полей.

Структурирование образного поля опирается на понятие образной парадигмы как инварианта группы сходных образов, как общей схемы моделирования группы тропов. В рамках настоящей статьи представим образное поле «*тополь – физический мир*», которое не являлось предметом рассмотрения в уже имеющихся публикациях автора, см., например [33].

В состав рассматриваемого образного поля входят пять образных парадигм, характеризующих *тополь* как предмет сравнения посредством образов сравнения, обозначающих различные явления физического мира: 1) «*тополь – физические процессы и состояния и их проявления*» (30% от общего количества образов сравнения); 2) «*тополь – воздействие на органы чувств*» (25% от общего количества образов сравнения); 3) «*тополь – виды энергии, проявления энергии*» (20% от общего количества образов сравнения); 4) «*тополь – природа, погода*» (20% от общего количества образов сравнения); 5) «*тополь – время года, стадия суток*» (5% от общего количества образов сравнения).

Структура анализируемого образного поля (ядро, центр и периферия) определялась на основе критериев общего количества образов сравнения и частотности их употребления в языке русской поэзии. К ядру поля были отнесены две образные парадигмы: «тополь – виды энергии, проявления энергии» и «тополь – физические процессы и состояния и их проявления», содержащие наибольшее количество образов сравнения (их процент указан выше), среди которых выделяются устойчивые, воспроизведимые образы сравнения. К центру поля относятся уступающие парадигмам ядра по количеству образов сравнения парадигмы – «тополь – природа, погода», «тополь – воздействие на органы чувств». Периферию составила парадигма «тополь – время года, стадия суток», включающая наименьшее количество образов сравнения (процент приведен ранее), среди которых отсутствуют устойчивые, воспроизведимые ассоциации.

Рассмотрим, как происходит развитие семантического потенциала лексемы *тополь* в поэтическом языке на троепеческом уровне с помощью обозначенных моделей (образных парадигм) формирования компаративных тропов «тополь – физический мир». Семантические признаки, репрезентируемые образами сравнения, составляющими названные образные парадигмы, и необходимые иллюстративные примеры представлены в табл. 2.

Т а б л и ц а 2
Семантический потенциал дендронима *тополь*
на уровне ассоциативно-образной сочетаемости

Семантические признаки, актуализируемые образами сравнения парадигм	Примеры поэтических контекстов
1) ‘кипеть’, ‘струиться’, ‘шипеть’	<i>И тополь тонкий и сквозной / Струит вечернюю прохладу</i> (В.В. Хлебников. Кто сетку из чисел... 1911–1912); <i>Так воздух садовый, как соды настой, / Шипучкой играет от горечи тополя</i> (Б.Л. Пастернак. После дождя. 1915–1928); <i>Как зелием полные чаши, / Шипят / И кипят / Тополя</i> (И.П. Уткин. Свидание. 1926); <i>Закипевшей листвой пыля, / Шатаются пьяные тополя</i> (П.Н. Васильев. Сестра. 1930); <i>Я на земле, где вы живете, / И ваши тополя кипят</i> (Б.Л. Пастернак. Вторая баллада. 1930)
2) ‘гул’, ‘звук’, ‘мгла’, ‘прохладный’, ‘смрад’	<i>И тополь тонкий и сквозной / Струит вечернюю прохладу</i> (В.В. Хлебников. Кто сетку из чисел... 1911–1912); <i>Крепчает небес разложившихся смрад, / Смрад сосен и дерна, и теса и тополя</i> (Б.Л. Пастернак. За окнами давка, толпится листва... 1915); <i>Не торжественно прекрасный / Звон монахов тополей, / Не прибой, не шторм, не грозы, / Не шуршанье камыша, – / Шелест горестной березы / Возлюбила ты, душа</i> (Н.Н. Белоцветов. Не стенающий в просторах... 1936); <i>Гул дантовский в тебе я слышу, тополь</i> (В.В. Набоков. В часы трудов счастливых и угруюших...); <i>Черных тополей шуриала мгла</i> (Б.К. Лившиц. Мэри. 1935–1937)

Семантические признаки, актуализируемые образами сравнения парадигм	Примеры поэтических контекстов
3) 'огненный', 'переливаться', 'светить'	У задрожавших тополей , / Переливающих листами (Андрей Белый. Предчувствие. 1906); Проснулись у тополя в каждом листке / Движенья зефира и огненной трели (В.В. Набоков. Ты помнишь, как губы мои онемели... 1916); Уже ли это Ржев поляк / и три домашние клопа / как няньки светят тополя (А.И. Введенский. Минин и Пожарский. 1926); Как тополь огненно-распущий , он ветки в комнату волок (С.В. Петров. Странствия ума. 1933); И тополя переливаются (И.В. Чиннов. Ни в коем случае, ни в коем случае... 1972); И был лишь тополь где-то в стороне , он был один запружен очертьаньем, он поднимал над головой у всех порывистого шелеста причуду, дотягиваясь пальцами до слуха, как слог огня , пропавшего в огне (И.Ф. Жданов. Так ночь пришла, сближая все вокруг... 1978–1991)
4) 'туманный'	Ясени, тополи , дикие груши, / Семы березок у юных полян – / Нет, не деревья : древесные души, / Тихий, чистейший, зеленый туман (Д.Л. Андреев. Лёвушка! Спрячь боевые медали... 1950)
5) 'спать' (о весне)	Шли тополя по придорожью, / Ветрам зимы обнажены, / Но маленькие листья – дрожью / Напоминали сон весны (В.Я. Брюсов. Осенний день был тускл и скуден... 1900)

Из приведенных в таблице семантических признаков дендронима *тополь* к универсальным (устойчивым, регулярно воспроизводимым в общепоэтическом языке) признакам относятся следующие (60% от общего количества примеров тропического употребления дендронима *тополь*): 'огненный', 'переливаться', 'светить' 'кипеть', 'струиться', 'шипеть'.

С помощью универсальных семантических признаков передаются различные цветовые, звуковые, обонятельные впечатления от растительной реалии: шум листьев, переливание листьев на солнце, запах горечи тополиных листьев и др. Универсальные семантические признаки как на уровне синтагматической сочетаемости, так и на тропическом уровне актуализируются поэтическими формулами, составляющими область стандартов поэтической речи. Поэтические формулы, характеризующие поэтический пейзажный образ тополя, создаются посредством следующих языковых средств:

– тропов тематической сферы «Физический мир»: «тополь – луч», «тополь – огонь», «тополь – светить», «тополь – туман», «тополь – струя», «тополь – кипеть», «тополь – шипеть» (представлены в поэзии А.И. Введенского, Е.И. Дмитриевой, Г.В. Иванова, В.А. Луговского, И.Н. Молчанова, В.И. Нарбута, В.М. Саянова, И.П. Уткина);

– неметафорических эпитетов *белый*, *черный*, *зеленый*, *огромный*, *пирамидальный*, *ветвистый*, *тонкий*, *стройный*, *яркий* и др.;

– устойчивых сочетаний лексем *лист*, *тополь* с глаголами и глагольными формами в общелитературном языке: *шелестеть*, *шуметь*, *качать*, *дрожать*, *пахнуть* и др.

Динамический аспект изучения семантики дендронима *тополь* в русской лирике XVIII–XX вв.

Данный аспект предполагает установление динамики функционирования семантических признаков дендронима *тополь* в различные хронологические периоды русской поэзии, а также описание эволюции образных полей, под которой понимается обновление и варьирование тропов в хронологическом аспекте.

Прежде всего представим частотность прямого и тропического словоупотребления лексемы *тополь* в поэтических контекстах разных хронологических периодов на основе данных поэтического подкорпуса Национального корпуса русского языка (раздел «Распределение по годам») [30] в табл. 3 (приводится показатель *ірт* – частотность употребления на миллион словоформ, зафиксированный корпусом на момент написания статьи).

Таблица 3
Частотность функционирования дендронима *тополь* в поэтическом языке

Хронологический период	Частотность употребления	
	Минимальный показатель	Максимальный показатель
1742–1760	0	4,98
1781–1799	2,58	5,72
1800–1809	11,37	18,19
1810–1819	15	22,14
1820–1829	14,61	18,14
1830–1839	22,01	44,83
1840–1849	42,72	50,27
1850–1859	25,69	45,91
1860–1869	24,98	32,82
1870–1879	25,77	30,99
1880–1889	28,75	53,19
1890–1899	47,32	65,30
1900–1909	62,40	77,01
1910–1919	81,01	102,30
1920–1929	101,79	114,55
1930–1939	98,47	112,08
1940–1949	88,04	101,19
1950–1959	88,11	104,71
1960–1969	55,9	79,43
1970–1979	57,32	91,06
1980–1989	79,32	99,89
1990–1999	49,1	83,15

Согласно данным табл. 3 периодами наибольшей частотности функционирования данной лексемы в поэтическом языке являются: 1840–1849 гг., 1910–

1939 гг., 1940–1959 гг. В указанные периоды выделяется основное количество номинаций, репрезентирующих универсальные семантические признаки дендронима *тополь* в поэтических контекстах. Состав данных номинаций, образующих синтагматическую сочетаемость лексемы *тополь*, и хронологические периоды, в которые зафиксировано их употребление, отражены в табл. 4.

Таблица 4
Синтагматическая сочетаемость дендронима *тополь* в хронологическом аспекте

Хронологический период	Имена прилагательные	Глаголы и глагольные формы	Предложно-именные сочетания с локативным значением
1841–1890	Белый	Блестеть	К брегам
	Ветвистый	Дрожать	Над влагою
	Высокий	Зеленеть	Над водами
	Пирамидальный	Качать	Над прудом
	Старый	Трепетать	Перед темным садом у окна
	Черный	Шуметь	
1911–1930	Белый	Дрожащий	В тумане
	Белоствольный	Зеленеющий	В родных хуторах
	Высокий	Пахнуть	В саду у любимой
	Древний	Переливающий	За оградой
	Зеленый	Потемнеть	За решеткой
	Пирамидальный	Качать	На двор
	Солнечный	Шуметь	Над окном
	Столетний	Темнеть	Над хатой
	Стройный	Раскачивать	Около дома
	Тонкий	Трепетать	Под окном
	Черный	Шелестеть	Под росою
	Темный		После дождя У низеньких околиц У скамейки У водокачки
1931–1960	Белоствольный	Запахнуть	Вдоль дороги
	Старый	Качнуться	В комнату
	Тонкий	Пахнуть	За окнами
	Черный	Сверкать	На kraю села
		Темнеть	На улице Жуковской
		Трепетать	Над головой
		Шелестеть	Над арыками
		Шуметь	Над огородом Над Петром воронежским Не за моим, а за чужим окном Под ветром осенним После дождя и шрапнели У старой хаты

В поэтических контекстах XVIII в. рассматриваемый дендроним встречается у двух авторов (В.К. Тредиаковского, Н.М. Карамзина), где наделяется только одним устойчивым признаком – *высокий*. В русской лирике XIX в. наиболее полно реализуется пространственно-временная характеристика поэ-

тического тополя, так как на синтагматическом уровне выражаются устойчивые признаки, характеризующие тополь как элемент родного пространства и определяющие расположение тополя у воды, близость к воде.

Специфика динамики семантических признаков тополя отмечается во второй половине XX в. Ее проявлением можно считать возникновение новых тематических групп лексем, репрезентирующих признаки «тополь как знак городского пространства» и «тополь – элемент национального пейзажа». Даные тематические группы лексем представлены географическими, этническими номинациями, а также обозначениями архитектурных объектов.

Динамика функционирования дендронима *тополь* на тропическом уровне рассматривалась нами по двум параметрам: количественное пополнение образного поля «тополь – физический мир» новыми тропами и приобретение уже существующими тропами новых форм выражения [4]. В результате были выделены следующие способы реализации динамики образов сравнения, составляющих указанное образное поле:

1) появление новых образов сравнения за счет родовидовых отношений. Например, парадигма образов «тополь – физические процессы и состояния и их проявления» пополняется новыми тропами с компонентами, обозначающими виды физических процессов и состояний (*кипеть, коптеть, ишнеть, взрыв, тень, пятно, дым*); парадигма образов «тополь – природа, погода» развивается посредством соответствующих видовых наименований в качестве образов сравнения (*туман, молния, струя, зефир*); парадигма «тополь – воздействие на органы чувств» включает образы сравнения с видовыми обозначениями способов воздействия (визуальный – *мгла, аудиальный – звон, гул, тактильный и обонятельный – прохлада, смрад*);

2) видеоизменение существующих образов сравнения за счет синонимических или словообразовательных связей опорных слов. Например, в результате синонимических замен возникают частные вариативные разновидности парадигма «тополь – гореть» – *пылать, пламенеть*. Благодаря словообразовательным заменам компонентов появляются структурные трансформации уже существующих тропов: *тополь – огонь* → *огненный, огненнопроступающий; тополь луч* → *лучиться, лучистый* и др.;

3) появление новых образов сравнения на основе общности их семантического признака. В частности, парадигма «тополь – элементы атмосферы» объединяет образы сравнения с семантикой «снег» (*тополиный пух / тополь – снег, снежинка, метель, вьюга*).

Выводы

Таким образом, проведенный семантический анализ дендронима *тополь* в русской лирике XVIII–XX вв. с учетом синтагматической и тропической сочетаемости данной лексемы позволил проследить развитие семантического потенциала рассматриваемого слова за счет расширения импликационала значения. При этом установлено, что универсальные семантические признаки дендронима *тополь* с наибольшей вероятностью имплицируются интенсионалом словарного значения лексемы и дают представление преимущественно об

онтологических свойствах всего класса денотата (характерной окраске листьев, их глянцевитости, горьковатом запахе, прямом, высоком стволе и т.п.): ‘белый’, ‘качать’, ‘огненный’, ‘пахнуть’, ‘переливаться’, ‘пирамидальный’, ‘светить’, ‘стройный’, ‘тонкий’, ‘черный’ и др.

Индивидуальные семантические признаки в меньшей степени прогнозируются интенсионалом словарного значения. Такие признаки, как правило, репрезентируют несущественные, второстепенные свойства соответствующего денотата или обязательные для данного класса предметов свойства, однако не получившие частотного воспроизведения в поэтических контекстах: ‘бестенный’, ‘большой’, ‘бурый’, ‘ветвистый’, ‘тул’, ‘дремучий’, ‘душистый’, ‘желтый’, ‘коряvyй’, ‘мгла’, ‘прохладный’, ‘тенистый’, ‘туманный’ и др. Посредством обозначенных универсальных и индивидуальных семантических признаков формируется поэтический образ-понятие *тополь*: конкретно-чувственное представление о цвете листвы, звуках и действиях дерева, о размере, форме, физических свойствах и др.

Систематизация образов сравнения тематической сферы «Физический мир» по принципу образного поля показала продуктивность по количественному критерию метафорических моделей «*тополь* – виды энергии, проявления энергии» и «*тополь* – физические процессы и состояния и их проявления», воплощённых с помощью поэтических формул «*тополь* – луч», «*тополь* – огонь», «*тополь* – светить», «*тополь* – туман», «*тополь* – струя», «*тополь* – кипеть», «*тополь* – шипеть».

Динамика функционирования дендронима *тополь* на уровне синтагматической сочетаемости определяется периодами наибольшей частотности употребления лексемы *тополь* в поэтическом языке, а также появлением новых групп номинаций, характеризующих поэтический образ тополя как элемента городского или национального пейзажа (предложно-падежных сочетаний, обозначающих здания и сооружения и их части, номинаций географических, этнических реалий, архитектурных объектов).

Динамика функционирования дендронима *тополь* на тропическом уровне характеризуется появлением новых образов сравнения за счет родовидовых отношений, на основе общности семантического признака, трансформацией традиционных образов сравнения за счет синонимических или словообразовательных связей опорных слов.

Представляется перспективным продолжение исследования символического и идиостилевого уровней актуализации семантики дендронимов в поэтических текстах в аспекте воспроизводимости и парадигматичности поэтических образов.

Литература

1. Абрамовских Е.В., Иванян Е.П., Кальнова О.И. Антропоцентризм в языке и литературе (по итогам научно-методологических конференций и семинаров) // Научный диалог. 2016. № 6 (54). С. 264–267.
2. Венгранович М.А., Гурова И.В. Символы и образы античности и христианства в культуре российского общества (по итогам межвузовской научно-практической конференции) // Научный диалог. 2017. № 7. С. 225–228.

3. *Очерки истории языка русской поэзии XX века: Тропы в индивидуальном стиле и поэтическом языке* / отв. ред. В.П. Григорьев. М. : Наука, 1994. 271 с.
4. *Кожевникова Н.А. Эволюция тропов* // Избранные работы по языку художественной литературы / сост. Е.В. Красильникова, Е.Ю. Кукушкина, З.Ю. Петрова ; под общ. ред. З.Ю. Петровой. М., 2009. С. 531–601.
5. *Петрова З.Ю. Образные обозначения эмоций в языке русской поэзии XX в. // Очерки истории языка русской поэзии XX века: образные средства поэтического языка и их трансформация* / отв. ред. Е.А. Некрасова. М., 1995. С. 79–106.
6. *Пряхина (Исакова) А.А. Структурная организация лексико-семантической группы «Дендронимы» с позиций системно-функционального подхода (на материале поэзии Серебряного века)* // Вестник Брянского государственного университета. 2010. № 2: История. Литературоведение. Право. Философия. Языкознание. С. 213–217.
7. *Шелестюк Е.В. Семантика художественного образа и символа: На материале англоязычной поэзии XX века* : автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1998. 24 с.
8. *Павлович Н.В. Язык образов: Парадигмы образов в русском поэтическом языке*. 2-е изд., испр. и доп. М. : Азбуковник, 2004. 527 с.
9. *Петрова З.Ю. Семантическая сочетаемость классов метафор и сравнений в языке художественной литературы (классы «Ткани, изделия из тканей» и «Человек»)* // Русский язык: исторические судьбы и современность : VI Международный конгресс исследователей русского языка. Москва, филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 20–23 марта 2019 г. : труды и материалы / под общ. ред. М.Л. Ремнёвой, О.В. Кукушкиной. М., 2019. С. 158–159.
10. *Шпилева Ю.В. Образные поля в орнаментальной прозе : на материале произведений русской литературы первой трети XX века* : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Ярославль, 2015. 22 с.
11. *Lakoff G., Turner M. More than cool reason: A field guide to poetic metaphor*. Chicago : The University of Chicago Press, 1989. 230 р.
12. *Нагорная А.В. Границы и границы метафорической креативности: метафоры безумия в произведениях С. Кинга* // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 55. С. 72–87.
13. *Юрина Е.А., Темирова Ж.Г. Концепт «Честь» и его образные репрезентации в контаминированной картине мира писателя-билингва (на материале рассказа Р. Сейсенбаева «Честь»)* // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2019. № 61. С. 149–176.
14. *Semino E. Metaphor in discourse*. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. 260 р.
15. *Ревзина О.Г. Безмерная Цветаева: Опыт системного описания поэтического идиопекта*. М. : Дом-музей Марины Цветаевой, 2009. 600 с.
16. *Соколова Ю.В. Образные поля с левым компонентом человек в «северной трилогии» Е.И. Замятиня* // Ярославский педагогический вестник. 2011. № 3, т. 1 (Гуманитарные науки). С. 198–202.
17. *Никитин М.В. Курс лингвистической семантики: учеб. пособие по направлению «Филологическое образование»*. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. 819 с.
18. *Поцепня Д.М. Семантика слова в языке и художественной речи* // Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография / сост. Л.А. Ивашико и др. ; отв. ред. Д.М. Поцепня. СПб., 2002. С. 114–127.
19. *Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика*. М. : Изд-во АН СССР, 1963. 255 с.
20. *Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики* / авт. предисл. и comment. В.Г. Костомаров, Ю.А. Бельчиков. М. : Высш. шк., 1981. 320 с.
21. *Гагаев А.А. Теория и методология субстратного подхода в материалистической диалектике*. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 1991. 308 с.
22. *Пузырёв А.В. Анаграммы как явление языка: Опыт системного осмыслиения*. Москва ; Пенза: Ин-т языкознания РАН, ПГПУ им. В.Г. Белинского, 1995. 378 с.

23. Исаев Ю.Н. Фитонимический концептуарий как словарь нового типа на материале чувашского и русского языков). Чебоксары : Чуваш. кн. изд-во, 2013. 191 с.
24. Хисматова А.Р. К вопросу о дендронимах в немецком и башкирском языке // Сборник научных трудов «Когнитивно-прагматические аспекты функционирования языка и дискурса в общетеоретическом и сопоставительном плане». Челябинск, 2004. С. 218–222.
25. Капищева Т.Ю. Фразеологическая категоризация в сфере фитонимии русского и немецкого языков // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 1. С. 57–62.
26. Пак И.Я. Концепт Растение в поэзии 20 века // Художественный текст: Слово. Концепт. Смысл : материалы VIII Всерос. науч. семинара, 21 апреля 2006 г. / под ред. Н.С. Болотновой. Томск, 2006. С. 30–34.
27. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М. : Наука, 1982. 368 с.
28. Кобозева И.М. Лингвистическая семантика : учеб. пособие. М. : Эудиториал УРСС, 2000. 352 с.
29. Золян С.Т. Семантика и структура поэтического текста. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Книжный дом «Либроком», 2014. 336 с.
30. Национальный корпус русского языка. URL: <http://ruscorpora.ru> (дата обращения: 06.12.2019).
31. Соколова М.Г. Развитие семантических признаков дендронима *тополь* в поэтическом языке XIX–XX веков // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8, № 1 (26). С. 148–153.
32. Москвин В.П. Русская метафора: Очерк семиотической теории. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ЛЕНАНД, 2006. 184 с.
33. Соколова М.Г. Полевая структура образной парадигмы «*тополь* – предмет» в русской поэзии XVIII–XIX веков // Рациональное и эмоциональное в русском языке – 2018 : междунар. науч. конф. М., 2018. С. 240–244.

The Logical-Structural and Dynamic Aspects of Studying the Semantics of the Dendronym POPLAR in Russian Lyrics of the 18th–20th Centuries

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 152–168. DOI: 10.17223/19986645/71/9

Marina G. Sokolova, Togliatti State University (Togliatti, Russian Federation). E-mail: msok71@mail.ru

Keywords: Russian poetry, dendronyms, tropes, semantic features, figurative field, poetic image.

The article considers the syntagmatic and associative-figurative compatibility of the dendronym *poplar* in the poetic contexts of the 18th–20th centuries, defines the semantic features and dynamics of the functioning of this lexeme in Russian lyrics in accordance with the logical-structural and dynamic aspects of the general methodological scheme of research. The material for the study was 732 poetic fragments of the 18th–20th centuries containing the lexeme *poplar* in direct nominative and figurative use selected from the poetic subcorpus of the Russian National Corpus. The universal and individual semantic features that form the image of poplar as an element of the poetic landscape have been revealed: ‘location at a house (construction)’, ‘slender’, ‘smell’, ‘make noise’, ‘location at the water’, ‘white’, ‘black’, ‘bright’, ‘rustle’, ‘tremble’, ‘dark’, ‘thin’, ‘tremble’, ‘old’, ‘pyramidal’, ‘swing’, ‘fire’, ‘shimmer’, ‘shine’ ‘boil’, ‘flow’, ‘sizzle’, ‘hum’, ‘ring’, ‘mist’, ‘cool’, ‘stench’, ‘foggy’, ‘sleep’, etc. It has been established that the universal semantic features of the dendronym *poplar* are implicated by the intension of the lexeme’s dictionary meaning and give an idea of the ontological properties of the entire denotation class. Individual semantic features represent non-essential properties of the corresponding denotation or properties that are mandatory for

the given class of objects, but have not received frequent reproduction in poetic contexts. The images of comparison of the thematic sphere “physical world” have been systematized by the image field principle, and productivity of the metaphorical models “poplar – types of energy, manifestations of energy” and “poplar – physical processes and states and their manifestations” has been determined by the quantitative criterion. Poetic formulas that actualize the poetic landscape image of poplar have been determined. The specific functioning of the dendronym *poplar* at the level of syntagmatic compatibility has been established; it is determined by the peak frequency of using the lexeme *poplar* in the poetic language and by the emergence of new groups of names that characterize the poetic image of poplar as an element of urban or national landscape. The dynamics of the functioning of the dendronym *poplar* at the level of tropes has been determined: new images for comparison appear based on generic relations, common semantic features, and transformations of traditional comparison images in line with synonymous or word-formation connections of reference words. The prospects of the research are seen in studies of the symbolic and idiom style levels of dendronym semantics actualization in poetic texts.

References

1. Abramovskikh, E.V., Ivanyan, E.P. & Kal'nova, O.I. (2016) Anthropocentrism in Language and Literature (according to the Results of Scientific-Methodological Conferences and Seminars). *Nauchnyy dialog*. 6 (54). pp. 264–267. (In Russian).
2. Vengranovich, M.A. & Gurova, I.V. (2017) Symbols and Images of Antiquity and Christianity in Culture of Russian Society (on Results of Interuniversity Scientific-Practical Conference). *Nauchnyy dialog*. 7. pp. 225–228. (In Russian). DOI: 10.24224/2227-1295-2017-7-225-228
3. Grigor'ev, V.P. (ed.) (1994) *Ocherki istorii yazyka russkoy poezii XX veka: Tropy v individual'nom stile i poeticheskem yazyke* [Essays on the History of the Language of Russian Poetry of the 20th Century: Paths in an Individual Style and Poetic Language]. Moscow: Nauka.
4. Kozhevnikova, N.A. (2009) Evolyutsiya tropov [Evolution of tropes]. In: Petrova, Z.Yu. (ed.) *Izbrannye raboty po yazyku khudozhestvennoy literatury* [Selected Works on the Language of Fiction]. Moscow: Znak. pp. 531–601.
5. Petrova, Z.Yu. (1995) Obraznye oboznacheniya emotsiy v yazyke russkoy poezii XX v. [Figurative designations of emotions in the language of Russian poetry of the 20th century]. In: Nekrasova, E.A. (ed.) *Ocherki istorii yazyka russkoy poezii XX veka: obraznye sredstva poeticheskogo yazyka i ikh transformatsiya* [Essays on the History of the Language of Russian Poetry of the 20th Century: Figurative means of poetic language and their transformation]. Moscow: Nauka. pp. 79–106.
6. Pryakhina, A.M. (2010) Strukturnaya organizatsiya leksiko-semanticeskoy gruppy “Dendronimy” s pozitsiy sistemno-funktional'nogo podkhoda (na materiale poezii Serebryanogo veka) [Structural organization of the lexical-semantic group “Dendronyms” from the standpoint of the system-functional approach (based on the poetry of the Silver Age)]. *Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo universiteta – The Bryansk State University Herald*. 2. pp. 213–217.
7. Shelestyuk, E.V. (1998) *Semantika khudozhestvennogo obrazza i simvola: Na materiale angloyazychnoy poezii XX veka* [Semantics of the artistic image and symbol: based on the material of the English-language poetry of the 20th century]. Abstract of Philology Cand. Diss. Moscow.
8. Pavlovich, N.V. (2004) *Yazyk obrazov. Paradigmy obrazov v russkom poeticheskem yazyke* [The Language of Images. Paradigms of images in Russian poetic language]. 2nd ed. Moscow: Azbukovnik.
9. Petrova, Z.Yu. (2019) [Semantic compatibility of classes of metaphors and comparisons in the language of fiction (classes “Fabrics, fabric products” and “Man”)]. *Russkiy yazyk*:

- istoricheskie sud'by i sovremennost'* [Russian Language: Historical destinies and modernity]. Proceedings of the VI International Congress of the Russian Language Researchers. Moscow. 20–23 March 2019. Moscow: Moscow State University. pp. 158–159. (In Russian).
10. Shpileva, Yu.V. (2015) *Obraznye polya v ornamental'noy proze: na materiale proizvedeniy russkoy literatury pervoy treti XX veka* [Figurative fields in ornamental prose: based on the works of Russian literature of the first third of the 20th century]. Abstract of Philology Cand. Diss. Yaroslavl.
11. Lakoff, G. & Turner, M. (1989) *More Than Cool Reason: A field guide to poetic metaphor*. Chicago: The University of Chicago Press.
12. Nagornaya, A.V. (2018) Facets and limits of metaphorical creativity: madness metaphors in Stephen King's prose. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 55. pp. 72–87. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/55/6
13. Yurina, E.A. & Temirova, Zh.G. (2019) The concept “Honor” and its figurative representations in the bilingual writer's blended worldview (based on the story “Honor” by R. Seisenbayev). *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 61. pp. 149–176. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/61/9
14. Semino, E. (2008) *Metaphor in discourse*. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Revzina, O.G. (2009) *Bezmernaya Tsvetaeva: Opyt sistemnogo opisaniya poeticheskogo idiolekti* [Immeasurable Tsvetaeva: An Experience of Systemic Description of Poetic Idiolect]. Moscow: Dom-muzey Mariny Tsvetaevoy.
16. Sokolova, Yu.V. (2011) Figurative Fields with a Left Component “Man” in “The Northern Trilogy” by E.I. Zamjatin. *Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik – Yaroslavl Pedagogical Bulletin*. 3 (1). pp. 198–202. (In Russian).
17. Nikitin, M.V. (2007) *Kurs lingvisticheskoy semantiki* [The Course of Linguistic Semantics]. Saint Petersburg: Herzen State Pedagogical University.
18. Potsepny, D.M. (2002) *Semantika slova v yazyke i khudozhestvennoy rechi* [Semantics of the word in language and literary speech]. In: Potsepny, D.M. (ed.) *Sovremennyj russkiy yazyk: Leksikologiya. Frazeologiya. Leksikografiya* [Modern Russian: Lexicology. Phraseology. Lexicography]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University. pp. 114–127.
19. Vinogradov, V.V. (1963) *Stilistika. Teoriya poeticheskoy rechi. Poetika* [Stylistics. Theory of poetic speech. Poetics]. Moscow: USSR AS.
20. Vinogradov, V.V. (1981) *Problemy russkoy stilistiki* [Problems of Russian Stylistics]. Moscow: Vysshaya shkola.
21. Gagaev, A.A. (1991) *Teoriya i metodologiya substratnogo podkhoda v materialisticheskoy dialektyke* [Theory and Methodology of the Substratum Approach in Materialistic Dialectics]. Saransk: Mordovia State University.
22. Puzyrev, A.V. (1995) *Anagrammy kak yavlenie yazyka: Opyt sistemnogo osmysleniya* [Anagrams as a Phenomenon of Language: An experience of systemic comprehension]. Moscow; Penza: Institute of Linguistics RAS, Penza State Pedagogical University.
23. Isaev, Yu.N. (2013) *Fitonimicheskiy kontseptuariy kak slovar' novogo tipa na materiale chuvashskogo i russkogo yazykov* [Phytonymic Concept as a Dictionary of a New Type Based on the Material of the Chuvash and Russian Languages]. Cheboksary: Chuvashskoe knizhnoe izdatel'stvo.
24. Khismatova, A.R. (2004) K voprosu o dendronimakh v nemetskom i bashkirskom yazyke [On the issue of dendronyms in the German and Bashkir languages]. In: *Kognitivno-pragmatische aspekte funktzionirovaniya yazyka i diskursa v obshcheteoreticheskem i sopostavitel'nom plane* [Cognitive-Pragmatic Aspects of the Functioning of Language and Discourse in General Theoretical and Comparative Terms]. Chelyabinsk: Chelyabinsk State University. pp. 218–222.

25. Kapisheva, T.Yu. (2009) *Frazeologicheskaya kategorizatsiya v sfere fitonimii russkogo i nemetskogo yazykov* [Phraseological categorization in the field of phytonomy of Russian and German languages]. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – Vestnik VSU. Series: Philology. Journalism.* 1. pp. 57–62.
26. Pak, I.Ya. (2006) [Concept Plant in poetry of the 20th century]. *Khudozhestvennyy tekst: Slovo. Kontsept. Smysl* [Fiction Text: Word. Concept. Meaning]. Proceedings of the VIII All-Russian Seminar. Tomsk. 21 April 2006. Tomsk: Izd-vo TsNTI. pp. 30–34. (In Russian).
27. Zolotova, G.A. (1982) *Kommunikativnye aspekty russkogo sintaksisa* [Communicative Aspects of Russian Syntax]. Moscow: Nauka.
28. Kobozeva, I.M. (2000) *Lingvisticheskaya semantika* [Linguistic Semantics]. Moscow: Editorial URSS.
29. Zolyan, S.T. (2014) *Semantika i struktura poeticheskogo teksta* [Semantics and Structure of Poetic Text]. 2nd ed. Moscow: Knizhnyy dom “Librokom”.
30. *Russian National Corpus*. (n.d.) [Online] Available from: <http://ruscorpora.ru> (Accessed: 06.12.2019).
31. Sokolova, M.G. (2019) The development of the semantic signs of dendronim poplar in the poetic language of the 19th – 20th centuries. *Baltiyskiy gumanitarnyy zhurnal – Baltic Humanitarian Journal.* 1 (26). pp. 148–153. (In Russian). DOI: 10.26140/bgz3-2019-0801-0038
32. Moskvin, V.P. (2006) *Russkaya metafora: Ocherk semioticheskoy teorii* [Russian Metaphor: An Outline of Semiotic Theory]. 2nd ed. Moscow: LENAND.
33. Sokolova, M.G. (2018) [The field structure of the figurative paradigm “poplar – an object” in Russian poetry of the 18th – 19th centuries]. *Ratsional’noe i emotsional’noe v russkom yazyke – 2018* [Rational and Emotional in Russian – 2018]. Proceedings of the International Conference. Moscow. 23–24 November 2018. Moscow: Moscow Region State University. pp. 240–244. (In Russian).

УДК 81'246.2

DOI: 10.17223/19986645/71/10

Г.Н. Чиршева, П.В. Коровушкин

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КОДОВ В РЕЧИ ПЯТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ-БИЛИНГВОВ¹

Рассматриваются структурные особенности русско-английских переключений кодов в речи двух пятилетних детей, одновременно усваивающих русский и английский языки в русской семье в России. Анализируются переключения кодов трех типов: выбор кода, межфразовые и внутрифразовые переключения. Устанавливается связь структур переключений с особенностями формирования детского билингвизма. Выявлено, что разные типы переключений по-разному отражают усиление несбалансированности в развитии билингвизма детей.

Ключевые слова: детский билингвизм, переключения кодов, структура, pragматика билингвальной речи, русский, английский

Введение

Переключения кодов встречаются в речи билингвов любого возраста, особенно если их собеседники говорят на разных языках. Коммуниканты при этом находятся в билингвальном модусе, для которого характерна одновременная активация двух языков [1, 2]. Исследователи разрабатывают различные схемы ко-активации грамматик и лексиконов, утверждая, что эти процессы проходят с различной степенью осознанности со стороны билингвов [3].

Цель нашей работы – установить взаимосвязь структурных особенностей детских переключений кодов со спецификой развития билингвизма в отдельный период.

Рассматриваемые переключения кодов наблюдались в высказываниях двух братьев, одновременно усваивающих русский и английский языки в русскоязычной семье, проживающей в России. Мы будем рассматривать только те единицы, которые зафиксированы в речи мальчиков в возрасте 5 лет. Этот период выбран в связи с тем, что почти все пятилетние дети уже активно используют усвоенный язык в своей коммуникации. Что касается билингвальных детей, одновременно усваивающих два языка, специфика их смешанной речи в этом возрасте пока специально не исследовалась. Не анализировалась до настоящего времени и структура переключений между русским и английским языками в речи нескольких детей из одной семьи. В связи с этим в данной работе ставится дополнительная задача: разработать теоретические и методологические основы для проведения таких исследований и показать на примере одного из возрастных периодов

¹ Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 18-012-00260.

специфику анализа детских кодовых переключений. Для контактной лингвистики новизна исследования состоит в том, что структура переключений между двумя языками детально рассматривается в специфическом контексте – при одновременном их усвоении и постоянном взаимодействии в определенном возрасте.

Описание структуры переключений кодов будет сопровождаться характеристиками отдельных семантических и прагматических характеристик детских высказываний, а также дополняться их количественными показателями. В заключение делаются выводы относительно того, каким образом те или иные двуязычные структуры сигнализируют о специфике формирования детского билингвизма.

Билингвальное воспитание в этой семье осуществлялось по принципу «один родитель – один язык»: мама разговаривала с детьми по-русски (на родном языке), папа – по-английски (английский язык не родной, он его усваивал по такому же принципу «один родитель – один язык» от своего русскоязычного папы). Кроме того, по-английски с детьми разговаривали родители со стороны папы мальчиков, также неносители английского языка. Такой билингвизм мы называем моноэтническим; он отличается от биэтнического тем, что в его формировании отсутствуют психолингвистические, прагмалингвистические и ряд других характеристик, которые сопровождают развитие бикультуральности, поскольку социализация детей проходит в моноэтническом и многокультуральном обществе.

Материал исследования извлекался из видеозаписей речи детей в семейной коммуникации. В этом общении участвовали оба мальчика, их папа, мама и бабушка. В англоязычном общении с Мишой до 5 лет и 8 месяцев участвовал также и дедушка. У Саши в пять лет среди англоязычных собеседников были только папа и бабушка. Записи осуществлялись обычно раз в месяц в течение 1–1,5 часов. Общая продолжительность видеозаписей – около 30 часов, из которых около 12 часов приходится на тот период, когда 5 лет было Мише, и около 18 часов – когда 5 лет было Саше. Кроме того, взрослые вели дневники, в которых с разной периодичностью фиксировали факты смешанной речи детей. Объем таких записей для рассматриваемого периода – около 70 тыс. печатных знаков (около 30 тыс. из речи Миши и около 40 тыс. из речи Саши).

Теоретическая и методологическая база исследования

Теоретическая и методологическая база данного исследования включает, во-первых, обзор концепций по проблемам детских переключений кодов и сопоставления билингвальных характеристик речи нескольких детей в семье; во-вторых, рассмотрение основных положений модели анализа кодовых переключений.

За последние несколько десятилетий активизировались исследования детской билингвальной коммуникации на разных возрастных этапах, начиная с самых ранних. Так, на материале смешанной англо-немецкой

речи двух детей в возрасте от 1 года 6 месяцев до 2 лет 11 месяцев. У. Ланверс показала, что переключения кодов у этих детей чаще всего объяснялись лакунами в их двух лексиконах. При этом значимую роль играла и доминантность одного из языков: дети активнее переключались с недоминантного на доминантный язык [4].

В речи билингвальных детей в возрасте до 3 лет Ю. Майзель исследовал комплекс вопросов, связанных со структурными и pragматическими аспектами их смешанных высказываний, в которых они переключались между немецким и французским языками. Он показал, что дети учатся грамматически адекватным переключениям вместе с усвоением соответствующих грамматических категорий каждого языка, поэтому и нарушений грамматических правил в билингвальных высказываниях наблюдалось немного [5].

Исследуя устойчивые сочетания в речи ребенка, одновременно усваивавшего английский и французский языки, Е. Николадис обратила внимание на то, что в возрасте от 3 лет 4 месяцев до 4 лет 3 месяцев нередко наблюдались как переключения кодов, так и интерференция при использовании таких единиц на обоих языках. Более того, в указанный период их количественные показатели были даже более высокими, чем ранее. Объяснялось такое явление как частой совместной встречаемостью разных структур в одинаковых контекстах, так и возрастающей творческой активностью ребенка в период дифференциации языков [6].

Авторы ряда работ, посвященных смешанной речи детей в возрасте от 5 до 6 лет, владеющих английским и китайским (мандарин) языками, показали, что в этом возрасте переключения кодов свидетельствуют чаще всего не о том, что дети заполняют лексические лакуны, как это наблюдается у детей более юного возраста. Квантитативный анализ, проведенный с 55 детьми в двух детских садах, показал, что дети переключаются с языка на язык вполне сознательно для реализации определенных pragматических интенций и с учетом социокультурного контекста коммуникации. На этой основе был сделан вывод, что переключения кодов не мешают развитию билингвизма, а в определенной мере даже помогают развитию коммуникативной компетенции [7, 8].

Кросссекционное исследование билингвальной и трилингвальной компетенции 122 детей в Испании и Германии показало, что прямая зависимость между доминантностью языка и частотой переключений кодов наблюдается не всегда. Авторы этого исследования установили другую зависимость у детей в возрасте от 4,5 до 5 лет: внутрифразовые переключения имеют меньше структурных ограничений между родственными языками, поэтому дети с такими языками переключались чаще, чем те, чьи языки принадлежали разным языковым семьям. При этом все дети могли избегать переключений в одноязычных ситуациях, чтобы их собеседники понимали их без труда, что, по мнению авторов, указывает на сознательно выбираемое коммуникативное поведение двуязычных и многоязычных детей [9].

Автор работы на материале смешанных высказываний двух сестер в возрасте от 2 лет 3 месяцев до 3 лет 6 месяцев связывает их переключения с английского на французский с доминантностью языков в коммуникативном репертуаре ребенка: французский был доминантным, поэтому внутрифразовые переключения обычно строились на основе французских предложений, в которые внедрялись английские лексемы [10].

Наблюдения за детьми из одной семьи, усваивающих два одинаковых языка по одному и тому же принципу билингвального воспитания, неизбежно приводят к сопоставлению их речевых характеристик, среди которых различий отмечают меньше, чем сходств [11–14].

В данной работе нас интересуют структуры детских кодовых переключений, поэтому мы будем сравнивать их количественные и качественные показатели в речи двух детей на протяжении одного года – в пятилетнем возрасте. По нашему предположению, сходные характеристики преобладают, а различия есть только в количественных показателях.

Переключения кодов по своей структуре могут быть межфразовыми (intersentential) или внутрифразовыми (intrasentential). Последние, в свою очередь, делятся на два вида: 1) переключения между компонентами сложного предложения (clause-switches), в обособленных оборотах (parenthetical switches), в присоединенных частях (tag-switches); 2) переключения в пределах словосочетания или простого предложения.

Анализ структурных особенностей внутрифразовых кодовых переключений в рамках простого предложения в речи детей мы будем проводить при помощи модели рамки матричного языка (далее – модель РМЯ) (the Matrix Language Frame Model (MLFM), разработанной К. Майерс-Скоттон и ее коллегами [15–18]. Для межфразовых переключений и переключений в репликах диалогических единиц эта модель не применяется, поскольку в них отсутствует взаимодействие грамматик и лексики двух языков. Поэтому их описание будет опираться на классификацию кодовых переключений по месту их локализации в речи (см. такой анализ в работах Г.Н. Чиршевой, П.В. Коровушкина и Н.С. Мушниковой [19–21]).

Рассмотрение смешанных высказываний мы начнем с выбора кода, затем перейдем к единицам меньшего объема – межфразовым переключениям. Далее рассмотрим внутрифразовые переключения – от взаимодействия частей сложного предложения и парентетических иноязычных вставок до вкраплений разного вида.

Обсуждение результатов исследования

Количественное соотношение всех типов кодовых переключений в речи двух детей пятилетнего возраста можно увидеть в табл. 1.

По данным табл. 1, у Саши все типы переключений количественно преобладают. При этом выбор кода по удельному весу представлен почти одинаковым соотношением с общим количеством единиц, а количество межфразовых и внутрифразовых переключений отличается более заметно.

Таблица 1
Типы кодовых переключений

Дети	Выбор кода		Межфразовые ПК		Внутрифразовые ПК		Всего	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Миша	57	44	6	5	66	51	129	100
Саша	129	48	57	21	84	31	270	100
Всего	186	47	63	16	150	37	399	100

В ходе описания каждого типа переключений мы постараемся показать, чем могут объясняться указанные различия. Заметим, что видеозаписи Саши несколько более продолжительны, чем и объясняется большее количество его смешанных высказываний в целом. Поэтому при интерпретации количественных показателей мы будем опираться на удельный вес конкретного типа в речи каждого ребенка в отдельности.

Выбор кода

Выбор кода представляет чередование языков в диалогическом единстве и проявляется в трех вариантах:

- ребенок инициирует диалог на недоминантном языке;
- в своей ответной реплике ребенок сохраняет недоминантный код, использованный в инициирующей реплике взрослого;
- в своей ответной реплике ребенок меняет недоминантный код на доминантный. Количественные показатели этих трех вариантов представлены в табл. 2.

Таблица 2
Варианты выбора кода

Дети	Инициирующие реплики		Сохранение кода		Смена кода		Всего	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Миша	21	37	12	21	24	42	57	100
Саша	24	18	51	40	54	42	129	100
Всего	45	24	63	34	78	42	186	100

В выборе кода обычно отсутствует взаимодействие между грамматиками двух языков, но каждая из них представляют интерес как особое проявление дискурсивной стратегии в билингвальном общении.

Так, инициируя реплику на английском языке (недоминантном), дети демонстрировали положительное отношение к этому языку и желание чего-то добиться, определенным образом воздействовать на собеседника. Вероятно, делая более заметные усилия, когда они говорили на английском языке, они хотели, чтобы эти усилия оценили по достоинству. Мы рас-

сматриваем только английские инициирующие реплики, поскольку привычное инициирование диалогов у обоих детей происходило на русском, их доминантном, языке. Примеры английских инициирующих реплик:

Миша: *Granny, let's watch cartoons!*

Саша (увидев новую фигурку на столе): *Granny, what is this?*

Сохранение кода (английского языка) в ответной реплике также способствовало отражению положительного отношения детей к английскому языку и, кроме того, часто помогало им выразить дополнительные прагматические функции: согласие с собеседником, продолжение его мысли и т.п. Примеры английских реплик с сохранением кода:

Миша (в ответ на вопрос бабушки: *Who is the driver of this motorcycle?*): ***This one is there, and this one is there.***

Саша (продолжая реплику бабушки: *Guests can sleep here* и показывая на другую кровать): ***And here!***

Смена кода общения в ответной реплике также может рассматриваться не только как недостаток компетенции в английском языке, но в ряде случаев и как особая дискурсивная стратегия: дети возражали, спорили, противоречили, что показывали и в плане выражения – выбирая русский язык в ответ на английскую реплику взрослого. Примеры смены кода:

Миша (в ответ на просьбу отца: *Chew better*): ***А я не жую, я глотаю.***

Саша (в ответ на сообщение отца: *It's time to have meals*): ***Я еще не доиграл.***

Анализ всех вариантов выбора кода показывает, что дети понимали то, о чем им говорят по-английски, но не всегда могли сами выразить на этом языке то, что хотели. Однако если они не желали огорчать собеседника или противоречить ему, то старались отвечать тоже по-английски.

Межфразовые переключения

Количественные показатели в табл. 1 демонстрируют, что в речи обоих детей межфразовые переключения имеют наименьший удельный вес (5% у Миши и 21% у Саши). Примеры:

Миша: *Скажи папе: Give me some more, daddy.*

Саша: *Granny, give the key. Я дверь открою.*

К межфразовым переключениям можно отнести и переключения-дублирования: ребенок произнес слово, словосочетание или предложение на одном языке, а потом продублировал его на другом. Такие случаи отчасти напоминают автоперевод. Примеры:

Миша: *Granddad is ill? Дедушка заболел.*

Саша: *What for? Зачем – чтобы быть умнее?*

Переключения-дублирования, которые были активнее в более раннем возрасте, когда дети как бы проверяли вслух, правильно ли они поняли то, что им сказали (см. такие случаи в их речи до трехлетнего возраста [22. С. 94]), в пятилетнем возрасте использовались реже и выполняли другие функции:

а) осознанно переводим для того, чтобы передать сообщение на другом языке, как в примере у Миши, когда он сначала переспросил по-английски то, что ему сказали, а потом перевел содержание услышанного на русский язык;

б) отражали стратегию облегчения языковых усилий, как в приведенном выше примере у Саши.

Стратегия облегчения в таких случаях была связана с тем, что дети с готовностью начинали отвечать на английском языке, поскольку положительно относились к обоим языкам, но, испытывая трудности в структурировании предложения и в выборе адекватных лексем, переходили на свой доминантный (русский) язык.

Внутрифразовые переключения

Как уже было указано выше, внутрифразовые переключения можно успешно анализировать с помощью модели РМЯ. Согласно этой модели различают, во-первых, матричный и гостевой языки, а также два типа морфем: содержательные и системные. К системным относят словоизменительные морфемы в составе слова и служебные слова. Способы их выражения в разных языках различаются, поэтому в качестве единицы анализа смешанных высказываний выбирают морфему, а не слово.

Для модели РМЯ необходимо различать матричный язык (the Matrix Language) и гостевой язык (the Embedded Language), а также разграничивать содержательные морфемы (content morphemes) и системные (служебные, грамматически релевантные) морфемы (system morphemes).

В высказываниях с кодовыми переключениями матричный язык (далее – МЯ) определяет специфику построения морфосинтаксической рамки. Это осуществляется на основании двух принципов: принципа порядка морфем (the Morpheme Order Principle) и принципа системных морфем (the System Morpheme Principle), которые определяют порядок морфем и обеспечивают предложение грамматически релевантными морфемами из обоих языков. Гостевой язык (далее – ГЯ) подчиняется правилам МЯ и лишь в пределах островных переключений (островов ГЯ) может устанавливать свой порядок следования морфем и использовать системные морфемы (граммемы), например показатели множественного числа, артикли и т.д.

Содержательные морфемы чаще всего представлены корнями слов знаменательных частей речи. Однако и среди предлогов есть содержательные морфемы, например предлог *for*, который «управляет» семантико-синтаксическими ролями цели или бенефицианта, а также предлоги *before*, *between*, *with*, *within* и некоторые другие. Почти все местоимения являются содержательными морфемами, за исключением *it* и *there* в функциях формального подлежащего и дополнения.

Переходя к анализу внутрифразовых переключений кодов в речи двух пятилетних детей-билингвов, укажем, что среди них наблюдались следующие подтипы:

а) между частями сложного предложения, где чередование языков наблюдалось чаще всего между главным и придаточным предложениями;

б) парентетические переключения, что проявлялось в использовании иного языка для вводных частей, например обращений;

в) островные переключения и разные виды вкраплений.

Количественное соотношение указанных подтипов см. в табл. 3.

Т а б л и ц а 3
Подтипы внутрифразовых ПК

Дети	ПК между частями сложного предложения		Парентетические ПК		Вкрапления островные ПК		Total	
	Коли-чество	%	Коли-чество	%	Коли-чество	%	Коли-чество	%
Миша	5	7	13	20	48	73	66	100
Саша	3	4	15	18	66	78	84	100
Всего	8	5	28	19	114	76	150	100

Переключения между частями сложного предложения в речи обоих детей были наименее многочисленными. Чаще всего дети начинали отвечать на английские реплики, не меняя кода общения, а потом, вероятно испытывая трудности в выборе средств для продолжении мысли, переходили на русский язык. Такие переключения, как и смену кода, можно рассматривать как проявление стратегии облегчения языковых (речевых) усилий. Примеры:

Миша: *I can count, a он не может.*

Саша: *He will play, когда все съест.*

Парентетические переключения встречались несколько чаще, чем переключения между частями сложного предложения, но также довольно редко наблюдались в речи обоих мальчиков. Среди них преобладали английские обращения, включенные в русское предложение. Примеры парентетических переключений:

Миша: *Daddy, я не хочу больше.*

Саша: *Granny, а знаешь, что я делал вчера, еще вчера?* (т.е. позавчера).

По сравнению с первыми двумя подтипами внутрифразовых переключений в речи обоих детей вкрапления вместе с островными переключениями – самые частотные (73% у Миши и 78% у Саши). Каждый вид этого подтипа будет анализироваться ниже.

Вкрапления

Среди вкраплений мы различаем собственно вкрапления, голые формы, пиджинизированные вкрапления и острова гостевого языка. Вкрапления не включают никаких системных морфем из ГЯ. Их количественное соотношение в речи наблюдаемых детей указано в табл. 4.

Таблица 4
Вкрапления и островные ПК

Дети	Собственно вкрапления		Голые формы		Пиджинизированные ПК		Острова ГЯ		Total	
	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%	Количество	%
Миша	15	31	18	38	3	6	12	25	48	100
Саша	27	41	18	27	3	5	18	27	66	100
Всего	42	37	36	32	6	5	30	26	114	100

Собственно вкрапления

Собственно вкрапление – одиночная лексическая единица ГЯ, подчиняющаяся грамматическим правилам МЯ, но ее особенность в том, что она используется в такой синтаксической позиции, где может оставаться в исходной форме. Это позиции подлежащего и прямого дополнения в винительном падеже, которое по форме совпадает с именительным падежом. Кроме того, это может быть именная составная часть сказуемого, когда формальные изменения слова также не требуются.

По количественным показателям собственно вкрапления дают около трети рассматриваемого подтипа в речи Миши (31%) и немного больше – в речи Саши (41%), у которого они являются самыми многочисленными видами внутрифразовых вкраплений. Чаще всего дети внедряли английские слова в русскую морфосинтаксическую рамку (см. ниже пример из речи Саши), но иногда и наоборот – русские слова в английскую морфосинтаксическую рамку (см. пример из речи Миши).

Миша: *Where is this table?*

Саша: *Еще один song.*

Преобладание английских слов в русских морфосинтактических рамках над использованием русских слов в английских рамках – еще одно свидетельство того, что роль МЯ обычно играет доминантный язык, с которым дети обращаются привычно и уверенно. Если дети использовали собственно вкрапления русских слов в английских предложениях, то это были короткие и стереотипные конструкции, которые пятилетние дети хорошо усвоили, но не всегда могли полностью оформить на английском языке из-за лексических лакун в англоязычном лексиконе.

Голые формы

Голые формы (bare forms) – это особый вид вкраплений, отличающийся тем, что такие единицы гостевого языка в морфосинтаксической рамке матричного языка не оформляются грамматическими показателями, которые требуются в данной позиции, например: *Она вышла погулять со своим dog.*

«Голые формы» не нарушают правил модели РМЯ и встречаются в речи билингвов любого возраста. Большое количество «голых форм» характерно для смешанных высказываний детей-билингвов в тот период, когда они

еще не усвоили нужных системных морфем. Пятилетние дети использовали голые формы не потому, что не знали, как добавить к ним системные морфемы; скорее всего, дети ощущали особенность таких слов, знали, что они принадлежат другому языку, и потому сохраняли их в том виде, в котором слышали в речи взрослых. Возможно также, что дети не были уверены в том, как менять форму таких слов, когда они попадают в русское предложение.

Голые формы встречались у Миши даже чаще, чем собственно вкрапления (38%). У Саши они были представлены тем же количеством, что и у Миши, но в его речи они занимали вторую позицию по частотности после собственно вкраплений (27%) – их немного меньше трети всех его внутрифразовых переключений.

Миша: *A у него нет bicycle.*

Саша (в ответ на вопрос бабушки о творожке, который она достала из холодильника: *Too cold?*): *Ну, немножко cold.*

Голые формы в этот период билингвального развития детей включали английские существительные, глаголы и прилагательные. По сравнению с более ранними периодами, когда среди голых форм у этих детей были почти исключительно существительные, этот инвентарь расширился.

Пиджинизированные переключения

Пиджинизированные переключения (classical code-switches, в терминах РМЯ) появлялись в адекватно построенной морфосинтаксической рамке русского языка, в которую из английского языка внедрялись корневые английские морфемы, снабженные русскими флексиями для того, чтобы гостевые единицы не нарушали правила русской грамматики. Иногда, как в примере из речи Саши (см. ниже), русское слово могло появиться в англоязычной морфосинтаксической рамке. Такие переключения – редкое явление в речи обоих детей (6% у Миши и 5% у Саши).

Миша: *Я видел много skeleton-ов.*

Саша: *Will you play карта-s?*

У Миши английское существительное внедрено в русскую рамку в той падежной форме, которая требовалась в данной позиции. Саша добавил английский показатель множественного числа к русскому слову, поскольку внедрил его в английское предложение. Примечательно, что, как выяснилось из дальнейших расспросов об этом случае, он и сам не понял, почему не выбрал английское существительное (*card*), которое хорошо знал и часто использовал.

Острова гостевого языка

Островные переключения (island switches), или острова ГЯ, состоят из одной или нескольких содержательных морфем ГЯ либо включают, кроме содержательных морфем, одну или несколько системных морфем ГЯ, например существительное с артиклем и флексией и т.п.

В речи обоих детей острова ГЯ – явление нередкое, они составляли четверть всех их переключений рассматриваемого подтипа (25% у Миши и 27% у Саши).

Чаще всего дети включали английские острова в русскую морфосинтаксическую рамку, как в примерах ниже:

Миша: *Он хочет to draw, а я – to watch.*

Саша (указывая на других персонажей мультфильма): *И эти – friends.*

Однако иногда дети строили и русские острова в английском предложении, как в приведенном ниже примере из речи Саши.

Саша: *Granny, thank you за пряники.*

К островным переключениям можно отнести и переключения с дублированной морфологией (double morphology): один и тот же грамматический показатель выражен как на МЯ, так и на ГЯ. Такие случаи были единичными и зафиксированы только у Саши.

Саша (в ответ вопрос бабушки: *Whose picture is that?*): *Это Micky-ин’s.*

Этот случай интересен тем, что остров ГЯ построен с нарушением принципа системных морфем МЯ: он разрушен внедрением в него русского показателя посессивности. Категория посессивности уже хорошо была освоена мальчиком на обоих языках, но в данном случае сбой произошел, вероятно, по прагматически объяснимой причине: он как бы спохватился, что отвечать нужно по-английски, поэтому выбрал английский вариант имени брата (говоря по-русски, всегда называл его Мишой). Однако матричным языком в его высказывании по-прежнему оставался русский, поэтому сначала он использовал русский суффикс (-ин), а потом, глядя на бабушку, добавил и английский (-'s). Если бы такие случаи повторялись, можно было бы рассмотреть идею формирования составного матричного языка (Composite Matrix Language), который образуется в ходе утраты компетенций в одном языке и перестройки статусно-ролевых отношений между МЯ и ГЯ, как это наблюдается у детей, забывающих первый язык и активно усваивающих второй в условиях иммиграции [23–25]. Однако в речи наблюдаемых нами детей такие случаи не повторялись, поэтому их можно оценить как прагматические «сбои» выбора языковых единиц в билингвальной коммуникативной ситуации.

Выводы

Таким образом, можно отметить следующие характеристики билингвальной речи у двух детей (братьев) из одной семьи в возрасте 5 лет, одновременно усваивающих русский и английский языки в моноэтнической языковой среде.

1. Чаще всего у детей наблюдалась смена кода, которую в этом возрасте они начали использовать как особую дискурсивную стратегию: меняя язык, они хотели добавить какие-то прагматические оттенки в свои реплики.

2. Инициирующие реплики на недоминантном (английском) языке были нередким явлением, и дети старались их использовать для достижения

перлокутивного эффекта (выполнения их просьб, быстрого ответа на запрос информации и т.д.). Однако такие реплики были стереотипными по структуре, достаточно короткими и не отличались лексическим разнообразием. Это говорит о том, что дети сохраняли положительное отношение к английскому языку, но компетенция в нем развивалась значительно более медленными темпами, чем в русском языке.

3. Большое количество голых форм свидетельствовало о том, что, с одной стороны, дети не были уверены в том, как совместить грамматики двух языков, и поэтому не добавляли иноязычные грамматические показатели к словам. С другой стороны, эти единицы, чаще всего английские лексемы, служили средством когерентности между репликой взрослого, в которой они их услышали, а потом повторили в своей, уже русскоязычной ответной реплике.

4. В смешанных высказываниях обоих детей русский язык в подавляющем большинстве случаев играл роль матричного языка, а гостевым языком обычно был английский. Это говорит об укреплении и дальнейшем повышении доминантности русского языка над английским в ходе формирования билингвизма у наблюдавшихся детей.

Различия в билингвальных структурах двух детей наблюдались в следующем.

1. Более активным в переключениях между двумя языками был младший из братьев. Одной из причин может быть то, что по личностным характеристикам он был более эмоциональным, чаще старался ориентироваться на языки собеседников.

2. Большим разнообразием у младшего брата в пятилетнем возрасте отличались все структуры кодовых переключений. Вероятно, это можно объяснить тем, что его разноязычный инпут был более насыщенным, поскольку включал не только общение со взрослыми, но и со старшим братом.

3. Оба мальчика редко использовали недоминантный язык в качестве матричного, но у младшего брата таких случаев наблюдалось больше, чем у старшего.

Наблюдение за билингвальной речью двух пятилетних детей показало, что переключения кодов в этом возрасте структурно и прагматически разнообразны, но выбор их форм определяется особенностями развития детской двуязычной компетенции, в которой все более доминантным становится русский язык.

Сравнивать полученные нами результаты с результатами других исследований переключений кодов можно лишь по некоторым частным аспектам, поскольку нет совпадений возрастных периодов, языковых комбинаций, количества наблюдавшихся и использованных методик. Можно отметить только, что есть пересечения в положениях о том, что доминантный язык чаще функционирует как матричный. В отличие от предыдущих исследований, в нашей работе более дифференцированно рассмотрены разнообразные структуры переключений кодов на основе рамочной модели матричного языка, а также установлено их взаимодействие с проявлением доминантности языка, совпадающего с матричным.

Обычно описание детского билингвизма основано на анализе компетенции ребенка на каждом из двух языков. Исследователи чаще всего рассматривают их взаимодействие как негативное явление, на наличие которого указывают, но которое не изучают детально и не связывают с аспектами формирования билингвизма. Новизна данного исследования заключается в привлечении внимания к изучению смешанной речи детей, которая дает возможность выявить особые характеристики взаимодействия языков при их одновременном усвоении в семье и при этом проследить динамику формирования детского билингвизма. Для установления взаимосвязи структурных и прагматических характеристик кодовых переключений с временными рамками развития детского билингвизма требуется проведение дополнительных исследований на всех этапах его формирования. Данная работа, таким образом, является одной начальных попыток разработать теоретические и методологические основы проведения таких исследований и показать на примере одного возрастного периода, каким образом его можно осуществить.

Для контактной лингвистики новизна и значимость лонгитюдного изучения структуры детских переключений кодов заключается в том, что оно дает возможность выявить их возрастную вариативность и проследить динамику структурных взаимодействий двух языков в специфических условиях – в речевой коммуникации отдельных индивидов в изменяющихся условиях формирования их билингвизма. Результаты таких исследований вносят вклад в развитие концепций и моделей порождения и функционирования билингвальной речи, способствуя повышению их экспланаторности и расширению эмпирической базы – за счет привлечения разнообразных комбинаций взаимодействующих языков.

Литература

1. *Grosjean F. The bilingual's language modes // One mind, two languages: Bilingual language processing*. Oxford : Blackwell, 2001. P. 1–22.
2. *Quay S. Dinner conversations with a trilingual two-year-old: Language socialization in a multilingual context // First Language*. 2008. Vol. 28, № 1. P. 5–33.
3. *Goldrick M., Putnam M., Schwarz L. Co-activation in bilingual grammars: A computational account of code mixing // Bilingualism: Language and Cognition*. 2016. Vol. 19, № 5. P. 857–876. DOI: 10.1017/S1366728915000802
4. *Lanvers U. Language alternation in infant bilinguals: A developmental approach to codeswitching // International Journal of Bilingualism*. 2001. Vol. 5, № 4. P. 437–464.
5. *Meisel J.M. Code-switching in young bilingual children. The acquisition of grammatical constraints // Studies in Second Language Acquisition*. 1994. Vol. 16, № 4. P. 413–439.
6. *Nicoladis E. “I have three years old” // Journal of Monolingual and Bilingual Speech*. 2019. Vol. 1, № 1. P. 80–93. DOI: 10.1558/jmbs.11126
7. *Yow W.Q., Patrycia F., Flynn S. Code-switching in childhood // Lifespan perspectives on bilingualism / eds by E. Nicoladis, S. Montanari*. Washington, DC : American Psychological Association ; Berlin : De Gruyter Mouton, 2016. P. 81–100.
8. *Yow W.Q., Tan J.S.H., Flynn S. Code-switching as a marker of linguistic competence in bilingual children // Bilingualism: Language and Cognition*. 2018. Vol. 21, № 5. P. 1075–1090. DOI: 10.1017/S1366728917000335

9. Poeste M., Müller N., Arnaus G.L. Code-mixing and language dominance: bilingual, trilingual and multilingual children compared // International Journal of Multilingualism. 2019. Vol. 16, № 4. P. 459–491. DOI: 10.1080/14790718.2019.1569017
10. Jisa H. Language mixing in the weak language: Evidence from two children // Journal of Pragmatics. 2000. Vol. 32. P. 1363–1386.
11. Saunders G. Bilingual children: From birth to teens. Clevedon : Multilingual Matters, 1988. 274 p.
12. Saunders G. Bilingual children: Guidance for the family. Clevedon : Multilingual Matters, 1982. 278 p.
13. Vihman V.-A. Code-switching in emergent grammars: Verb marking in bilingual children's speech // Philologica Estonica Tallinensis. 2016. Vol. 1. P. 175–198. DOI: 10.22601/PET.2016.01.10
14. Vihman V.-A. Language interaction in emergent grammars: Morphology and word order in bilingual children's code-switching // Languages. 2018. Vol. 3, № 4. P. 1–23. DOI: 10.3390/languages3040040
15. Myers-Scotton C. A lexically based model of code-switching // One Speaker, Two Languages. Cambridge : Cambridge University Press, 1995. P. 233–256.
16. Myers-Scotton C. Duelling languages: Grammatical structure in code-switching. Oxford : Clarendon Press, 1997. 285 p.
17. Myers-Scotton C. Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes. Oxford : Oxford University Press, 2002. 342 c.
18. Myers-Scotton C., Jake J. Revisiting the 4-M model: code-switching and morpheme election at the abstract level // International Journal of Bilingualism. 2017. Vol. 21, № 3. P. 340–366. DOI: 10.1177/1367006915626588
19. Чиршева Г.Н. Двуязычная коммуникация. Череповец : Череповецкий государственный университет, 2004. 190 с.
20. Чиршева Г.Н. Детский билингвизм: Одновременное усвоение двух языков. СПб. : Златоуст, 2012. 488 с.
21. Чиршева Г.Н., Коровушкин П.В., Мушикова Н.С. Выбор кода как один из показателей билингвального развития детей от 5 до 6 лет // Взаимодействие языков и культур : материалы докладов VII Международной научной конференции, посвященной 70-летию со дня рождения профессора В.П. Коровушкина / под ред. Г. Н. Чиршевой. Череповец : Череповецкий государственный университет, 2019. С. 171–182.
22. Чиршева Г.Н., Коровушкин П.В. Смешанные высказывания билингвальных детей в русскоязычной семье // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2017. № 48. С. 84–97. DOI: 10.17223/19986645/48/6
23. Bolonyai A. In-between languages: language shift/maintenance in childhood bilingualism // International Journal of Bilingualism. 1998. Vol. 2, № 1. P. 21–43. DOI: 10.1177/136700699800200102
24. Schmitt E. Early bilinguals – incomplete acquirers or language forgetters? // Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narovensis. Narva, 2008. P. 311–330.
25. Schmitt E. Overt and covert codeswitching in immigrant children from Russia // International Journal of Bilingualism. 2000. Vol. 4, № 1. P. 9–28.

Code-Switches in the Speech of Five-Year-Old Bilingual Children

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 169–184. DOI: 10.17223/19986645/71/10

Galina N. Chirsheva, Cherepovets State University (Cherepovets, Russian Federation). E-mail: chirsheva@mail.ru

Petr V. Korovushkin, independent researcher (Cherepovets, Russian Federation). E-mail: korovushkin.petr@mail.ru

Keywords: childhood bilingualism, code-switching, structural and pragmatic aspects of bilingual speech, Russian, English.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 18-012-00260.

This article aims at establishing the interrelation between the structural aspects of mixed speech and the development of two five-year-old siblings' bilingualism. These boys have been acquiring Russian and English simultaneously in the 'one parent – one language' bilingual context in a Russian family in Russia. The authors classify the observed code-switches into three main types: code-choice, intersentential switches, and intrasentential ones. Code-choice demonstrates contacts of two languages only in semantic and pragmatic aspects, thus reflecting various kinds of the bilingual discursive strategy. Intersentential code-switches can shed light on the ways bilingual children structure Russian and English sentences combined within a single utterance. Contacts between grammars are minimal in such subtypes of intrasentential code-switches as clause-switches and parenthetical switches, while in other subtypes (insertions proper, classical switches, island switches, and bare forms) the interrelation is much closer. Structural features of the bilingual utterances of the latter subtypes are analyzed within the framework of the Matrix Language Frame Model (MLFM) elaborated by C. Myers-Scotton. The authors have adopted the MLFM for the analysis of child bilingual utterances. The analysis of each type and subtype of code-switches is combined with the description of the two siblings' bilingual development. The authors have found out that code-switches reflect the unbalanced development of child bilingualism in the following ways: (1) frequent code-shifts from English to Russian in dialogs with English-speaking adults; (2) predominant employment of Russian as the Matrix Language; (3) frequent use of English bare forms in Russian morphosyntactic frames; (4) rare occurrences of classical code switches. The mixed speech of the five-year-old children showed that they are competent enough not to violate the principles of the MLFM, with occasional violations of the System Morpheme Principle observed only in English morphosyntactic frames. The comparison of the siblings' code-switches has revealed that at the age of five they have more common than specific characteristics in all structures. The differences in the structural characteristics of their code-switches are mainly quantitative: code-switches are more numerous and variable in the younger boy. The results of the research can contribute to the study of simultaneous child bilingual development via structural and pragmatic analysis of code-switches. Moreover, the analysis of child bilingual speech can verify some aspects of language contact theory and cognitive processes underlying production of bilingual individuals' speech.

References

1. Grosjean, F. (2001) The bilingual's language modes. In: Nicol, J.L. (ed.) *One mind, two languages: Bilingual language processing*. Oxford: Blackwell. pp. 1–22.
2. Quay, S. (2008) Dinner conversations with a trilingual two-year-old: Language socialization in a multilingual context. *First Language*. 28 (1). pp. 5–33.
3. Goldrick, M., Putnam, M. & Schwarz, L. (2016) Co-activation in bilingual grammars: A computational account of code mixing. *Bilingualism: Language and Cognition*. 19 (5). pp. 857–876. DOI: 10.1017/s1366728915000802
4. Lanvers, U. (2001) Language alternation in infant bilinguals: A developmental approach to codeswitching. *International Journal of Bilingualism*. 5 (4). pp. 437–464.
5. Meisel, J.M. (1994) Code-switching in young bilingual children. The acquisition of grammatical constraints. *Studies in Second Language Acquisition*. 16 (4). pp. 413–439.
6. Nicoladis, E. (2019) "I have three years old". *Journal of Monolingual and Bilingual Speech*. 1 (1). pp. 80–93. DOI: 10.1558/jmbs.11126
7. Yow, W.Q., Patrycia, F. & Flynn, S. (2016) Code-switching in childhood. In: Nicoladis, E. & Montanari, S. (eds) *Lifespan perspectives on bilingualism*. Washington, DC: American Psychological Association; Berlin: De Gruyter Mouton. pp. 81–100.

8. Yow, W.Q., Tan, J.S.H. & Flynn, S. (2018) Code-switching as a marker of linguistic competence in bilingual children. *Bilingualism: Language and Cognition*. 21 (5). pp. 1075–1090. DOI: 10.1017/S1366728917000335
9. Poeste, M., Müller, N. & Arnaus, G.L. (2019) Code-mixing and language dominance: bilingual, trilingual and multilingual children compared. *International Journal of Multilingualism*. 16 (4). pp. 459–491. DOI: 10.1080/14790718.2019.1569017
10. Jisa, H. (2000) Language mixing in the weak language: Evidence from two children. *Journal of Pragmatics*. 32. pp. 1363–1386.
11. Saunders, G. (1988) *Bilingual children: From birth to teens*. Clevedon: Multilingual Matters.
12. Saunders, G. (1982) *Bilingual children: Guidance for the family*. Clevedon: Multilingual Matters.
13. Vihman, V.-A. (2016) Code-switching in emergent grammars: Verb marking in bilingual children's speech. *Philologia Estonica Tallinensis*. 1. pp. 175–198. DOI: 10.22601/PET.2016.01.10
14. Vihman, V.-A. (2018) Language interaction in emergent grammars: Morphology and word order in bilingual children's code-switching. *Languages*. 3 (4). pp. 1–23. DOI: 10.3390/languages3040040
15. Myers-Scotton, C. (1995) A lexically based model of code-switching. In: Milroy, L. & Muysken, P. (eds) *One Speaker, Two Languages: Cross-Disciplinary Perspectives on Code-Switching*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 233–256.
16. Myers-Scotton, C. (1997) *Duelling languages: Grammatical structure in code-switching*. Oxford: Clarendon Press.
17. Myers-Scotton, C. (2002) *Contact Linguistics: Bilingual Encounters and Grammatical Outcomes*. Oxford: Oxford University Press.
18. Myers-Scotton, C. & Jake, J. (2017) Revisiting the 4-M model: code-switching and morpheme election at the abstract level. *International Journal of Bilingualism*. 21 (3). pp. 340–366. DOI: 10.1177/1367006915626588
19. Chirsheva, G.N. (2004) *Dvuyazychnaya kommunikatsiya* [Bilingual communication]. Cherepovets: Cherepovets State University.
20. Chirsheva, G.N. (2012) *Detskiy bilingvizm: Odnovremennoe usvoenie dvukh yazykov* [Children's bilingualism: Simultaneous acquisition of two languages]. Saint Petersburg: Zlatoust.
21. Chirsheva, G.N., Korovushkin, P.V. & Mushnikova, N.S. (2019) [The choice of a code as one of the indicators of bilingual development of children aged from 5 to 6] *Vzaimodeystvie yazykov i kul'tur* [Interaction of languages and cultures]. Conference Proceedings. Cherepovets: Cherepovets State University. pp. 171–182. (In Russian).
22. Chirsheva, G.N. & Korovushkin, P.V. (2017) Mixed Speech of Bilingual Children in a Russian Family. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology*. 48. pp. 84–97. (In Russian). DOI: 10.17223/19986645/48/6
23. Bolonyai, A. (1998) In-between languages: language shift/maintenance in childhood bilingualism. *International Journal of Bilingualism*. 2 (1). pp. 21–43. DOI: 10.1177/13670069800200102
24. Schmitt, E. (2008) Early bilinguals – incomplete acquirers or language forgetters? In: *Studia Humaniora et Paedagogica Collegii Narovensis*. Narva. pp. 311–330.
25. Schmitt, E. (2000) Overt and covert codeswitching in immigrant children from Russia. *International Journal of Bilingualism*. 4 (1). pp. 9–28.

УДК 81'42

DOI: 10.17223/19986645/71/11

Н.Н. Шпильная

РЕПЛИЦИРОВАНИЕ: ВТОРАЯ РЕПЛИКА И МЕТАЯЗЫКОВЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДИАЛОГА (НА МАТЕРИАЛЕ ДИАЛОГОВЫХ ФОРМАТОВ ИНТЕРНЕТА)¹

Анализируются метаязыковые операторы реплицирования, сигнализирующие об интенциональном состоянии адресата в ситуации принятия решения о вступлении в диалог. Доказано, что метаоператоры «Нравится» / «Не нравится» показывают зависимость реплицирования от эмоционально-оценочной реакции носителя языка. Метаоператоры «Ответить», «Комментировать» регулируют ретроспективный коммуникативный контакт с адресатом. Метаоператор «Поделиться» ориентирован на проспективный коммуникативный контакт с потенциальным адресатом.

Ключевые слова: *реплицирование, диалог, вторая реплика, метаязыковой оператор, сетевые диалоговые платформы*

Постановка проблемы

В данной статье рассматривается проблема реплицирования в диалоге, которая решается на материале диалоговых форматов Интернета. Обращение к проблеме реплицирования обусловлено пристальным вниманием современной лингвистики к диалогическому функционированию языка, которое выделяется в ряду других сфер функционирования языка – правовой, социальной, эстетической и пр., но в отличие от них соотносится не со сферами общественной жизни [1], а с ситуацией диалога, предполагающей как минимум двух участников [2–3].

Как известно, интерес к изучению ситуации диалога в лингвистике первоначально был связан с проблемой актуализации языка в условиях социальных контактов носителей языка; далее – с проблемой структурной неоднородности плана выражения высказывания, создаваемой в ситуации общения; позже – с проблемой описания связи двух реплик в составе диалогического единства. При этом из гносеологического поля исследователей исключается вопрос о появлении ответной реплики в диалоге. Соглашаясь с М.М. Бахтиным, мы полагаем, что любое речевое высказывание – это реплика в диалоге, а потому интерес представляет механизм появления второй реплики в диалоге, или механизм реплицирования [4].

Теоретические основы изучения механизма реплицирования находим в работе Л.П. Якубинского «О диалогической речи», в которой содержатся наблюдения автора за неосознаваемыми вербальными и невербальными

¹ Работа подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для молодых ученых – докторов наук МД-3824.2021.2.

реакциями носителя на некие исходные высказывания в ситуациях непринужденного общения. Опираясь на положение о непроизвольной, естественной, связи между мыслью и выговариванием, Л.П. Якубинский отмечает, что реплицирование – это инстинктивный процесс реагирования на вербальные и невербальные раздражители. В силу этого «всякое речевое раздражение, как бы непрерывно длительно оно ни было, возбуждая как свою реакцию мысли и чувства, необходимо толкает организм на речевое реагирование» [5].

Инстинктивность реплицирования проявляется в неосознаваемой реакции на воспринимаемую речь, которая (реакция) чаще всего обнаруживается в невербальных – мимических – высказываниях языковой личности. «Мимика и жест иногда играют роль реплики в диалоге, заменяя словесное выражение. Часто мимическая реплика дает ответ раньше, чем речевая; один из собеседников только хочет возразить, собирается говорить, а другой, учитывая его мимику и позыв к реплике, довольствуется этой мимической репликой, произносит что-нибудь вроде: «Нет, постойте, я знаю, что вы хотите сказать», — и продолжает дальше. Сплошь и рядом мимическая или жестикуляционная реплика вовсе не требует речевого дополнения <...> Мимика и жест, являясь постоянными спутниками всяких реагирований человека, оказываются постоянным и могучим сообщающим средством. При непосредственном общении речевое обнаружение всегда соединяется с мимико-жестикуляционным» [5].

Наверное, каждый из нас замечал проявления реплицирования разной степени осознанности: кивок головой, мотание головой, жесты и позы, выражающие сомнение, радость, удовольствие и пр., вопросы типа «Что-то случилось?», «Почему такой грустный?» как реакцию на мимику собеседника. Все эти реплики возникают естественно, не всегда обдуманно, подтверждая мысль о том, что реплицирование – это присущий языковой способности механизм осуществления диалога. Кроме того, реплицирование проявляется в перебивании, зачастую спонтанном, в ситуации общения.

Нетрудно заметить, что Л.П. Якубинский особо актуализировал рефлекторность реплицирования, не принимая во внимание тот факт, что реплицирование как разновидность языковой деятельности способно осознанно регулироваться носителем языка. Осознанный контроль за речевой деятельностью наблюдается, например, в различных этикетных ситуациях общения, особенно в институциональных форматах коммуникации, предполагающих активизацию механизмов речевого самоконтроля. В таких ситуациях вторая реплика появляется после того, как адресант закончит свое высказывание. На фоне этого заслуга Л.П. Якубинского заключается в выделении реплицирования как самостоятельного вида языко-речевой деятельности, обусловливающего появление ответной реплики в диалоге и его протекание.

Исследование специфики реплицирования в современной диалогической лингвистике связано с констатацией явления мены реплик в диалоге, на основе которого (явления) создана лингвистическая теория диалога. При этом в

центре внимания лингвистов находится, как правило, диалогическое единство, образуемое несколькими репликами, но не процесс их мены.

Наибольшее распространение в отечественной теории диалога получила прагматическая теория реплицирования (80–90-е гг. XX в.), объясняющая мену реплик стремлением участников коммуникации к кооперации [6, 7]. Согласно данной теории появление второй реплики – это прагматический процесс иллоктивного согласования в модели *стимул – реакция* [8–10], причем это процесс, предвосхищаемый адресантом. Так, например, считается, что в ответ на вопрос можно получить следующие варианты текстов: переспрос, уточняющий вопрос, ответ (отрицание или подтверждение); на просьбу – согласие, отказ, уточняющий вопрос или переспрос и т.д. Нетрудно заметить, что при таком подходе не учитывается реальная деятельность адресата, которая вряд ли может быть описана в модели *стимул – реакция*.

В 90-е гг. XX в. начинает складываться рецептивная теория реплицирования, представленная в работах Н.Д. Арутюновой и ее учеников. Н.Д. Арутюнова, рассуждая о феномене второй реплики в диалоге, приходит к выводу, что ее появление – это результат рецептивной деятельности адресата, а потому вторая (ответная) реплика связана с диалогическими модальностями – согласия или несогласия [11]. Однако и при таком подходе не учтенным остается массив реплик, не актуализирующих согласие или несогласие. В работе [12] мы, опираясь на идеи Н.Д. Арутюновой и М.М. Бахтина, обосновали, что появление ответной реплики в диалоге связано с рецептивными модальностями согласия, несогласия и нейтральной диалогической модальностью, определяющими фатические формы актуализации диалогического текста. При этом рецептивные модальности иллюстрируют особенности диалогического понимания (по М.М. Бахтину), являясь маркером модели создания второй реплики, но их наличие не объясняет само появление ответной реплики в диалоге.

В зарубежной лингвистике проблема генезиса ответной реплики (= ответного речевого действия) в диалоге решается в рамках конверсационного анализа. Ее решение связано с пониманием диалога как единства смежных пар, ориентированных на взаимодействие. Появление второй реплики в диалоге описывается как реализация «принуждения» друг друга участниками диалога. Анализируя специфику конверсационного анализа, А.М. Улановский, отмечает, что «разговор в широком смысле – форма принуждения друг друга к определенным вербальным действиям, так как, говоря нечто, мы обычно стремимся не только высказать нечто, но и получить взамен реакцию собеседника» [13]. При этом появление второй реплики интерпретируется как уместная реакция адресата на иллоктивную составляющую инициальной реплики [14]. Понимая, что вторая реплика в диалоге – это наиболее подходящая реплика, американские ученые анализируют прежде всего речевое поведение адресанта, который в своей речевой деятельности реализует базовые правила смежной пары: появление второй реплики связано с паузой, которую делает говорящий, после чего следую-

ший говорящий должен начать произносить вторую часть пары того же типа, членом которой является первая пара [15]. Американские лингвисты фокусируют внимание на том, как сама «структура разговора вынуждает нас выбирать то или иное действие» [13], которое может быть либо предпочтительным, либо непредпочтительным в данной ситуации и в данном культурном контексте [16–17].

Как видим, в современной лингвистике вопрос о специфике появления второй реплики в диалоге остается открытым. Непроясненным остается вопрос об условиях появления ответной реплики в непринужденном диалоге, регламентированность которого хотя и очевидна (например, с точки зрения прагмалингвистики, постулатов П. Грайса), но тем не менее требует специального изучения, потому что объяснять появление второй реплики в диалоге только ее вписанностью в тот или иной культурный контекст – это значит упростить представления о природе генезиса диалогического высказывания. Иными словами, признавая, что вторая реплика в ситуации речевого самоконтроля появляется после паузы, которую делает адресант, мы тем не менее полагаем, что ответная реплика появляется как реализация той или иной интенции носителя языка – его желания вступить в коммуникацию и продолжить диалог.

Выявлению метаязыковых маркеров интенциональных состояний адресата, определяющих реплицирование в диалоге, и посвящена данная статья. Решение проблемы появления второй реплики в диалоге может послужить лингвистической основой для разработок специализированных программ по моделированию диалогической деятельности искусственного интеллекта, для разработки прикладных исследований в области обучения диалогической деятельности носителей языка и / или инофонов.

Ситуация ответа как условие реплицирования

Мы рассматриваем реплицирование в контексте диалогической ситуации, интерпретируемой как ситуация ответа. Понимание диалогической ситуации как ситуации ответа восходит к идеям Л.П. Якубинского, отмечавшего «тематизм ответа» в диалоге [5]. Теоретическое обоснование эта идея получила в наших работах [18, 19]. Ситуация ответа рассматривается в данных работах как ситуация проявления диалогической способности носителя языка, осуществляющего прагматическую выводимость означающего языкового знака из его означающего.

Говоря о диалогической способности языковой личности, отметим, что она связана с реакцией носителя языка на речевую реакцию. В лингвистической литературе проблема диалогической способности не обсуждается, несмотря на то, что она обуславливает диалогическую деятельность носителей языка, ориентированную на осуществление диалога. При этом если диалог активно изучается в диалогической лингвистике, то диалогическая деятельность остается в тени исследовательского интереса: непроясненными остаются вопросы об условиях, факторах и механизмах ее актуали-

зации [22]. Несомненным остается тот факт, что диалогическая деятельность проявляется в механизме реплицирования, который обусловливает появление второй реплики в диалоге.

Такой подход предполагает смещение акцента с адресантоцентрической теории диалога (см. выше) к адресатоцентрической. В диалогической лингвистике уже накоплено немало наблюдений, касающихся учета фактора адресата при производстве инициативной реплики в диалоге. Адресатоцентрическая модель диалога представлена в диалогической лингвистике в исследованиях, посвященных изучению диалогичности текстов различных фактур (устных, письменных, текстов интернет-речи), где диалогичность понимается как учет смысловой позиции адресата при производстве высказывания-реплики [23–25]. Ср.: «Категория диалогичности понимается нами <...> как учет адресантом (автором) речи фактора адресата (реального или воображаемого), его смысловой позиции, а также обозначение данной ориентации при помощи определенных языковых средств» [24]. Конверсационный анализ, несмотря на интерес к проблеме появления ответного речевого действия, акцентирует внимание прежде всего на ее обусловленности речевым поведением адресанта, задающим программу ответа адресатом.

В данной работе адресатоцентрическая модель диалога рассматривается в связи с тем, что ситуация диалога – это ситуация ответа. Актуальным для нас является тезис, согласно которому адресатоцентрическая модель диалога описывает диалог в контексте самой ситуации ответа, а не в ориентации на реального или воображаемого адресата. При таком подходе появление второй реплики в диалоге определяется не столько иллокутивным вынуждением, сколько интенцией адресата, который принимает решение о вступлении в коммуникацию. Наше внимание сосредоточено на поиске ответа на вопрос, при каких условиях появляется вторая реплика в диалоге. В рамках статьи мы ограничимся описанием метаязыкового контекста, сигнализирующего о запуске механизма реплицирования и соотносимого с осознанным интенциональным решением адресата вступить в диалог.

Реплицирование: генезис второй реплики в диалоге

Прежде чем перейти к описанию реплицирования в сетевом диалоге, остановимся подробнее на характеристике реплицирования. Основываясь на диалогичности языковой способности носителя языка, мы полагаем, что реплицирование – это один из компонентов модели порождения диалогического высказывания, соотносимой с деятельностью отвечающего [12]. Безусловно, в современной теории речевой деятельности накопилось немало наблюдений о порождении речевого высказывания, однако все они основаны на наблюдениях над монологическим высказыванием как выражением мысли. Опора на естественное течение речи, которое осуществляется в форме диалога, позволяет заключить, что данная модель должна быть уточнена. Согласно развиваемой в статье идее в данной модели мо-

жет быть выделен этап реплицирования, на котором осуществляется сегментация инициальной реплики и уже потом создание ответной (второй) реплики. Опираясь на модели порождения высказывания, предложенные А.А. Леонтьевым, Т.В. Ахутиной, И.А. Зимней [26–28], мы считаем возможным представить модель порождения диалогического высказывания как совокупность следующих этапов:

- 1) мотивационно-прагматический этап, на котором формируется коммуникативная интенция;
- 2) этап реплицирования, на котором осуществляется квантование инициальной реплики и актуализация словоформы как суппозиции для разворачивания второй реплики в диалоге¹;
- 3) этап внутреннего программирования, на котором осуществляется структурирование внешней и внутренней формы второй реплики;
- 4) лексико-грамматический этап, предполагающий языковое оформление мысли;
- 5) артикуляционный или графический этап, на котором осуществляется произношение высказывания (если речь идет об устной речи) или его графическая актуализация (если речь идет о письменной форме).

Таким образом, модель порождения диалогического высказывания аналогична модели порождения монологического высказывания, и в этом плане предлагаемая нами модель носит вторичный характер, однако специфика предлагаемой нами модели заключается в выделении реплицирования как самостоятельного этапа порождения диалогического высказывания и соотнесенности с интенциями адресата.

Предмет и материал исследования

Непосредственный предмет исследования в работе – метаязыковые операторы (метаоператоры), сигнализирующие о запуске механизма реплицирования. Метаоператор в диалоге – это вербализованное или невербализованное высказывание, которое является маркером появления ответной реплики и отражает интенцию адресата. Мы полагаем, что метаоператоры предстают как разновидность метаязыковых высказываний, степень осознанности которых может быть различной. Вводя термин-понятие «метаоператор», мы хотели бы подчеркнуть его соотнесенность с функциональной позицией носителя языка в коммуникации и с эксплицированием [осознаных] интенций носителя языка, определяющих его вступление в диалог.

Для выявления метаоператоров диалога мы обратились к сетевым диалоговым платформам. В качестве метаязыковых операторов диалога нами были проанализированы такие опции диалоговых форматов Интернета, как «Нравится», «Не нравится», «Поделиться», «Комментировать», «Ответить». Источником метаязыковых операторов послужили социальные сети

¹ Мы полагаем, что в более сильном варианте первые два этапа осуществляются не столько последовательно, сколько параллельно.

ВКонтакте, Facebook, Instagram, ориентированные на диалогическое (полилогическое) общение, публичный сервер YouTube, имеющий диалогически ориентированный формат коммуникации.

При этом данные метаоператоры представлены и как невербализуемые, и как вербализуемые высказывания, в последнем случае высказывание может быть не только «прописано», но и может появляться во всплывающем окне; проиллюстрируем анализируемые нами метаоператоры:



Соотнесенность метаоператора с интенцией носителя языка показывает интенциональную направленность языкового сознания человека на коммуникативный контакт с другим человеком, причем этот контакт может быть ретроспективным (соотнесенным с инициальной репликой) и проспективным (ориентированным на потенциального адресата).

Интернет расширил онтологические проявления диалога, позволяя выявить эмпирические данные, традиционно хранимые в «черном ящике» сознания. Мы хотим сказать, что технический формат организации диалога в сети Интернет предоставляет новые возможности для фиксации эмпирических данных, на основе которых возможно осмысление поднимаемой в статье проблемы. Ср. с высказыванием Т.Н. Колокольцевой: «Лингвистический анализ интернет-ресурсов свидетельствует о том, что общение в виртуальном пространстве создает практически неограниченные возможности для реализации категории диалогичности. Есть все основания говорить о том, что нигде и никогда ранее данная категория не получала столь мощного и впечатляющего воплощения» [24].

Далее мы полагаем, что технические форматы коммуникации, создаваемые в социальных сетях или на сетевых платформах, так или иначе демонстрируют анатомию диалога, условно воссоздавая реальную диалогическую коммуникацию и позволяя на их основе частично зафиксировать онтологически заданные особенности реплицирования, обусловленные языковой способностью носителя языка. При таком подходе метаоператоры сетевого диалога условно предстают как «показания языкового сознания» [29]. К примеру, в письменной коммуникации часто актуализируется интенция «ответить»: в ситуации, когда нужно ответить на сообщение в WhatsApp, на письмо, полученное по электронной почте, и пр. Нередко мы можем наблюдать и актуализацию интенции «поделиться»: носитель языка способен принять интенциональное решение «рассказать о прочитанном / услышанном X». При этом носители языка, как правило, делятся тем, что

им нравится, т.е. тем, что вызвало положительный эмоциональный отклик. Так, например, часто в мессенджере WhatsApp носители языка пересылают друг другу креолизованные тексты (картинки с текстами) различной природы – юмористические, мотивационные и пр.

Устанавливая корреляционные связи между техническими маркерами реплицирования и метаоператорами, регулирующими реальную языковую деятельность, мы пониманием условность этой связи и необходимость ее верификации на материале устной и письменной (технически не опосредованной) речи. Однако считаем, что описание метаоператоров диалога в сетевых диалоговых форматах коммуникации позволит прояснить условия появления второй реплики в диалоге, генезис которой определяется не только социальным контекстом (конверсационный анализ) и иллоктивной установкой инициальной реплики (прагмалингвистика), но и интенциональными состояниями самого адресата, принимающего осознанное решение о вступлении в диалог.

Результаты исследования

Метаязыковые операторы «Нравится», «Не нравится». Эти метаязыковые операторы, с нашей точки зрения, показывают, что реплицирование связано с эмоциональной или эмоционально-оценочной реакцией носителя языка на исходное высказывание. В данном случае наблюдается различная связь между метаязыковым оператором и второй репликой. С одной стороны, метаязыковой оператор и вторая реплика совпадают. Иначе говоря, когда носитель языка кликает на кнопки «Нравится / Не нравится», он тем самым создает ответную реплику. Можно провести аналогию с устной коммуникацией, в которой метаязыковой оператор актуализирует невербальное (мимическое) высказывание. С другой стороны, метаязыковой оператор – это проявление модусной рефлексии, которая определяет механизм запуска процесса реплицирования. Модусная рефлексия – это проявление метаязыковой деятельности, связанной с эмоциональным или эмоционально-оценочным отношением носителя языка к исходной реплике. Подробнее о модусной рефлексии см. в [30].

В качестве иллюстрации высказанного предположения о связи реплицирования и модусной рефлексии приведем фрагмент высказывания из социальной сети ВКонтакте. Данное высказывание было отмечено 1 545 «лайками», причем 10 пользователей поделились этим высказыванием на своей странице, а 8 пользователей оставили комментарий. Каждый «лайк» – это, с одной стороны, вторая реплика в диалоге, а с другой стороны, условие для появления второй реплики.

Безусловно, мы понимаем, что связь реплицирования и модусной рефлексии нуждается в верификации (подтверждении или опровержении), потому что выявить зависимость между наличием комментария (и количеством репостов) и «лайком» весьма трудно на современном этапе развития сетевых платформ, однако можно предположить, что, во-первых, отре-

флексированное высказывание станет цитируемым (транслируемым) фрагментом в устной или письменной коммуникации носителя языка с третьими лицами (ср. довольно часто встречаемые фразы типа «Вчера ВКонтакте прочитала / видела...» и т.п.), а во-вторых, нельзя исключать и того, что ответная реплика могла быть представлена в невербализуемой форме. Сказанное касается и самого невербализуемого высказывания «Нравится». Отсутствие «лайка» не означает также, что высказывание не понравилось или понравилось только 1 545 людям, очевидно, что многие пользователи только просматривают страницы в социальных сетях, не проявляя речевую активность.

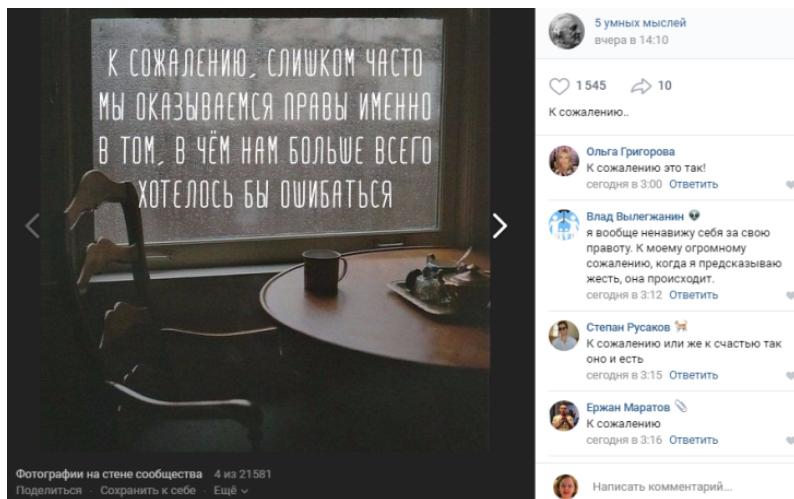


Рис. 1. Метаоператор «Нравится» как маркер реплицирования

Метаязыковой оператор «Поделиться». Данный метаязыковой оператор связан с предыдущим, так как результатом его активизации является трансляция исходного высказывания, которое можно рассматривать как условное начало диалога. Пилотное исследование социальных сетей показывает, что обычно трансляция сопровождается прагматической оценкой исходного высказывания, которая может быть связана с актуализацией прагматических модальностей согласия или несогласия или экспрессивных оценок, куда мы включаем и иронию, и юмор, и сарказм и пр., которые сложно идентифицировать в письменной коммуникации (за исключением случаев с использованием эмотиконов), но которые легко считаются в устной – непосредственной и опосредованной – коммуникации.

Анализируемый метаязыковой оператор показывает зависимость реплицирования от его ориентации на адресата (даже в автокоммуникации) и цитирования инициативной реплики, которое сопровождается той или иной прагматической или экспрессивной оценкой. Кроме того, обычно трансляция связана с актуализацией метаязыкового оператора «Нравится»,

который обуславливает деривационное функционирование исходной реплики. В этом контексте заметим, что, например, в социальной сети ВКонтакте опция «Поделиться» одновременно сопровождается опцией «Нравится». Это, конечно, служит косвенным доказательством рассматриваемой связи, так как теоретически поделиться можно и тем, что тебе не понравилось, по крайней мере, тем, что вызывает сомнение / несогласие. Кстати говоря, действие метаоператора «Поделиться» можно наблюдать и в письменной коммуникации – особенно при цитировании, и в устной речи – в формате, так сказать, косвенного цитирования.

Приведем пример реализации данного метаоператора. Один из пользователей социальной сети ВКонтакте репостнул следующую запись (рис. 2), при этом цитирование записи сопряжено с имплицитно заложенной модальностью согласия с вербальным текстом в составе креолизованного текста.



Рис. 2. Метаязыковой оператор «Поделиться» как маркер реплицирования

Носитель языка, репостнув данный креолизованный текст, сделал данное высказывание не только доступным другим адресатам (подписчикам), но и продемонстрировал им свое отношение к данному текстовому фрагменту; это отношение можно охарактеризовать как отношение согласия с содержанием высказывания, возникающее вследствие когнитивной гармонии фрагмента ценностной картины мира носителя языка и ценностями, заложенными в высказывании.

Метаязыковые операторы «Ответить» / «Комментировать». Данные метаязыковые операторы актуализируют появление второй реплики, запуская механизм реплицирования. При этом вторая реплика появляется как реакция на содержание или форму исходной реплики, рассматриваемой как самостоятельное высказывание – вне экстралингвистического кон-

текста. Но вторая реплика может появиться и как реакция на дискурсивный диктум или дискурсивный модус исходной реплики, рассматриваемой в контексте условий ее реализации. Анализируемые метаоператоры показывают, что носитель языка, вступая в коммуникацию, занимает позицию отвечающего или комментатора, предполагающую прагматическую мотивированность означаемого языкового знака из его означающего. Комментирование в этом случае – это не реализация жанрового канона, это, скорее, функциональная позиция (роль), которая может принимать разные жанровые формы на поверхностном уровне. Заметим, что актуализация данного метаоператора связана с метаоператорами «Нравится», «Не нравится» и с прагматическими и экспрессивными модальностями носителя языка – с активизацией его модусной рефлексии.

Приведем пример.

На сервере YouTube размещаются различные видеоролики, в том числе и видеоверсии телевизионных передач. При этом носители языка могут комментировать содержание просматриваемых записей. Так, к одной записи передачи «Вечерний Ургант» пользователь оставил следующий комментарий: *Урганту тяжеловато далось интервью с Ветлицкой... У него легкое замешательство было*.

Появление ответной реплики связано с оценочной интерпретацией интервью ведущего с гостью программы. Носитель языка выражает свое мнение, актуализируя юмористический модус.

Заключение

Завершая статью, отметим, что проблема реплицирования связана с проблемой диалогического функционирования языка. Реплицирование – это целенаправленный процесс, результатом которого становится вторая реплика; оно говорит о диалогической способности носителя языка, обусловливающей осуществление диалога.

Изучение механизмов, запускающих процесс реплицирования, – задача, которая стоит перед диалогической лингвистикой. Исследование данного процесса предполагает смещение гносеологической рефлексии с адресантоцентрической модели диалога на адресатоцентрическую модель, рассматривающую реплицирование как процесс, который осуществляется в ситуации ответа и регулируется интенциональными установками адресата.

В статье было показано, что реплицирование в диалоге связано с метаязыковыми операторами, которые служат маркером появления ответной (второй) реплики как отражения интенционального состояния адресата. Выявить метаязыковых операторов реплицирования позволяет обращение к сетевым диалоговым форматам, эксплицирующим метаязыковой компонент языковой деятельности, который в данном случае представлен как побочный элемент, что даёт возможность использовать технически определяемые метаязыковые операторы как источник для выявления специфики реплицирования в сетевом диалоге.

В работе показано, что метаязыковые операторы, такие как «Нравится», «Не нравится», «Поделиться», «Ответить», «Комментировать» определяют диалогическое функционирование высказывания в сети Интернет. Метаязыковые операторы «Нравится» / «Не нравится», показывают зависимость реплицирования от эмоционально-оценочной реакции носителя языка, включения инициативной реплики в зону модусной рефлексии. Метаязыковые операторы «Ответить», «Комментировать» демонстрируют связь реплицирования с ситуацией ответа, провоцирующей носителя языка на прагматическую выводимость означаемого из означающего. Данные метаязыковые операторы регулируют ретроспективный коммуникативный контакт, определяя появление второй реплики как ответной в ситуации диалога. Метаязыковой оператор «Поделиться» показывает зависимость реплицирования от ориентации на адресата и его связь с цитированием как процессом передачи чужой речи. Этот метаязыковой оператор ориентирован на проспективный коммуникативный контакт с потенциальным адресатом. При таком подходе ответная реплика становится в то же время инициальной репликой в «новом» диалоге.

Выделенные особенности метаязыковых операторов, с нашей точки зрения, могут быть верифицированы экспериментальным путем. Решение данной задачи составляет перспективу исследования. Ее решение позволит заложить теоретический фундамент для построения лингвистической теории реплицирования как отражения особенностей диалогического функционирования языка.

Литература

1. Аверорин В.А. Проблемы изучения функциональной стороны языка (к вопросу о предмете социолингвистики). Л. : Наука, 1975. 276 с.
2. Борисова И.Н. Русский разговорный диалог: Структура и динамика. М. : Изд-во ЛКИ, 2007. 320 с.
3. Колокольцева Т.Н. Специфические коммуникативные единицы диалогической речи. Волгоград : Изд-во Волгоград. гос. ун-та, 2001. 260 с.
4. Бахтин М.М. Собрание сочинений. Т. 5: Работы 1940–1960 гг. М. : Русские словари: Языки славянской культуры, 1997.
5. Якубинский Л.П. О диалогической речи. URL: <http://www.philology.ru/linguistics1/yakubinsky-86.htm> (дата обращения: 25.11.2019).
6. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. 1985. Вып. 16. С. 217–238.
7. Власян Г.Р. Прагматический подход к изучению диалогической речи. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmatischeskiy-podhod-k-izucheniyu-dialogicheskoy-rechi> (дата обращения: 25.11.2019).
8. Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. Иллокутивное вынуждение в структуре диалога // Вопросы языкоznания. 1992. № 2. С. 84–99.
9. Герасимова О.И. Прагматическая детерминированность ответных реплик высказывания // Языковое общение и его единицы. Калинин, 1986. С. 44–49.
10. Падучева Е.В. О связности диалогического текста // Структура текста-81 : тезисы симпозиума. Ин-т славяноведения и балканстики АН СССР. М., 1981. С. 20–22.
11. Арутюнова Н.Д. Феномен второй реплики, или О пользе спора // Логический анализ языка. Противоречивость и аномальность текста / отв. ред. Н.Д. Арутюнова. М., 1990. С. 175–189.

12. Шпильная Н.Н. Диалогический текст: деривационная концепция. М. : ЛЕНАНД, 2018. 384 с.
13. Улановский А.М. Феноменология разговора: метод конверсационного анализа. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-razgovora-metod-konversatsionnogo-analiza> (дата обращения: 25.11.2019).
14. Schegloff E.A. On some questions and ambiguities in conversation // Structures of Social Action: Studies in Conversation Analysis / eds. by M. Atkinson, J. Heritage. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. P. 28–52.
15. Psathas G. Conversation analysis: the study of Talk-in-Interaction. Thousand Oaks : Sage, 1995.
16. Levinson S. Pragmatics. Cambridge : Cambridge University Press, 1983.
17. Pomerantz A. Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes // Structures of social action / eds. by J. Atkinson, J. Heritage. Cambridge : Cambridge University Press, 1984. P. 57–101.
18. Шпильная Н.Н. Русский диалогический текст: деривационный аспект : дис. ... д-ра филол. наук. Кемерово, 2016. 624 с.
19. Шпильная Н.Н. Принцип диалогизма и его объяснительный потенциал при описании лексической системы русского языка // Диалогическая лингвистика. Барнаул, 2019. С. 7–22.
20. Диалогическая речь – основы и процесс. I Международный симпозиум, Йена (ГДР) 8–10 июня 1978 г. : доклады и выступления. Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1980. 340 с.
21. Дускаева Л.Р. Диалогическая природа газетных речевых жанров. СПб., 2012. 274 с.
22. Колокольцева Т.Н. Диалог и диалогичность в интернет-коммуникации. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-i-dialogichnost-v-internet-kommunikatsii> (дата обращения: 28.11.2019).
23. Гафт Р.И. Диалогические реакции как отражение восприятия речевого акта // Диалогическое взаимодействие и представление знаний. Новосибирск, 1985.
24. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. М., 1999. 287 с.
25. Ахутина Т.В. Порождение речи: Нейролингвистический анализ синтаксиса. М., 1989. 215 с.
26. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности: Избр. психол. труды. М., Воронеж, 2001. 432 с.
27. Тубалова И.В. Показания языкового сознания как источник изучения явления мотивации слов : автореф. дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1995. URL: <http://cheloveknauka.com/pokazaniya-yazykovogo-soznaniya-kak-istochnik-izucheniya-yavleniya-motivatsii-slov> (дата обращения: 28.11. 2019).
28. Обыденное метаязыковое сознание: онтологические и гносеологические аспекты. Ч. 3 / отв. ред. Н.Д. Голев. Кемерово : КемГУ, 2010.

Turn-Taking: The Second Conversational Turn and Metalanguage Dialogue Operators (Based on Dialogical Internet Formats)

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 185–200. DOI: 10.17223/19986645/71/11

Nadezhda N. Shpilnaya, Altai State Pedagogical University (Barnaul, Russian Federation). E-mail: venata85@mail.ru

Keywords: turn-taking, dialogue, second conversational turn, metalanguage operator, network dialogue platforms.

The study has been supported by the grant of the President of the Russian Federation for young scientists – doctors of sciences, No. MD-3824.2021.2.

The article discusses the problem of turn-taking in dialogue associated with solving the question of the genesis of a response. The aim of the article is to determine conditions under which the second conversational turn appears in a dialogue. The article analyzes the metalanguage contexts of the addressee's intentional state presented in the form of dialogue meta-operators. The latter are understood as verbalized or non-verbalized statements, which are markers of the intentional state of the addressee who decides to make a second conversational turn in the dialogue. The material for the analysis was the network dialogue platforms: social networks Vkontakte, Facebook, Instagram focused on dialogical (polylogical) communication; the public server YouTube, which has a dialogically oriented communication format. The analyzed metalanguage operators of the dialogue were options of the dialogue formats of the Internet: "Like", "Dislike", "Share", "Comment", "Reply". The analytical-descriptive method was used as the main one in the study; it allowed describing the role of meta-operators in turn-taking. Following L.P. Yakubinsky, turn-taking is seen as a manifestation of a native speaker's dialogical ability realized in a response situation. Turn-taking is one of the components of the model of generating a dialogical utterance responsible for the segmentation of the initial replica and only then the creation of a response (second) conversational turn. The work shows that the metalanguage operators "Like", "Dislike", "Share", "Reply", "Comment" determine the dialogical functioning of an utterance on the Internet. The metalanguage operators "Like"/"Dislike" show the dependence of turn-taking on the native speaker's emotional-evaluative reaction, the inclusion of the initial turn in the modus reflection zone. The metalanguage operators "Reply" and "Comment" demonstrate the connection between turn-taking and the response situation, provoking the native speaker to pragmatically deduce the signified from the signifier. These metalinguistic operators regulate retrospective communicative contact and determine the emergence of the second remark as a response in the dialogue situation. The metalanguage operator "Share" shows the dependence of turn-taking on the orientation towards the addressee and its connection with quotation as transmission of someone else's speech. This metalinguistic operator is focused on prospective communicative contact with a potential addressee. With this approach, the response becomes at the same time the initial phrase in a "new" dialogue.

References

1. Avrorin, V.A. (1975) *Problemy izucheniya funktsional'noy storony yazyka (k voprosu o predmete sotsiolingvistiki)* [Problems of Studying the Functional Side of Language (To the question of the subject of sociolinguistics)]. Leningrad: Nauka.
2. Borisova, I.N. (2007) *Russkiy razgovornyy dialog: Struktura i dinamika* [Russian Conversational Dialogue: Structure and Dynamics]. Moscow: Izd-vo LKI.
3. Kolokol'tseva, T.N. (2001) *Spetsificheskie kommunikativnye edinitsy dialogicheskoy rechi* [Specific Communicative Units of Dialogic Speech]. Volgograd: Volgograd State University.
4. Bakhtin, M. M. (1997) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 5. Moscow: Russkie slovari; Yazyki slavyanskoy kul'tury.
5. Yakubinskiy, L.P. (1986) O dialogicheskoy rechi [On Dialogic Speech]. *Philology.ru. Russkiy filologicheskiy portal* [Philology.ru. Russian Philological Portal]. [Online] Available from: <http://www.philology.ru/linguistics1/yakubinsky-86.htm> (Accessed: 25.11.2019).
6. Grice, H.P. (1985) Logika i rechevoe obshchenie [Logic and speech communication]. Translated from English. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Novoe v zarubezhnoy lingvistike* [New in foreign linguistics]. Vol. 16. Moscow: Progress. pp. 217–238.
7. Vlasyan, G.R. (2010) Pragmatic aspect of dialogue. 2 (23). *Voprosy kognitivnoy lingvistiki – Issues of Cognitive Linguistics*. pp. 102–110. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/pragmatics-kiy-podhod-k-izucheniyu-dialogicheskoy-rechi> (Accessed: 25.11.2019). (In Russian).

8. Baranov, A.N. & Kreydlin, G.E. (1992) Illokutivnoe vynuzhdenie v strukture dialoga [Illocutionary compulsion in the structure of dialogue]. *Voprosy Yazykoznaniya*. 2. pp. 84–99.
9. Gerasimova, O.I. (1986) Pragmatische determinirovannost' otvetnykh replik vyskazyvaniya [Pragmatic determinism of response remarks of a statement]. In: *Yazykovoe obshchenie i ego edinitsy* [Linguistic Communication and Its Units]. Kalinin: Kalinin State University. pp. 44–49.
10. Paducheva, E.V. (1981) O svyaznosti dialogicheskogo teksta [On the connectivity of the dialogic text]. In: Ivanov, Vyach.Vs., Sudnik, T.M. & Tsiv'yan, T.V. (eds) *Struktura teksta-81* [Structure of Text-81]. Moscow: Institute of Slavic Studies USSR AS. pp. 20–22.
11. Arutyunova, N.D. (1990) Fenomen vtoroy repliki, ili o pol'ze spora [The phenomenon of the second remark, or about the benefits of the dispute]. In: Arutyunova, N.D. (ed.) *Logicheskiy analiz yazyka. Protivorechivost' i anomal'nost' teksta* [Logical Analysis of Language. Inconsistency and Anomalous Text]. Moscow: Nauka. pp. 175–189.
12. Shpil'naya, N.N. (2018) *Dialogicheskiy tekst: derivatsionnaya kontsepsiya* [Dialogic Text: A derivational concept]. Moscow: LENAND.
13. Ulanovskiy, A.M. (2016) Phenomenology of conversation: method of conversation analysis. *Voprosy psicholinguistiki – Journal of Psycholinguistics*. 1 (27). pp. 218–237. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenologiya-razgovora-metod-konversationsnogo-analiza> (Accessed: 25.11.2019). (In Russian).
14. Schegloff, E.A. (1984) On some questions and ambiguities in conversation. In: Atkinson, M. & Heritage, J. (eds) *Structures of Social Action: Studies in conversation analysis*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 28–52.
15. Psathas, G. (1995) *Conversation Analysis: The study of talk-in-interaction*. Thousand Oaks: Sage.
16. Levinson, S. (1983) *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
17. Pomerantz, A. (1984) Agreeing and disagreeing with assessments: some features of preferred/dispreferred turn shapes. In: Atkinson, M. & Heritage, J. (eds) *Structures of Social Action*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 57–101.
18. Shpil'naya, N.N. (2016) *Russkiy dialogicheskiy tekst: derivatsionnyy aspekt* [Russian dialogic text: derivational aspect]. Philology Dr. Diss. Kemerovo.
19. Shpil'naya, N.N. (2019) Printsip dialogizma i ego ob'yasnitel'nyy potentsial pri opisanii leksicheskoy sistemy russkogo yazyka [The principle of dialogism and its explanatory potential in the description of the lexical system of the Russian language]. In: Voronets, M.V. & Tyukaeva, N.I. (eds) *Dialogicheskaya lingvistika* [Dialogue Linguistics]. Barnaul: Altai State Pedagogical University. pp. 7–22.
20. Eschke, H. (ed.) (1980) *Dialogicheskaya rech' – osnovy i protsess* [Dialogic Speech – the Basis and the Process]. Proceedings of the 1st International Symposium. Jena. 8–10 June 1978. Tbilisi: Tbilisi State University.
21. Duskaeva, L.R. (2012) *Dialogicheskaya priroda gazetnykh rechevykh zhanrov* [The Dialogic Nature of Newspaper Speech Genres]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State University.
22. Kolokol'tseva, T.N. Dialogues in Internet communication. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta – Izvestia of the Volgograd State Pedagogical University*. 8 (62). pp. 128–133. [Online] Available from: <https://cyberleninka.ru/article/n/dialog-i-dialogichnost-v-internet-kommunikatsii> (Accessed: 28.11.2019). (In Russian).
23. Gaft, R.I. (1985) Dialogicheskie reaktsii kak otrazhenie vospriyatiya rechevogo akta [Dialogic reactions as a reflection of the perception of a speech act]. In: *Dialogicheskoe vzaimodeystvie i predstavlenie znanii* [Dialogic Interaction and Knowledge Presentation]. Novosibirsk: SB USSR AS.
24. Leont'ev, A.A. (1999) *Osnovy psicholinguistiki* [Fundamentals of Psycholinguistics]. Moscow: Smysl.
25. Akhutina, T.V. (1989) *Porozhdenie rechi. Neyrolingvisticheskiy analiz sintaksisa* [Generation of Speech. Neuro-linguistic analysis of syntax]. Moscow: Moscow State University.

26. Zimnyaya, I.A. (2001) *Lingvopsikhologiya rechevoy deyatel'nosti* [Linguopsychology of Speech Activity]. Moscow; Voronezh: Moscow Psychological and Social Institute; MODEK.
27. Tubalova, I.V. (1995) *Pokazaniya yazykovogo soznaniya kak istochnik izucheniya yavleniya motivatsii slov* [Indications of linguistic consciousness as a source of studying the phenomenon of word motivation]. Abstract of Philology Cand. Diss. Tomsk. [Online] Available from: <http://cheloveknauka.com/pokazaniya-yazykovogo-soznaniya-kak-istochnik-izucheniya-yavleniya-motivatsii-slov> (Accessed: 28.11. 2019).
28. Golev, N.D. (ed.) (2010) *Obydennoe metayazykovoe soznanie: ontologicheskie i gnoseologicheskie aspekty* [Ordinary Metalanguage Consciousness: Ontological and Epistemological Aspects]. Pt 3. Kemerovo: Kemerovo State University.

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 821.161.1 + 1:811.162.4'255.2

DOI: 10.17223/19986645/71/12

Н.В. Барковская, А. Громинова

АНТОЛОГИЯ «RUSKÁ MODERNA» (2011): ОПЫТ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА РУССКОЙ ПОЭЗИИ В СЛОВАКИИ

Рассматривается первая словацкая антология русского модернизма, знакомящая читателя с той частью русской поэзии, которая была недоступна в советский период. Отмечается соответствие словацкой антологии тем параметрам, которые намечают современные исследователи поэтического книгоиздательства. Внимание уделяется оформлению книги, визуальной составляющей обложки, функции иллюстративного материала, принципам отбора отдельных стихотворений. На примере включенных в антологию переводов трех стихотворений И. Анненского делается вывод о следовании словацких авторов принципам «петербургской / ленинградской» школы поэтического перевода.

Ключевые слова: поэтическая антология, русская поэзия, русские поэты, поэтическое творчество, поэтический перевод, Серебряный век, словацкий язык, переводная литература

В 2011 г. вышла из печати первая словацкая антология, представившая круг авторов и произведений, составивших славу Серебряного века в русской поэзии. Культурный обмен между Россией и европейскими странами бывшего социалистического лагеря кажется сегодня особенно актуальным. Это касается и общемирового пространства. Д. Бахманн-Медик, анализируя состояние современной гуманитаристики, пишет: «В особенности глобальные вызовы перевода, влияние английского языка как гегемонного языка международного общения и сопутствующей ему неизбежной унификации, а также непрекращающиеся попытки озвучить и утвердить различия в возникающем мировом обществе играют решающую роль в появлении на свет переводческого поворота, делая перевод этнологически обогащенной социологической категорией и важной культурной техникой» [1. С. 287]. Как указывал еще В.М. Жирмунский, чем культурнее народ, тем теснее его взаимодействия с другим народом» [2. С. 177–186]. Не стоит забывать также понятие, которое использовал Диониз Дюришин: «литературная общность». Словацкий ученый видел этническое родство литератур, объясняющееся сходством исторических обстоятельств, экономической и общественно-политической основы, похожим укладом жизни народов, языковой близостью. Д. Дюришин писал: «В литературной общности мы имеем дело с взаимопересечением литературных тенденций, скрещиванием отечественных и инонациональных литературных ценностей <...>

литературы сравнительно часто выступают друг для друга посредниками в передаче инонациональных ценностей» [3. С. 118–121].

Антология русского модернизма собрана словацким филологом и поэтом Валерием Купкой и издана в Братиславе в 2011 г. при поддержке Министерства культуры Словацкой Республики [4]. Это вторая часть большого проекта «Лирика XX века» издательства «Словарт», включающего в себя четыре антологии:

– *Битники* (Beatnici), 2010, сост. Марьян Андричик, антология поэзии битников, подборка из поэзии 15 американских авторов, самых значительных представителей beat generation;

– *Русский модернизм* (Ruská moderna), 2011, сост. В. Купка;

– *Русский авангард* (Ruská avantgarda), 2014, сост. В. Купка;

– *Центральноевропейский модернизм* (Stredoeurópska moderna), 2016, сост. Zornitza Kazalarska (Зорница Казаларска) – поэзия более 50 немецких, австрийских, польских, чешских, венгерских, румынских, словенских, хорватских, сербских, болгарских представителей модернизма; из словацких модернистов представлено творчество Янка Есенского, Ивана Краска, Владимира Роя, Франтишка Вотрубы.

Факт издания антологии русского модернизма в Словакии заслуживает внимания как симптом вновь возникшего внимания к русской литературе: не секрет, что в постсоветское время интерес словацкого читателя к русским писателям значительно ослабел. До 1989 г. переводы с русского языка составляли доминирующую часть переводов зарубежных литератур в Словакии. Однако после «Бархатной революции» (словацк. *Nežná revolúcia*), состоявшейся в 1989 г. в (тогда еще) Чехословакии. Коммунистическая партия была отстранена от власти и произошёл демонтаж социалистического режима в стране, и с 1989 по 1995 г. русская литература на несколько лет почти исчезла из словацкой культуры. С начала 1990-х гг. культура Запада стала новым «образцом» для посткоммунистических стран, в том числе Словакии, о чем свидетельствует также то, что в первой половине 1990-х гг. переводы англоязычных литератур составляли 2/3 всей переводной продукции. Несмотря на это, во второй половине 1990-х гг., а тем более в первых годах нового тысячелетия интерес к русской литературе постепенно повышается. Кроме пользовавшейся большой популярностью в словацкой среде русской классики XIX и XX вв., все больше внимания привлекает современная русская литература.

Тем ценнее те усилия, которые сегодня прилагают словацкие переводчики для того, чтобы ознакомить читателей с той частью русской литературы, которая была табуирована в советский период. Это касается русского модернизма, поэзии Серебряного века. Замечательная сама по себе, эта поэзия интересна словацкому читателю еще и потому, что в Словакии и Чехии существовала своя модернистская литература (slovenská a česká literárna moderna), и ее влияние до сих пор весьма значительно на словацкую поэзию. Модернизм был общеевропейским направлением в искусстве рубежа XIX–XX вв., так что труд, предпринятый Валерием Купкой, воссоздает часть этого историко-литературного явления, предоставляя словац-

кому читателю возможность знакомства с русской поэзией символизма, акмеизма и других литературных течений той эпохи. Кроме того, Валерий Купка преподает русскую литературу в Прешовском университете, так что данная антология имеет прямую практическую ценность в образовательном процессе. Антология широко используется также другими студентами и преподавателями словацких кафедр русистики.

Рассматриваемая антология отвечает концепции поэтической книги как сложного многокомпонентного художественного единства. Феномен книги стихов наиболее ярко заявил о себе в поэзии русского символизма: Валерий Брюсов («*Urbi et orbi*»), Андрей Белый («Золото в лазури», «Пепел»), Александр Блок (предисловие к трехтомнику лирики 1911 г.) заложили основы трактовки книги стихов как единого целого. В творчестве символистов именно книга позволяла выразить целостный миф о мире, преодолевая принципиальную фрагментарность лирического стихотворения. Для поэтических книг символистов характерны продуманные названия, наличие стихотворения-эпиграфа, задающего основные мотивы книги, единый сюжет-миф. Архитекторика книг тяготела к циклическому типу и выстраивалась в основном благодаря лейтмотивам. Теорией и практикой поэтического книготворчества активно занимаются сегодняшние исследователи. Назвовём, прежде всего, монографию О.В. Мирошниковой «Итоговая книга стихов последней трети XIX века: архитекторика и динамика жанра», по классификации которой антология может быть отнесена к типу «книги-композиции», «полициклическому макрожанровому образованию» [5. С. 55]. Сквозной метасюжет как важнейший компонент книги стихов исследовал Н.Л. Лейдерман [6. С. 389–424]. Вопросы теории и разновидностей поэтических книг рассматривались в статьях (например, [7]), монографиях (например, [8, 9]).

Говоря о практике современного поэтического книгоиздания, следует отметить возрастание нагрузки (и семантической и композиционной) на так называемый полиреферентный план книги (заглавие, эпиграф, посвящение, предисловие и/или издательская аннотация, деление на разделы, оформление обложки). Антология стихов представляет собой особый вид организации поэтического материала, подчиненный замыслу составителя и издателя, определенный спецификой целевой аудитории, на которую рассчитана антология, характеризующийся особой разработанностью полиреферентного плана. Практики составления и издания современных поэтических антологий рассматривают: Д. Кузьмин в своей работе *В зеркале антологий* [10], У.Ю. Верина в разделе *Поэтическая антология как сверхтекстовое единство* [11] или в статье *Современная поэтическая антология: генезис, типология* [12], Ю.С. Подлубнова в труде *Антологика. Русская поэзия и практика современного книгоиздания* [13] и др.

Характеризуя словацкую антологию русского модернизма, следует учитывать и ее переводной характер. Перевод модернистской поэзии представляет особые трудности, поскольку прямое значение слов становится только отправной точкой для процесса символизации, смысл поэтических образов суггестивный, достаточно зыбкий и субъективный. Для символи-

стов первостепенную роль играла музыка стиха, ритмические и фонетические эффекты, которые невозможно адекватно передать на ином языке. И.Ф. Анненский, замечательный поэт и переводчик, писал: «Переводить лирика – труд тяжелый, и чаще всего неблагодарный. Переводчику приходится, помимо лавирования между требованиями двух языков, еще балансировать между вербальностью и музыкой, понимая под этим словом всю совокупность эстетических элементов поэзии, которых нельзя искать в словаре. Лексическая точность часто дает переводу лишь обманчивую близость к подлиннику, – перевод является сухим, вымученным и за деталями теряется передача концепции пьесы. С другой стороны, увлечение музыкой грозит переводу фантастичностью. Соблюсти меру в субъективизме – вот задача для переводчика лирического стихотворения» [14. С. 202].

Как известно, существуют разные взгляды на возможность / невозможность поэтического перевода. Если В.А. Жуковский полагал, что поэтический (и достаточно вольный) перевод вполне допустим, то А.А. Фет был сторонником только перевода «буквалистского». М.Л. Гаспаров, стиховед и переводчик, редактор антологии «Русская поэзия серебряного века. 1890–1917» [15], саркастически заметил: «...Фет, выламывая в своих переводах русские гексаметры так, чтобы они чуть ли не слово в слово совпадали с латинскими подлинниками, мог испытывать чувство уголяемого переводческого мазохизма» [16. С. 147]. Различаются петербургская / ленинградская и московская школы поэтического перевода [17. С. 222–241; 18. С. 190–208]. Требования первой сформулировал в 1919 г. Н.С. Гумилев в статье «Переводы поэтические». Глава акмеистов полагал, что переводчик должен соблюдать следующие параметры: число строк; метр и размер; чередование рифм; характер *enjambement*; характер рифм; характер словаря; тип сравнений; особые приемы; переходы тона [19. С. 69–74]. Согласно этим заповедям переводчик сориентирован на формальную, ритмико-интонационную сторону стиха.

М.Л. Гаспаров полагал, что невозможно следовать за формальной стороной переводимого текста [20. С. 371–372; 21. С. 46]. Академик В.Е. Багно, директор Института русской литературы (Пушкинский Дом), приходит к выводу, что русская школа перевода в целом рассматривает перевод как интерпретацию [22. С. 45]. Он пишет: «Художественный перевод, как рентгеновский снимок, фиксирует эту единственную возможную форму нашего погружения в текст – интерпретацию» [22. С. 329]. В.Е. Багно включает в требования к адекватному переводу создание функциональных соответствий: а) национального своеобразия подлинника; б) характерных черт литературной эпохи; в) индивидуальных особенностей авторской манеры [22. С. 57]. При этом подчеркивается, что важен выбор переводчиком доминант – что считать главным в конкретном случае: содержание, стилистику, метрическую схему, ритмические и фонетические особенности; задача перевода – донести до читателя общий контур структуры оригинала.

Учитывая идеи выдающихся мастеров перевода, обратимся к рассмотрению антологии русского модернизма, изданной в Словакии под редакцией Валерия Купки.

Задача данной антологии – дать по возможности целостное представление о модернистских течениях в русской поэзии рубежа XIX – XX вв., т.е. это не антология поэтов или жанров, а именно антология поэзии определенного периода. Этим продиктована структура издания.

Оформление (графическая подготовка и подготовка для печати Эвы Ковачевичевой-Фудала) создает необходимый культурный фон, ведь модернизм характеризовался тягой к синтезу видов искусств, ярко проявился не только в поэзии, но и в живописи, полиграфии. На обложке воспроизведен фрагмент картины К.А. Сомова «Арлекин и смерть» (1907). Петербургский денди и эстет, член «Мира искусства», Сомов был одной из знаковых фигур модернизма, мастером иронической стилизации. Для его картин характерно сочетание эротизма и мертвенностии, игривости и порочности – то, что свойственно атмосфере декаданса. Тема маски и маскарада, мотив *danse macabre*, пародийное двойничество Эроса и Танатоса, присущие картине К.А. Сомова, не только перекликаются с аналогичными темами в поэзии Ф. Анненского и Ф. Сологуба, А. Блока и А. Белого, но и соответствуют названию вступительной статьи, написанной составителем антологии – «Поэзия предапокалиптической тревоги» («Poézia predapokalypptickeho perokoja»). Сквозь яркие краски одежды Арлекина на картине Сомова проступает густая чернота фона, словно бы символизирующая надвигающуюся бездну.

На форзаце на блеклом светло-голубом фоне с элементами растительного декора помещены обложки ведущих журналов той эпохи: «Новый путь», «Мир искусства», «Золотое руно», «Вопросы жизни», «Северные цветы». Такой же светло-голубой тон будет выдержан на всех шмуктитулах, а характерный для модернизма растительный декор будет обрамлять тексты и фотографии поэтов на этих страницах, предваряющих подборки стихов. На белых страницах с текстом стихотворений за черным шрифтом поэтических строк просвечивают то фрагмент рукописи, то причудливые линии виньетки. Так создается единый, элегический настрой всей антологии – ведь деятелей искусства начала XX в. ждала трагическая судьба, а их творчество на долгое время стало «невидимым» для читателя. Текстом-эпиграфом ко всей антологии избрано стихотворение К.Д. Бальмонта «Заклинание огня и воды» – нежное, напевное, оно содержит в себе мифологемы пути, огня, воды, камня, раскрывает тему служения идеалу.

В антологии много фотографий поэтов, обложек стихотворных сборников, например: *Символизм* А. Белого [4. С. 89], *Весна* С. Городецкого [4. С. 109], *Камень* О. Мандельштама [4. С. 133] и др., а также иллюстрации (например, рисунок А. Белого к роману *Петербург*, 1911, [4. С. 82]; рисунок О. Мандельштама А. Зельмановой-Чудовской, ок. 1914 [4. С. 132] и др.), афиши литературных вечеров [4. С. 117]). Это также расширяет представление о визуальном облике эпохи Серебряного века: лица и прически, одежда, позы, в которых запечатлены поэты, воспроизведенные автографы поэтов. Особенно интересно, когда представлены не одна, а несколько фотографий или портретов автора: например, на с. 55–58 мы видим несколько фотографий З.Н. Гиппиус, демонстрирующих разные грани ее имиджа, и воспроизведение картины Л. Бак-

ста, где Гиппиус изображена в мужском костюме денди, с вызовом смотрящей на зрителя; на с. 62–63, 69 лицо Брюсова смотрит на нас не только с фотографии, но и с портрета работы М. Врубеля, где усилены демонические черты главы московских символистов.

Задаче воссоздания культурного контекста подчинена и структура каждого раздела о конкретном авторе. На форзаце, помимо фотографии поэта, приводится выдержка из отзывов критики или из статей самого автора, затем следуют краткая биографическая справка, несколько избранных стихотворений, а в конце – подборка цитат из отзывов критики того времени. Вместе с обложками журналов имена и мнения критиков дополняют литературный контекст эпохи.

Принципы отбора и расположения поэтического материала. За образец взята, как нам кажется, «Антология русской лирики первой четверти XX века» И.С. Ежова, Е.И. Шамшурина, изданная в 1925 г., когда еще не было жесткого запрета на поэтические эксперименты [23].

В антологии И.С. Ежова и Е.И. Шамшурина были следующие разделы:

- Вступительный очерк.
- Предтечи символизма и ранние символисты.
- Символисты и поэты, связанные с символизмом.
- Акмеисты и поэты, связанные с акмеизмом.
- Футуристы и поэты, связанные с футуризмом.
- Имажинисты и поэты, связанные с имажинизмом.
- Поэты, не связанные с определенными группами.
- Пролетарские поэты, крестьянские поэты.
- Библиография.

Валерий Купка также структурирует материал по течениям:

– Вступительный очерк.

– Символисты (Вл. Соловьев, Н. Минский, И. Анненский, Ф. Сологуб, Дм. Мережковский, Вяч. Иванов, Аллегро (Поликсена Соловьева), К. Бальмонт, З. Гиппиус, Ю. Балтрушайтис, В. Брюсов, А. Добролюбов, Вл. Гиппиус, И. Коневской, Эллис (Л. Кобылинский), А. Белый, А. Блок, В. Гофман, С. Соловьев).

– Акмеисты (С. Городецкий, Н. Гумилев, В. Нарбут, А. Ахматова, О. Мандельштам, М. Зенкевич, Г. Адамович, Г. Иванов).

– Поэты, не связанные с литературными группами (И. Бунин, М. Кузмин, М. Волошин, В. Комаровский, Вл. Ходасевич, М. Цветаева).

– Алфавитный указатель авторов, включенных в антологию, с короткими биографическими справками.

- Избранная библиография.

По понятным причинам пролетарские поэты не вошли в антологию Себрянского века, а футуризм станет предметом освещения в следующем выпуске антологии.

Такая логика не вызывает возражений. Однако внутри разделов порядок расположения авторов не всегда понятен. Почему-то среди зачинателей символизма («предсимволистов») наряду с В. Соловьевым и Н. Минским

присутствует И. Анненский, творчество которого обычно соотносят со «старшими» символистами или даже с акмеизмом. Стихи З. Гиппиус помещены значительно позднее, чем Д. Мережковского. Зато странички, посвященные Вяч. Иванову, традиционно соотносимого со «второй волной» символизма, опередили и З. Гиппиус, и Ф. Сологуба, и В. Брюсова. Тем не менее во вступительном очерке составитель вполне четко различил две генерации русского символизма («старших» и «младших» символистов). В разделе «Поэты, не связанные с литературными группировками» присутствуют, помимо М. Кузмина, и В. Ходасевич, М. Цветаева, чей расцвет творчества пришелся все-таки на 1920-е гг., совсем в других условиях – не в преддверии «апокалипсиса», а уже в постапокалиптическую эпоху. Но антологии литературы эмиграции не планировалось, так что хорошо, что эти авторы все-таки представлены своим ранним творчеством.

Во вступительной статье Валерий Купка цитирует известные слова Н. Бердяева из «Самопознания» о ренессансе русской культуры в начале XX в. В соотнесении с названием вступительного очерка сразу обозначается «интрига» эпохи: все охвачены тревогой в ожидании краха и одновременно идет ренессанс, т.е. возрождение. Такой зacin антологии должен найти реализацию в отборе отдельных стихотворений каждого из авторов, чтобы были выражены оба чувства – и тревоги, и душевного подъема. По большей части этот принцип удалось воплотить в подборках стихотворений. Однако из «Трилогии вочеловечения» А. Блока представлены только стихи 1910-х гг., примеры из «Стихов о прекрасной dame» или «Города», «Снежной маски» отсутствуют, а значит, теряется и эволюция героя Блока, ключевая для него идея Пути.

Однако автор-составитель вправе избирать тот материал, который посчитал необходимым, учитывая сжатый объем антологии. Нашлось место и для тех авторов, которые гораздо менее известны, чем всеми признанные «мэтры»: представлены и Владимир Гиппиус, и Иван Коневской, и Виктор Гофман, и Василий Комаровский. В подборку каждого автора включены как хрестоматийные, «знаковые» произведения, так и менее известные. Например, у Ф. Сологуба первым представлено стихотворение-декларация «Я бог таинственного мира...» (1896), затем следует стихотворение «Живы дети, только дети...» (1897), где образу смерти придается глумливый оттенок за счет использования просторечий: смерть *шатается, махает, укатит на черной тачке*. Центр подборки занимает самое известное стихотворение Сологуба «Чертовы качели» (1907), в котором бесовщина порождается грубым разговорным оборотом «черт с тобой». Затем представлены еще несколько текстов, а завершает подборку стихотворение «Цветы для наглых, вино для сильных, / Рабы послушны, тому кто смел...» (1914), проникнутое скепсисом Сологуба, его неверием в возможность улучшения жизни (характерно, что опубликовано стихотворение впервые в 1917 г.). Таким образом, продемонстрированы и ключевые мотивы Сологуба (одиночество, презрение к людям, тяготение к смерти-утешительнице), и общие очертания его дореволюционной поэзии.

В роли переводчиков выступили шесть словацких поэтов: Юрай Андричик (Juraj Andričík), Ян Бузаши (Ján Buzássy), Ян Квапил (Ján Kvapil), Ян Штрассер (Ján Štrasser), Ян Замбор (Ján Zambor), Ивана Купкова (Ivana Kupková). Не имея возможности рассмотреть все переводы, остановимся только на переводах стихотворений И.Ф. Анненского, выполненных Яном Бузаши.

Иннокентий Анненский – не только поэт, но и филолог-классик, переводчик Еврипида, автор критических статей о поэзии («Книги отражений»). Владимир Вейдле в статье «О непереводимости» сравнивал переводы стихотворения И.В. фон Гёте, выполненные М.Ю. Лермонтовым («Горные вершины...») и Анненским («Над высью горной...») [24. С. 78–79]. Признавая достоинства перевода Анненского («Нет сомнения, что Анненский тут гораздо ближе к Гёте, чем Лермонтов, ближе по смыслу, по ритму, по богатству затаенных, не сразу проступающих звучаний и видений, по насыщенности смыслом. Его строчки требуют вдвое или втрое более медленного чтения, чем лермонтовское стихотворение...»), критик тем не менее отмечает, что Анненский много привнес своего в исходный текст, его перевод «слишком шершав». С ним солидарен и А.В. Фёдоров: «Как и все большие поэты, Анненский переводил по влечению сердца», его переводы слишком далеко отходят от подлинника [14. С. 196].

В какой-то степени, это облегчало задачу словацкого переводчика, который мог не слишком буквально следовать за текстом русского поэта. Обратимся к переводу стихотворения «Дремотность». В антологии это стихотворение включено в «Трилистник дождевой», что свидетельствует о знакомстве словацких авторов с текстологическими сложностями, касающимися состава книги «Кипарисовый ларец». Если В.А. Фёдоров в издании лирики Анненского ориентировался на первое издание книги, осуществленное сыном поэта В. Кривичем в 1910 г., где «Дремотность» входила не в указанный трилистник, а в раздел «Разметанные листы», то есть и традиция включать данное стихотворение в «Трилистник дождевой», опираясь на рукопись «Кипарисового ларца» О.П. Хмара-Барщевской [25. С. 307–316].

<i>Дремотность</i> <i>Сонет</i>	<i>Driemota</i>
<p>В гроздьях розово-лиловых Безуханная сирень В этот душно-мягкий день Неподвижна, как в оковах.</p> <p>Солнца нет, но с тенью тень В сочетаньях вечно новых, Нет дождя, а слез готовых Реки – только литься лень</p> <p>Полусон, полусознанье, Грусть, но без воспоминанья, И всему простит душа...</p>	<p>V strapcoch ružofialový bez vône je orgován, deň je dusný, ani van, zmeravený pre okovy.</p> <p>Slnka niet, no s tieňom tieň stále nový celé veky, dažďa niet, no súz sú rieky, iba liať sa celý deň.</p> <p>Polosen a polozdanie, smútok, no nie spomíname duša všetkým odpustí...</p>

<p>А, доняв ли, холод ранит, Мягкий дождик не спеша Так бесшумно барабанит.</p>	<p>Dobiedzavý chlad ťa raní, ľahký dáždik zašuští tíško zahrá na tympany</p>
<p>[4. С. 25]</p>	

Общая структура стихотворения Анненского сохранена: и форма сонета, и система рифмовки, и даже четырёхстопный хорей. Последнее особенно важно, так как сонет Анненского написан не обычным для русского сонета ямбом, а хореем, и эта особенность сохранена в переводе. Метрическая «неправильность» у Анненского может быть объяснена общим парадоксальным характером образных мотивов, передающих дремотное состояние и природы и человека: сирень – но без запаха, так как нет ветерка, день мягкий, но сирень – «в оковах», солнца нет, но есть игра теней, нет дождя – но реки слез готовы. Смутное, дремотное состояние тягостно, и даже чувствуется облегчение, когда сердечная боль заставляет слезы пролиться, так же как томление в душный день перед дождем разрешается дуновением холода, и дождь наконец-то начинается, принося свежесть. Последняя строка (сонетный замок) также содержит оксюморон: дождик «бесшумно барабанит» [26. С. 157].

Перевод максимально близок к оригиналу, возможно, этому способствует и родственность русского и словацкого языков. Обращают на себя внимание только несколько моментов. Слово «дремотность» в названии у Анненского акцентирует внутреннее состояние субъекта, словацкое слово «*Driemota*» означает состояние, менее привязанное к конкретному субъекту. Во втором кратене у Анненского использован *enjambement* и слово «Реки» дополнительно выделено паузой (тире). Тем самым подчеркивается, что в душе лирического героя не просто грусть, но – много горя, так много, что уже даже нет сил плакать, душа изнемогла, устала. В переводе все строки интонационно завершены. Переводчик также заменил слово «лень» (опять-таки характеризующее состояние лирического героя, его внутреннюю усталость) на слово «день», внося смысловой оттенок «длящегося времени». Наконец, в finale вместо выражения «бесшумно барабанит» (дождь) стоит строка: «тихо играет на тимpanах» («*tíško zahrá na tympany*»), при этом парадоксальность исчезает, остается только тихая музыка дождя.

Разумеется, это вовсе не упреки в адрес переводчика. Мы только хотели подчеркнуть, что буквального совпадения, полной адекватности быть не может. Владимир Вейдле писал о непереводимых местах в поэтических текстах [24. С. 78–79]. Д.С. Лихачев в «Заметках о русском» видел в непереводимости таких русских слов, как воля, удаль, подвиг, умиление (к таким можно отнести и дремотность) «этноспецифичность» концептосфера языка. В.Е. Багно дополняет: много трудностей возникает у переводчиков со словами судьба, душа, пошлость, уют, равнодушие, дорватьсяся, деликатность, скверна и проч. [22. С. 84]. Более того, он уверен: «Переводческие поиски и решения <...> имеют огромное значение для диалога культур, для формирования образа России в мире, поскольку нередко именно в

непереводимых словах заключается клубок национальных жизненных принципов, установок и ценностей» [22. С. 88].

Поэтическая речь Анненского характеризуется допущением просторечий и прозаизмов. Удаётся ли при переводе сохранить эти стилистические оттенки, важное средство выражения трагической иронии?

<i>Трактир жизни</i>	<i>Hostinec života</i>
Вокруг белеющей Психеи Те же фикусы торчат, Те же грустные лакеи, Тот же гам и тот же чад...	Vôkol bieloskvúcej Psyché fikusy tie isté, k nim smútky sluhov iba tiché, vždy ten istý hrmot, dym.
Муть вина, нагие кости, Пепел стынущих сигар. На губах – отрава злости, В сердце – скуки перегар...	Vína rmut a kocky holé, z prachu cigár všade spúšť, na perách je len jed zvole, v srdci iba smútku pľušť.
Ночь давно снега одела, Но уйти ты не спешишь; Как в кошмаре, то и дело: «Алкоголь или гашиш??»	Noc sa celá v snehu halí, odísiť sa však nesnažíš, chmúry sa t'a opýtali: „Na alkohol, na hasiš?“
А в сенях, поди, не жарко: Там, поднявши воротник, У плывущего огарка Счеты сводит гробовщик	Z chladných stien t'a to von láka, od okraja goliera spoza zapľútého špaka hrobár úcty pozbiera

[26. С. 46].

[4. С. 25].

В переводе не сохранен просторечный глагол «торчат», делающий перечисленные детали (бюст Психеи, фигуры лакеев) более зримыми, как бы стоящими без дела, со скучой (ср. в «Незнакомке» Блока: «Лакеи сонные торчат»). Зато для перевода слова «муть» из двух значений словацкого «*grmut*»: горе, грусть и фруктовое сырье, из которого получают вино (согласно *Словарю словацкого языка из 1959–1968 гг.* [27]) переводчик выбрал второе значение, поскольку мотив вина важен для трактовки жизни как «трактира». Точно так же и выражение «нагие кости» (на неубранном столе) переведено как «*kocky holé*» (игральные кости), а не эквивалентом «*kosti holé*», благодаря чему стал более явным мотив азартной игры, рока, жажды обогащения с неизбежным проигрышем в конце. В тексте Анненского третья и четвертая строки второй строфы содержат тире (заменяющее глагол); переводчик в третьей строке использовал эквивалент глагола «быть», в четвертой уже не использовал. Но интересно то, что в обеих строчках в переводе есть «*len*» и «*iba*» – синонимы к слову «только», которого в оригинале стиха нет, но зато это некоторый эквивалент к повтору в первой строфе: «тот же», «те же» (с семантикой скучности, однообразия, дурной статичности). Слово «скука» (словацкое «*nuda*») переведено словом «*smútok*», т.е. грусть / печаль / траур (более интенсивное и определенное психологическое состояние, чем скуча, но вполне соответствующее общей минорной тональности поэзии Анненского).

Трудность для перевода представляет последняя строфа. В оригинале использована негативная конструкция: «А в сенях, поди, не жарко». В переводе смысл сохраняется, хотя переводчик использует положительную и немного измененную конструкцию: «Z chladných stien ťa to von láka» в смысле «из холодных стен это тебя увлекает / выманивает вон / на улицу». Мотив холода, окружающего «трактир жизни», сохраняется.

Если суммировать сделанные выше наблюдения, то можно сказать, что переводчик стремился сохранить (или даже акцентировать) присущие Анненскому мотивы тоски, бессмыслиности жизни, неизбежности смерти. Кроме того, переводя «Дремотность», Ян Бузаш сохранил строфическую форму сонета. А при переводе стихотворения «Романс без музыки» ему пришлось отступить от ритмической структуры оригинала, может быть потому, что романс – без музыки? и, заметим, без любви...

<i>Romans bez hudby</i>	<i>Romanca bez hudby</i>
<p>В непроглядную осень туманны огни, И холодные брызги летят. В непроглядную осень туманны огни, Только след от колес золотят.</p> <p>В непроглядную осень туманны огни, Но туманней отравленный чад, В непроглядную осень мы вместе, одни, Но сердца наши, скавшись, молчат... Ты от губ моих кубок возьмешь непочат, Потому что туманны огни...</p>	<p>Jeseň bezútešná, len tie ohne sú v hmlách, chladné spŕšky nám prináša dážď, jeseň bezútešná, len tie ohne sú v hmlách, zlato padá do vozových brázd.</p> <p>Jeseň bezútešná, len tie ohne sú v hmlách, no tým horší ich otravný čmud, V jeseň bezútešnú dvaja spolu sme, ach, srdecia zovreté, ani sa hnút, pohár plný si od mojich úst vzala, lebo sú tie ohne v hmlách</p>
[26. С. 109].	[4. С. 26].

В переводе сохранена строфики: четверостишие и секстина (идущая, как известно, от лирики трубадуров), повтор строки «**V jeseň bezútešnú**», с некоторым изменением в седьмой строке – «**Jeseň bezútešná**», а также частичный повтор первой строки (кольцевая композиция), на фоне которого выделяется замена в последней строке: «*vzala, lebo sú tie ohne v hmlách*» («Ты от губ моих кубок возьмешь непочат»). Но в стихотворении Анненского чередуются строки четырех- и трехстопного анапеста, т.е. каждая четная строка короче на одну стопу и сдвинута на странице вправо, что обусловливает более глубокую концевую паузу [26. С. 109] и создает ритмические волны. Такая схема не сохранена в переводе. Кроме того, в переводе каждая последующая за первой строка пишется не с прописной, а со строчной буквы. В результате мелодия стиха в переводе более плавная, но исчезла некоторая нервная напряженность, интонация стала более ровно-безнадежной.

Эпитет «непроглядная» осень заменен на «безутешную» («*Jeseň bezútešná*»), т.е. исчезает мотив слепоты, затрудненности зрения, а осень сразу уподобляется человеку. С одной стороны, первая строка в переводе задает эмоциональную доминанту (горечь невосполнимой утраты), но с

другой стороны, немного меняется характер соотношения лирического субъекта и осени: получается, что тоскливая осень находит отражение в переживаниях героя, а не наоборот. В конце стихотворения в строке «*V jeseň bezútešnú dvaja spolu sme, ach*» восклицание «ах», вполне уместное в чувствительном романсе, не является адекватной заменой обозначения одиночества словом «одни»: «В непроглядную осень мы вместе, одни». Чувство горечи у героя стихотворения Анненского вызвано тем, что свидание происходит ночью, наедине, и тем сильнее страдание от того, что любви (огня) больше в сердце нет. При переводе также не сохранены паузы-многоточия, означающие у Анненского недосказанность, невысказанность сокровенных переживаний.

Таким образом, Яну Бузашу приходилось каждый раз при переводе выбирать, на чем сделать акцент: на ритмико-музыкальной стороне или на мотивно-смысловой. В переводе «Романса без музыки» передана осенняя элегичность, а аллитерации на звуки [č], [ž], [d'] даже вызывают ассоциацию с шумом дождя. В каждом отдельном случае Ян Бузан использовал либо лексическую многозначность, либо возможности строфики и ритмики, либо эвфонию.

Подводя итог рассмотрению материала, можно констатировать, что антология «*Ruská moderna*» дает словацким читателям достаточно объемное представление о поэзии Серебряного века. Иллюстративный материал погружает в культурную атмосферу русского модернизма, представленные поэты характеризуют многообразие индивидуальных поэтик, активно подключен литературно-критический материал, и это заслуга составителя. В переводах заметно внимательное отношение к мельчайшим особенностям стиха, стремление найти возможно более адекватный вариант перевода (в традициях петербургской / ленинградской переводческой школы), как на лексическом, так и на ритмико-интонационном уровне. Нам трудно судить, насколько сильно в переводах сказалась творческая индивидуальность самих переводчиков, это возможная тема следующих исследований. Остается только пожелать, чтобы русский читатель также имел возможность знакомиться с современной словацкой поэзией в качественных переводах, а процессы культурного обмена между Словакией и Россией стали более тесными.

Литература

1. Бахманн-Медик Д. Культурные повороты: Новые ориентиры в науках о культуре / пер. с нем. С. Ташкенова. М. : Новое литературное обозрение, 2017. 504 с.
2. Жирмунский В.М. Проблемы сравнительно-исторического изучения литератур // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. Т. 19, вып. 3. М., 1960. С. 177–186.
3. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы. М. : Прогресс, 1979. 318 с.
4. *Ruská moderna*. Bratislava : Slovart, 2011. 176 s. Zostavil: V. Kupka.
5. Мирошникова О.В. Итоговая книга стихов последней трети XIX века: архитектоника и жанровая динамика. Омск : Изд-во ОмГПУ, 2004. 339 с.
6. Лейдерман Н.Л. Книга стихов как жанровое единство (О. Мандельштам «Камень») // Теория жанра. Екатеринбург : Изд-во УрГПУ, 2010. С. 389–424.
7. Барковская Н.В., Верина Ю.Ю., Гутрина Л.Д. Книга стихов как теоретическая проблема // Филологический класс. 2014. № 1 (35). С. 20–30.

8. Барковская Н.В., Верина У.Ю., Гутрина Л.Д., Жибуль В.Ю. Книга стихов как феномен культуры России и Беларуси. Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2016. 674 с.
9. Верина У.Ю. Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX–XXI вв. Минск : БГУ, 2017. 307 с.
10. Кузьмин Д. В зеркале антологий // Арион. 2001. № 2. С. 48–61. URL: <https://plr.iling-ran.ru/ru/node/110>
11. Верина У.Ю. Поэтическая антология как сверхтекстовое единство // Обновление жанровой системы русской поэзии рубежа XX–XXI вв. Минск, 2017. С. 226–237.
12. Верина У.Ю. Современная поэтическая антология: генезис, типология // Ученые записки Орловского государственного университета. 2016. № 1 (70). С. 74–80.
13. Подлубнова Ю.С. Антологика: Русская поэзия и практика современного книгоиздания // Октябрь. 2014. № 4. С. 181–188.
14. Фёдоров А.В. Искусство перевода и жизнь литературы: очерки. Л. : Сов. писатель, 1983. 252 с.
15. Гаспаров М.Л. Русская поэзия «серебряного века», 1890–1917. М. : Наука, 1993. 784 с.
16. Гаспаров М.Л. Избранные труды : в 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 141–147. URL: http://annensky.lib.ru/notes/gasparov/gasp_name.htm
17. Яснов М. Хранители чужого наследства...: Заметки о ленинградской (петербургской) школе художественного перевода // Иностранный литература. 2010. № 12. С. 222–241.
18. Нейман Н.Р. Дискуссия о типах художественного перевода в советском переведении // Studia Litterarum. 2017. № 1 (22). С. 190–208.
19. Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии / сост. Г.М. Фридлендер. М. : Современник, 1990. 383 с.
20. Гаспаров М. Подстрочник и мера точности // О русской поэзии. СПб., 2001. С. 371–372.
21. Гаспаров М. О переводимом, переводах и комментариях // Литературное обозрение. 1988. № 6. С. 45–48.
22. Багно В.Е. «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 360 с.
23. Ежов И.С., Шамиурина Е.И. Антология русской лирики первой четверти XX века. М. : Новая Москва, 1925. 667 с. (Факсимильное переиздание: М. : АМИРУС, 1991).
24. Вейдле В. О непереводимом // Воздушные пути : альманах. Нью-Йорк, 1960. Вып. 1. URL: http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vozdushnye_puti_1_1960_text.pdf
25. Тименчик Р.Д. О составе сборника Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец» // Вопросы литературы. 1978. № 8. С. 307–316. URL: http://annensky.lib.ru/names/timenchik&lavrov/tim_1.htm
26. Анненский И.Ф. Лирика / под ред. А.В. Фёдорова. Л. : Худож. лит., 1979. 368 с.
27. Slovníkový portál Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV. URL: <https://slovnik.juls.savba.sk>

The Anthology *Ruská Moderna* (2011): An Experience of Poetic Translation of Russian Poetry in Slovakia

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 201–215. DOI: 10.17223/19986645/71/12

Nina V. Barkovskaya, Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg, Russian Federation). E-mail: n_barkovskaya@list.ru

Andrea Grominová, University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava (Trnava, Slovakia). E-mail: andrea.grominova@gmail.com

Keywords: poetic anthology, poetic translation, Russian poetry of the Silver Age.

The article discusses the concept and structure of the anthology of Russian modernist poetry, published in Slovakia in 2011, compiled by the poet and literary scholar Valery Kupka. It is one part of the extensive project "Lyric Poetry of the 20th century", realized thanks to the initiative of the Slovak publishing house Slovart. The anthology acquaints the Slovak reader with the part of Russian poetry that was inaccessible in the Soviet period. The methodological basis of the article is the theory of poetic book writing by O.V. Miroshnikova, D. Kuzmin, U.Yu. Verina, Yu.S. Podlubnova, and others, as well as basic theories of the poetic translation theory (N.S. Gumilyov, M.L. Gasparov, A.V. Fedorov, V.E. Bagno). According to the initial section written by the compiler, the general idea of the anthology is to point to the depiction of the understanding of the world of the "pre-apocalyptic period" in Russian modernist poetry. The article analyzes the book as a means of creating the cultural background of the turn of the 20th century, the visual component of the book cover, the flyleaf, the endpaper, the function of the illustrative material. The compiler's efforts to make an authentic and documentary depiction of the period are not neglected, as evidenced by many photographs of poets, their portraits, covers of poetry collections and magazines, posters and leaflets with announcements of literary evenings or autographs of poets. The principles of poetic material selection and arrangement in the anthology are also considered. The key principle is historical-literary: grouping of material according to movements (symbolism, Acmeism, poets outside the movements). Special attention in this study is paid to translation practice. The authors of poetic texts included in the anthology are six important Slovak translators – Juraj Andričík, Ján Buzássy, Ján Kvapil, Ján Strasser, Ján Zambor, Ivana Kupková. Three poems by I. Annensky translated by Jan Buzássy – *Dremotnost'* (Drowse), *Traktir Zhizni* (The Inn of Life), *Romans bez Muzyki* (Romance without Music) – became the object of analysis in the article. The conclusion is drawn regarding the translator's focus on the traditions of the "St. Petersburg/Leningrad" school of poetry translation, accentuating the "untranslatable" pieces of the individual components of the poem and discussing the translator's choice in emphasizing either the rhythmic-intonation aspect or the meaning of the poem. Other possibilities for further research on this issue are also outlined.

References

1. Bachmann-Medick, D. (2017) *Kul'turnye poveroty. Novye orientiry v naukakh o kul'ture* [Cultural Turns. New landmarks in the sciences of culture]. Translated from German by S. Tashkenova. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
2. Zhirmunskiy, V.M. (1960) Problemy sravnitel'no-istoricheskogo izucheniya literatury [Problems of comparative historical study of literatures]. *Izvestiya AN SSSR. Otdelenie literatury i yazyka*. 3 (19). pp. 177–186.
3. Dyurishin, D. (1979) *Teoriya sravnitel'nogo izucheniya literatury* [Theory of Comparative Study of Literature]. Moscow: Progress.
4. Kupka, V. (ed.) (2011) *Ruská moderna* [Russian Modernism]. Bratislava: Slovart.
5. Miroshnikova, O.V. (2004) *Itogovaya kniga stikhov posledney treti XIX veka: arkhitektonika i zhanrovaya dinamika* [The Final Book of Poetry from the Last Third of the 19th Century: Architectonics and genre dynamics]. Omsk: Omsk State Pedagogical University.
6. Leyderman, N.L. (2010) *Teoriya zhanra* [Theory of Genre]. Yekaterinburg: Ural State Pedagogical University. pp. 389–424.
7. Barkovskaya, N.V., Verina, U.Yu. & Gutrina, L.D. (2014) Book of poems as a theoretical problem. *Filologicheskiy klass – Philological Class*. 1 (35). pp. 20–30. (In Russian).
8. Barkovskaya, N.V. et al. (2016) *Kniga stikhov kak fenomen kul'tury Rossii i Belarusi* [The Book of Poems as a Phenomenon of the Culture of Russia and Belarus]. Moscow; Yekaterinburg: Kabinetnyy uchenyy.
9. Verina, U.Yu. (2017) *Obnovlenie zhanrovoy sistemy russkoy poezii rubezha XX–XXI vv.* [Renewal of the Genre System of Russian Poetry at the Turn of the 20th – 21st Centuries]. Minsk: Belarusian State University.

10. Kuz'min, D. (2001) V zerkale antologiy [In the mirror of anthologies]. *Arion*. 2. pp. 48–61. [Online] Available from: <https://plr.ipling-ran.ru/ru/node/110>.
11. Verina, U.Yu. (2017) *Obnovlenie zhanrovoy sistemy russkoy poezii rubezha XX–XXI vv.* [Renewal of the Genre System of Russian Poetry at the Turn of the 20th – 21st Centuries]. Minsk: Belarusian State University. pp. 226–237.
12. Verina, U.Yu. (2016) Contemporary poetry anthology: genesis, typology. *Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta – Scientific Notes of Orel State University*. 1 (70). pp. 74–80. (In Russian).
13. Podlubnova, Yu.S. (2014) Antologika. Russkaya poeziya i praktika sovremenennogo knigoizdaniya [Anthology. Russian poetry and practice of modern publishing]. *Oktyabr'*. 4. pp. 181–188.
14. Fedorov, A.V. (1983) *Iskusstvo perevoda i zhizn' literatury* [The Art of Translation and the Life of Literature]. Leningrad: Sovetskiy pisatel'.
15. Gasparov, M.L. (1993) *Russkaya poeziya "serebryanogo veka", 1890–1917* [Russian Poetry of the “Silver Age”, 1890–1917]. Moscow: Nauka.
16. Gasparov, M.L. (1997) *Izbrannye trudy* [Selected Works]. Vol. 2. Moscow: Yazyki russkoy kul'tury. pp. 141–147. [Online] Available from: http://annensky.lib.ru/notes/gasparov/gasp_name.htm.
17. Yasnov, M. (2010) Khraniteli chuzhogo nasledstva... Zametki o leningradskoy (peterburgskoy) shkole khudozhestvennogo perevoda [Keepers of someone else's inheritance... Notes on the Leningrad (Petersburg) school of literary translation]. *Inostrannaya literatura*. 12. pp. 222–241.
18. Neyman, N.R. (2017) Discussion of the types of literary translation in the Soviet translation studies. *Studia Litterarum*. 1 (22). pp. 190–208. (In Russian). DOI: 10.22455/2500-4247-2017-2-2-190-211
19. Gumiilyov, N.S. (1990) *Pis'ma o russkoy poezii* [Letters about Russian Poetry]. Moscow: Sovremennik.
20. Gasparov, M. (2001) *O russkoy poezii* [On Russian Poetry]. Saint Petersburg: Azbuka. pp. 371–372.
21. Gasparov, M. (1988) O perevodimom, perevodakh i kommentariyakh [About translated, translations and commentary]. *Literaturnoe obozrenie*. 6. pp. 45–48.
22. Bagno, V.E. (2016) *“Dar osobennyj”: Khudozhestvennyy perevod v istorii russkoy kul’tury* [“A Special Gift”: Literary translation in the history of Russian culture]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
23. Ezhov, I.S. & Shamshurin, E.I. (1991) *Antologiya russkoy liriki pervoy chetverti XX veka* [Anthology of Russian Lyric Poetry of the First Quarter of the 20th Century]. Moscow: AMIRUS. (Reprint of 1925. Moscow: Novaya Moskva).
24. Veydle, V. (1960) O neperevodimom [On the untranslatable]. In: Gryberg, R.N. (ed.) *Vozdushnye puti. Al'manakh* [Airways. Almanac]. New York: Rausen Bros. [Online] Available from: http://www.vtoraya-literatura.com/pdf/vozdushnye_puti_1_1960_text.pdf. (In Russian).
25. Timenchik, R.D. (1978) O sostave sbornika Innokentiya Annenskogo “Kiparisovyy larets” [On the composition of Innokenty Annensky's collection “Cypress Chest”]. *Voprosy Literatury*. 8. pp. 307–316. [Online] Available from: http://annensky.lib.ru/names/timenchik&lavrov/tim_1.htm. (In Russian).
26. Annenskiy, I.F. (1979) *Lirika* [Lyrics]. Leningrad: Khudozhestvennaya literatura.
27. *Slovníkový portál Jazykovedného ústavu L. Štúra SAV*. (n.d.) [Online] Available from: <https://slovnik.juls.savba.sk>.

УДК 82.09

DOI: 10.17223/19986645/71/13

А.А. Зубов

ЖАНРЫ ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕХАНИЗМЫ КОГНИТИВНОГО РАСПОЗНАВАНИЯ

В статье социокультурные и когнитивные аспекты литературных жанров рассматриваются во взаимосвязи. Жанры понимаются как исторически изменчивые и внутренне вариативные категории, являющиеся продуктами социального конструирования, которые в то же время представляют собой устойчивые когнитивные модели восприятия, формирующиеся в сознании читателей в процессе вхождения в культуру и усвоения социальных стереотипов о жанрах. Автор приводит результаты эмпирических наблюдений, демонстрирующих влияние жанровых стереотипов на восприятие литературного текста.

Ключевые слова: теория жанров, когнитивная теория жанров, семейное сходство, прототип, жанры популярной литературы, детектив, научная фантастика, хоррор

Формирование современной, постэсценциалистской, парадигмы в исследованиях литературных жанров началось в 1980-е гг. и было связано с поворотом к «новому историзму» в литературоведении, культурологическими исследованиями, работами по когнитивному анализу классификаций и когнитивной теории «прототипов», прагматической дискурсологии и анализу рецепции (индивидуальной и коллективной). Внутри постэсценциалистской парадигмы выделяют два доминирующих подхода: диалектический, реализуемый в целом под знаком социального конструктивизма, и когнитивный [1].

Когнитивная жанрология предлагает пересмотреть ряд устоявшихся представлений о литературных жанрах. В первую очередь речь идет о переоценке поля на уровне объектов «жанроведческого анализа». В теории литературы традиционным объектом анализа является текст. В жанровой критике текст изучается с точки зрения его соответствия или несоответствия некоему представлению о жанре – «идеальному типу», по отношению к которому любой текст всегда является только несовершенным приближением. Когнитивная поэтика предлагает сместить фокус с текста на сами «идеальные типы» и рассмотреть их как «ментальные схемы» («идеальные когнитивные модели», когнитивные рамки, фреймы, паттерны и т.д.), которые влияют на восприятие литературы и опосредуют процессы опознания, классификации и группировки текстов [2–6].

В настоящей статье мы попытаемся ответить на следующие вопросы. Во-первых, на вопрос о границах, т.е. о социальных и когнитивных силах, которые обеспечивают устойчивость и опознаваемость жанров. С позиций «радикального конструктивизма» литературный жанр рассматривается как исторически изменчивая и внутренне вариативная категория, которая не может быть определена жестким набором устойчивых типических черт;

иными словами, у жанров нет «эссенции» или «природы», а жанровое обозначение – это историческая условность, «ярлык», который часто служит для объединения формально и содержательно не связанных текстов. Тем не менее читатели способны опознавать жанры, отделять один от другого, создавать исторические нарративы о жанрах. Это означает, что в сознании есть устойчивые модели, с помощью которых читатели могут идентифицировать и группировать тексты. Мы утверждаем, что эти модели имеют социальную природу, что когнитивные аспекты жанров неотделимы от социокультурных условий их бытования. Жанровые модели усваиваются читателями в процессе вхождения в культуру и накопления культурного опыта.

Во-вторых, мы ответим на вопрос, как именно когнитивные жанровые модели влияют на восприятие текстов. Мы предоставим результаты эксперимента, в котором принимали участие студенты филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Участникам эксперимента было предложено прочитать один и тот же текст через призму разных жанров. В ходе эксперимента мы регистрировали, как разные жанровые рамки координируют внимание читателей, как «настраивают» на определенные режимы восприятия.

Завершая вводную часть, поясним, что в рамках статьи мы не говорим о литературных жанрах в целом, а только о жанрах популярной литературы, т.е. о тех, которые сформировались на литературных рынках России, Европы и США на рубеже XIX–XX вв. и которые продолжают функционировать сейчас. Имеются в виду жанры любовного романа, детектива, научной фантастики, фэнтези, хоррора, вестерна, исторического и приключенческого романов. Жанры популярной литературы имеют рыночную природу, они функционируют как «социальный договор» между агентами литературы как социального института (авторами, читателями, критиками, учеными, издателями и магазинами) на этапах производства, распространения и восприятия текстов. Эти категории опознаются всеми участниками литературы и служат «точками отсчета» для конструирования читательской идентичности в современных литературных культурах [7. Р. 43–74; 8].

Границы жанра: теоретико-литературный аспект

Жанр в литературе – один из способов классификации и группировки текстов. Тексты в литературе могут группироваться по хронологическому и географическому принципам, по институциональному, ценностному, с точки зрения производства и распространения. Выделяются также категории по направлениям и стилям. Существуют эксклюзивные группы классической и канонической литературы. Имя автора также служит инструментом классификации. Категории могут использоваться вместе и по отдельности: так, можно говорить об американской литературе «вообще» или только об американском детективе 1960-х гг., о национальной классике или о «классике жанра» и т.д.

Жанровая классификация – наиболее трудная для описания и анализа. Она отражает стремления различных агентов литературы к созданию об-

щего фундамента для коммуникации, поэтому принципы и логики группировки могут быть самыми разнообразными. Жанр с трудом поддается теоретическому обобщению, он, по выражению Ральфа Коэна, всегда был «устойчив к теории»¹.

Обобщающий взгляд на проблему жанра с позиций теории литературы предлагается в книге С.Н. Зенкина «Теория литературы» (2018) [10]². Раздел о жанре автор начинает с утверждения, что современная теория видит в жанре не инструмент классификации, а инструмент чтения и толкования, «орудие в руках читателя, а не писателя, как в классической риторике и поэтике» [10. С. 154]. Однако единственное действие со стороны читателя по отношению к жанру, т.е. единственная форма толкования посредством жанра, которую признает и описывает автор, – это *узнавание*, соотнесение текста с имеющимися в сознании представлениями, стереотипами и образцами.

В книге жанр рассматривается как одна из характеристик текста, которую читатель может распознать. Каковы же в таком случае функции жанра в культуре, зачем он нужен и зачем нужно его опознавать? Автор пишет:

Для правильного понимания оригинальных произведений нужно опознавать стереотипы, которые в них нарушаются. <...> Именно потому, что у каждого из нас, даже если мы очень культурные читатели, есть память о стереотипных жанрах, мы можем по достоинству оценить смешение и нарушение этих стереотипов.

И ранее:

Жанровое сознание поддерживается не «высокой» литературой, а массовой беллетристикой. <...> Жанровое мышление не исчезло, а сместилось с верхнего уровня словесности на нижний, где применяются четкие стереотипные формы, фиксирующие за каждым жанром устойчивые признаки тематики и конструкции [10. С. 170–171].

Узнавание жанра, таким образом, необходимо только для одного – для определения, в терминах рецептивной эстетики, «эстетической дистанции» между полюсами соответствия текста «горизонту ожиданий» и нарушения этих горизонтов. Иными словами, для отнесения текста к группам «высокой» или «низкой» литературы. Текст, соответствующий «горизонту ожиданий», попадает во вторую группу, а тот, который нарушает ожидания, – в первую. Итак, иерархия от высокого к низкому выстраивается от нежанровой литературы к жанровой, или от литературы к не-литературе.

¹ Цит. по: [9. Р. 597].

² Книга Зенкина задумана как «учебное пособие высшего уровня». В книге излагается конвенциональное знание, которое очерчивает границы теории литературы как научной дисциплины и составляет разделяемые ученым сообществом представления об объектах анализа, понятиях и методах. Но это не введение в теорию литературы, а обзор «общих, фундаментальных проблем», показывающий методологическую разнородность теории литературы – автор не перечисляет «верные» научные подходы и концепции, а описывает их как проблемные области, каждая из которых имеет потенциал для дальнейшего осмысления и развития [10. С. 5–7].

Эта иерархия, пишет Зенкин, является чертой современной культуры, так как границы литературы исторически изменчивы: «первоначально не-литературной частью словесности считался фольклор», «после романтической реабилитации фольклора разделение культуры на «настоящую» и «ненастоящую» приняло другую форму». В новой ситуации граница проходит между литературой «высокой», элитарной (Зенкин также называет ее авторской) и «низкой», массовой, жанровой: «Массовая и элитарная литература предназначены соответственно для узнавания и понимания. Мы узнаем серийную деятельность (дискурс), а понимаем завершенный результат (текст)» [10. С. 71–73]. Для текста жанровость, таким образом, становится чем-то вроде «черной метки»: стоит ее распознать читателю, как он сразу понимает, что имеет дело с серийным, массовым продуктом.

С этими рассуждениями трудно согласиться. В трактовке Зенкина жанры предстают ригидными категориями с набором типических признаков («четкие стереотипные формы, фиксирующие за каждым жанром устойчивые признаки тематики и конструкции»). Нарушение «горизонта ожиданий», смешение и нарушение жанровых стереотипов воспринимается как повод для исключения текста из жанра. Однако реальные социальные практики показывают, что это не так. Самый очевидный пример – функционирование института жанровых литературных премий, которые во главу угла ставят не следование конвенциям, а их творческое преобразование. Стремление к эффекту новизны, к смешению ожиданий по отношению к предшествующему опыту, желание «такого же, только другого» – одна из установок современной культуры, которая действует во всех сегментах культурного производства (от авангарда до массового искусства)¹. Более того, и в жанровом сегменте литературы, равно как и в «не-жанровом», есть свои «гении», то есть писатели с узнаваемым стилем и манерой письма, «авторским» подходом к разработке узнаваемых жанровых конвенций:

Теперь уже трудно представить себе литературоведа, который, допустим, отрицал бы художественную ценность криминального романа только в силу его жанровой природы... Все решает не жанр как таковой, а характер его использования, авторская установка и достигнутый эстетический уровень [12. С. 10–11].

Представляется, что в выводах Зенкина смешиваются разные уровни бытования литературы: уровень социального позиционирования текста и

¹ О соотношении новизны и ценности в современной культуре Борис Грайс пишет: «Производство нового – это требование, которому вынужден подчиниться каждый, чтобы получить то культурное признание, к которому стремится. <...> Если новое не является познанием сокрытого – не является открытием, творением или вынесением внутреннего во вне, – то это означает, что для инновации все с самого начала является открытым, несокрытым, очевидным и доступным. Инновация не оперирует самими по себе внекультурными вещами, но лишь культурными иерархиями и ценностями. Инновация заключается не в том, чтобы выявить что-то, что ранее было скрыто, но в том, чтобы ценность того, что уже давно было видно и известно, подверглась переоценке» [11. С. 15–17].

уровень восприятия. Для утверждения высокого культурного статуса текста, его «исключительности», критики часто прибегают к риторическому приему определения через отрицание – они исключают текст из категорий, которым он, как им кажется, не принадлежит¹. В своих рассуждениях Зенкин, по сути, воспроизводит эту же риторическую стратегию, предлагая ее как универсалистское теоретическое обобщение о литературе. Однако с точки зрения механизмов рецепции текст не может не принадлежать к какой-либо группе: «Мы даже можем сказать, что не существует вещей вне категорий, есть только те, которые служат очень-очень плохими примерами своих категорий», – пишет когнитивист Питер Стокуэлл [18. Р. 8]. Мы предлагаем разграничивать социальный и когнитивный аспекты литературного жанра, но не изолировать их друг от друга, а увидеть как диалектически взаимосвязанные.

Границы жанра: когнитивный аспект

В современных публичных дискуссиях о литературе часто воспроизводится мысль о размывании границ между жанрами:

...стирание границ между «высокими» и «низкими» жанрами привело еще к одному неожиданному эффекту: вся традиционная система жанровых классификаций в одноточье оказалась непродуктивной. Она всегда отличалась известным несовершенством и условностью, однако сегодня она больше не описывает реальность даже на уровне модели, потому что слова «детектив», «психологический триллер», «хоррор», «фэнтези» (равно как и «производственная драма», «семейная сага» или, допустим, «философский роман») полностью девальвировались и могут обозначать решительно любой объект любого качества, рассчитанный при этом на любую аудиторию [19. С. 159]².

Действительно, современное состояние литературной культуры, помимо прочего, характеризуется ослаблением прямой корреляции между литературными предпочтениями и социальным классом читателя. Или, иначе, литературные предпочтения перестали быть символом классового статуса, отличающим «элиту» от «не-элит». Чтение литературы в целом является занятием многочисленного «среднего класса».

Современного читателя можно сравнить с «путешественником», который свободно перемещается между жанрами и уровнями литературы, выстраивает

¹ Показательна в этом смысле громкая дискуссия, которая разгорелась весной 2019 года вокруг последнего на данный момент романа Йена Макьюэна «Машины как я» (2019). Критики (и сам автор), стремившиеся доказать высокую эстетическую ценность текста, писали, что он похож на нуар – но больше, чем нуар, похож на научную фантастику – но больше, чем фантастика, и т.д. [13, 14]. А те, кто высказывался «против», критиковали текст именно с позиций жанра: если бы Макьюэн относился к жанровым канонам (в частности, канонам научной фантастики) с меньшим снобизмом, роман получился бы сильнее [15–17].

² См. также рассуждения литературного критика Гэри Вульфа: [20. Р. 3–16].

свои привычки поверх рыночных и издательских лейблов. Однако это не означает, что читательские практики никак не организованы и что они, в свою очередь, никак не структурируют общество. Проведенное в 2014 г. исследование читателей петербургских библиотек выявило несколько более или менее устойчивых моделей читательского поведения [21]. Авторы исследования работали с «Большими данными» и искали корреляции между социологическими характеристиками посетителей (пол, возраст, образование, профессия, место проживания) и выбираемыми книгами для чтения. В результате был составлен список из восьми кластеров, часть из которых все же пересекается с традиционным, используемым на литературном рынке делением на жанры¹.

Утверждение о размывании жанровых границ имплицитно содержит в себе две предпосылки: во-первых, что когда-то жанровые рамки были более жесткими, что существовали «чистые» жанры и, во-вторых, что сейчас мы, читатели, уже не ощущаем границ внутри литературы. С обеими предпосылками трудно согласиться. Жанры никогда не были жесткими категориями, они могли казаться такими или могли позиционироваться как таcковые критиками, писателями или теоретиками, но в действительности между конкретными текстами и классификационными категориями никогда не было строгого соответствия. Даже во времена господства нормативных поэтик между эстетическими установками и реальными поэтическими практиками всегда существовал видимый разрыв, который, помимо прочего, и определял историческую динамику литературы².

Утверждение о размывании границ между чем-либо возможно только в том случае, если мы эти границы хорошо ощущаем. Высказывания о размывании жанровых границах стоит прочитывать как симптом, свидетельствующий об увеличивающемся разрыве между жанровыми обозначениями, используемыми в рыночно-издательских практиках, и когнитивными моделями, посредством которых происходит взаимодействие читателя с текстами.

Читатель узнает в тексте другие тексты на основании своего культурного опыта, знания литературных и социальных конвенций, т.е. установок, принятых в социальном институте литературы. В сознании читателя ассоциации между текстами выстраиваются по радиальной модели: по одним признакам текст связывается с одной группой текстов, по другим – с другой, по третьим – с третьей и т.д. Для обозначения этого принципа связи используется предложенное Витгенштейном понятие «семейное сходство». Согласно принципу семейного сходства, группировка текстов в жанр происходит через соотнесение их с «прототипом», состоящим из «ядра» – в него входят тексты с большим количеством схожих черт, и «периферии» – тексты, которые связаны с «ядром» меньшим количеством общих признаков, но которые по другим признакам связываются с другими «прототипическими» группами [2. Р. 132].

¹ Таблицу кластеров и комментарий к ней см.: [21. С. 128–130].

² О связи между неоклассическими и романтическими поэтиками XVII–XIX вв. и литературными практиками см.: [22. Р. 24–76].

Теория прототипов была разработана в рамках когнитивных исследований моделей классификации, которыми оперирует человеческое сознание. В классической теории классификаций все объекты, приписываемые к одной группе, должны обладать общим набором равнозначных признаков. Идея прототипов, напротив, исходит из того, что составляющие одну группу объекты могут быть как более, так и менее репрезентативными, т.е. «лучшими» или «худшими» примерами одной категории. Этот эффект был выявлен Элеонорой Рош, которая в ходе эмпирических экспериментов обнаружила асимметрию между членами одной категории и асимметричные структуры внутри категорий [3. С. 62–71]. Развивая теорию прототипов, в конце 1980-х гг. Дж. Лакофф предложил понятие «идеальных когнитивных моделей» (ИКМ) – культурно опосредованных ментальных схем, которые являются источником прототипического эффекта, они «определяются в рамках данной культуры и должны изучаться как таковые» [3. С. 119].

Жанровые прототипы имеют социальную природу, они происходят из «договора» между авторами, читателями, критиками, издателями и распространителями и определяют условия коммуникации между ними в конкретных историко-культурных контекстах. Имея в виду историю становления и развития современной популярной литературы, можно утверждать, что в процессе исторического конструирования жанра идут два параллельных процесса. С одной стороны, появляется «жанровое имя»¹, которое становится обозначением для «ниши» на литературном рынке, а в публичных дискуссиях, критических статьях и рецензиях, издательских и авторских манифестах – семантически насыщенным понятием, несущим определенное мировоззрение или идеологию. Так создается социальный профиль жанра, формируются стереотипы о нем². С другой стороны, «имя» жанра ассоциируется с воспроизведимым в культуре списком текстов, которые не всегда полностью соответствуют формулируемому значению жанра, но важны как «точки отсчета» для построения истории жанра, создания канона и написания последующих текстов. Часто эти списки наполняются текстами, которые не создаются специально «под жанр», а уже существовали в истории, но при перемещении их в новый жанровый контекст приобретают новые смыслы и культурные функции.

Литературовед Роберт Уильямсон, развивая теорию Лакоффа, отмечает, что основой эстетической коммуникации между автором и аудиторией являются системы ожиданий, которые группируются в жанры. Исследовате-

¹ Термин «жанровое имя» мы заимствуем из книги Ж.-М. Шеффера «Что такое литературный жанр?» (1989). Автор рассматривает жанр как семиотический знак, в котором означающее – это «жанровое имя», т.е. название жанра, а означаемое – это «жанровое понятие», т.е. связанный с «именем» набор текстов и представлений. Работа Шеффера посвящена исследованию логики конструирования связей между «жанровыми понятиями» и «жанровыми именами» [23. С. 64–78]. См. также послесловие переводчика С.Н. Зенкина: [23. С. 186–190].

² См., к примеру, опыт социальной истории формирования популярного жанра (научной фантастики) как «ниши» на литературном рынке в позднеимперской России: [24].

ли жанра источник ожиданий традиционно видят в интертекстуальных связях: читатель понимает новый текст на основании знакомства с другими текстами. В когнитивистской перспективе ожидания от текста трактуются как идеализированные когнитивные модели, разделяемые автором и его читателями как участниками одного культурного (интерпретативного) сообщества. Эти когнитивные модели, безусловно, возникают из знакомства с другими текстами того же жанра, но они также происходят из «мировоззрения, характерного для определенного культурного пространства», т.е. жанры воплощают в себе (embody) определенные представления о «природе реальности» [5. Р. 324–325].

Для читателя знакомство с жанром – это динамический процесс. Он включает в себя, во-первых, чтение текстов, ассоциирующихся с «жанровым именем», и усвоение конструируемого публичного образа жанра. Важным фактором при восприятии жанра являются стереотипы. Они отражают культурные ожидания и необходимы для совершения «поспешных умозаключений», т.е. для экономии интеллектуальных, эмоциональных и экономических ресурсов. Однако они не учитывают всего разнообразия текстов, составляющих жанр, а передают лишь наиболее часто воспроизводимые представления о нем. Во-вторых, развитие когнитивного навыка взаимодействия с жанром.

Образ жанра, который таким образом формируется в сознании читателей, представляет собой ментальную схему, фрейм – «структурно и функционально устойчивый комплекс, хранящийся в долговременной памяти»¹, который координирует читательские усилия по пониманию текста. Жанр «настраивает» читателя на определенный режим чтения². Читатели могут отличаться по степени профессионализации в жанре. Быть профессионалом в жанре означает не только и не столько знание истории орепрезентирующих его текстах и авторах, сколько владение когнитивным и культурным навыком ориентирования в текстовом пространстве и дешифровки устойчивых смысловых кодов посредством жанра. Безусловно, это не означает, что, к примеру, «натренированный» читатель детектива не способен воспринимать другие жанры. Речь идет о более глубокой специализации естественных способностей. Так, профессиональный дигестатор способен различать вкусовые оттенки сортов вин, художник – оттенки цветов и т.д., но каждый человек в целом (за исключением людей с физическими отклонениями) может более или менее различать вкусы и цвета. В случае с жанрами речь идет о развитии не физических способностей, а когнитивных, влияющих на усилия, затрачиваемые на «вхождение» в текст.

¹ Формулировка В.А. Тырыгиной. Цит. по: [6. С. 89].

² В когнитивной теории жанров используются термины «фрейм», «схема», «паттерн», «ментальное пространство». Все эти термины так или иначе отсылают к моделям, посредством которых происходит распознавание текста и его ассоциация с прототипом, т.е. оценка текста как более или как менее характерного образца жанра. Схемы или фреймы, однако, нужны не только для опознания текста, они также являются продуктивными моделями, определяющими читательское поведение при восприятии текста [4. Р. 182–183].

Яркий, хотя и вымышенный пример (патологической) профессионализации в жанре описан в рассказе американского юмориста Джеймса Тэрбера «Тайна убийства Макбета» (1937). Центральный персонаж – отдыхающая на курорте американка, поклонница детективов. По совету случайного курортного знакомого она берет в местной библиотеке «Макбета» Шекспира. На вопрос, понравилась ли ей пьеса, читательница отвечает:

Не Макбет убил короля. И супруга его тут тоже ни при чем. Вели они себя, слов нет, весьма подозрительно, но такие, как они, обычно не убивают, во всяком случае, не должны убивать. <...> Посудите сами, нельзя же, чтобы читатель сразу обо всем догадался. Шекспир совсем не так глуп, как кажется.

В конце американка и ее невольный «соучастник» раскрывают тайну Макбета:

...спящий Дункан напомнил леди Макбет ее отца потому... что это и был ее отец! <...> Отец леди Макбет убил короля и, услышав, что кто-то идет, затолкал тело под кровать, а сам улегся под одеяло [25. С. 131–137].

Жанр в этой истории функционирует как когнитивная рамка, которая накладывается на текст и посредством которой текст воспринимается. При этом собственно поэтические особенности текста (в данном случае трагедии Шекспира) оказываются менее значимыми для восприятия, чем внутренняя «настройка» читателя. Ничего не зная ни про Шекспира, ни про барочную драму, героиня сумела «раскусить» замысел автора, опираясь на свой опыт чтения детективов. (Развивая мысль Тэрбера и доведя ее до абсурда, можно даже сказать, что для истинного профессионала детективного жанра в мире и нет других жанров, кроме детектива.)

Жанровая рамка может задаваться не только внутренней «настройкой» читателя, т.е. опытом чтения и литературными предпочтениями. Влияние на восприятие также оказывает социальное позиционирование текста, т.е. «ситуативная» жанровая рамка.

Жанр как когнитивная рамка

В последней части статьи мы рассмотрим результаты эксперимента, который ежегодно предлагается слушателям курса «Популярная литература: подходы к анализу»¹.

Описание эксперимента: представьте, что вы находитите книгу с повестью Кафки «Превращение» в одной из жанровых секций книжного магазина. Вы ничего не знаете ни про повесть, ни про автора. Вы берете книгу с полки и начинаете читать. Подумайте, как ситуативный контекст чтения повлияет на формирование «пакта» между вами и текстом. Составьте сценарий развертывания текста в читательском сознании с учетом разных

¹ Этот курс читается магистрантам 2-го года на кафедре общей теории словесности (дискурса и коммуникации) филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по направлению «Теория и практика коммуникации».

жанровых рамок. Жанровые рамки предлагаются следующие: научная фантастика, детектив, хоррор. Также «оцените» повесть Кафки с точки зрения жанра – насколько текст интересен как детектив, хоррор и научная фантастика.

Приведем фрагмент, который получают студенты для анализа:

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое. Лежа на панцирнотвердой спине, он видел, стоило ему приподнять голову, свой коричневый, выпуклый, разделенный дугообразными чешуйками живот, на верхушке которого еле держалось готовое вот-вот окончательно сползти одеяло. Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами.

«Что со мной случилось?» – подумал он. Это не было сном. Его комната, настоящая, разве что слишком маленькая, но обычная комната, мирно покоилась в своих четырех хорошо знакомых стенах. Над столом, где были разложены распакованные образцы сукон – Замза был коммивояжером, – висел портрет, который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала и вставил в красивую золоченую рамку. На портрете была изображена дама в меховой шляпе и боа, она сидела очень прямо и протягивала зрителю тяжелую меховую муфту, в которой целиком исчезала ее рука.

Затем взгляд Грегора устремился в окно, и пасмурная погода – слышно было, как по жести подоконника стучат капли дождя – привела его и вовсе в грустное настроение. «Хорошо бы еще немного поспать и забыть всю эту чепуху», – подумал он, но это было совершенно неосуществимо, он привык спать на правом боку, а в теперешнем своем состоянии он никак не мог принять этого положения. С какой бы силой ни поворачивался он на правый бок, он неизменно сваливался опять на спину. Закрыв глаза, чтобы не видеть своих барактающих ног, он проделал это добрую сотню раз и отказался от этих попыток только тогда, когда почувствовал какую-то неведомую дотоле, тупую и слабую боль в боку.

«Ах ты, господи, – подумал он, – какую я выбрал хлопотную профессию! Изо дня в день в разъездах. Деловых волнений куда больше, чем на месте, в торговом доме, а кроме того, изволь терпеть тяготы дороги, думай о расписании поездов, мирись с плохим, нерегулярным питанием, завязывай со все новыми и новыми людьми недолгие, никогда не бывающие сердечными отношения. Черт бы побрал все это!» Он почувствовал вверху живота легкий зуд; медленно подвинулся на спине к прутьям кровати, чтобы удобнее было поднять голову; нашел зудевшее место, сплошь покрытое, как оказалось, белыми непонятными точечками; хотел было ощупать это место одной из ножек, но сразу отдернул ее, ибо даже простое прикосновение вызвало у него, Грегора, озноб [26. С. 287].

Первое, на что стоит обратить внимание, – при прочтении фрагмента студенты успешно оперировали стереотипами о жанрах. Рамка научной фанта-

стики подсказывала прочитывать текст как историю о технологиях (в самом широком смысле слова) и о футуристических мирах. Рамка детектива – как историю о преступлении и расследовании. Хоррора – как историю об ужасном, т.е. «настраивала» на определенную эмоциональную реакцию, которую мог испытывать как герой, так и читатель в процессе идентификации себя с героем. В каждом из случаев рамка не только задавала сценарий взаимодействия с текстом, но также определяла набор импликаций о воображаемом мире текста, подсказывала сюжетные обоснования происходящего.

При восприятии текста через рамку научной фантастики первое предложение получало научно-техническое объяснение – герой стал насекомым в результате некоего научного эксперимента. Отмечалась рассинхронизация между сознанием и телом героя: герой смотрит на свое новое тело, но не может им управлять («Его многочисленные, убого тонкие по сравнению с остальным телом ножки беспомощно копошились у него перед глазами»). Это наблюдение наводило на размышления о природе эксперимента: возможно, человеческое сознание Грегора Замзы было перенесено в тело насекомого без его ведома. Первый абзац, таким образом, прочитывался как «миrostроительный» – в нем через намеки создается мир, в который читателю предстоит погрузиться. С точки зрения качества текста как образца жанра фрагмент казался интересным, так как фокусирует внимание не на «гаджетах», а на телесных ощущениях героя и отличается от стереотипного представления о жанре. Остальная часть фрагмента прочитывалась как история о попытках героя научиться управлять своим новым телом.

Рамка детектива подталкивала искать намеки на преступление, которое уже было совершено или которое будет совершено в будущем. Эта рамка сфокусировала внимание на профессии героя: он коммивояжер. Возможно, герой подставил своего партнера или клиента и сейчас за это расплачивается, являясь жертвой. Профессия героя прочитывалась как значимая деталь. Отдельное внимание заслужила фраза «Это не было сном»: она прочитывалась как ключ к пониманию происходящего. Учитывая странность ситуации, в которую текст предлагает читателю погрузиться, в этой фразе виделся намек на «ненадежность» героя как рассказчика. Совмещение «ненадежности» героя с его профессией родило гипотезу, что, вероятно, все происходящее – галлюцинация, вызванная наркотиками, которыми рассерженные клиент или партнер «накачали» героя. В пользу этой трактовки свидетельствовали периодические «выпадения» героя из пространства галлюцинации: он «как бы» забывает о странности ситуации и мысленно возвращается к проблемам бытового характера (акцентирует внимание на комнате, рассуждает о трудностях своей профессии и т.д.). В зависимости от жанровой рамки меняется статус деталей: например, портрет, «который он недавно вырезал из иллюстрированного журнала», трактовался не как деталь, создающая «эффект реальности», а как значимая улика (как «ружье на стене, которое в конце обязательно выстрелит»). Возможно, на портрете изображена женщина, «фам фаталь», которая замешана в преступлении или которая подбила

героя на преступление. Детективная завязка вызвала интерес, хотя идея с насекомым показалась надуманной.

Прочтение фрагмента как хоррора фокусировало внимание на сильных эмоциях отвращения и брезгливости. Рамка хоррора не побуждала к поиску сюжетных мотивировок происходящего, описываемое прочитывалось как «фантастическое допущение», созданное с одной целью – произвести сильное впечатление на читателя. Бытовые описания были восприняты как удачная авторская находка – они ненадолго отвлекают внимание, чтобы затем с новой силой погрузить читателя в отвратительность ситуации. Удачным казалось и разделение предполагаемой реакции героя (страх от непонимания, что происходит, и отвращение, вызываемое подробными описаниями насекомого) и его реальной реакции (безразличие, грусть, сонливость). В результате читатель не может полностью идентифицировать себя с героем, хотя все происходящее и передается через восприятие Грегора Замзы. Это разделение вызывает эффект «головокружения», «как бы» не позволяет сфокусироваться на происходящем. Как хоррор фрагмент был воспринят положительно и показался очень эффектным.

На обсуждениях отдельно оговаривались фразы, которые с точки зрения разных жанров казались бессмысленными. Например, фраза «он у себя в постели превратился» показалась лишней, так как ничто в тексте не указывало на то, что герой мог превратиться в насекомое в чужой постели – для этой детали не было никакой сюжетной мотивировки (по крайней мере, в пределах разбираемого фрагмента). Фраза, что комната «мирно покоялась в своих четырех хорошо знакомых стенах», вызывала эффект ненужного словесного орнамента. Одно из остроумных объяснений появления этих фраз заключалось в том, что они могут быть издержками не очень качественного перевода. Это объяснение имеет под собой социальный стереотип, что жанровая литература на русский язык переводится в целом хуже, чем не-жанровая.

Цель эксперимента ни в коем случае не сводилась к тому, чтобы продемонстрировать полную зависимость восприятия текста от социального контекста. Подобное утверждение было бы неверным – стоит только взглянуть на дискуссии, которые часто возникают среди критиков и читателей вокруг «ошибочных» жанровых обозначений, приписываемых текстам издателями¹. Продолжив читать повесть Кафки, читатель вскоре наткнулся бы на сопротивление со стороны текста, который все меньше соответствовал бы ожиданиям, сформированным рамкой. В результате повесть в лучшем случае оказалась бы «плохим» детективом или «плохой» научной фантастикой и, скорее всего, вызвала бы разочарование из-за несоответствия ожиданий и фактического содержания. (Или, наоборот, радость – в зависимости от настроения позиции читателя.) Тем не менее эксперимент позволил увидеть, как жанровая рамка и связанные с ней сте-

¹ Нередки подобные высказывания: роман издан как детектив, но в действительности он про любовь; или роман издан как фантастика, а он про наше настоящее, и т.д.

реотипы влияют на восприятие, т.е. активизируют релевантные для конкретной ситуации модели и привычки восприятия.

Логичным продолжением представленных в статье рассуждений может стать вопрос о зависимости между когнитивными механизмами восприятия и историческими трансформациями литературных жанров. Когнитивные исследования рассматривают жанры как статичные модели восприятия. Однако жанры меняются в истории, эти изменения включают в себя, помимо прочего, изменения поэтических приемов создания воображаемых миров. При обживании воображаемого мира действуют читательские когнитивные и культурные навыки, которые трансформируются параллельно с изменениями литературных конвенций, ассоциирующихся с тем или иным жанром в социальном пространстве литературы.

Литература

1. *Sinding M.* Beyond essence (or getting over ‘there’): Cognitive and dialectic theories of genre // *Semiotica*. 2004. № 149–1/4. P. 377–395.
2. *Fishelov D.* Genre Theory and Family Resemblance – Revisited // *Poetics*. 1991. № 20. P. 123–138.
3. *Лакофф Дж.* Женщины, огонь и опасные вещи: Что категории языка говорят нам о мышлении [1987]. М. : Языки славянской культуры, 2004. 792 с.
4. *Hanenberg P., Brandt P.A.* Strange Loops and a Cognitive Approach to Genre // *Cognitive Semiotics*. 2010. № 6. P. 179–192.
5. *Williamson R. Pesher*: A Cognitive Model of the Genre // *Dead Sea Discoveries*. 2010. Vol. 17, № 3. P. 307–331.
6. *Тарасова И.А.* Жанр в когнитивной перспективе // *Жанры речи*. 2018. № 2 (18). С. 88–95.
7. *Gelder K.* Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. L. ; N.Y. : Routledge, 2004. 179 p.
8. *Glover D.* Publishing, history, genre // *The Cambridge Companion to Popular Fiction* / ed. by David Glover, Scott McCracken. L. ; N.Y. : Cambridge University Press, 2012. P. 15–32.
9. *White H.* Anomalies of Genre: The Utility of Theory and History for the Study of Literary Genres // *New Literary History*. 2003. Vol. 34, № 3. P. 597–615.
10. *Зенкин С.Н.* Теория литературы: проблемы и результаты. М. : НЛЮ, 2018. 368 с.
11. *Гроис Б.* О новом: Опыт экономики культуры [1992]. М. : Ад Маргинем Пресс, 2015. 240 с.
12. *Зверев А.М.* Что такое «массовая литература»? // *Лики массовой литературы США*. М. : Наука, 1991. С. 3–36.
13. *Adams T.* Ian McEwan: ‘Who’s going to write the algorithm for the little white lie?’ [interview] // *The Guardian*. 2019. April 14. URL: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/14/ian-mcewan-interview-machines-like-me-artificial-intelligence> (дата обращения: 16.03.2020).
14. *Giles J.* Love, Sex and Robots Collide in a New Ian McEwan Novel // *The New York Times*. 2019. May 1. URL: <https://www.nytimes.com/2019/05/01/books/review/ian-mcewan-machines-like-me.html> (дата обращения: 16.03.2020).
15. *Theroux M.* Machines Like Me by Ian McEwan review–intelligent mischief // *The Guardian*. 2019. April 11. URL: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/11/machines-like-me-by-ian-mcewan-review> (дата обращения: 16.03.2020).
16. *Ditum S.* ‘It drives writers mad’: why are authors still sniffy about sci-fi? // *The Guardian*. 2019. April 18. URL: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/18/it-drives-writers-mad-why-are-authors-still-sniffy-about-sci-fi> (дата обращения: 16.03.2020).

17. *Miller L.* Ian McEwan Should Read Some Science Fiction // *Slate*. 2019. April 29. URL: <https://slate.com/culture/2019/04/ian-mcewan-science-fiction-machines-like-me.html> (дата обращения: 16.03.2020).
18. *Stockwell P.* Texture: A Cognitive Aesthetics of Reading. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012. viii, 216 p.
19. *Юзефович Г.* Что случилось с литературным жанром // *Юзефович Г.* О чём говорят бестселлеры. Как все устроено в книжном мире. М., 2018. С. 150–160.
20. *Wolfe G.K.* Evaporating Genres: Essays on Fantastic Literature. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 2011. xv, 260 p.
21. *Соколов М.М., Соколова Н.А., Сафонова М.А.* Статусные культуры, биографические циклы и поколенческие изменения в литературных вкусах читателей петербургских библиотек // Журнал социологии и социальной антропологии. 2016. Т. 19, № 3 (86). С. 116–135.
22. *Duff D.* Romanticism and the Uses of Genre. Oxford ; N.Y. : Oxford University Press, 2009. x, 256 p.
23. *Шеффер Ж.-М.* Что такое литературный жанр? [1989] М. : Едиториал УРСС, 2010. 192 с.
24. *Зубов А.А.* «Роман с научной подкладкой»: научная фантастика и конструирование социального воображения в России начала XX века // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2018. № 1. С. 116–127.
25. *Тэрбер Дж.* Тайна убийства Макбета: рассказы. СПб. : Азбука-классика, 2006. 349 с.
26. *Кафка Ф.* Собрание сочинений : в 3 т. Т. 1. М. : ТЕРРА-Книжный клуб, 2009. 560 с.

Genres of Popular Fiction and the Mechanics of Cognitive Recognition

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 216–231. DOI: 10.17223/19986645/71/13

Artem A. Zubov, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation), Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation). E-mail: artem_zubov@mail.ru

Keywords: genre studies, cognitive genre studies, family resemblance, prototype, genres of popular fiction, detective fiction, science fiction, horror.

In the article, the author researches sociocultural and cognitive aspects of literary genres. From sociocultural perspective, genres function as social ‘pacts’ that enable communication between actors of literature as a social institute (writers, readers, critics, publishers, and distributors). From cognitive perspective, genres are viewed as cognitive frames that exist in readers’ consciousness, influence readers’ responses during the acts of reception, and orient readers in the imaginary world of a text. In contemporary scientific and public discussions of genres, two levels are usually confused: the level of social positioning and the level of reception. Literary critics and scholars tend to use the rhetoric technique of defining through negation—they prove the ‘exclusivity’ of a text, its high aesthetic quality, and high position in cultural hierarchy by excluding it from any categories. However, on the level of reception there are no non-categorized texts—any text is a member of a group or a category. In the act of reception, readers correlate a text with a generic ‘prototype’ according to the principle of ‘family resemblance’. In the article, the author argues that sociocultural and cognitive levels should be viewed as separate, but not isolated from each other—they are dialectically interconnected. The article focuses on genres of popular fiction. Their functioning is inseparable from the market: they formed as industrial ‘niches’ on literary markets in Russia, Europe, and the USA in the late 19th – early 20th centuries. At that time, those niches received their ‘generic names’ that were associated with the lists of literary texts, social stereotypes, and notions of their social and cultural meanings. Readers’ acquaintance with a genre is a dynamic process—it includes reading of literary texts associated with the genre in the field of literary production, adoption of repetitive ideas of the genre, and development of cognitive skills of reading generic texts, i.e. orientation in the textual space and decoding it. In readers’ con-

sciousness, genres function as cognitive frames of reception—they coordinate readers' interpretative efforts and aesthetic evaluation of a text. The author shares the results of empirical observations based on an experiment: the participants were offered to read the first paragraphs of F. Kafka's *Metamorphosis* from the lens of different genres (detective fiction, science fiction, and horror). This experiment demonstrated how different generic stereotypes activate models and habits of reception relevant for different situations.

References

1. Sinding M. (2004) Beyond essence (or getting over 'there'): Cognitive and dialectic theories of genre. *Semiotica*. 149–1/4. pp. 377–395.
2. Fishelov D. (1991) Genre Theory and Family Resemblance – Revisited. *Poetics*. 20. pp. 123–138.
3. Lakoff, G. (2004) *Zhenshchiny, ogon' i opasnyye veshchi: Chto kategorii yazyka govoryat nam o myshlenii* [Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal About the Mind]. Translated from English. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury.
4. Hanenberg, P. & Brandt, P.A. (2010) Strange Loops and a Cognitive Approach to Genre. *Cognitive Semiotics*. 6. pp. 179–192.
5. Williamson, R. (2010) Pesher: A Cognitive Model of the Genre. *Dead Sea Discoveries*. 17 (3). pp. 307–331.
6. Tarasova, I.A. (2018) Zhanr v kognitivnoy perspektive [Genre in the Cognitive Perspective]. *Zhanry rechi – Speech Genres*. 2 (18). pp. 88–95.
7. Gelder, K. (2004) *Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field*. London; New York: Routledge.
8. Glover, D. (2012) Publishing, history, genre. In: Glover, D. & McCracken, S. (eds) *The Cambridge Companion to Popular Fiction*. London; New York: Cambridge University Press. pp. 15–32.
9. White, H. (2003) Anomalies of Genre: The Utility of Theory and History for the Study of Literary Genres. *New Literary History*. 34 (3). pp. 597–615.
10. Zenkin, S.N. (2018) *Teoriya literatury: problemy i rezul'taty* [Literary Theory: Problems and Results]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
11. Groys, B. (2015) *O novom. Opyt ekonomiki kul'tury* [On the New. An Attempt at Cultural Economy]. Moscow: Ad Marginem Press.
12. Zverev, A.M. (1991) Chto takoye "massovaya literatura"? [What is "Mass Literature"?]. In: Zverev, A.M. (ed.) *Liki massovoy literatury SSHA* [Images of Mass Literature in the USA]. Moscow: Nauka. pp. 3–36. (In Russian).
13. Adams, T. (2019) Ian McEwan: 'Who's going to write the algorithm for the little white lie?' [interview]. *The Guardian*. April 14. Available from: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/14/ian-mcewan-interview-machines-like-me-artificial-intelligence> (Accessed: 16.03.2020).
14. Giles, J. (2019) Love, Sex and Robots Collide in a New Ian McEwan Novel. *The New York Times*. May 1. Available from: <https://www.nytimes.com/2019/05/01/books/review/ian-mcewan-machines-like-me.html> (Accessed: 16.03.2020).
15. Theroux, M. (2019) Machines Like Me by Ian McEwan review—intelligent mischief. *The Guardian*. April 11. Available from: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/11/machines-like-me-by-ian-mcewan-review> (Accessed: 16.03.2020).
16. Ditum, S. (2019) 'It drives writers mad': why are authors still sniffy about sci-fi? *The Guardian*. April 18. Available from: <https://www.theguardian.com/books/2019/apr/18/it-drives-writers-mad-why-are-authors-still-sniffy-about-sci-fi> (Accessed: 16.03.2020).
17. Miller, L. (2019) Ian McEwan Should Read Some Science Fiction. *Slate*. April 29. Available from: <https://slate.com/culture/2019/04/ian-mcewan-science-fiction-machines-like-me.html> (Accessed: 16.03.2020).

18. Stockwell, P. (2012) *Texture: A Cognitive Aesthetics of Reading*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
19. Yuzefovich, G. (2018) *O chem govoryat bestsellery. Kak vse ustoyeno v knizhnom mire* [What Do Bestsellers Mean. Structure of the Book World]. Moscow: AST. pp. 150–160.
20. Wolfe, G.K. (2011) *Evaporating Genres: Essays on Fantastic Literature*. Middletown, Conn.: Wesleyan University Press.
21. Sokolov, M.M., Sokolova, N.A. & Safonova, M.A. (2016) Status Cultures, Biographic Cycles, and Generational Changes in Literary Tastes of Library Users in Saint Petersburg. *Zhurnal sotsiologii i sotsial'noy antropologii – The Journal of Sociology and Social Anthropology*. XIX:3 (86). pp. 116–135. (In Russian).
22. Duff, D. (2009) *Romanticism and the Uses of Genre*. Oxford; New York: Oxford University Press.
23. Shaeffer, J.-M. (2010) *Chto takoye literaturnyy zhanr?* [What Is a Literary Genre?]. Translated from English. Moscow: Editorial URSS.
24. Zubov, A.A. (2018) “Scientific Novel”: Science Fiction and the Social Imaginary in the Early 20th-Century Russia. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9. Filologiya – Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology*. 1. pp. 116–127. (In Russian).
25. Thurber, J. (2006) *Tayna ubiystva Makbeta: rasskazy* [The Macbeth Murder Mystery: Short Stories]. Translated from English. Saint Petersburg: Azbuka-klassika.
26. Kafka, F. (2009) *Sobraniye sochineniy v 3-kh tomakh* [Collected Works in 3 Vols]. Translated from German. Vol. 1. Moscow: TERRA-Knizhnyy klub.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/71/14

Г.М. Ибатуллина, В.В. Огородова

ИНИЦИАЦИЯ ДУРАКА В РАССКАЗЕ Л.Н. ТОЛСТОГО «УТРО ПОМЕЩИКА»

Рассматриваются функции сюжета инициации в рассказе Л.Н. Толстого «Утро помещика». Показывается, что логика инициации Дурака через его осмияние и ироническое остранение «глупости» обнаруживает ряд параллелей в истории Дмитрия Нехлюдова. В отличие от фольклорного первообраза преображение героя Толстого не является однозначно-итоговым: в finale рассказа Нехлюдов, с одной стороны, прошел важнейший этап своего становления, с другой – оставлен на пороге полноценного «превращения» Дурака в Мудреца.

Ключевые слова: Л.Н. Толстой, «Утро помещика», миф, фольклорная традиция, архетип Дурака, сюжет инициации, комическое

Ориентация творчества Л.Н. Толстого на фольклорные первообразы – проблема, до сих пор имеющая немало литературоведческих лакун. Несмотря на активный интерес толстоведов к данному аспекту поэтики писателя [1–4], публикации, касающиеся мифопоэтических и фольклорных мотивов в рассказе «Утро помещика», единичны (см.: [5, 6]) и заявленную в нашей статье тему не затрагивают. Рассказ «Утро помещика» в существующих работах интерпретируется, как правило, в контекстах социальной, нравственной, «народной» проблематики [7–9], однако, на наш взгляд, «народность» его проявлена не только тематически, но и в плане поэтики – в формах и способах изображения, находящих отчетливые параллели в фольклоре. Это в первую очередь ряд знаковых мотивов, аллюзий, реминисценций, связанных с архетипом Дурака и сюжетом инициации, – ключевых для понимания произведения в целом. Следует отметить, что мифологема инициации Дурака выполняет сюжетообразующие функции не только в «Утре помещика», но и в повести Толстого «Казаки» (см. об этом: [10]), т.е. в значительной степени оказывается определяющей для раннего творчества писателя. Более того, как известно, главные герои произведений – Нехлюдов и Оленин – являются инвариантными персонажами, отражающими суть собственных духовно-нравственных поисков автора.

В парадигме образа Дмитрия Нехлюдова в «Утре помещика» диалогически встречаются архетипические мотивы, характерные для двух противоположных по сути сказочных героев – Ивана-царевича и Ивана-дурaka. С одной стороны, перед нами герой, имеющий подчеркнуто высокий социальный статус: Нехлюдов – князь, т.е. в системе символьческих кодов европейской аристократической культуры – «царевич» («князь» в переводе на английский или французский языки «prince», что тождественно русскому «царевич»). Значимость этих кодов актуализирована в экспозиции произведения рядом акцентированных деталей: герой уже в первой фразе тек-

ста представлен не по имени, а своим титулом, он включен в пространство русской родовой аристократии (пишет письмо тетушке графине Белорецкой) и одновременно – в общеевропейское культурологическое пространство (учится в университете, его письмо написано на французском языке). Как и полагается сказочному Царевичу¹, князь Нехлюдов озабочен своей миссией спасителя крестьян-«сирот», его отъезд в деревню продиктован прежде всего «священной и прямой обязанностью заботиться о счаствии этих семисот человек», он должен будет «отвечать богу» [11. С. 123]. Подобно сказочному герою-спасителю пытается Нехлюдов реализовать себя и в роли воина, «богатыря», противостоящего виновникам обездоленности крестьян: «Не грех ли покидать их на произвол грубых старост и управляющих из-за планов наслаждения или честолюбия?» [11. С. 123].

С другой стороны, в структуре образа Нехлюдова мы обнаружим ряд архетипических мотивов, характерных для фольклорного Дурака и неоднократно проявленных как на уровне вербально-текстовых определений, так и в сюжетно-смысловой парадигме произведения в целом. Уже в первых фрагментах рассказа отчетливо выделяются знаковые детали, репрезентирующие родство героя с фольклорным первообразом: он отчужден от своей среды, о чем и сам пишет тетушке: «...я пошел по совершенно особенной дороге... которая... я чувствую, приведет меня к счастию» [11. С. 124]; он не имеет прагматично-конкретных жизненных целей, не способен к полноценному самоопределению ни в индивидуально-личностном, ни в социальном плане и, как пишет ему графиня, «делает глупость», хотя наделен «прекрасным сердцем» и «добрими качествами» [11. С. 124]. Следуя внутреннему порыву, Нехлюдов оставляет университет и остается в деревне, задавшись целью восстановить разоренное хозяйство, наивно полагаясь при этом только на силу своего желания.

На первый взгляд герой здесь все-таки определяет для себя какие-то цели, но формулируются они, говоря словами повествователя, «неустановившейся ребяческой рукой» [11. С. 123], лишены рациональной продуманности, эфемерно-простодушны, по существу, аллюзивно напоминают сказочное «пойди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что». Духовный поиск Нехлюдова постоянно ориентирован на «какое-то другое, высшее чувство», которое все время говорило «не то и заставляло искать чего-то другого» [11. С. 164]. Нехлюдовым, как и сказочным персонажем, владеет скорее мечта, которая каким-то образом приведет его к «счастию», нежели четко поставленная, осознанная цель (курсивы здесь и далее принадлежат авторам статьи). Фольклорно-фелицитарный мотив «поиска счастья», нередко являющийся толчком к развитию сказочного сюжета, выполняет, по сути, те же функции и в «Утре помещика» Толстого, проходя сквозной нитью через размышления героя, см., например: «Итак, я должен

¹ Там, где в нашей работе речь идет о нравственно-психологических, социальных и прочих характеристиках героя, именования «царевич», «дурак» и т.д. мы пишем со строчной буквы; там, где говорится об архетипах, – с прописной.

делать добро, чтоб быть счастливым», – думал он, и вся будущность его уже не отвлеченно, а в образах, в форме помещичьей жизни живо рисовалась перед ним» [11. С. 165].

Одной из ключевых текстовых отсылок к архетипу Дурака можно считать явственно акцентированную в письмах Нехлюдова и его тетушке оппозицию ум – глупость. Рассудительная графиня, манифестирующая обще принятый «здравый смысл» и его требования, названа «самой гениальной женщиной в мире» [11. С. 123], подчеркнуты ее трезвый ум и житейский опыт. Мечты Нехлюдова она прямо называет «глупостью», «нелепым», хотя и «благородно-великодушным планом», «ребячеством» [11. С. 123]. Последняя характеристика («ребячество») повторяется в тексте неоднократно в разных вариациях, о своей «молодости» говорит, например, сам Нехлюдов: «Вы скажете, что я молод; может быть, точно я еще ребенок...» [11. С. 123], – и это не случайно. Здесь перед нами аллюзивная актуализация сразу двух значимых сказочных мотивов: «младшего сына» – доброго, но наивного и неразумного по сравнению со «старшими», и сюжетообразующего мотива инициации, которую проходят именно «младшие» и «молодые», чтобы обрести зрелость и мудрость. Мотив «младшего сына» и связанный с ним мотив трех братьев, один из которых глуп и простодушен, косвенно обозначен и в просьбе Нехлюдова тетушке: «Не показывайте письма этого брату Васе: я боюсь его насмешек; он привык превенствовать надо мной, а я привык подчиняться ему. Ваня если и не одобрит мое намерение, то поймет его» [11. С. 124]. Князь Нехлюдов оказывается здесь в роли младшего брата простака, в то время как старшие братья играют роли «умных наставников», позволяя себе насмешки над глупцом. Отметим, кстати, что ситуация осмияния Дурака, ставшая в рассказе одной из основных сюжетных коллизий (о чем речь пойдет ниже), потенциально заявлена и в другой просьбе Нехлюдова: «Ради бога, милая тетушка, не смейтесь надо мной» [11. С. 123].

Взаимоотражения архетипов Царевича и Дурака в художественной парадигме произведения приобретают особую сюжетную диалектику. Нехлюдов не обладает внутренней цельностью, присущей фольклорным «богатырям» и «спасителям», личность его изначально двойственна: идеалы Царевича сосуществуют с наивностью Дурака, лишенного способности реализовать практические цели. Значимо для нас здесь и то, что в фольклорных контекстах семиотически выраженную оппозицию, как в социальном, так и в личностно-психологическом плане, представляет именно диада Царевич – Дурак, а не Царевич – Крестьянский сын или Дурак – Мудрец; как отмечает А.Д. Синявский, именно «Дурак занимает самую нижнюю ступень на социальной и, вообще, на оценочно-человеческой лестнице» [12. С. 17]. Эта изначальная дихотомия архетипов еще более заостряет противоречивость личности Нехлюдова. Мы видим у Толстого отчетливую дублированную инверсию фольклорной ситуации: во-первых, подобная раздвоенность героя в сказке невозможна, Дурак может стать Царевичем в финале пути, но не может быть изначально и одновременно тем и другим;

во-вторых, фольклорный Царевич вообще не может оказаться в роли Дурака // Шута // Простака, что, по сути, происходит с князем Нехлюдовым. Данные инверсии непосредственно связаны с логикой инициации героя Толстого.

Сказочный Царевич не проходит инициацию для обретения «ума», он утверждает в результате испытаний свой статус Героя и Спасителя, добивается своей цели, получает «полцарства», «невесту» и т.п. Внутренне раздвоенный Нехлюдов не способен на это, более того, он оказывается вдвойне «дураком», поскольку, будучи «глупцом», наивно мнит себя уже состоявшимся «богатырем» и «спасителем». Поэтому у Толстого в «Утре помещика», в отличие от фольклорных сюжетов, Князь // Царевич оказывается в роли Дурака, чтобы пройти соответствующую инициацию и обрести «мудрость». Отметим, что диалогические взаимоотражения двух разных первообразов обозначены косвенно и в портретном описании Нехлюдова: первая и большая часть здесь резонирует с обликом Героя, а заключительная отчетливо ему противопоставлена и наделена коннотацией «молодого Глупца»: «Нехлюдов был высокий, стройный молодой человек с большими, густыми, выющиеся темно-русыми волосами, с светлым блеском в черных глазах, свежими щеками и румяными губами, над которыми только показывался первый пушок юности. Во всех движениях его и походке заметны были сила, энергия» и – «добродушное самодовольство молодости» [11. С. 126].

Эксплицируя логику инициации¹ в развитии сюжета произведения, параллельно назовем еще ряд черт, характерных для архетипа Дурака и явственно отраженных в структуре образа Нехлюдова. Герой Толстого, как и сказочный Дурак, слишком «оригинален» (именно в этом упрекает его графиня), эксцентричен в глазах окружающих, его внезапный отъезд в деревню расценивается как эпатажный шаг, и не случайно тетушка советует ему: «...выбирай лучше *торные дорожки*: они ближе ведут к успеху, а успех, если уж не нужен для тебя как успех, то необходим для того, чтобы иметь возможность делать добро, которое ты любишь» [11. С. 125]. Выражение «торные дрожки» в общем ассоциативно-символическом контексте повествования воспринимается как отсылка к вербальным моделям сказочного нарратива. Сам отъезд Нехлюдова четко соотносится с первым этапом традиционной инициации – уход героя из привычного, «своего» пространства в мир «иной», неведомый, живущий по другим законам; оппозиция университет – деревня становится здесь инвариантной аналогией фольклорно-мифологической оппозиции дом – лес. Вопреки совету тетушки, но согласно логике фольклорного сюжета Нехлюдов идет именно «дорожками неторными»: о знаковом характере данной детали говорит и ее аллюзивное дублирование в топосе «ухода», обозначающем начало движения героя на пути к инициации. Отправившись в воскресный день в дерев-

¹ Структуру сюжета инициации мы рассматриваем в соответствии со схемой, предложенной В.И. Тюпой: [13].

нию выполнять свою функцию «спасителя крестьян», Нехлюдов «вышел из большого с колоннадами и террасами деревенского дома, в котором занимал внизу одну маленькую комнатку, и по нечищенным, заросшим дорожкам старого английского сада направился к селу, расположенному по обеим сторонам большой дороги» [11. С. 126]. Отметим здесь также символическую значимость мотива «большой дороги», коррелирующую с традиционной фольклорно-мифологической топографией.

Именно деревня, где герой рассказа намеревался пройти инициацию Царевича-спасителя, становится местом его инициации в роли Дурака, а инициирующими его «Мудрецами» – те самые крестьяне, которых он собирался учить и спасать. Проходя здесь испытания – второй из этапов инициации, подобно фольклорному Дураку, Нехлюдов неоднократно «делает заведомо бесполезные, бессмысленные (иногда антиэстетические, эпатирующие других) вещи» [14. С. 226]. Значимую художественно-семиотическую роль выполняет и фамилия героя: этимология слова «неклюд» – «неклюзывый», «неклюдок» – обладает универсально-обобщающим содержанием, включающим в себя представление о неуклюжем, нескладном человеке (см., например, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля [15. С. 547]). Ассоциативно «неуклюзий» и «некладный» резонируют с образами «дурака», «простака», поскольку являются ключевыми для них характеристиками, связанными с неумением, беспомощностью, – вспомним известное стихотворение С.Я. Маршака, воссоздающее обобщенное представление о фольклорном Дураке: «Что ни делает дурак, / Всё он делает не так» [16]. А.Д. Синявский пишет: «Главное свойство дурака – это то, что он дурак и все делает по-дурацки. Говоря иными словами, совершает все невпопад и не как все люди, вопреки здравому смыслу и элементарному пониманию практической жизни. Это особенно бросалось в глаза крестьянину с его практической сметкой и потому всячески обыгрывалось в сказке, делая дурака фигурой глубоко комической» [12. С. 17].

Нехлюдов в изображении Толстого действительно делает все «подурацки», нередко представляя собой комичное зрелище для местных мужиков, собственных крестьян. Одним из самых выразительных моментов, сближающих в этом плане толстовского героя с его первообразом, является центральный эпизод произведения, когда Нехлюдов, искренне желая помочь крестьянам, ставит их в такие условия, которые в итоге оказываются для них далеко не всегда приемлемыми. Так, с детской наивностью пытаясь «спасти» Ивана Чуриса, он предлагает ему перебраться из ветхой избы на «новое место» и сразу же допускает оплошность. Оказывается, что новое место совершенно непригодно для крестьянского быта и лишено привычных удобств обжитой местности, где «и дорога, и пруд тебе, белье, что ли, бабе стирать, скотину ли поить, и все наше заведение мужицкое, тут искони заведенное... и дед, и батюшка наши здесь Богу душу отдали» [11. С. 132]. В глазах крестьянина Нехлюдов предстает чудаком, глуповатым юнцом, не понимающим реальных жизненных ситуаций; все его слова и поступки вызывают скрытую или явную иронию, а подчас и откровенную

насмешку, что мы неоднократно видим в диалоге с Иваном Чурисом. Все предложения молодого барина крестьянин оценивает как «пустое дело» [11. С. 132]. Даже, казалось бы, невинный вопрос по поводу того, обедал ли Чурис, последний встречает с недоумением, «будто ему смешно было, что барин делает такие глупые вопросы; он ничего не ответил» [11. С. 131].

Далее, совершая обход крестьян, Нехлюдов продолжает цепочку подобных оплошностей: решает взять к себе во двор отпетого лентяя Давыдку Белого и наивно полагает, что можно его исправить одними увещеваниями; предлагает старику Дутлову заняться совместной торговлей лесом и вложить в покупку все средства, не понимая истинных целей, намерений и возможностей семьи Дутлова; подобным же образом представлены и другие сцены посещения героями мужицких хозяйств.

Логика Нехлюдова и логика крестьян постоянно оказываются в парадоксальном и ироничном несовпадении, более того, крестьяне, в отличие от героя, более отчетливо понимают комическую абсурдность ситуации и, не скрывая, обнаруживают это в разговорах с Нехлюдовым, почти демонстративно театрализуя свое поведение. Особенно откровенно выстраивает комическую интермедию «осмеляния дурака» Юхванка Мудреный, прозвище которого также приобретает в символическом контексте повествования архетипически-знаковый характер, указывая на центральную роль Мудреца в инициации Дурака через ироническое остранение-осмеляние его алогизмов и «глупостей». Разыгрываемые Юхванкой сцены не только подчеркнуто театральны, но и карнавализованы по своей сути: герой легко и играючи переступает через социально-сословные границы, фамильярно-комически утируя этикетные условности: «На то воля вашего сясо, – отвечал он, закрывая глаза с притворно-покорным выражением, – коли я вам не заслужил» [11. С. 143]; «Помилуйте, васясо, мы, кажется, можем понимать вашего сяса! – отвечал Юхванка, улыбаясь, как будто вполне понимая всю прелесть шутки барина. Эта улыбка и ответ совершенно разочаровали Нехлюдова в надежде тронуть мужика и увещаниями обратить на путь истинный» [11. С. 144]; «Никак не можно поймать-с одному, васясо. Вся скотина гроша не стоит, а норовистая – и зубом и передом, васясо, – отвечал Юхванка, улыбаясь очень весело и пуская глаза в разные стороны. Когда Нехлюдов заметил, что совершенно напрасно было употреблять такие усилия, и взглянул на Юхванку, который не переставал улыбаться, ему пришла в голову самая обидная в его лета мысль, что Юхванка смеется над ним и мысленно считает его ребенком. Он покраснел...» [11. С. 142]. В результате в сцене посещения Юхванки Мудреного комическое положение героя-простака достигает кульминации: Нехлюдов оказывается в роли Шута и Глупца одновременно, он буквально втянут в игровые ситуации помимо своей воли, что и придает этим сценам карнавализованный колорит, – ведь именно карнавальное пространство обладает свойством «затягивать» в себя всех, кто вольно или невольно оказался в зоне импровизированных «фамильярных контактов» [17. С. 141], а Шут // Глупец является одной из ключевых фигур карнавального действия.

Можно сказать, что и в других эпизодах встреч и бесед Нехлюдова с крестьянами, как в представленном здесь разговоре со скоморошествующим Юхванкой, отчетливо прочитываются отсылки не только к сказкам, анекдотам и байкам о дураках, но и к народным театрально-комическим жанрам (балаган, театр Петрушки и т.п.), и к таким фольклорным формам, как небылицы, докучные сказки, имеющим явный пародийный и карнавализованный характер. Претерпевает карнавализованную инверсию и сама логика «путешествия»¹ Нехлюдова, обнаруживая в своей структуре мениппейный топос. «Восхождение на Олимп» – мечты о миссии Спасителя крестьян – оборачивается «спуском в преисподнюю» [17. С. 133]; бытовой натурализм мышления мужиков вкупе с их нарочито-лукавой игрой с хозяином профанируют и комически травестируют утопический идеал Нехлюдова. Архетипическая парадигма героя Толстого также приобретает сложную структуру: инвариантами мифологемы Дурака здесь становятся первообразы Шута, Чудака, Юродивого. Архетипические составляющие образа Нехлюдова, в том числе и названные нами выше первообразы Царевича, Спасителя, существуют в амбивалентно-диалогических смысловых взаимоотражениях: одновременно в отношениях взаимооспоривания² и взаимодополнения, – однако более развернутый анализ системы этих отношений требует отдельного исследования; здесь же мы ведем речь об одной из доминантных моделей личности и сознания героя – архетеипе Дурака и связанном с ним сюжете инициации.

Ситуация осмияния Дурака представлена в инициации Нехлюдова его кульминационным испытанием: это вполне очевидное испытание на духовно-личностную зрелость и цельность, способность к «самостоятельности» (А.С. Пушкин) и осознанной самореализации. Поэтому вскоре и самому Нехлюдову становится ясной несостоятельность и нежизнеспособность его идей, не прошедших проверку на прочность под уверенными взглядами очередного мужика, «с отеческим покровительством» отвечающего на все его вопросы [11. С. 160]. Нехлюдов то приходит «в бешенство», уже отчетливо осознавая себя предметом насмешек, то все более «тушуется», ощущая себя не полноправным владельцем имения, а надоевшим гостем. «Он, краснея, сел на лавку. – Дай мне горячего хлеба кусочек, я его люблю, – сказал он и покраснел еще больше» [11. С. 163]. «Однако чего ж я стыжусь? Точно я виноват в чем-нибудь, – подумал Нехлюдов, – отчего же мне не сделать предложение о ферме? Какая глупость!» [11. С. 163]. Эффект осознания собственной «глупости» по мере развития сюжета нарастает, и Нехлюдов все более чувствует себя «дураком», поверженным в комической интермедией-игре «хозяин и крестьяне».

На первый взгляд традиционный фольклорный финал в толстовском тексте переигран: Дурак не обрел искомого «счастья» и не реабилитировал

¹ Сюжет путешествия в «Утре помещика» развернуто и убедительно описан в работе К.А. Нагиной: [5].

² Данная словоформа заимствована нами из литературоведческого тезауруса В.А. Зарецкого, где она представлена именно в такой орфографии, см., например: [18].

себя в глазах окружающих. Однако в действительности герой Толстого приобретает нечто большее: опыт реальной, а не иллюзорно-мечтательной встречи с жизнью и с людьми, в результате чего ему открываются пути более глубокого понимания собственных сил и возможностей. Несмотря на то, что Нехлюдов остается обманутым в собственных надеждах, «испытывая какое-то смешанное чувство усталости, стыда, бессилия и раскаяния» [11. С. 167], он все-таки достигает определенного этапа духовного взросления и готовности к дальнейшим шагам на пути к обретению целостности. Логика инициации в открытом finale рассказа не разрушается, но трансформируется: по сути, здесь перед нами интеграция двух заключительных этапов архетипического сюжета в их редуцированной и потенциально заявленной форме.

Кульминационный этап инициации – «встречу со смертью» – Нехлюдов переживает неоднократно: практически в каждом эпизоде бесед с мужиками «умирает» какая-то часть его иллюзий и та часть этого, которая эти иллюзии порождала и поддерживала. Вспомним, что уподобление осмейания символической смерти характерно как для фольклорной традиции в целом, так и для карнавального модуса народной культуры, поскольку уходит корнями в архаические ритуалы, связанные с идеей умирания – возрождения: обновляющая сила смеха приравнивалась к обновляющей силе смерти (об амбивалентном единстве смеха – смерти как возрождающей силы см., например, в известной работе М.М. Бахтина: [19. С. 165–166]). Символическим подобием смерти становится и финальная греза-видение Нехлюдова, когда он впадает в своеобразное трансовое состояние и жизнь рационально-бодрствующего сознания в нем замирает. Более того, в эти грезы парадоксально вплетается образ сна Илюшки, метонимически оказывающегося в результате и «сном» самого Нехлюдова; сон же, как известно, одна из самых распространенных метафор смерти, ее символическое микроподобие.

Последняя, завершающая фаза инициации представлена в повествовании и конкретно реализованным мотивом возвращения – Нехлюдов возвращается из «путешествия» в свой деревенский дом, вновь проходя через сад, – и образами потенциального возрождения-преображения героя. То, что такое преображение возможно, заявлено не только ситуациями разрушения иллюзий, но и финальным эпизодом самопогружения-самопознания героя, идущего в поисках самоопределения путем проб и ошибок. В finale перед нами вырисовываются две новые архетипические личностные модели, открывающие для Нехлюдова иные пути самоидентификации, нежели те, которые доминировали в нем изначально: вместо дихотомийных первообразов Царевича и Дурака в видениях героя, колоритно рисующих ему образ Илюшки, аллюзивно вырастает, по сути, воспоминание еще об одном архетипическом сказочном персонаже – Иване-крестьянском сыне, являющемуся олицетворением богатырства, духовной целостности, личностной самодостаточности. Как ни парадоксально, но именно этот идеал, видимо, станет в дальнейшем доминантным в духовных поисках

самого Толстого, найдя отражение и в его «философии оправдания», и в таком художественном alter ego писателя, как Константин Левин.

Второй личностный архетип и связанный с ним путь самореализации также биографически коррелирует с творчеством и судьбой Толстого: князь Нехлюдов в своих финальных видениях об Илюшке отчетливо предстает как тип Художника // Поэта, наделенного глубоким творческим потенциалом, способного с «необыкновенной живостью и ясностью» [11. С. 169] создавать в своем воображении выразительные, пластически яркие образы «чужой жизни» и «чужого сознания», убедительно перевоплощаясь в них. Живописные детализированные картины илюшкиного путешествия, рисуемые Нехлюдовым, явственно свидетельствуют о его изобразительном даре и поэтически-художественной ориентации его сознания: «артистический» склад личности в нем отчетливо доминирует над «хозяйственным» и может стать определяющим для его дальнейшей судьбы.

Таким образом, можно сказать, что открытый, незавершенный финал рассказа является проекцией «многосоставности» (Ф.М. Достоевский) личности и незавершенности судьбы самого главного героя. Он представлен в ситуации «выбора путей» и связанных с этим испытаний, а также и искушений, главное из которых – подмена внутреннего самоопределения и интеграции своих личностных составляющих идентификацией себя с образами и моделями других судеб: рассказ заканчивается ключевым для героя вопросом «зачем он не Илюшка»¹ [11. С. 171]. Мотив искушения такой подменой усиливается благодаря портретному «двойничеству» персонажей: портрет Илюшки с его «светлыми кудрями, весело блестящими узкими голубыми глазами, свежим румянцем и светлым пухом, только что начинающим покрывать его губу и подбородок» отчетливо резонирует с приведенным нами выше портретом Нехлюдова. Однако полное отождествление себя с «другим» не менее разрушительно для личности, чем эгоцентрическая замкнутость в своем Я. В изображении Толстого это еще одна иллюзия, в которую может погрузиться самосознание человека: не случайно «мысль: зачем он не Илюшка» [11. С. 171] приходит герою в момент эйфорического видения // сна // иллюзии: «Он свободно и легко летит, все дальше и дальше – и видит внизу золотые города, облитые ярким сиянием, и синее небо с частыми звездами, и синее море с белыми парусами, – и ему сладко и весело лететь все дальше и дальше...» [11. С. 171].

Если начинал Нехлюдов с попыток уверенного и «ребячески» слепого самоутверждения в бытии в роли Царевича // Спасителя // Хозяина, оказавшись в результате Дураком, то завершает он путешествие-инициацию ощущением незавершенности своего пути и диалогическим вопрошанием бытию и самому себе. Хронотоп дороги // пути // полета в финале амбивалентен по своей художественной функции: это не только онейрическая

¹ Ср.: в «Казаках» подобным вопросом задается инвариантный Нехлюдову Оленин: «Зачем я не Лукашко?» – оба героя идут по пути инициаций в поисках самоопределения и обретения целостности, в поисках ответа на вопрос «Кто я?»

иллюзия Нехлюдова, но одновременно и реальное внутреннее состояние, открывающее сознанию героя чувство беспредельности бытия, а значит, и неограниченности своих возможностей какими-либо искусственными // иллюзорными моделями личности и судьбы. Знаковым моментом здесь становится и переход героя от монологического взаимодействия с миром (по сути, все диалоги Нехлюдова с крестьянами в действительности были его монологами, что и обращало его в глазах мужиков в Дурака) – к живому незавершенно-диалогическому отношению к миру: внутренний вопрос Нехлюдова «зачем он не Илюшка» – уже не столько вопрос, сколько диалогизированная мысль о себе и о мире, не ожидающая однозначных ответов. Подобный открытый финал рассказа выглядит вполне закономерным с точки зрения логики художественного мира Толстого в целом (а также, добавим, с точки зрения духовной биографии писателя, закончившего свой жизненный путь в Дороге). Не только в «Утре помещика», но и в «Казаках», а затем и в «Войне и мире» (см. об этом: [10, 20]) сюжет инициации героя у Толстого приобретает особый мистериальный модус, отличный от традиционного фольклорно-мифологического: это путь пролонгированных инициаций, многократно повторяющихся испытаний и полученных в результате откровений; каждый полученный опыт – лишь этап на Пути, который принципиально незавершim, как незавершimа, по Толстому, сама жизнь: «Чтоб жить честно, надо рваться, пугаться, биться, ошибаться, начинать и бросать, и опять начинать, и опять бросать, и вечно бороться и лишаться. А спокойствие – душевная подлость» [21. С. 231]. Нехлюдов в «Утре помещика» оставлен на пороге этого откровения: глубинное понимание истинных, а не иллюзорных жизненных ценностей, а следовательно, истинную мудрость ему еще предстоит обрести, так же как понимание и реализацию своего подлинного Я, не подменяемого искусственно созданными личностными моделями, поэтому полноценное «превращение» из Дурака в Мудреца – одна из перспектив его дальнейшей судьбы.

Литература

1. *Масолова Е.А.* Мифопоэтическая образность романа Л.Н. Толстого «Воскресение» // Культура и текст. 2012. № 1 (13). С. 62–72.
2. *Кирсанов Н.О.* Мифологические основы поэтики Л.Н. Толстого : дис. ... канд. филол. наук. Томск, 1998. 158 с.
3. *Полтавец Е.Ю.* Основные мифопоэтические концепты «Войны и мира» Л.Н. Толстого в свете мотивного анализа : дис. ... канд. филол. наук. М., 2006. 198 с.
4. *Шатин Ю.В.* Путешествие Нехлюдова в Сибирь: К проблеме инициации // Сибирский филологический журнал. 2016. № 2. С. 11–15.
5. *Нагина К.А.* Путешествие как способ познания и самопознания в творчестве Л. Толстого // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2009. № 1. С. 72–76.
6. *Нагина К.А.* «Дары сада» в произведениях раннего Л.Н. Толстого // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2011. Т. 1, № 2. С. 13–22.
7. *Захарова Л.В.* «Дневник помещика» и рассказ «Утро помещика» как программные произведения раннего Л.Н. Толстого // Наследие Л.Н. Толстого в гуманитарных па-

- радигмах современной науки : материалы XXXIV Международных Толстовских чтений / ред. кол. В.А. Панин [и др.]. Тула, 2014. С. 111–115.
8. Подарцев Е.В. Жизнь усадьбы накануне реформы (по повести Л.Н. Толстого «Утро помещика») // *Rhema*. Рема. 2012. Вып. 4. С. 44–52.
 9. Пыхтина Ю.Г. О пространстве деревни и русском характере (на материале произведений Л. Толстого «Утро помещика», А. Чехова «Мужики», И. Бунина «Деревня») // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. 2011. № 4. С. 32–35.
 10. Ибатуллина Г.М., Огородова В.В. Сюжет инициации Дурака в повести Л.Н. Толстого «Казаки» // Филологический класс. 2019. № 2 (56). С. 149–156.
 11. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. Т. 4 / под общ. ред. В.Г. Черткова. М. : Худож. лит., 1935. 450 с.
 12. Синявский А.Д. Иван-дурак: Очерк русской народной веры. М. : Аграф, 2001. 464 с.
 13. Тюна В.И. Фазы мирового археосюжета как историческое ядро словаря мотивов // Материалы к «Словарю сюжетов и мотивов русской литературы»: от сюжета к мотиву. Новосибирск, 1996. С. 16–23.
 14. Иванов В.В., Топоров В.Н. Иван дурак // Мифологический словарь / гл. ред. Е.М. Мелетинский. М. : Советская энциклопедия, 1990. С. 225–226.
 15. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 2: И–О. М. : ИРПОЛ классик, 2006. 784 с.
 16. Маршак С.Я. Не так. URL: <http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4357> (дата обращения: 14.03.2020).
 17. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Сов. Россия, 1979. 320 с.
 18. Зарецкий В.А. Народные исторические предания в творчестве Н.В. Гоголя: История и биографии. Екатеринбург ; Стерлитамак : СГПИ, 1999. 463 с.
 19. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М. : Худож. лит., 1990. 543 с.
 20. Ибатуллина Г.М. Мистерии судьбы в романе Л.Н. Толстого «Война и мир»: путь Посвящений Пьера Безухова // Современные научные исследования и разработки. 2017. № 9 (17). URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32308325_79335763.pdf (дата обращения: 14.03.2020).
 21. Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений : в 90 т. Т. 60 / под общ. ред. В.Г. Черткова. М. : Худож. лит., 1949. 565 с.

The Fool's Initiation in Leo Tolstoy's "A Landlord's Morning"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 232–244. DOI: 10.17223/19986645/71/14

Guzel M. Ibatullina, Veronika V. Ogorodova, Sterlitamak Branch of Bashkir State University (Sterlitamak, Russian Federation). E-mail: guzel-anna@yandex.ru / vogorodova@mail.ru

Keywords: Leo Tolstoy, "A Landlord's Morning" short story, myth, folklore tradition, archetype of Fool, initiation plot, comical.

The article deals with the plot-forming functions of the mythologem "Fool" in the short story "A Landlord's Morning" by Leo Tolstoy. The structure of the image of Dmitry Nekhlyudov, the protagonist of the story, is heterogeneous and organized by the semantic field of mutual reflections of several personality models. The dominant among them is the archetype of the Fool (one of the popular characters in a folk tale), which is presented in opposition to the archetypal models of the Prince/Saviour. The genius–stupidity opposition, which is key for the folklore Fool, is repeatedly shown both in verbal-textual definitions, and in the plot-semantic contexts of the work as a whole. The study of the paradigm of Nekhlyudov's image also reveals significant parallels with traditional fairy-tale motifs and plot situations: the search for happiness, trials and subsequent transformation, the mythologem of the Path. The central plot event of the story is the hero's initiation through the situa-

tion of ridiculing the Fool, when Nekhlyudov, who is trying to realize himself in the mission of the “Savior of the peasants”, finds himself in the role of a Fool/Jester. The hero’s logic and the logic of the peasants collide in an ironic mismatch; peasants, who see the comic absurdity of the situation, demonstratively theatricalize their behavior. The frankly carnivalized culmination of Nekhlyudov’s travel-initiation is the meeting with Yukhvanka the Wise, whose nickname becomes symbolic because it indicates the central role of the Wise Man in the initiation of the Fool through the ironic removal of his alogisms and “stupidities”. The research leads to the conclusion that, in contrast to the folklore tradition, the hero’s initiation in “A Landlord’s Morning” is presented ambivalently in relation to its ending. Despite the fact that in Nekhlyudov’s personal self-determination in the finale new perspectives, indicated by the archetypal models of Ivan the Peasant’s Son/Bogatyr and Artist/Poet, are opened, the fate of the hero turns out to be unfinished. Nekhlyudov, on the one hand, went through one of the stages of his formation; on the other, he only reached the threshold of transformation opening up the possibility of a full-fledged “transmutation” of the Fool into the Wise Man. The chronotope of the road/path/flight performs the function of a sign in the open finale of the work: it is not only Nekhlyudov’s oneiric illusion, but concurrently a real inner state that opens the hero’s consciousness to the sense of the infinity of existence and its possibilities. Starting with attempts to a blind self-assertion in the role of the Prince/Saviour and turning out to be a Fool as a result, the hero completes the travel-initiation with a dialogical questioning of the world and himself; he is left in the situation of the choice of his path and new related trials.

References

1. Masolova, E.A. (2012) Mythopoetic imagery in “Resurrection” by Leo Tolstoy. *Kul’tura i tekst*. 1 (13). pp. 62–72. (In Russian).
2. Kirsanov, N.O. (1998) *Mifologicheskie osnovy poetiki L.N. Tolstogo* [The mythological foundations of L.N. Tolstoy]. Philology Cand. Diss. Tomsk.
3. Poltavets, E.Yu. (2006) *Osnovnye mifopoeticheskie kontsepty “Voyny i mira” L.N. Tolstogo v svete motivnogo analiza* [The main mythopoetic concepts of “War and Peace” by L.N. Tolstoy in the light of motivational analysis]. Philology Cand. Diss. Moscow.
4. Shatin, Yu.V. (2016) Nekhludov’s journey to Siberia: the problem of initiation. *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 2. pp. 11–15. (In Russian).
5. Nagina, K.A. (2009) The traveling is a way to know for investigation and selfinvestigation on the bases of Leo Tolstoy literature inheritance. *Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika – Vestnik VSU. Series: Philology. Journalism*. 1. pp. 72–76. (In Russian).
6. Nagina, K.A. (2011) “The Garden Gift” in works of early L. Tolstoy. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina – Pushkin Leningrad State University Journal*. 2 (1). pp. 13–22. (In Russian).
7. Zakharova, L.V. (2014) [“The Landowner’s Diary” and the story “A Landlord’s Morning” as programmatic works of the early L.N. Tolstoy]. In: Panin, V.A. et al. (eds) *Nasledie L.N. Tolstogo v gumanitarnykh paradigmakh sovremennoy nauki* [Legacy of L.N. Tolstoy in the Humanitarian Paradigms of Modern Science]. Proceedings of the XXXIV International Tolstoy Readings. Tula. 8–10 September 2014. Tula: Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. pp. 111–115. (In Russian).
8. Podartsev, E.V. (2012) The life of an estate before the reform (on the basis of L. Tolstoy’s novel “A Landlord’s Morning”). *Rema – Rhema*. 4. pp. 44–52. (In Russian).
9. Pykhtina, Yu.G. (2011) On space of a village and Russian character (based on works of L. Tolstoy Landowner’s Morning, A. Chekhov Peasants and I. Bunin The Village). *Vestnik Adygeyskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2: Filologiya i iskusstvovedenie – The Bulletin of the Adyge State University, the Series “Philology and the Arts”*. 4. pp. 32–35. (In Russian).

10. Ibatullina, G.M. & Ogorodova, V.V. (2019) The plot of the fool's initiation in the novel by L.N. Tolstoy "The Cossacks". *Filologicheskiy klass – Philological Class*. 2 (56). pp. 149–156. (In Russian). DOI 10.26170/FK19-02-20
11. Tolstoy, L.N. (1935) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 4. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
12. Sinyavskiy, A.D. (2001) *Ivan-durak: Ocherk russkoy narodnoy very* [Ivan the Fool: An outline of the Russian folk faith]. Moscow: Agraф.
13. Tyupa, V.I. (1996) Fazy mirovogo arkheosyuzheta kak istoricheskoe yadro slovarya motivov [Phases of the world archaeological plot as the historical core of the dictionary of motifs]. In: Tyupa, V.I. (ed.) *Materialy k "Slovaryu syuzhetov i motivov russkoy literatury": ot syuzhetu k motive* [Materials for the "Dictionary of Plots and Motifs of Russian Literature": From plot to motif]. Novosibirsk: SB RAS. pp. 16–23.
14. Ivanov, V.V. & Toporov, V.N. (1990) Ivan durak [Ivan the Fool]. In: Meletinskiy, E.M. (ed.) *Mifologicheskiy slovar'* [Mythological Dictionary]. Moscow: Sovetskaya entsiklopediya. pp. 225–226.
15. Dal', V.I. (2006) *Tolkovyy slovar' zhivogo velikorusskogo yazyka* [Explanatory Dictionary of the Living Great Russian Language]. Vol. 2. Moscow: RIPOL klassik.
16. Marshak, S.Ya. (1968) Ne tak [Not This Way]. *World Art*. [Online] Available from: <http://www.world-art.ru/lyric/lyric.php?id=4357> (Accessed: 14.03.2020).
17. Bakhtin, M.M. (1979) *Problemy poetiki Dostoevskogo* [Problems of Dostoevsky's Poetics]. Moscow: Sovetskaya Rossiya.
18. Zaretskiy, V.A. (1999) *Narodnye istoricheskie predaniya v tvorchestve N.V. Gogolya: Istoryya i biografiy* [Folk Historical Legends in the Works of N.V. Gogol: History and biographies]. Yekaterinburg: Sterlitamak: SGPI.
19. Bakhtin, M.M. (1990) *Tvorchestvo Fransa Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa* [Creativity of Francois Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
20. Ibatullina, G.M. (2017) Mysteries of fate in the novel "War and Peace" by Leo Tolstoy: the way of the initiations of Pierre Bezukhov. *Sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki*. 9 (17). [Online] Available from: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32308325_79335763.pdf (Accessed: 14.03.2020). (In Russian).
21. Tolstoy, L.N. (1949) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 60. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.

УДК 82.091

DOI: 10.17223/19986645/71/15

Л.Г. Каяниди

ОРНИТОЛОГИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА (ОРЕЛ / КОРШУН) В ТРАГЕДИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА «ПРОМЕТЕЙ»

Статья посвящена осмыслиению орнитологического «кода» трагедии. В ней раскрывается семантика образов орла и коршуна, рассмотренная в свете структурно-смысовых особенностей произведения и античной ритуально-мифологической символики. Обосновывается вывод об антиномико-диалектической связи Прометея с орлом и коршуном. Показан генезис ивановской орнитологической символики в античной традиции. Ивановское осмысление образов орла и коршуна рассмотрено на фоне мифологических дискуссий начала XX в.

Ключевые слова: мифология, символика, Прометей, Пандора, орел, коршун, история мифологии, русский символизм, Вячеслав Иванов

Тайны «Прометея»

Трагедия Вячеслава Иванова «Прометей» полна загадок. Они затрагивают как частности художественного целого, так и его концептуальные моменты. Приведем лишь несколько вопросов, которые вызывают недоумение при знакомстве с текстом Иванова, но так и остаются не освещенными в ивановедческой литературе. Почему и как Иванов сочетает в своей трагедии орфический миф о растерзании Диониса титанами с прометеевским мифологическим сюжетом? Почему Пандора становится не только созданием Прометея, но и его ипостасью, alter ego? Почему Иванов ставит сына Иапета не только в связь с «огненным действом» (установлением лампадедромий – ритуального бега с факелами), но и с «обрядом сеятельным», т.е. учреждением земледельческих обрядов?

В настоящей статье мы постараемся осветить одну из подобных загадок ивановского «Прометея», связанную с его орнитологическим «кодом». Частной, но знаменательной особенностью образной системы ивановского «Прометея» является коршун как орнитологический спутник и «двойник» Прометея, вытесняющий на второй план освященного мифологической, литературной и художественной традицией орла. Почему Иванов отдает предпочтение коршуну, а не орлу, сохранив обоих как мучителей Прометея? Какое различие проводится поэтом между той и другой птицей? Какова символико-мифологическая семантика орла и коршуна? Как ивановская трактовка отношений Прометея со своими орнитологическими спутниками связана с мифологическими дискуссиями начала XX в.? Таков перечень вопросов, на которые мы постараемся дать ответ.

Рэймон Труссон, автор самой авторитетной в европейской науке монографии «Тема Прометея в европейской литературе», указывая 21 античного автора, упоминавшего о казни Прометея с помощью посланной Зевсом птицы, отмечает закрепление в традиции орла в качестве мучителя мятежного титана [1. Р. 74].

Работа Иванова над трагедией «Прометей»¹ совпала с подготовкой им переводов Эсхила для серии «Памятники мировой литературы», основанной М.В. Сабашниковым. В период с 1912² по 1917 г. Иванов полностью перевел «Орестею» и «Персов», частично «Семеро против Фив» и «Просительницы» [4]. Вопреки мнению известного польского ивановеда М. Цимборски-Лебоды [5. С. 151], Иванов не создал перевода эсхиловского «Прикованного Прометея», однако очевидно, что в сознании его держал. Глубокое знание Ивановым эсхиловских текстов не оставляет сомнений, было ли поэту известно, что в качестве мучителя титана Эсхил (и почти вся античная традиция) утвердил именно орла. Тем не менее Иванов выбирает коршуна, осознанно предпочитая его орлу: *Станет коршун, / Не горные орлы тебя клевать*³. Так говорит Пандора о грядущем страдании Прометея.

Прежде всего всмотримся в ивановскую трагедию.

В античной традиции птица, посылаемая Зевсом к Прометею, выполняет одну-единственную роль – быть орудием мести Зевса мятежному титану. У Иванова коршун выполняет, кроме всего прочего, и эту функцию (см. слова Пандоры, процитированные выше). Однако она скорее периферийная, чем магистральная. Поскольку ивановская трагедия примыкает в качестве первой части к «Прикованному Прометею» Эсхила⁴, оканчиваясь

¹ Ближайший друг семьи Ивановых и первый биограф поэта О. Шор (Дешарт) отмечала: «Трагедия эта была приготовлена к печати еще в 1915 г.; но появилась она лишь в 1919 г. Петербург. «Алконост»» [2. С. 852]. Е. Глухова и С. Федотова в примечаниях к письму Иванова к Гершензону от 12 августа 1914 г. указывают, что часть трагедии под названием «Сыны Прометея» была напечатана в журнале «Русская мысль», 1915, № 1 [3. С. 63].

² Н.В. Котрелев относит начало перевода Эсхила Ивановым только к 1913 году: «Начат ли был в 1911 г. или зимою 1912 г. перевод Эсхила всерьез – сведений нам не дано» [4. С. 502]. Однако письмо Иванова к Гершензону от 20 декабря 1912 г. уже содержит упоминание о работе над заказом Сабашникова: «Я углубляюсь в окончательную редакцию тома «Экскурсов» (монографических статей с филологическим аппаратом) к «Дионису», и рядом с этими филологическими историями идет Эсхил» [3. С. 54]. Кажется странным, что Е. Глухова и С. Федотова оставили без внимания тот факт, что публикуемое ими письмо Иванова к Гершензону из Римского архива поэта, неизвестное Н.В. Котрелеву в 1989 г., очевидным образом сдвигает нижнюю хронологическую рамку ивановского перевода Эсхила в 1912 г.

³ Здесь и далее цитаты из текста предисловия к трагедии «Прометей» и самого произведения даются по изданию: [6. С. V–XXV и 9–77].

⁴ Предпосылая свою трагедию «Прикованному Прометею», Иванов присоединяется к точке зрения мифологов и историков литературы, которые считали «Prometheus rug-phorus» («Прометея-огненосца») первой частью предполагаемой эсхиловской трилогии. Эта концепция отражена в статье Баппа, помещенной в «Лексиконе» Рошера, где «Прометея-огненосец» характеризуется как «Titel des Anfangsstücks der Trilogie»

там, где начинается эсхиловская трагедия, коршун характеризуется ивановской Пандорой как грядущее карающее орудие Зевса.

Мифологема орла / коршуна в структуре трагедии Иванова

Отношения Прометея с коршуном и орлом у Иванова включаются в интегральную для трагедии пространственно-мифологическую модель.

Проанализировав точки соприкосновения трагедии «Прометей» с поэмой «Сон Мелампа» [11], мы пришли к выводу [12], что в художественном мире Иванова выделяется некая умозрительная конструкция, которую можно назвать «пространственно-мифологической моделью», выполняющей интегральную и конструктивную функцию в ивановском художественном творчестве. «Данная пространственно-мифологическая модель является универсальной для поэзии Иванова. Нами было установлено, что вариации этой модели проявляются в других поэмах и лирических циклах (например, в поэме «Солнцев перстень», в цикле «Порыв и грани»)¹, отдельные ее части актуализируются в разных лирических стихотворениях» [12. С. 232]. В «Промете» эта пространственно-мифологическая модель определяет структуру образную системы и развитие трагического сюжета. Каждый из основных элементов этого сюжета (мы называем их мотивно-образными ситуациями и относим сюда, например, творение Прометеем человеческого рода, создание Пандоры, жертвоприношение Прометея Зевсу и т.д.) представляет собой «трансформацию исходной дионаисийско-титанической мифологемы (либо целиком, либо отдельной ее части) <...> «Основоположный» миф о жертвоприношении Диониса становится потенцированным сюжетом, по-разному отраженным в различных мотивно-образных ситуациях» [11. С. 212].

В предисловии к первому изданию трагедии (в брюссельском собрании сочинений Иванова опубликованном в виде отдельной статьи «О действии и действе») и в «космогонических» и «антропогонических» монологах Прометея и Пандоры Иванов воссоздает свою версию орфической космогонии, базирующуюся на глубоком знании «*Aglaophamus*» Лобека [14]. Дионису орфическому посвящена отдельная глава в диссертации Иванова «Дионис и прадионисийство» [15. С. 152–182].

(«название первой части трилогии») [7. S. 3035]. Эта точка зрения является более архайчной. А.Ф. Лосев отмечает, что она утвердилась «со времен Гердера и Ф.Г. Велькера» [8. С. 230]. Виламовиц-Мёллендорф доказывает, что «Прометей-огненосец» необходимо считать последней частью трилогии, финальной точкой которой являлось учреждение афинских лампадедромий – бега с факелами в честь Прометея во время праздника Прометий (по аналогии с «Эвменидами» Эсхила, последней частью «Орестеи», где описывается преображение Эриний в Эвменид и установление их культа в Аттике) [9. S. 138–145]. К этой точке зрения присоединилась французская классическая филология [10. Р. 69–86].

¹ См. об этом: [13. С. 28–63].

Ивановская реконструкция орфической теогонии (см. приложение) может быть сведена к трем взаимосвязанным триадам (табл. 1), которые в своей совокупности задают мистериально-мифологический, орфический в своем генезисе, сюжет, который, иррадиируя и перевоплощаясь, порождает все мотивно-образные ситуации в трагедии «Прометей».

Таблица 1

Схема мистериально-мифологического сюжета в трагедии Иванова «Прометей»

Метафизическая первотриада	Первообраз действительности (отражение Диониса в зеркале явлений)	Реализация первообраза (жертвоприношение Диониса)	Прометеевский сюжет
Зевс (отчее начало)	Дионис (как ипостась Зевса-Отца)	Дионис (божественная жертва)	Извечный Зевс, трансцендентное божество (дионаисийское начало)
Персефона (материнское начало)	Зеркало явлений, Душа Мира, идеальная Земля (как ипостась Персефоны), где отражается лик Диониса	Титаны (жрецы, жертвопринощающие)	Зевс-Кронид (титаническое начало)
Дионис-Загрей (сыновнее начало)	Титаны (как отражение Диониса в Зеркале явлений)	Титаны, поглотившие Диониса и сожженные его огнем (тождество жреца и жертвы)	Прометей – демиург и огненосец (дионаисийско-титаническое начало)

Первооснова мироздания – метафизическая триада Зевс, Персефона, Дионис-Загрей. Эта триада уходит в глубины сущего, и на ее месте возникает другая: Дионис, Зеркало явлений, Титаны как отражение Диониса в Зеркале явлений. Таков первообраз действительности. Его реализация дает новую триаду: Дионис (божественная жертва), Титаны (жертвопринощающие), Титаны как единство жертвы и жреца. Прометей у Иванова противостоит Зевсу-Крониду как несовершенному, искаженному внутрикосмическому отражению трансцендентного Абсолюта, почитая и служа вместе с тем Зевсу премирному, невидимому и неизреченному, который является источником мирового огня. Извечный Зевс выступает как воплощение дионаисийского начала, Зевс-Кронид – титанического, а Прометей понимается как титанический (а потому – неправый, греховный и отсюда – трагический) служитель и почитатель трансцендентного божества как носителя дионаисийско-огненной сущности.

Прометей и коршун

Отношениям Прометея с коршуном уделяется основное внимание в третьем явлении первого действия. Они осмыслены с помощью категорий «дионаисийского» и «титанического» и включены в контекст темы прометеевской демиургии.

Что мог я сделал. Большего не мог.
 Не мог иного¹. Все промыслил сам
 И предрешил... Довольно! Слыши... Полно,
 Прочь, коршун! – Добрый молот мой, мой веский,
 Мой ясный, заглушит твой хриплый спор,
 И буривой, и плач Океанид.
 Товарищ-недруг, вожделенный враг!
 Ты отлетел и роздых ковачу
 Усталому на краткий срок дозволил.
 Мой зоркий коршун! Если бы навек
 Ты отлетел, опять мои персты
 Твое обличье создали бы из глины,
 Мой дух бы вновь твой слепок оживил, –
 Чтоб ты терзал, пытая, Прометея,
 Судья и клеветник, палач и друг,
 И миг свершенья отравлял укором,
 И – неотступный овод в полдень белый –
 Вперед бы гнал, без отдыха вперед
 Едва достигшего на подвиг новый...²
 Так, ковача кует твой молот-ключ,
 И тварь творца творит – непримиримы!

Прометей отдыхает от своего труда и характеризует себя как промыслителя (*Все промыслил сам / И предрешил...*). Здесь Иванов отсылает к традиционной и наиболее распространенной этимологии имени Прометея: «Der Hauptname, ein Wort von echt griechischer Form und durchsichtiger Bedeutung, kennzeichnet den Titan als den “Vorbedenker” <...> und “Vorsorger”»³ [7. S. 3033]. Прометей предстает как носитель ясного творческого сознания, демиург, ковач. В предисловии к трагедии Иванов называет его «мучеником сознательности чрезмерной и преступной». Коршун противопоставлен Прометею, спорит с ним, прекословит ему (*твой хриплый спор, ты терзал, пытая, Прометея, / Судья и клеветник, палач и друг, / И миг свершенья отравлял укором, Вперед бы гнал, без отдыха вперед / Едва достигшего на подвиг новый...*), хотя является созданием Прометея (*Если бы навек / Ты отлетел, опять мои персты / Твое обличье создали бы из глины, / Мой дух бы вновь твой слепок оживил <...>*). Противопоставленность Прометея и коршуна выражается в нагнетании оксюморонных

¹ М. Цимборска-Лебода указывает на щеллингианский подтекст начальных фраз этого прометеевского монолога [16. Р. 147].

² Отождествляя коршуна с оводом, Иванов отсылает к «Прикованному Прометею» Эсхила, где описано несправедливое наказание Ио, которую неотступно терзает посланный Герой овод [17. С. 251–260]: «соединение судьбы Прометея с судьбой Ио, позволяющее еще ярче обрисовать самовластие и жестокость Зевса и вложить в уста Прометея пророчество о его освобождении далеким потомком Ио» квалифицируется как драматическая коллизия, вероятнее всего, введенная в миф самим Эсхилом [17. С. 546].

³ «Имя [Прометея], слово исконно греческой формы, с прозрачным значением, характеризует титана как “Промыслителя” и “Предусмотрителя”».

сочетаний, которые подчеркивают антиномичность их связи: *товарищ-недруг, вожделенный враг, судья и клеветник, палач и друг*. Разгадка этой антиномичности кроется в том, что коршун воплощает вечную неудовлетворенность творческого духа своими достижениями (*И миг свершенья отравлял укором, / Вперед бы гнал, без отдыха вперед / Едва достигшего на подвиг новый...*). Вполне закономерно, что в предисловии к трагедии Иванов именует коршуна двойником Прометея.

Итак, Прометей есть воплощение сознания, а коршун – воли. При таком условии Прометея необходимо соотнести с дионисийским началом бытия, а коршуна – с титаническим. Это выражается в пространственном антиномизме: Прометей соотносится с верхом, а коршун – с низом. Фемида характеризует Прометея как того, кто никогда не спит (д. 2, явл. III). «<...> Его слишком зрячим и сухим глазам, как бы лишенным век, не дано пить услады сумерек». Таким всезрячим существом у Иванова является Солнце, и Прометей, как носитель творческого сознания, соотносится с солярным началом. Связь же коршуна с пространственным низом утверждается с помощью эпизода, где он пьет кровь из чаш Эринний: Эриннии – хтонические богини, кровь из их чаш каплет на землю, и коршун отождествляется с хтоническим миром. На это же тождество указывает уже отмеченный образ «коршун → овод», поскольку насекомые являются частью земной и подземной сферы.

Однако такой антиномизм слишком статичен, формально-логичен, чтобы адекватно охарактеризовать ивановское художественное мышление. Текст трагедии дает основания для смысловой инверсии, «выворачивания наизнанку» этого статического антиномизма. Прометей и коршун обмениваются онтологическими ролями: первый становится носителем творческой воли, а второй – демиургического сознания. Творческой рациональности Прометея явно противоречит его обращение к самому себе: *Будь слеп, ковач, и глух!* Слепота и глухота – признаки бессознательности, а значит, Прометей – носитель иррационального начала. На отношение коршуна к сфере сознания указывает определение «зоркий». Коршун соотносится с Солнцем: *В лазурном небе / И коршун мой пропал, как медный диск, / Закинутый к Олимпу великани.*

Эта зеркальная метаморфоза Прометея и его коршуна наиболее последовательно отражается в насыщенном антиномичностью finale речи Прометея, обращенной к его спутнику: *Так, ковача кует твой молот-ключ, / И тварь творца творит – непримиримым!*

Орудие творца (молот = коршун) само становится ковачом. Творение творца, т.е. коршун, само становится творческим разумом, т.е. Прометеем. Творение Прометея понимается не как результат проявления творческой воли творца вовне, а как конструктивная, действующая (по аристотелевской терминологии) причина своего творца: творение является отражением образа творца и потому заново воссоздает его сущность в ином, становясь таким образом творцом своего творца. Непримиримым же Прометей становится потому, что коршун есть символ творческой неудовлетворенности художника-демиурга своим творением.

Образ Прометея изначально амбивалентен, его принцип, как отмечает сам Иванов, – диада. Тезисом его образа является то, что Прометей есть дионаисская творческая сознательность, а антитезисом – что он есть титанический бессознательный волевой порыв. Коршун, как двойник Прометея, повторяет эту диаду в обратной последовательности: тезис его образа – титанизм, иррациональная воля, а антитезисом – дионаисийство, творческий ум.

Мифологическому антиномизму дионаисийского и титанического начал вторит инверсионный пространственный антиномизм, который является важной составляющей образов Прометея и коршуна. В Прометею сопротивлены верх («солнечная» зрячесть) и низ («ночная» слепота и глухота), в коршуне – Солнце и Земля.

Таблица 2
Семантика образов Прометея и коршуна

Мифологический архетип	Пространственные категории	Образы и их семантическое наполнение
Дионис	Верх (Солнце)	Прометей (сознание, зрение)
Титаны	Низ (Земля)	Коршун (воля, слепота и глухота)

Значение коршуна в трагедии усиливается тем, что в поэзии Иванова он редкий гость и появляется только в одном стихотворении («Римский дневник. Ноябрь. 7»), а в «Прометею» – 12 раз.

Прометей и орел

В отличие от коршуна орел в трагедии Иванова не самостоятельная *dramatis persona* и предстает только мифологической персонификацией Зевса-Кронида, антагониста Прометея. Зевс-Кронид у Иванова есть титаническая ипостась Абсолюта, внутристическое отражение его трансцендентной, дионаисской, огненной сущности – *извечного Зевса*. Об этом свидетельствует «космогоническая» речь Пандоры из третьего действия, где повторяется один из ключевых моментов орфического мистериального сюжета – мотив отражения Диониса в космогоническом Зеркале явлений и возникновения вследствие этого титанических существ.

Так на лазурной тверди, что престол
Невидимый от смертных застилает,
Извечный отразился смутно Зевс
Обличьями верховных миродержцев,
Из них же Зевс-Кронид, юнейший, днесь
Орлом надмирным в небе распростерт.

Дионис предстает как трансцендентный, невидимый свет, небо – как зеркало, в котором он отражается, а олимпийские боги (*верховные миродержцы*) во главе с Зевсом-Кронидом – как созвездия (возникает парадигма «орел →

созвездие»). Очевидно, что мифолого-символическая картина возникновения олимпийских богов-звезд представляет собой заново оформленную триаду «Дионис – Зеркало явлений – титаны», которая, в свою очередь, восходит к первотриаде «Зевс – Персефона – Дионис-Загрей».

Т а б л и ц а 3
Эпифания Зевса-Кронида в трагедии Иванова «Прометей»

Мифологический архетип	Эпифания Зевса-Кронида
Дионис (как ипостась Зевса-Отца)	Извечный Зевс, трансцендентный свет
Зеркало явлений, Душа Мира, идеальная Земля (как ипостась Персефоны), где отражается лик Диониса	Небосвод как зеркало извечного Зевса
Титаны (как отражение Диониса в Зеркале явлений)	Зевс-Кронид (созвездие Орла) и внутримировые боги (звезды) как искаженное отражение трансцендентного света извечного Зевса

Образ орла у Иванова предстает как симбиоз метафоры «орел → молния (перун)» и метонимии «орел → Зевс». Орел выступает как внутренне или внешне проявленная манифестация Зевса-Кронида.

Так, в диалоге Прометея со своими сынами орел понимается как законополагающая воля Зевса-Кронида.

П и р
Нет, вождь! Нам Зевса жертвами не чтить.

П р о м е т е й
Его ль орла почесть нам неизбежным?

А с т р а п е й
Нет, волю в нас, бессмертный наш перун.

В космогоническом рассказе Прометея орел выступает как орудие мести Зевса за преступление титанов, растерзавших Диониса.

Еще незримый теплился огонь
Божественным причастием Геи темной
В пласту земном, покрывшем кости сильных,
Убитых местью Зевсова орла.

Очевидно, что здесь под Зевсом понимается извечный, премирный Зевс, а не его онтологический двойник, титаническая личина божественного – Зевс-Кронид, но примечательно, что верховный бог предстает здесь в роли мстителя, т.е. в своей жреческой ипостаси, мифологическая семантика которой аналогична титаническому началу¹. Стало быть, орла необходимо отождествить с

¹ Титанизм орла-молнии, вонзающегося в печень Прометея, отмечает Робер Триомф: «Il se peut simplement qu'il suggère l'image titanique de la foudre (выделено мной. – Л.К.), dont Zeus est le maître et dont l'aigle en plongeant sur sa proie est le ministre, car il imite alors

дионаисийским началом, погруженным в сферу титанического, но отрицающим и как бы «снимающим» его (на языке мифа – сжигающим титанов). Это значит, что орел должен быть помещен в табл. 1 в четвертую строку третьей колонки как огненное начало, опаляющее титанов.

Жреческая, титаническая природа орла утверждается еще в двух местах трагедии, имеющих отношение к возникновению Пандоры.

Так, в ее «космогоническом» монологе из третьего действия кража Прометеем небесного огня, необходимого ему для завершения творения человека, связывается с жертвоприношением Пандоры, при котором роль жрецов берут на себя орлы. Пандора наделена дионаисийскими чертами, орлы и Прометей – титаническими.

На верх горы слепительной меня
Он возвести велел послушным стражам;
Сам, с полым тирсом, спрятался и ждал.
Закрыв глаза, лежала я, как жертва.
Лазурь зияла. Красотой моей
Привлечены, заклектали высоко
Олимпа хищники. Стремглав к добыче
Низринулись, когтами дробя перун, –
Как будто рухнул семерной громадой
Эфира пламенеющий чертог.
Он искры в тирс украл, меня ж орлам
Оставил...

Т а б л и ц а 4

Жертвоприношение Пандоры и кража огня в трагедии Иванова «Прометей»

Мифологический архетип	Жертвоприношение Пандоры и кража огня
Дионис (божественная жертва)	Пандора
Титаны (жрецы, жертвоприношатели)	Орлы (Зевс-Кронид)
Титаны, поглотившие Диониса и сожженные его огнем (тождество жреца и жертвы)	Прометей, обманом и насилием (титанически) завладевший небесным огнем (дионаисийским началом)

Единственное место в ивановской трагедии, где актуализируется традиционная семантика орла как мучителя, разрывающего тело Прометея, находится во втором действии и тоже связано с Пандорой.

Прочь хищники-орлы! Она – моя!...
Терзайте грудь мне: ведь она отныне
В моей груди... Ужасны когти молний!
Истерзан я... Но все ж она – моя!
Не вам исторгнуть жизнь из этой груди...

la rapidité de l'éclair, dont ses serres, en s'enfonçant, dessinent la triple pointe» [18. P. 56] («Оказывается, что он [орел] вызывает **титанический образ молнии**, повелителем которой является Зевс, а персонификацией – орел, который вонзается в свою жертву, имитируя стремительность молнии, и когти которого напоминают треугольник»).

Орел в прометеевском мифе является исполнителем наказания за кражу мятежным титаном небесного огня; у Иванова же орлы, терзающие грудь Прометея, соотносятся с его демиургическим актом. Чтобы завершить творение людей, Прометей создает Пандору. Тема творения Пандоры в мифологическом освещении и ее ивановская интерпретация достойны отдельной обширной статьи. Здесь же необходимо лишь отметить, что Иванов совершенно удивительным образом совмещает две версии создания Пандоры – олимпийскими богами и самим Прометеем. Первая, наиболее распространенная, излагается у Гесиода; вторая, наименее растиражированная, не получает законченного литературного оформления и содержится намеками в ряде античных текстов, в основном сохранившихся во фрагментах: «*Prometheus, heisst es, habe das Weib geschaffen und auch die anderen Götter schmückten es und darum wurde es Pandora genannt*»¹ [19. S. 1524]². У Иванова душу Пандоры дает Прометей, выделяющий из себя «все женское душевного состава», а ее тело ваяют боги, как у Гесиода. Ивановская интерпретация мифа совершенно поразительным образом усиливает символическое родство между библейской Евой и Пандорой, окрещенной в мифологической литературе «греческой Евой» [20. Р. 3–36], а также вводит тему первородного греха, первый образец, архетип которого задает как раз Прометей: «Его первый мятеж, первая вина, есть восстание против собственной бытийственной сущности, как бытия «конкретного» (в смысле, придаваемом этому слову Гегелем). Тот, кому «не мир надобен, а семя распри», начинает свое дело с внутренней схизмы и утверждения «дискретности» в себе самом, с раскола своей целостной полноты на два противоборствующих начала – мужское и женское».

Очевидно, что орлы в процитированном отрывке из трагедии выражают мучение, которое испытывает Прометей в результате «внутренней схизмы», титанического растерзания Пандоры как своего собственного внутреннего дионисийского лика.

В отличие от коршуна, лишь эпизодически представленного в корпусе лирики Иванова, орел «в поэтической фауне Иванова весьма распространен и едва ли не наиболее активен» [21. С. 23]. Л.В. Павлова устанавливает

¹ «Рассказывают, что Прометей создал женщину, а другие боги украсили ее, и поэтому она была названа Пандорой».

² Более подробно, чем Вайцзеккер, приводит основные источники воззрения на Прометея как на творца Пандоры, среди первых называя Плотина [7. S. 3045]. Виламовиц же утверждает, что миф о сотворении Прометеем Пандоры содержитя уже у Эсхила: «*In Athen erzählte man sich, dass nicht die Götter, wie bei Hesiodos, sondern Prometheus die Pandora gebildet hätte. Wenn es erst Menander für uns ist, der ihn schilt, weil er das Weibervolk in die Welt gebracht habe, so hat kein anderer als Aischylos selbst die Pandora „das sterbliche Weib aus dem aus Ton geformten Samen“ <...> genannt*» [9. S. 145] («В Афинах рассказывали, что не боги, как у Гесиода, а Прометей создал Пандору. Если первым об этом сказал Менандр, который бранит Прометея за то, что он создает женщину, то никто иной, как сам Эсхил, назвал Пандору “смертной женой из глиняного семени”»). Цитируемый Виламовицем фрагмент содержался в сатировской драме Эсхила «Прометей-огненовозжигатель»; его русский перевод представлен в: [17. С. 275].

три парадигмы образа орла, каждая из которых связана с определенным мотивом. Так, парадигма «орел → созвездие» связана с мотивом вознесения души к высочайшему божественному бытию ценою жертвы; парадигма «орел → молния» – с темой прозрения и обретения божественных энергий; наконец, парадигма «орел → солнце» – с темой жертвенной смерти и воскресения [21. С. 22–49]. Характеристика орла у А. Ханзен-Лёве значительно более лапидарная и узкая: основываясь на том, что орел – это «единственная птица, способная незащищенным глазом смотреть на солнце и даже приблизиться к нему и не сгореть», исследователь соотносит его исключительно с мотивом прозрения [22. С. 530].

Сравнение семантики образа орла в лирике и в драме весьма показательно. Не выходя за рамки, заданные в своем лирико-поэтическом творчестве и очерчивающие область значений орла, Иванов тем не менее ее трансформирует, подстраивая под прометеевский сюжет. Из рассмотренных фрагментов можно сделать вывод, что в трагедии происходит смещение парадигмы «орел → созвездие» в область прозрения, поскольку орел – созвездие есть эпифания Зевса-Кронида, его проявление в эмпирическом, а парадигма «орел → молния», удерживая мотив обретения божественного дара (Прометей крадет искру небесного огня в полом тростнике), тем не менее тяготеет к мотиву жертвоприношения и восхищения души в горний мир (принесенная в жертву Пандора оказывается на Олимпе).

Орел / коршун в историко-мифологическом освещении

Итак, почему же Иванов выбирает коршуна в качестве постоянного орнитологического спутника Прометея? Каковы историко-мифологические основы этого ивановского предпочтения?

Джулия Гриффин предприняла специальное исследование, посвященное образу орла / коршуна в прометеевском мифе. Она высказала несколько принципиальных соображений: «*The aietos is the bird of Zeus: his messenger, his iconographic identification. It might seem natural that it should be his instrument of vengeance; and so it is, in all the early Greek sources <...> The first Greek author who gives Prometheus a vulture instead is the satirist Lucian <...>*

»¹ [23. Р. 33].

Лукиан говорит о мучении Прометея коршуном в вероятностной модальности, но необыкновенно настойчиво. В «Разговорах богов. I. Прометей и Зевс» последний бросает своему визави: «Тебе шестнадцать коршунов должны не только терзать печень, но и глаза выклевывать за то, что ты создал нам таких животных, как люди, похитил мой огонь, сотворил женщин! <...> Ты меня обманул при разделе мяса, подсунув одни кости, прикрытые жиром, и лучшую часть сохранил для себя» [24. С. 92].

¹ «Орел – это птица Зевса, его посланец, его визуальное воплощение. Может показаться вполне естественным, что именно ему подобает выступить в качестве орудия мести; так оно и есть – в ранних греческих источниках. <...> Первый греческий автор, который заменяет орла коршуном, – сатирик Лукиан».

В диалоге «Прометей, или Кавказ» Гермес констатирует, что Зевс «шестнадцать бы коршунов приставил к тебе разрывать внутренности: так сильно ты его обвинил, делая вид, что оправдываешься» [24. С. 91].

В диатрибе «Человеку, назвавшему меня “Прометеем красноречия”» Лукиан отмечает, что если бы его произведения отличала только новизна, лишенная изящества, «то, по-моему, меня стоило бы отдать на терзание шестнадцати коршунам, как человека, который разумеет, что безобразие еще более безобразно, когда сочетается с необычайностью» [25. С. 13].

Примечательно, что как у Лукиана, так и у Иванова образ коршуна как мучителя Прометея, замещающего орла, сочетается с одинаковым набором вменяемых Прометею в вину деяний: творение человека, создание женщины, похищение огня и ложное жертвоприношение Зевсу.

В этой концепции вины Прометея позволительно усматривать основу взаимосвязи между Ивановым и Лукианом, отразившейся также на выборе коршуна в качестве постоянного орнитологического спутника Прометея.

Гриффин замену орла на коршуна у Лукиана объясняет тем, что у греческого сатирика Прометей впервые предстает распинаемым: «<...> crucifixion is an ancient punishment for common criminals; a crucified Prometheus with a flock of vultures is a less dignified, less heroic image than one nailed to a rock and tormented by the ring of birds»¹ [23. Р. 34].

Отличительной особенностью лукиановской традиции является потенциальная возможность христианизации образа Прометея с помощью осмысленного в христианском ключе мотива распятия. Иванов использует эту возможность: его Прометей если и не отождествляется с Христом, то наделяется христоподобными чертами: «Но если действие Прометея по необходимости ограничено, зато целостна его жертва, и безусловно его саморасточение, самоопустошение, самоисчерпание, – «истощение» (*kenōsis*) <...> Поистине, он положил душу свою за человеков, но совершил этот подвиг не как Агнец Божий, а как мятежный Титан, – в грехе и дерзновенной надежде». Демиургическое «истощение» происходит во втором акте ивановской трагедии. Примечательно, что именно там Прометей и предстает в распятом виде: в сомнамбулическом состоянии он рвется навстречу Пандоре, но его руки удерживает Фемида.

Мифологическую семантику коршуна и орла анализирует с помощью структурно-семиотического метода Марсель Детьен в книге «Сады Адониса». Примечательно прежде всего, что эти две птицы рассматриваются в связке, как элементы единой бинарной оппозиции. Их объединяют удаленность от земного, недостижимость, почти трансцендентность: «Throughout the Greek tradition, the vulture, like the eagle, is a bird from the heights: it

¹ «<...> распятие было древней формой наказания для обычновенных убийц; распятый Прометей, окруженный стаей коршунов, – менее достойный, менее героический образ, чем Прометей, прикованный к скале и терзаемый самой царственной среди птиц».

builds its nest on inaccessible cliffs; no man can reach its lair nor discover its youngs»¹ [26. P. 23].

Орел и коршун связаны антиномически: коршун – это инвертированный, «вывернутый наизнанку» орел (an inverted eagle). Обе птицы противопоставлены с помощью пяти пар бинарных оппозиций.

Во-первых, орел является птицей Зевса (что общеизвестно), а вот коршун соотносится с Аресом и Гермесом: «the flying creation that Hermes and Ares inspired with an insatiable desire for the flesh and blood of men»² [26. P. 24].

Во-вторых, орел обитает в вышине (above), вблизи солнца, а коршун – в потустороннем мире (beyond): «The vulture, consecrated to the god of war and to carnage, is not a bird of the heavens as the eagle is. The far-away place from which it appears is, rather, a sinister Beyond»³ [26. P. 24].

В-третьих, коршун питается падалью и мертвичиной, а орел ест только свежее мясо, ту жертву, которую он сам убил.

В-четвертых, орел связан со специями и благовонием, а коршун – с гнилью и зловонием: «”whereas vultures are delighted by the putrid smell of corpses, they detest perfumes (múra) so much that they would never touch a dead creature whose body was covered with spices”⁴ <...> Conversely, for the eagle, contact with spices and perfumed oils is life-giving. One of Aesop’s fable tells us how the feathers of an eagle that had been ill-treated by a man who reduced him to the state of a farmyard bird grew anew when it was rubbed with myrrh <...> spices provide a remedy as effective as the fire of the sun in the case where an ageing eagle approaches it in order to singe its feathers and so regain its youthfool splendour»⁵ [26. P. 24–25].

В-пятых, оперение орла не подвержено тлению или разрушению, а оперение коршуна настолько зловонно, что даже привлекает рептилий: «when eagles’ feathers are placed in contact with those of other birds they make the latter wither and rot away <...> In contrast to this incorruptible plumage, the

¹ «В греческой традиции коршун, как и орел, является птицей, связанной с высотой: она вьет свое гнездо на недоступной высоте; никто не способен достать до места его обитания или увидеть его птенцов».

² «птица, в которую Гермес и Арес вдохнули неутолимое желание человеческой крови и свежей плоти».

³ «Коршун, посвященный богу войны и резне, не является в отличие от орла небесной птицей. Место, откуда он появляется, является скорее зловещим запредельем».

⁴ Цитируется орнитологический трактат Дионисия Периегета «Ιχευτικόν».

⁵ «”коршуны наслаждаются гнилостным трупным запахом и испытывают настолько сильное отвращение к благовониям, что они никогда не тронут мертвичина, чья плоть покрыта специями” <...> Для орла же, напротив, контакт со специями и благовонными маслами является живительным. В одной из эзоповых басен рассказывается об орле, которым один человек настолько пренебрегал, что низвел его до скотского состояния. Этот орел возродился, как только был натерт мирром <...> специи дают такое же эффективное лекарственное средство, как солнечный жар в ситуации, когда стареющий орел приближается к солнцу, чтобы опалить свои перья и таким образом восстановить их первоначальную красоту».

feathers of the vulture are the only ones which smell so foul when burnt that they attract reptiles <...>¹ [26. Р. 25].

Об инверсии орла и коршуна в рамках прометеевского мифа очень тонкое наблюдение высказывает Салomon Райнах: «...on paraît avoir substitué un vautour à l'oiseau céleste quand le mythe du supplice de Prométhée fut transféré aux Enfers»² [27. Р. 87]. Райнах говорит здесь об одном из вероятных продолжений эсхиловского «Прикованного Прометея», согласно которому Прометей проваливается в Аид, где пребывает на протяжении нескольких веков, терзаемый коршунами, прежде чем быть прикованным к Кавказским скалам, куда будет прилетать Зевсов орел³. Фактически Детьенн доводит

¹ «Если орлиные перья приходят в соприкосновение с перьями других птиц, эти последние хиреют и погибают <...> В отличие от орлиного оперения, не подверженного какому-либо ущербу, перья коршуна единственные, которые при сжигании пахнут настолько зловонно, что даже привлекают рептилий».

² «...представляется, что замена небесной птицы [орла] на коршуна происходит тогда, когда миф о наказании Прометея переносится в Аид».

³ Концепция двойного наказания Прометея, наземного и подземного, была развита Ф.Ф. Зелинским в книге «Tragodumenon libri tres» [28. Р. 34–38]. Он предлагает различать в наказании и в освобождении Прометея у Эсхила по два этапа. Первое наказание – наземное. Оно выражается в двух наложениях оков на титана. Первое из них происходит в «Прометея прикованном» и разворачивается в Скифии; второе, предрекаемое Гермесом в конце «Прикованного Прометея», совершается в «Прометея освобожденном», на Кавказе. Второе наказание – подземное. Оно совершается в Тартаре. У Эсхила сохраняются толькоrudименты этого вида наказания Прометея, которое Зелинский возводит к циклической поэме «Minyades». Зелинский отмечает участие орла только в мучениях Прометея на Кавказских горах, после возвращения из заточения в Тартаре. Участие коршуна в наказании Прометея под землей может утверждаться только гипотетически, исходя из сопоставления античных источников. Так, Гораций свидетельствует о том, что даже в Тартаре Прометей был скован и отдан на съедение некоей птице (неопределенность сказывается в том, что переводчики говорят то об орле, то о коршуне). Очевидно, что это не может быть орел, так как «l'aigle est le seul animal qui habite le ciel (ερουγανίος)» («орел – единственная птица, которая обитает на небе (ερουγανίος)») [27. Р. 79]. Если учсть выявленный Детьенном хтонический статус коршуна, общий для античной традиции, то можно снять замечание Луи Сешана относительно концепции Зелинского о двойкой форме освобождения Прометея. С опорой на Аполлодора (Библиотека, II, 5, 4) Зелинский развивает мысль о том, что Прометея выводят из Тартара добровольная жертва кентавра Хирона, который, страдая от неизлечимой раны, нанесенной ему Гераклом, соглашается заместить Прометея в преисподней. Окончательно освобожден Прометей был Гераклом, который прогнал Зевсова орла. По этому поводу Сешан замечает, что «le rapprochement des deux données sur la libération apparaît beaucoup moins heureux. Il en est résulté <...> un mélange assez confus, car l'intervention du Chirôn semble mentionnée comme si elle se rapportait, non moins au supplice du Tartare, mais au supplice même de l'aigle» («сопоставление двух видов освобождения [Прометея, с помощью Хирона и Геракла] представляется неудачным. Оно создает <...> путаницу, так как вмешательство Хирона в большей степени соответствует наказанию с помощью орла, а не в Тартаре») [10. Р. 39]. Сешан верно замечает, что участие Хирона в освобождении Прометея связано с избавлением от раны и соотносится с отгнанием мучающей Прометея птицы. Если бы Сешан учел, что этой птицей мог быть коршун, то жертва Хирона, спускающегося в Аид, в общем мифологическом сюжете встала бы на свое

до логического завершения отрывочную мысль Райнаха: коршун – эта мифологическая метаморфоза орла, которая совершается тогда, когда действие перемещается в Аид, мир смерти и тьмы. Орел и коршун – это две ипостаси единого орнитологического образа, различающиеся на основе пространственных и экзистенциальных категорий «верх, небо, свет, жизнь / низ, земля, тьма, смерть».

Иванов наследует эту мифологическую антагонистичность орла/коршуна. У него коршун первоначально связан с категорией низа, землей (он пьет кровь из чаши Эринний, хтонических богинь смерти), однако затем он соотносится с верхом и фактически отождествляется с орлом, поскольку предстает как солярный образ (медный диск, закинутый к Олимпу). Орел же у Иванова, будучи зооморфной персонификацией Зевса-Кронида либо Зевса премирного, всегда связан с категорией верха, но вместе с тем к нему всегда примешано титаническое, а значит, хтоническое начало, поскольку Зевс-Кронид есть титаническое и тиранническое воплощение божественного начала, а с Зевсом премирным орел поставлен в связь только тогда, когда он уничтожает титанов, т.е. действует титанически.

Итак, позволительно говорить о двух античных традициях орнитологического спутника Прометея – «эсхиловской» (орел) и «лукиановской» (коршун). Иванов сохраняет обе, обогащая мотив мучения Прометея мотивом демиургии, однако в большей степени тяготеет к лукиановской традиции, так как именно коршун становится полноценным актором трагедии, с помощью которого раскрываются важнейшие аспекты темы демиургии Прометея.

Осмелимся предположить, что тяготение Иванова к образу коршуна обусловлено его связью с темой демиургии и мотивом христоподобия Прометея (они являются общими для Иванова и Лукиана).

У Иванова коршун предстает не только как мучитель и палач Прометея, но и как его создание, причем уточняется, как творение совершилось путем ваяния из глины. Другими словами, Прометей изображается как творец не только человека, но и всех живых существ.

Тема демиургии Прометея у Иванова и ее отношение к историко-мифологической традиции нуждается в отдельном исследовании. Здесь отметим лишь несколько принципиальных моментов. «<...> Nur diesem Gotte wird ein Bilden und Formen der Menschen zugeschrieben»¹ [7. S. 3044]. Впервые в качестве творца всех живых существ (и человека и животных) Прометей предстает в эзопической традиции [30. Р. 51–52], которая, несмотря на свою позднюю письменную фиксацию, обладает древними

место и была отлична от деяний Геракла. Прометея в Аиде, терзаемого некоей птицей, наиболее последовательно и ярко изображает Гораций. «Horace transfers Prometheus' punishment to Tartarus <...> The Tartarean version, which is reflected in Aesch[ylus] P[rometheus] V[inctus] 1016-19, 1029, and 1050-1, may derive from an un-Hesiodic, possibly cyclic, version» (Гораций перемещает наказание Прометея в Тартар <...> Эта версия, которая обсуждается в эсхиловском «Прикованном Прометее», ст. 1016-19, 1029 и 1050-1, восходит к не-гесиодовской, возможно циклической, версии) [29. Р. 577].

¹ «<...> Лишь этому богу [Прометею] будет приписываться творение людей».

фольклорными корнями. Так, в басне Эзопа № 323 «Прометей и люди» «Прометей по велению Зевса вылепил из глины людей и животных» (цит. по: [8. С. 234]). Первое датированное упоминание о Прометеем как создателе всех земных живых существ – диалог Платона «Протагор» (320d-322a) [30. Р. 99]¹. Боги ваяют людей под землей из смеси огня и воды, а довершить дело творения, украсить людей и животных разнообразными способностями поручают Эпиметею и Прометею. Когда Эпиметей израсходовал все способности на животных, в дело вмешался Прометей, который украл в мастерской Гефеста и Афины искусство обращения с огнем, т.е. цивилизаторские способности [31. С. 430–431].

Вторую причину, по которой Иванов опирается на лукиановскую традицию, позволяющую усматривать в том, что именно у Лукиана коршун связывается с мотивом распятия Прометея. У античного философа эта связь является средством уничижения Прометея, поскольку распятие было формой казни простых разбойников, а коршун – птицей, пожирающей тела отверженных преступников. Для Иванова же она важна как средство христианизации образа Прометея, восходящей к первым Отцам Церкви, прежде всего Тертулиану [1. Р. 91–121].

Христоподобность Прометея в сочетании с присутствием коршунов вместо традиционных орлов отличает картину Гюстава Моро «Прометей» (1868). Значение этого художника для символизма, особенно после потрясающих экфрасисов Гюисманса в романе «Наоборот»², трудно преувеличить. «The more striking feather of Gustave Moreau's Prométhée lies in his likeness to Jesus Christ. Moreau originally was inspired not by Shelley, Goethe or Byron, but by Joseph de Maistre, whose writings put forward the idea that Prometheus was a prefiguration of Jesus Christ»³ [34. Р. 134]. Картину Моро можно рассматривать как визуальный претекст Иванова, наложившийся на лукиановский первоисточник, переосмысленный в христианском ключе.

В античные времена было сформулировано два символических толкования роли орла / коршуна в наказании Прометея. Первое объяснение принадлежит римскому писателю Петронию, автору романа «Сатирикон». Оно сохранилось в записи христианского писателя Фульгенция: «The vulture that picks through the torn liver / <...> Is not a creature witty poets aver, / But lust and spite, the cankers of the heart»⁴ (цит по: [23. Р. 37]). Коршун здесь

¹ Относительно первых указаний о создании Прометеем всех живых существ Варр считает достоверными только более поздние свидетельства комедиографов Филемона и Менандра [7. С. 3045].

² Творчеству Гюисманса Иванов посвятил одну из своих статей [32]. О значении Гюисманса для самого Иванова и близких к нему литераторов и философов см.: [33. С. 378–384].

³ «Самой поразительной чертой Прометея Гюстава Моро является его сходство с Иисусом Христом. Изначально Моро был вдохновлен не Шелли, Гете или Байроном, а Жозефом де Местром, в произведениях которого продвигалась идея о том, что Прометей был прообразом Христа».

⁴ «Коршун, который ковыряется в разодранной печени Прометея <...> не есть создание, выдуманное остроумными поэтами, но сладострастие и злоба, сердечные язвы».

трактуется как символ низменных страстей: сладострастия и злобы. Такая трактовка соответствует у Иванова пониманию коршуна как воплощения титанического начала в демиургическом процессе. Конечно, ивановского коршуна не следует полностью отождествлять с петрониевским, но момент иррациональности, страстиности присутствует в том, что коршун у Иванова отправляет радость Прометея от процесса и результата творческого акта.

Вторая античная концепция касается роли орла в наказании Прометея. Она представлена у римского писателя Сервия, комментатора Вергилия. Сервий понимает орла как символ мудрой озабоченности и усердия Прометея: «...the studiousness with which he had observed all the movements of the stars»¹ [23. Р. 37], а самого титана – как символ астрономического знания, как знатока движения звезд (поэтому Прометей пригвождается к Кавказской скале под предводительством Меркурия). Сервиецкое понимание орла как символа мудрости, не дающей покоя мудрецу, отражается в образе ивановского коршуна, когда он предстает как носитель не титанических, а дионасийских энергий, т.е. в данном случае как тварный творческий разум, с помощью которого проясняются творческие интенции творца.

Между Саломоном Райнахом и Джеймсом Фрэзером

Ивановское антиномико-диалектическое понимание символического соотнесения Прометея с орлом / коршуном совершенно неожиданным образом укладывается в контекст споров историков мифологии начала XX в. Первым исследователем, изучившим историю орла в контексте прометеевского мифа, был французский ученый Саломон Райнах [27. Р. 68–91]. Его статья «Орел Прометея» («*Aetos Prometheus*»), впервые напечатанная в «*Revue archéologique*», а затем вошедшая в третий том его пятитомной серии «Культ, миф и религия», подверглась критическому разбору в книге Джеймса Фрэзера «Мифы о происхождении огня» [35].

Райнах показывает², что в ведической, греческой и египетской мифологических системах орел нерасторжимо связан с молнией и солнцем – двумя манифестациями небесного огня. Орел, летящий с небесной вышины, подобен молнии, поэтому он либо держит в своих когтях перуны Зевса, либо сам является молнией. Поскольку кража – один из путей добычи огня в первобытных обществах, то похитителем небесного огня естественным образом становится орел как наиболее приближенная к небесной сфере птица.

Затем Райнах отождествляет орла с Прометеем, вернее, предлагает считать именно орла первоначальной манифестацией Прометея, его зооморфным лицом. Их объединяют три черты, общие для их мифологического облика:

1. И орел и Прометей являются огненосцами, они приносят на землю искру небесного огня. Прометей назван «богом-огненосцем» в «Эдипе в

¹ «...усердие, с которым он [Прометей] изучил все движения звезд».

² Далее будет представлено резюме теории Райнаха об орле как первоначальной ипостаси Прометея, имеющей зооморфный вид [27. Р. 79–91].

Колоне» Софокла, он бежит с факелом после кражи огня с жертвенника Зевса, из кузницы Гефеста или из солнечного колеса. Огненосцами орлы названы в одном из фрагментов Эсхила (ρυγφοροι αιετοι – мифологическая метафора молний).

2. С даром огня связан статус благодетелей человечества, присваиваемый Прометею и орлу.

3. Оба являются провидцами. Орел в Античности – птица предсказаний, он освещает людям их будущее. Прометей владеет тайной гибели Зевса, за упорное сокрытие которой в конце «Прикованного Прометея» Эсхила Зевс низвергает его в Тартар; Прометей предсказывает будущее Ио, которая посещает его, спасаясь от слепня, посланного Герой; в «Прометеев освобожденном» Эсхила Прометей дает указание Гераклу, как следует добыть яблоки Гесперид и перехитрить титана Атласа.

Орел «...mérite l'épithète *promētheus* <...> où l'idée de prévoyance bien-faisante est au premier plan»¹ [27. P. 85].

Связь орла с идеей страдания, неотделимой от Прометея, объясняется Райнахом материалистически, с помощью отсылки к религиозному быту: в коринфских храмах, где впервые стали помещать орлов на фронтоны, фигуру орла размещали над входом как защитника от молний, при этом орел протыкался колом или гвоздями. «Ainsi l'aigle protecteur et prévoyant, le *promētheus*, était exactement traité comme le *Prométhée de la Fable*, lié et cloué <...>»² [27. P. 86].

Итак, первоначально орел является Прометеем, благодетельным огненосцем, предвидящим будущее. Однако с развитием антропоморфизма орел утрачивает роль протагониста прометеевского мифа, его замещает человекоподобная фигура Прометея. Но, поскольку орел является неотъемлемой частью мифа, он не может быть из него упразднен, он должен сменить свою роль, соединиться с Прометеем либо как его друг, либо как его враг. «L'aigle divin, jadis victime, devint bourreau. Sériviteur désormais du dieu céleste, il fut chargé du soin de sa vengeance sur le téméraire qui avait volé le feu du ciel. Ainsi le *promētheus* se dédoubla en quelque sorte et l'aigle qui avait d'abord porté ce nom devint l'ennemi et le tourmenteur de *Prométhée*»³ [27. P. 87].

Итак, в историко-мифологическом освещении орел оказывается сначала божественным огнем (солнцем и молнией), затем жертвой (в качестве посредника между мирами) и, наконец, жрецом, исполнителем наказания. Такая историко-мифологическая трансформация соответствует символико-

¹ «...заслуживает эпитета *promētheus*, поскольку идея благодетельного предвидения выдвигается в его облике на первый план».

² «Так орел, защитник и прорицатель, *promētheus*, предстает совершенно так же, как в мифе, связанный и пригвожденный <...>».

³ «Божественный орел, некогда жертва, становится палачом. Некогда служитель небесного бога, он берет на себя роль мстителя для смельчака, который украл небесный огонь. Так *promētheus* удваивается некоторым образом, и орел, который сначала носил его имя, становится врагом и мучителем Прометея».

мифологической концепции Иванова, развивающейся в его трагедии. Действующие лица и внесценические персонажи его трагедии связаны мистериально-диалектическими отношениями, для которых характерно не только различие, но и отождествление и взаимослияние бога, жертвы и жреца. Сын Зевса Дионис-Загрей становится жертвой титанов, однако жертвопрестолы сами превращаются в его жертв: их пожирает пламя Зевсова огня, однако в конце концов титаническое начало, сохранившееся в человеке, должно быть обожено, отождествлено с Зевсом-Дионисом.

Исторические отношения мифологического орла и Прометея следуют той же логике, которая определяет отношения между ивановским Прометеем и орлом / коршуном, для которого характерно диалектическое единство, тождество в различии дионаисийского и титанического начала. Вместе с тем у Иванова эта пара обретает особенный смысл. Антиномия Прометея и орла / коршуна необходима Иванову не для выражения идеи наказания титана, а для характеристики демиургического акта (неудовлетворенность творца творением, взаимообратное влияние творения на своего творца).

В этом смысле симптоматично, что в подтверждение своей концепции орла-Прометея Райнах приводит мистериальные мифы, которые он ранее анализирует в своей книге. Так, Адонис первоначально сам предстает как бог-кабан, а затем кабан становится тем, кто растерзает его человеческий лиц; Ипполит первоначально бог-конь, а затем лошади становятся его ритуальными убийцами.

Характерно, что Райнах, исследуя мифолого-диалектическую трансформацию орла-Прометея в собственного палача, приходит к идее диады как логическому принципу этой трансформации (он пишет, что Прометей каким-то образом удваивается, т.е. предстает одновременно и как жертва, антропоморфный Прометей, и как жрец, зооморфный Прометей). Иванов, следуя пифагорейско-платонической традиции, понимает диаду как принцип материализации, воплощения, жертвы и трагедии, т.е. как дионаисийско-титанический принцип. Диада – это сущность ивановского Прометея.

Джеймс Фрэзер в «Мифах о происхождении огня», которые в 1921 г. были опубликованы как приложение к «Мифологической библиотеке» Аполлодора, а затем в 1930 г. вышли отдельным изданием, откровенным образом высмеивает концепцию Саломона Райнаха: «On the analogy of savage myths, which, as we have seen, often relate how the first fire was procured for man by a bird, Salomon Reinach would explain Prometheus as originally an eagle which brought the first fire from heaven, but which, through a later misunderstanding of the primitive myth, was transformed into a minister of vengeance for the punishment of the trespass which himself had committed. The theory is more ingenious than probable; indeed, its learned author, comparing his hypothesis to a house of cards, candidly confessed the weakness of the foundation on which it rests»¹ [35. P. 197].

¹ «По аналогии с древними мифами, которые, как мы видели, часто рассказывают, как первый огонь добывается для людей птицей, Саломон Райнах показывает, что Про-

Своей трагедией Иванов вовлекается в спор, развернувшийся между Райнахом и Фрэзером. Необходимо констатировать, что ивановский взгляд на соотношение коршуна и Прометея соответствует мистериально-символической концепции Райнаха, а не историко-эмпирическому взгляду Фрэзера.

Приложение

Орфический теогонический миф в рецепции Вячеслава Иванова

Основные мотивы орфического теогонического сюжета	Предисловие к «Прометею»	«Прометей»
Абсолют есть перводиада Зевс – Персефона	В глубине глубин, в сущности сущностей, есть Зевс абсолютный, извечный Отец единородного Сына, и есть девственная Мать Младенца – Персефона	Древле сына Зевс родил. / В начале было то; родилось время / С рожденьем сына; был иной тот Зевс. <...> Земли-Фемиды эти слова. / Она в земле – что в небе Зевс: лишь призрак / Извечной Девы, матери Младенца
Рождение от брака Зевса и Персефоны младенца Диониса-Загрея	Предыдущая цитата	Предыдущая цитата
Отражение Диониса-Загрея в Зеркале явлений	Лучеиспускание Диониса в зеркало есть отдача зеркалу истекающей из него жизненной силы: «пьет зеркальность души». Это – его первая жертва, первое саморасточение – и начало «разделенного мироздания» (<i>meristē dēmiourgia</i>) неоплатоников	
Рождение титанов из отражения Диониса в Зеркале явлений (в «Прометею» мотив модифицирован в создание внутримировых, олимпийских богов в результате отражения	<...> из разложения образа Дионисова в Зеркале Души Мира, Матери Явлений, Земли-Праматери возникают ее мятежные чада, Титаны в качестве носителей принципа индивидуации. В каждом живет некий образ Диониса (<i>agalma dionysiakon</i>), – ибо каждый атом Диониса есть он сам, – в каждом светится нечто от его	Так на лазурной тверди, что престол / Невидимый от смертных застилает, / Извечный отразился смутно Зевс / Обличьями верховных миродержцев,/ Из них же Зевс-Кронид, юнейший, днесь / Орлом надмирным в небе распростерт

метей первоначально является орлом, который приносит первый огонь с небес, но который, в силу позднейшего неверного понимания древнего мифа, превращается в исполнителя мести за посягательство, которое он сам же ранее и совершает. Эта теория в большей степени остроумная, чем вероятная; в самом деле, ее ученый автор, сравнивая свою гипотезу с карточным домиком, искренне признает слабость основания, на котором она поконится».

Основные мотивы орфического теогонического сюжета	Предисловие к «Прометею»	«Прометей»
премирного Зевса на небе)	божественного Я, заключенное в темницу земной душевности, поглощенное титаническою личностью	
Растерзание младенца Диониса титанами	Оживают многие обособленные я отрицательно самоопределяющиеся сознательных существ, полагающих свое бытие в разделении и взаимопротивлении. Отрицательное самоопределение каждого титанического существа обращает его жизненное утверждение в волю к поглощению другого, что не он сам, – в постоянный неугодный голод. Его ненависть – голод, и голод – его любовь; и потому убийственна его любовь, и полна любовной страсти ненависть. Таковы Титаны, бросившиеся на Младенца и покравшие его	Небес алкали – род Земли Титаны: / Подкралися к младенцу Дионису, / Пожрали плоть его, огнем палящим / Насытились – и пали пеплом дымным <...> прах Титанов тлел, / Младенца Диониса растерзавших / И в плоть свою приявшим плоть его. / Еще незримый теплился огонь / Божественным причастьем Геи темной / В пласти земном, покрывшем кости сильных, / Убитых местью Зевсова орла
Сохранение Зевсом сердца Диониса (его вечной, неистребимой сущности)	сердце Диониса, сокрытое в недрах Сущего	А сердце сына, бьющееся сердце, / Отец исхитил и в себе сокрыл.
Искупление вины титанов через утверждение дionисийской сущности в мире (сердца Диониса)	Какого же «искупления» ждет он от Диониса и в чем может состоять это искупление? – В восстановлении превратно отраженного лица Дионисова на земле... Но для этого необходимо, чтобы атомы его света – живые монады личных воль – пришли в свободное согласие внутреннего единства и соборно восставили из себя вселенским усилием целостный облик бога: только тогда сердце Диониса, сокрытое в недрах Сущего, привлечется на землю	Промыслил человеком Прометей / Вселенную украсить, взвеять к небу / Из искры Дионисовой пожар: / Не привлечет ли сердце Диониса / На алчущую землю?

Литература

1. Trousson R. Le thème de Prométhée dans la littérature européenne. 3d edition. Genève, Librairie Droz S.A. 688 p.

2. *Шор (Дешарт) О.* Введение // Иванов Вячеслав. Собрание сочинений. Брюссель, 1979. Т. 1. С. 7–227.
3. *Письма Вяч. Иванова и М.О. Гершензона* / публ. Елены Глуховой и Светланы Федотовой // Русско-итальянский архив. VIII / сост. Кристиано Дидди и Андрей Шишкун. Салерно, 2011. С. 47–104.
4. *Котрелев Н.В.* Вячеслав Иванов в работе над переводом Эсхила // Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М., 1989. С. 497–522.
5. *Цимборска-Лебода М.* Прометей и Пандора, или Мифопоэтическая антропология Вячеслава Иванова (на материале трагедии «Прометей») // *Mistrzowi i Przyjacielowi*. Wroclaw, 2010. С. 149–168.
6. *Иванов Вячеслав.* Прометей. Трагедия. Петербург : Алконост, 1919. XXV+82 с.
7. *Vapp K.* Prometheus // Roscher W.H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Bd. III, I. Leipzig : Teubner, 1897–1902. S. 3032–3110.
8. *Лосев А.Ф.* Проблема символа и реалистическое искусство. М. : Искусство, 1976. 367 с.
9. *Wilamowitz-Möllendorff Ulrich von.* Aischylos. Interpretationen. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung, 1914. 260 S.
10. *Séchan Louis.* Le mythe de Prométhée. Paris: Presse universitaires de France, 1951. 132 р.
11. *Каяниди Л.Г.* Трагедия Вячеслава Иванова «Прометей» и поэма «Сон Мелампа»: явные и «тайные» точки соприкосновения // *Studia litterarum*. 2019. Т. 4, № 2. С. 206–227.
12. *Каяниди Л.Г.* Пространственно-мифологическая модель и ее трансформации в поэзии Вячеслава Иванова: «Сон Мелампа» и «Прометей» // Вячеслав Иванов: исследования и материалы. Вып. 3 / сост. С.В. Федотова, А.Б. Шишкин. М., 2018. С. 231–246.
13. *Каяниди Л.Г.* Структура пространства и язык пространственных отношений в поэзии Вячеслава Иванова : дис. ... канд. филол. наук. Смоленск, 2012. 188 с.
14. *Lobeck C.A.* Aglaophamus sive De theologiae mysticae graecorum causis. Т. 1. Regimontii Prussorum. MDCCXXIX. 784 р.
15. *Иванов В.И.* Дионис и прадионисийство. Баку, 1923. VII+304 с.
16. *Cymborska-Leboda Maria.* «La tradition du feu»: le mythe de Prométhée et sa métamorphose dans la tragédie de Viatcheslav Ivanov Prometei (Prométhée) // Représentations et symboliques du feu dans les théâtre européens (XVIe – XXe siècle): Actes du Colloque de Montalbano-Elicona (18–22 septembre 2009). Paris : Honoré Champion, 2013. Р. 137–149.
17. Эсхил. Трагедии в переводе Вячеслава Иванова. М. : Наука, 1989. 592 с.
18. *Triomphe Robert.* Prométhée et Dionysos ou La Grèce à la lueur des torches. Strasbourg : Presses Universitaires de Strasbourg, 1992. 310 p.
19. *Weizsäcker P.* Pandora // Roscher W.H. Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie. Bd. III, I. Leipzig : Teubner, 1897–1902. S. 1520–1530.
20. *Séchan Louis.* Pandora, l'Ève grecque // Bulletin de l'Association Guillaume Budé, 23, avril 1929. Р. 3–36.
21. *Павлова Л.В.* У каждого из нас за плечами звери: символика животных в лирике Вячеслава Иванова. Смоленск : СГПУ, 2004. 264 с.
22. *Ханзен-Лёве А.* Русский символизм: Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм. Космическая символика. СПб. : Академический проект, 2003. 816 с.
23. *Griffin Julia.* How to torture a Titan? // *Créatures et Créateurs de Prométhée*. Nancy : Presses Universitaires de Nancy, 2010. Р. 31–45.
24. *Лукиан Самосатский.* Сочинения : в 2 т. Т. 1. СПб. : Алетейя, 2001. 479 с.
25. *Лукиан Самосатский.* Сочинения : в 2 т. Т. 2. СПб. : Алетейя, 2001. 538 с.
26. *Detienne Marcel.* The Gardens of Adonis: spices in Greek Mythology. Princeton ; New Jersey : Princeton University Press, 1994. 200 p.

27. *Reinach Salomon*. *Aetos Prometheus* // *Cultes, Mythes et Religions*. T. 3. Paris : Ernest Leroux, 1908. P. 68–91.
28. *Zielinski Th.* *Tragodumenon libri tres*. Krakow, 1925. 330 p.
29. *Watson Lindsay C.* *A commentary on Horace's Epodes*. New York : Oxford University Press, 2003. 604 p.
30. *Duchemin Jacqueline*. *Prométhée. Histoire du mythe, de ses origines orientales à ses incarnations modernes*. Paris : Société d'édition «Les belles lettres», 1974. 218 p.
31. *Платон*. *Апология Сократа, Критон, Ион, Протагор*. М. : Мысль, 1999. 864 с.
32. *Иванов В.И.* *О Верлэнэ и Гейсмансе* // В.И. Иванов. *По звездам: Опыты философские, эстетические и критические: Статьи и афоризмы*. Кн. 1: Тексты. СПб., 2018. С. 192–194.
33. *Иванов В.И.* *По звездам: Опыты философские, эстетические и критические: Статьи и афоризмы*. Кн. 2: Примечания. СПб. : Пушкинский Дом, 2018. 672 с.
34. *Corbeau-Parsons Caroline*. *Prometheus in the Nineteenth Century: from Myth to Symbol*. New York : Modern Humanities Research Association and Routledge, 2013. 200 p.
35. *Frazer James George*. *Myths of the Origins of Fire*. London : Macmillan and co, limited, 1930. 240 p.

Ornithological Symbolism (Eagle/Vulture) in Vyacheslav Ivanov's Tragedy "Prometheus"

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 245–269. DOI: 10.17223/19986645/71/15

Leonid G. Kaianidi, Smolensk State University (Smolensk, Russian Federation). E-mail: leon-ideas@bk.ru

Keywords: mythology, symbolism, Prometheus, Pandora, eagle, vulture, history of mythology, Russian symbolism, Vyacheslav Ivanov.

In the article, the author sets three objectives: 1) to establish why Ivanov prefers the vulture over the eagle while retaining both as Prometheus' tormentors; 2) to determine the symbolic and mythological semantics of the eagle and the vulture; 3) to describe how Ivanov's interpretation of ornithological symbolism in the Prometheus myth is connected with the mythological discussions of the beginning of the 20th century. The research material is Ivanov's tragedy, which is compared with ancient materials that explicate ornithological symbols. Structural-semiotic, comparative, and hermeneutical methods were used in the analysis. The author puts the ornithological images in the context of the general semantic structure of Ivanov's tragedy. The latter is defined by the mystery-mythological plot (Orphic in its genesis, but subjected to Christianization) about the tearing of Dionysus by the titans, which generates all the plot collisions of the tragedy. The analysis of the image of the vulture has shown that it is associated with Prometheus antinomically and dialectically. First, Prometheus acts as a carrier of the Dionysian creative consciousness, and the vulture as the Titanic ever-hungry will, then the semantics inverts: Prometheus embodies the Titanic unconscious volitional impulse, and the vulture the Dionysian creative mind. The eagle is a mythological personification of Zeus Cronides, the antagonist of Prometheus. The comparison of Ivanov's ornithological symbolism with the ancient one has shown that it relies more on Lucian than on Aeschylus because he also puts the vulture in connection with the demigraphy and the crucifixion motif. Ivanov inherits the mythological antinomianism of the eagle/vulture. For him, the vulture is initially associated with the category of the bottom, the earth, but then it is associated with the top and is actually identified with the eagle. The eagle in Ivanov, being a zoomorphic personification of Zeus Cronides, is associated with the category of the top, but at the same time it is always mixed with the Titanic, and chthonic, principle. The last part of the research is a comparison of Ivanov's concept of the eagle/vulture with the mythological discussions of the beginning of the 20th century. Ivanov seems to take part in the dispute that unfolded between Reinach and Fraser. His position on the relationship between the vulture and Prometheus

corresponds to Reinach's mystical-symbolic concept, and not to Fraser's historical-empirical view.

References

1. Trousson, R. (2001) *Le thème de Prométhée dans la littérature européenne*. 3d ed. Genève: Librairie Droz S.A.
2. Chor (Deschartes), O.A. (1979) Vvedenie [Introduction]. In: Ivanov, Vyach. *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Vol. 1. Brussels: Foyer Oriental Chrétien. pp. 7–227.
3. Glukhova, E. & Fedotova, S. (eds) (2011) Pis'ma Vyach. Ivanova i M.O. Gershenson [Letters from Vyach. Ivanov and M.O. Gershenson]. In: Diddi, K. & Shishkin, A. (eds) *Russko-ital'yanskiy arkhiv* [Russian-Italian Archive]. Vol. VIII. Salerno: [s.n.]. pp. 47–104.
4. Kotrelev, N.V. (1989) Vyacheslav Ivanov v rabote nad perevodom Eskhila [Vyacheslav Ivanov in the work on the translation of Aeschylus]. In: Aeschylus. *Tragedii* [Tragedies]. Translated from Ancient Greek by Vyach. Ivanov. Moscow: Nauka. pp. 497–522.
5. Tsimborska-Leboda, M. (2010) Vyacheslav Ivanov's tragedy *prometheus* and his poem the dream of melampus: obvious and hidden points of convergence. *Mistrzowi i Przyjacielowi*. pp. 149–168. (In Russian).
6. Ivanov, Vyach. (1919) *Prometey. Tragediya* [Prometheus. Tragedy]. Peterburg: Alkonost.
7. Bapp, K. (1897–1902) Prometheus. In: Roscher, W.H. *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*. Vols I, III. Leipzig: Teubner. pp. 3032–3110.
8. Losev, A.F. (1976) *Problema simvola i realisticheskoe iskusstvo* [The Issue of Symbol and Realistic Art]. Moscow: Iskusstvo.
9. Wilamowitz-Möllendorff, U. von. (1914) *Aischylos. Interpretationen*. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung.
10. Séchan, L. (1951) *Le mythe de Prométhée*. Paris: Presse universitaires de France.
11. Kayanidi, L.G. (2019) Vyacheslav Ivanov's tragedy *Prometheus* and his poem *The Dream of Melampus*: obvious and hidden points of convergence. *Studia litterarum*. 2 (4). pp. 206–227. (In Russian). DOI: 10.22455/2500-4247-2019-4-2-206-227
12. Kayanidi, L.G. (2018) Prostranstvenno-mifologicheskaya model' i ee transformatsii v poezii Vyacheslava Ivanova: "Son Melampa" i "Prometey" [Spatial-mythological model and its transformation in the poetry of Vyacheslav Ivanov: "Dream of Melamp" and "Prometheus"]. In: Fedotova, S.V. & Shishkin, A.B. (eds) *Vyacheslav Ivanov: issledovaniya i materialy* [Vyacheslav Ivanov: Research and materials]. Vol. 3. Moscow: Gorky Institute of World Literature RAS. pp. 231–246.
13. Kayanidi, L.G. (2012) *Struktura prostranstva i yazyk prostranstvennykh otnosheniy v poezii Vyacheslava Ivanova* [The structure of space and the language of spatial relations in the poetry of Vyacheslav Ivanov]. Philology Cand. Diss. Smolensk.
14. Lobeck, C.A. (1829) *Aglaophamus sive De theologiae mysticae graecorum causis*. Vol. I. Regiomontii Prussorum.
15. Ivanov, V.I. (1923) *Dionis i pradionisistvo* [Dionysus and Pradionism]. Baku: 2-ya gosudarstvennaya tipografiya.
16. Cimborska-Leboda, M. (2013) ["La tradition du feu": le mythe de Prométhée et sa métamorphose dans la tragédie de Vyacheslav Ivanov Prometeï (Prométhée)]. *Représentations et symboliques du feu dans les théâtre européens (XVIe – XXe siècle)*. Proceedings of the Symposium. Montalbano Elicona. 18–22 September 2009. Paris: Honoré Champion. pp. 137–149.
17. Aeschylus. (1989) *Tragedii* [Tragedies]. Translated from Ancient Greek by Vyach. Ivanov. Moscow: Nauka.
18. Triomphe, R. (1992) *Prométhée et Dionysos ou La Grèce à la lueur des torches*. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg.
19. Weizsäcker, P. (1897–1902) Pandora. In: Roscher, W.H. *Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie*. Vols I, III. Leipzig: Teubner. pp. 1520–1530.

20. Séchan, L. (1929) *Pandora, l'Ève grecque*. *Bulletin de l'Association Guillaume Budé*. 23 April. pp. 3–36.
21. Pavlova, L.V. (2004) *U kazhdogo iz nas za plechami zveri: simvolika zhivotnykh v lirike Vyacheslava Ivanova* [Each of Us Has Animals Behind Our Shoulders: The symbolism of animals in the lyrics of Vyacheslav Ivanov]. Smolensk: Smolensk State Pedagogical University.
22. Hansen-Löve, A. (2003) *Russkiy simvolizm. Sistema poeticheskikh motivov. Mifopoeticheskiy simvolizm. Kosmicheskaya simvolika* [Russian Symbolism. The system of poetic motives. Mythopoetic symbolism. Space symbolism]. Saint Petersburg: Akademicheskiy proekt.
23. Griffin, J. (2010) How to torture a Titan? In: *Créatures et Créateurs de Prométhée*. Nancy: Presses Universitaires de Nancy. pp. 31–45.
24. Lucian of Samosata. (2001) *Sochineniya* [Works]. Translated from Ancient Greek. Vol. 1. Saint Petersburg: Aleteyya.
25. Lucian of Samosata (2001). *Sochineniya* [Works]. Translated from Ancient Greek. Vol. 2. Saint Petersburg: Aleteyya.
26. Detienne, M. (1994) *The Gardens of Adonis: Spices in Greek Mythology*. Princeton; New Jersey: Princeton University Press.
27. Reinach, S. (1908) *Cultes, Mythes et Religions*. Vol. III. Paris: Ernest Leroux. pp. 68–91.
28. Zielinski, Th. (1925) *Tragodumenon libri tres*. Krakow: Polonicae Academiae Litterarum.
29. Watson, L.C. (2003) *A Commentary on Horace's Epodes*. New York: Oxford University Press.
30. Duchemin, J. (1974) *Prométhée. Histoire du mythe, de ses origines orientales à ses incarnations modernes*. Paris: Société d'édition "Les belles lettres".
31. Plato. (1999) *Apologiya Sokrata, Kriton, Ion, Protagor* [Apology of Socrates, Crito, Ion, Protagoras]. Translated from Ancient Greek. Moscow: Mysl'.
32. Ivanov, V.I. (2018) *Po zvezdam: Opyty filosofskie, esteticheskie i kriticheskie: Stat'i i aforizmy* [On the Stars: Philosophical, aesthetic and critical experiments: articles and aphorisms]. Vol. 1. Saint Petersburg: Pushkinskiy Dom. pp. 192–194.
33. Ivanov, V.I. (2018) *Po zvezdam: Opyty filosofskie, esteticheskie i kriticheskie: Stat'i i aforizmy* [On the Stars: Philosophical, aesthetic and critical experiments: articles and aphorisms]. Vol. 2. Saint Petersburg: Pushkinskiy Dom.
34. Corbeau-Parsons, C. (2013) *Prometheus in the Nineteenth Century: from Myth to Symbol* [Prometheus in the Nineteenth Century: From Myth to Symbol]. New York: Modern Humanities Research Association and Routledge.
35. Frazer, J.G. (1930) *Myths of the Origins of Fire*. London: Macmillan and co, limited.

УДК 821.161.1.09
DOI: 10.17223/19986645/71/16

В.В. Королева

«ГОФМАНОВСКИЙ ТЕКСТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ СИМВОЛИСТОВ

Исследуется «гофмановский текст русской литературы» в эпоху Серебряного века. Доказывается, что данный текст включает мотивы, образы и стилистические приемы, характерные для немецкого романика Э.Т.А. Гофмана («гофмановский комплекс»), мифологизированные образы самого писателя, а также его героев. Анализируется процесс воспроизведения и трансформации «гофмановского комплекса» в творчестве русских символистов Вл. Соловьева З. Гиппиус, Д. Мережковского, В. Брюсова, А. Блока, А. Белого, Ф. Сологуба и символистских текстах Л. Андреева.

Ключевые слова: Гофман, сверхтекст, «гофмановский текст русской литературы», «гофмановский комплекс», мифологизация, двойничество, кукольность, романтическая ирония и гротеск

Э.Т.А. Гофман – великий немецкий романик, который отличался безграничной фантазией и умением проникать в глубокие тайны человеческой души. Неповторимый стиль писателя и актуальность его проблематики,озвучной русской литературе, обусловили феномен его популярности в России. Гофман стал знаковым для русской литературы XIX в. Его читали, ему подражали и с ним вступали в полемику. Например, А.И. Дельвиг пишет в своих воспоминаниях о том, что в салоне А.А. Дельвига – Мицкевич «...целые вечера импровизировали разные, большей частью фантастические, повести вроде немецкого писателя Гофмана» [1. С. 106]. В домах у А.А. Комарова и Клюге фон Клюгенау устраивались «Серапионовские вечера», где читали свои сочинения В.Г. Белинский, П.В. Анненков, И.И. Панаев и др. У Н.В. Станкевич проводились музыкальные встречи наподобие клуба Крейслера [2. С. 13–14].

Черты гофмановской поэтики можно проследить в творчестве большинства русских писателей XIX в.: А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя, В.Ф. Одоевского, А. Погорельского, Ф.М. Достоевского, А.К. Толстого, Полевого, В.Н. Олина, Н.А. Мельгунова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.С. Тургенева, А. Толстого и др., о чем неоднократно писалось в литературоведении в трудах С.С. Игнатова [3], Л.К. Израилевич [4], Тамарченко, Н. Белянцева [5], А.Б. Ботниковой [6] и др. По словам исследователя Д.М. Магомедовой, Гофмана можно смело назвать среди имен «универсального художника» XIX в., ставшего музой для других писателей» [7. Т. 1. С. 131].

Популярность Гофмана в России в 30–40-е гг. XIX в. способствовала формированию «гофмановского текста русской литературы» или «сверх-

текста», под которым понимается (по определению Н.Е. Меднис), сложная система «интегрированных текстов, имеющая общую внеtekстовую ориентацию, образующих незамкнутое единство, отмеченную смысловой и языковой целостностью» [8]. Формирование «сверхтекста» возможно при условии, что произведения анализируемого писателя значительно повлияли на литературную традицию, поэтому их можно называть, по мнению Н.А. Кузьминой, «сильными текстами» или «сверхтекстами»: «Есть тексты, составляющие ядро национальной культуры, чьи энергетические свойства относительно постоянны с момента их появления, и тексты, специфические для одного или нескольких исторических (и – соответственно – культурных) периодов. Для русской культуры к ядерным, по-видимому, можно отнести «Слово о полку Игореве», Библию, Пушкина, Толстого, Достоевского, из западной классики – Шекспира, возможно, Гомера» [9. С. 53].

«Гофмановский текст русской литературы», как и любой другой «персональный» текст или «сверхтекст» включает ряд макрокомпонентов: сюжеты, образы, проблематику и стилистику, характерные для писателя, которые мы определяем как «гофмановский комплекс», мифологизированный образ самого Гофмана (имя – миф), а также мифологизированные образы его героев.

Слава Гофмана, так ярко звучавшая в 30–40-е гг. XIX в. в России, в 50–60-е гг. затихает. Однако в творчестве предсимволистов А. Толстого и Вл. Соловьева вновь происходит актуализация проблем, образов и стилистических принципов немецкого романтика, которые находят системное воплощение в виде идейно-тематического «гофмановского комплекса». Этот комплекс включает следующие черты: синтез искусств (попытка соединить в рамках одного произведения разных видов искусств: музыку, поэзию, живопись и т.п. («Крейслериана I»)); романтическую иронию и гротеск (характеризуется постоянной сменой серьезного и несерьезного, смешением объективного и субъективного, снятием всего действительного, ставшего и одностороннего, непрерывным пародированием («Золотой горшок», «Крошка Цахес»)); психологизм (погружение в глубины психики человека и поиск причины раздвоения («Эликсиры дьявола»)), тематизацию проблемы механизации жизни и человека, поставленной Э.Т.А. Гофманом, через разработку образов-символов маски, куклы, автомата, марионетки и двойника, которые подменяют человека («Песочный человек», «Автоматы», «Принцесса Брамбilla»); образ-символ зеркала, множащего сущности; символ глаз как единственный способ распознавания подлинности «живого» – «неживого» («Песочный человек»). «Гофмановский комплекс» характеризуется целостностью воспроизведенного содержания (присутствие одного из элементов в тексте актуализирует все содержание выделенного комплекса).

Основаниями для объединения разных по жанровым и стилевым особенностям текстов в комплекс являются следующие критерии: единство сюжетов и образной системы (раздвоение героя, замена человека куклой, сюжет художника, сюжет вероотступничества), повторяемость заимство-

ванных мотивов (мотив куклы, двоемирия, двойничества), стилистическое сходство (романтическая ирония и гротеск).

Понятие «гофмановский комплекс русской литературы» помогает отразить сложный процесс мифологизации образа Гофмана и его героев в русской литературе, формирование которого включает несколько стадий. На первой стадии происходит непосредственное взаимодействие с текстами Гофмана на языке оригинала, на второй – опосредованное восприятие Гофмана через тексты русской литературы, возникшие под влиянием как самого Гофмана, так и гофмановской традиции, складывавшейся в русской литературе и культуре XIX в. Таким образом, можно говорить о возникновении в русской литературе «гофмановского текста» в начале XIX в., формировании «гофмановского комплекса» в конце XIX в. и процессах трансформации его в начале XX в. в связи с общими процессами развития русской литературы на рубеже XIX–XX вв.

В эпоху Серебряного века интерес к Гофману вслед за А. Толстым и В. Соловьевым в русской литературе возобновляется, особенно у символистов. Об этом свидетельствуют многочисленные упоминания немецкого романика писателями-символистами и теми, кто входил в их круг общения. Имя Гофмана встречается в эссеистике, дневниках и записных книжках А. Блока, А. Белого, Г. Чулкова, Вяч. Иванова, М. Кузмина и др. Последний, например, пишет о популярности коллективного чтения Гофмана (в дневнике от 30 апреля 1915 г.): «...читали Гофмана. Рассуждали» [10. С. 530]. Кроме того, Кузмин свидетельствует и о попытках подражания Гофману. В дневниковой записи от 21 июля 1906 г. он указывает, что «Сережа (Судейкин) писал романтический рассказ в духе несколько Гофмана» [10. С. 543]. Сам Кузмин весьма почитал Гофмана, что подтверждается комментариями к его дневникам: «Гофман как прозаик и композитор пользовался неизменным авторитетом у Кузмина [10. С. 588]. Большое внимание уделял в своих дневниках Гофману и Вяч. Иванов, делая акцент на близости символизма и романтизма. Так, в августе 1909 г. он пишет, что «Кузмин знакомил [его] с оперой Гофмана «Ундин» [11. Т. 2. С. 796]. А в более поздний период, в 1922 г., Вяч. Иванов сам переводит гофмановскую новеллу «Двойники».

«Гофмановский текст русской литературы» в эпоху Серебряного века находит яркое воплощение. В первую очередь это проявляется в приеме мифологизации культурных имен, который был столь характерен для литературы символизма. Об этом пишет И.С. Приходько, которая подробно рассматривает аспект мифологизации культурных имен в творчестве символовистов: «Создавая свое слово о личности (миф личности), автор выступает скорее как художник, чем как критик. Это означает, что его образы-мифы становятся поэтическим выражением, самовыражением» [12. С. 18–19]. Мифологизированный образ «великого» интересен не только идеями, но прежде всего личностью, потому что через «соотнесение своего, глубоко личного, переживаемого здесь и сейчас, с образами великих, частное бытие писателя как бы приобщается к вечности, что возможно только в

мифе. С другой стороны, образы «великих», выведенные за пределы их исторического времени, актуализируются, становятся современниками, близкими по духу» [13. С. 46].

Интерес символистов к творчеству Гофмана не случаен, так как многое в их творческом сознании совпадало с проблемами, художественными приемами немецкого романтика. Благодаря Гофману русским писателям удалось осмыслить и выразить в своих произведениях многие внутренние противоречия, исследовать темные глубины своей души, а также выразить общие тенденции в современном обществе: процесс механизации человека, утраты человеком души и превращение его в куклу, марионетку. Отсюда одной из главных тенденций современной жизни становится проблема одиночества.

А. Блок отмечал, что «символизм связан с романтизмом глубже всех остальных течений» [14. Т. 6. С. 370]. Так Гофман для Блока стал символом всего романтизма, о чем русский поэт пишет в статье «Девушка розовой калитки и муравьиный царь», где он противопоставляет Германию – «богатую, тучную» страну, подобную механизму, который приводит в движение «бесконечно длинный» поршень, «некультурной» России с ее «непокорными и беззаконными» русскими. Романтический склад души поэта не принимает эту немецкую действительность. Его душа рвется в мир другой Германии – романтического прошлого, в мир гофмановской сказки, скрытой в дивном саду германского замка. Блок признается, что любит Германию прошлого, хотя считает ее «прежней, исторической, мертвей». В ней есть своя особая красота – романтическая, способная пусть на мгновение, но пробуждать в душе человека живую красоту, которой лишена Германия настоящего. Называя в качестве символа романтизма имя великого немецкого писателя Э.Т.А. Гофмана, Блок использует его как имя-идею, мифологизирует его.

Для символистов было характерно воспринимать друг друга как мифологизированный образ самого немецкого романтика. Г. Чулков, например, сравнивает Ремизова с Гофманом: «Ремизов-художник неоткровенен и несветел: он так же темен, многолик и скрытен, как Гофман. Бродить по лабиринту его творчества и утомительно, и трудно. Это не светлый сад <...>. Это запутанная система комнат и коридоров, где полумрак, где душно <...>. Тусклое эхо повторяет жуткий смех под темными сводами. И от этого смеха сжимается в тоске сердце...» [15. С. 119].

Кроме того, для многих символистов характерна традиция осмысления друг друга в романтическом духе, как мифологизированный образ героя из произведений Гофмана. Например, А. Белый в очерке о Владимире Соловьеве сравнивает русского философа с героями из гофмановских сказок: «Приходил по какому-то делу, но мне он явился, как являются сказочные незнакомцы из Гофмана. Взрослые говорили, что в пустыне его приняли за черта. Мне казалось, что он вышел из смерчей Самума, пришел к нам; а когда вышел за дверь, то смерчем расклубился, метелью пронесся. Греза стала реальнее» [16. Т. 8. С. 293].

Во второй книге воспоминаний «Начало века», говоря о Вяч. Иванове, Белый называет его случайно дожившим до XX в. романтиком и также сравнивает с героями Гофмана: «...кто он: архивариус, школьный учитель из Гофмана, век просидевший в немецкой провинции с кружкой пива в руках над грамматикой, или романтик, доплещийся кое-как до революции 48-го года и чудом ее переживший при помощи разных камфар с навтилиями <...> чтобы здесь на Арбате <...> меня, Эртеля, Брюсова <...> нас заставить водить хороводы под звуки симфонии Бетховена» [17. С. 309]. Подобным образом воспринимает Вяч. Иванова Г. Чулков, отмечая его внешнее сходство с персонажами их Гофмана: «Я познакомился с ним и его покойной ныне женой, Лидией Дмитриевной, еще в 1904 году у Мережковского. <...> Вячеслав Иванов был тогда похож на одного из загадочных персонажей Гофмана» [15. С. 25].

Другим элементом «гофмановского текста русской литературы» на рубеже XIX–XX вв. становится идеино-тематический «гофмановский комплекс», который в творчестве русских писателей не только становится литературным приемом, но и переосмысливается. «Гофмановский комплекс» находит воплощение у символистов в первую очередь в произведениях малой прозы: в цикле рассказов З. Гиппиус «Зеркала» (1898), В. Брюсова «Земная ось» (1901–1907), рассказе А. Белого «Рассказ № 2» (1902), в цикле Чулкова «Кремнистый путь» (1904), а также в ранних рассказах Андреева: «Мысль», «Смех», «Стена» (1898–1903) и др., где писатели в поисках собственного стиля используют романтические образы и стилистику. Символисты в своих рассказах чаще всего делают акцент на одном из элементов комплекса: двойничество, зеркальности, двоемирии, приеме одушевления неживого и др., вокруг которого концентрируются и другие элементы комплекса, что делает стиль Гофмана узнаваемым в произведении.

Одновременно «гофмановский комплекс» становится важным литературным приемом, который трансформируется в новом типе модернистского романа («Огненный ангел» (1907) В. Брюсова, «Петербург» (1911–1912) А. Белого, «Мелкий бес» (1905–1907) Ф. Сологуба, «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901) Д. Мережковского), о чем писалось нами ранее [18–21]. В процессе формирования жанра символистского романа важную роль сыграли «Эликсиры дьявола» Гофмана (1815), в котором «гофмановский комплекс» проявился как единое целое. Этот роман можно считать синтетическим типом романа, так как в нем соединяются романтические, реалистические и символистские черты.

Символисты переосмыливают многие элементы «гофмановского комплекса». В частности, двойничество не только становится непременным элементом символистских романов, но и, как у Гофмана в романе «Эликсиры дьявола», превращается во множественный раскол, так как отражает важнейшую проблему современности: раздвоение человеческого сознания. Мережковский причину этого явления видит в противостоянии христианства и язычества, о чем пишет в романе «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи». Вслед за Гофманом он считает, что эпоха Возрождения – это пе-

риод в истории, когда произошло искажение канонического христианства, и этот кризис привел к духовному упадку всей европейской культуры. Результатом этого процесса стали раздвоение личности современного человека и механизация культуры и общества. Человек утратил цельность, стал бездушной куклой. Гофман, который одним из первых поднял эти проблемы в своем творчестве, считал, что задача современного человека – осознать свою дуалистичность и попытаться вернуться к цельности, что его герою удастся. Символисты же полагают, что процесс двоения остановить нельзя, как нельзя вернуть к истокам христианство. Мережковский предлагает свое решение проблемы – вернуть культуру в лоно христианства, или христианство вовлечь в новое культурное творчество, так как культура шире христианства, но она нуждается в синтезе с религией. И в качестве образца он предлагает образ Леонардо да Винчи как синтез гармонии личности, символ Демиурга.

Меняется способ изображения раскола сознания героев. Символисты показывают его не только через раздвоение героев, но и композиционно: события противоречат друг другу, эпизоды обрываются без объяснения, одни и те же происшествия толкуются разными персонажами по-разному. У символистов, в частности у А. Белого («Петербург»), сознание художника получает абсолютную творческую свободу, но внутреннее раздвоение и внутренняя несвобода художника не дают ему создавать цельное произведение, что проявляется в мотивах «разломов», «разрывов», «обломков», «кусков».

В отличие от Гофмана, у которого человек мечется между добром и злом и, встав на путь зла, может прийти к очищению через страдание, как Медардус из романа «Эликсиры дьявола», в эпоху Серебряного века человек утрачивает шанс на перерождение. Он уже предстает как духовно мертвый, как кукла, что часто подчеркивается в его поведении. Он несет разрушение, а не созидание, отсюда процесс эволюции героя идет не в сторону возрождения, а в сторону деградации личности, как в романах А. Белого «Петербург» и Ф. Сологуба «Мелкий бес». Например, Ф. Сологуб концентрирует внимание только на одной стороне пути своего героя – процессе деградации Передонова, его полном духовном распаде, в результате чего происходит раскол его личности и появляются двойники, каждый из которых отражает одну из сторон его личности. В связи с этим большое значение приобретает образ-символ глаз, который служит способом распознавания сущности человеческой души (Передонов боится чужого взгляда, поэтому прячет глаза под очками, а картам вырезает глаза).

В литературе Серебряного века меняется и мотивация поведения человека. У Гофмана рок управляет героями, поэтому они чувствуют себя марионетками, которые ничего не могут изменить в своей жизни. У русских писателей место рока занимают мысли героя, которые воздействуют на него (В. Брюсов. «Когда я проснулся...», Л. Андреев. «Мысль» и др.). В обществе, где происходит утрата духовных ценностей, где люди заражены пошлостью и равнодушием, происходит перекос в сознании человека, и мысли человека становятся «нездоровыми», безумными. Эти мысли тол-

кают человека на преступление или сводят его с ума, как в романах А. Белого «Петербург», Ф. Сологуба «Мелкий бес».

Другим устойчивым элементом символистских романов становится автобиографический подтекст, так как для символистов жизнь и творчество – одно, им свойственно проживание текста в реальной действительности. Отсюда в их произведениях проникают ирония над прототипами, героями и автоирония. Символисты унаследовали большую часть арсенала своей иронии от романтиков, и в частности от Гофмана, соединив ее с символистской «творческой свободой», в результате чего ирония усложнилась и стала ярче и острее, появился злой гротеск, как в романах В. Брюсова «Мелкий бес» и А. Белого «Петербург».

Символисты заимствуют гофмановский тип иронии, основанный на сближении мира мечты с миром реальным, когда происходит развенчание мира идеального. В символизме ирония и гротеск становятся высшей формой насмешки над миром и самим собой, когда на первый план выходят зло, безумие, уродство, превращая объект иронии в злую карикатуру, как у Сологуба и Белого. Например, Белый часто делает акцент на отдельных частях тела (череп, ухо, рот), или изображает человека как мертвеца, куклу, автомат, чудовище. Сологуб создает гротескный образ Недотыкомки, который олицетворяет собой абсолютное зло. Кроме того, ирония у символовистов порой становится структурно-организующим принципом всего произведения.

Новый смысл в произведениях символовистов приобретает и переодевание героев. Если у Гофмана одежда помогает скрыть свою сущность (Медардус надевает другой костюм, и люди воспринимают его иначе), то у Сологуба, Белого костюм отражает нравственный распад человека. Он нередко получает власть над самим человеком и начинает им управлять. Например, Николай Аполлонович из романа А. Белого «Петербург». С того момента, как он надевает красное домино, все его унижают и называют «Лягушонок, урод – красный шут!», «красное домино – домино шутовское» [22. Т. 2. С. 127]. Софья Андреевна, переодевшись в розовое кимоно, превращается в японскую куклу: «Посмотрите: не больно; и крови нет: восковая я <...> кукла» [22. Т. 2. С. 65]. Или Саша Пыльников в романе Ф. Сологуба «Мелкий бес» надевает костюм гейши и воспринимается окружающими как женщина.

Символисты используют восходящий к Гофману прием интертекстуальности, проявившийся в его рассказах «Разбойники», «Взаимосвязь вещей» и «Дон Жуан», где пространство «чужого текста» вмешивается в реальную действительность, заставляя героев ему подчиняться. Этот прием символистами был доработан и нашел воплощение в авторской «игре» с «чужим текстом». В результате в романах символовистов можно говорить о «цитатности на уровне «чужой поэтики» и цитатности на уровне «чужого содержания».

«Гофмановский комплекс» и театральная эстетика немецкого писателя отразились также в лирических и драматических произведениях символи-

стов: Вл. Соловьева, А. Белого, А. Блока, а также в символистских пьесах Л. Андреева и оказали влияние на процесс реформирования русского театра в целом на рубеже XIX–XX вв. [23].

Драматическое творчество Вл. Соловьева становится первым этапом, когда идейно-тематический «гофмановский комплекс» начинает осознаваться как единое целое. Сходные с Гофманом образы и мотивы у Вл. Соловьева (лилия, образ мифологического сада, анималистические образы), созданные сквозь призму иронического начала, под влиянием гофмановской иронии и гротеска, делают автоиронию, кукольность и буффонаду актуальными стилистическими приемами для символистов, которые увидели в них новый способ отражения реальности.

Важную роль в формировании «гофмановского комплекса» сыграла и лирика символистов, в большей степени А. Блока и А. Белого. Это происходит преимущественно в момент их тесной дружбы и увлечения романтическо-мистическими ожиданиями прихода Вечной Женственности. В период же разочарования в идеале в творчестве обоих поэтов появляется ирония, которая по стилю близка немецкому романтику. «Гофмановский комплекс» становится важным элементом теории символа А. Белого, а также в его «Симфониях» и отражается в попытке соединить в одно целое музыку, слово и ритм (идея синтеза искусств).

«Гофмановский комплекс» находит воплощение и в драматическом творчестве А. Блока. Сначала в трилогии «Балаганчик» (1906), «Король на площади» (1906) и «Незнакомка» (1906), которая имеет романтические истоки по определению самого поэта, а затем в драмах «Песня судьбы» (1908) и «Роза и Крест» (1912–1913). В трилогии Блока «гофмановский комплекс» реализуется как единое целое: синестезия, проблема механизации жизни и человека, проявившаяся в образах маски, куклы, двойника, выражают проблему равнодушия к человеку в современном мире, где люди превращаются в ходячих мертвецов или кукол. В драме «Балаганчик» Блок вслед за Гофманом продолжает традицию мифологизации в литературе персонажей *commedia dell' arte*. Важным элементом блоковского стиля в лирической трилогии становится романтическая ирония и гротеск, которые трансформируются в разрушительную иронию и становятся автоиронией.

В основе драмы «Песнь судьбы» А. Блока лежит оппозиция Европа – Россия, которая проявляется в проблеме механизации культуры и человека, где человек утрачивает ценность на фоне автоматов, попадает под их влияние, превращаясь в куклу. Образ песни, которую поет Фаина, – часть мощной природной стихии, способной пробудить душу человека. Этот образ найдет продолжение в драме «Роза и Крест», где Блок вслед за Гофманом поднимает проблему «подлинного» (идущего от сердца) и «ложного» (основанного на традиционных штампах) искусства. Гофмановский прием двойничества в драме «Роза и Крест» становится смыслообразующим элементом.

Черты гофмановской эстетики нашли отражение и в творчестве Л. Андреева, который еще в ранних рассказах обращается к романтическим при-

емам в поисках собственного стиля, а в драматическом творчестве эти приемы в виде гофмановского комплекса отражаются в драмах «Царь-голод» (1908), «Жизнь человека» (1907), «Черные маски» (1908). В пьесах Л. Андреева находит яркое воплощение идея живописно-музыкальной гармонии, так как он мастерски сочетает музыку, живопись и элементы пластики. Его пьесы наполняются символическими звуками, образами и аллегориями. Андреев одним из первых использует музыку как действующего персонажа. Проблема механизации человека и общества проявляется в приеме одушевления не только неживых предметов, но и абстрактных понятий. Романтическая ирония у Л. Андреева отражается в образах смеха, хохота, безумия, танца и порой доходит до абсурда.

«Гофмановский комплекс» оказывает влияние не только на поэтов и драматургов, он становится также частью новых театральных теорий. Так гофмановская идея синтеза искусств, продолженная Р. Вагнером и Вл. Соловьевым, внесла значительный вклад в развитие нового типа драмы и отразилась в театральной эстетике В.Э. Мейерхольда, А. Белого и Вяч. Иванова, Ф. Сологуба, Н.Н. Евреинова и др. Проблема механизации искусства, проявившаяся в появлении масок, кукол и двойников, которые легли в основу теории Н.Н. Евреинова и В.Э. Мейерхольда и др., также способствовала возникновению принципа «условности» в театре.

Другим вариантом воплощения проблемы механизации человека и культуры, восходящей к Гофману, становится сравнение актера с марионеткой, куклой. Гофман стал одним из первых, кто поставил куклу-марионетку выше актера (статья «Необыкновенные страдания директора театра»). Кукольность и марионеточность захватывают русский театр и отражаются в теории символистского «театра-храма» А. Белого, «соборного театра» Вяч. Иванова, театра «одной воли» Ф. Сологуба. Гофмановские ирония и гротеск становятся непременным атрибутом большинства эстетических концепций Серебряного века. Ее используют в своем творчестве В.Э. Мейерхольд, Вл. Соловьев, А. Блок, Н.Н. Евреинов и др.

Таким образом, изучение русской литературы конца XIX – начала XX в. в аспекте «гофмановского текста русской литературы» представляется нам весьма актуальным, так как позволяет выявить фундаментальные закономерности философско-эстетического мышления и картины мира Серебряного века.

Важным элементом «гофмановского текста» является «гофмановский комплекс», который становится значимым источником рецепции в литературе Серебряного века. Выделение «гофмановского комплекса» в литературе конца XIX – начала XX в. помогает обнажить особенности процессов, которые шли внутри русской литературы рубежа веков: появление новых направлений (символизм, неореализм, неоромантизм и др.), возрождение романтических традиций, трансформация традиционных жанров (рассказ, сказка, поэма, драма) и формирование новых жанров (симфония, модернистский роман, новая драма), а также использование стилистических приемов (мифологизация, карнавализация, романтическая ирония и гротеск).

Литература

1. *Полвека русской жизни: Воспоминания А.И. Дельвига. 1820–1870.* М. ; Л. : Академия, 1930. Т. 1. 106 с.
2. *Пыпин А.Н. Белинский, его жизнь и переписка : в 2 т.* СПб., 1876.
3. *Игнатов С.С. Погорельский и Гофман // Русский филологический вестник.* Варшава, 1914. Т. 72, № 3–4.
4. *Израилевич Л. К вопросу о влиянии Гофмана на Гоголя // Ученые записки Ленинградского университета.* 1939. № 33. Сер. филол. наук. Вып. 2. 600 с.
5. *Тамарченко Н., Белянцева А. Традиции Гоголя и Гофмана в «Двойнике» Достоевского // Гоголь как явление мировой литературы: По материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 150-летию со дня смерти Н.В. Гоголя, 31 окт. – 2 нояб. 2002 г.* М., 2003. С. 345–351.
6. *Ботникова А.Б. Э.Т.А. Гофман и русская литература.* Воронеж, 1977. 206 с.
7. *Русская литература рубежа веков: 1890-е – начало 1920-х годов.* М. : ИМЛИ РАН, Наследие, 2001. 768 с.
8. *Меднис Н.Е. Текст и его границы. Сверхтексты в русской литературе.* Новосибирск : НГПУ, 2003. 170 с
9. *Кузьмина Н.А. Интертекст и его роль в процессах эволюции поэтического языка.* М. : Едиториал УРСС, 2004. 272 с.
10. *Кузмин М. Дневник 1908–1915 годов.* СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2005. 865 с.
11. *Иванов В. Собрание сочинений : в 4 т.* Брюссель, 1987.
12. *Приходько И.С. А. Блок и русский символизм: мифопоэтический аспект.* Владимир, 1999. 80 с.
13. *Приходько И.С. Вечные спутники Д.С. Мережковского: К проблеме мифологизации культуры // Сборник по материалам конференции в ИМЛИ РАН.* М., 1999. С. 46–54.
14. *Блок А.А. Собрание сочинений : в 8 т.* М. : Худож. лит., 1961–1963.
15. *Белый А. Собрание сочинений : в 14 т.* М. : Республика, 1994–2018.
16. *Белый А. Книга 1. На рубеже двух столетий.* М. : Худож. лит., 1989. 543 с.
17. *Чулков Г. Современники: (Годы странствий).* Public Domain, 1930.
18. *Королева В.В. Миф о художнике Леонардо в романах Д.С. Мережковского «Воскресшие Боги. Леонардо да Винчи» и Э.Т.А. Гофмана «Эликсиры дьявола» // Вестник Костромского государственного университета.* 2019. Т. 24, № 2. С. 159–165.
19. *Королева В.В. Черты гофмановского стиля в романе Ф.К. Сологуба «Мелкий бес».* // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2016. Т. 22, № 5. С. 100–106.
20. *Королева В.В. Гофмановский пласт «чужого слова» в романе А. Белого «Петербург» // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова.* 2016. Т. 22, № 3. С. 74–79.
21. *Королева В.В. Множественный раскол личности в романе В. Брюсова «Огненный ангел» и «Эликсиры дьявола» Э.Т.А. Гофмана // Пушкинские чтения-2015. Художественные стратегии классической и новой литературы: жанр, автор, текст : материалы XX Междунар. науч. конф.* СПб., 2015. С. 83–92.
22. *Белый А. Собрание сочинений. Петербург: Роман в 8 главах с прологом и эпилогом.* М. : Наука, 1994.
23. *Королева В.В. «Гофмановский комплекс» в театральной эстетике Серебряного века // Вестник Томского государственного университета.* 2019. № 439. С. 18–25.

“Hoffmann’s Text” in the Works of Russian Symbolists

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 270–281. DOI: 10.17223/19986645/71/16

Vera V. Koroleva, Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs (Vladimir, Russian Federation). E-mail: queenvera@yandex.ru

Keywords: Hoffmann, supertext, “Hoffmann text of Russian literature”, “Hoffmann’s complex”, mythologization, doubleness, puppetry, romantic irony and grotesque.

The article aims to distinguish between the theory of intertextuality (R. Barthes, J. Kristeva) and the theory of supertexts (V.N. Toporov, N.E. Mednis, N.A. Kuzmina) in the concept “Hoffmann’s text of Russian literature”. The hypothesis is that “Hoffmann’s text” was formed in the first half of the 19th century in the works of A. Pogorelsky, N. Gogol, F. Dostoevsky, and others, and it consists of motifs, images, and stylistic techniques typical for the German writer, a mythologized image of the writer himself and his characters. In the Silver Age, symbolists express the totality of Hoffmann’s problems, images and stylistic techniques in the form of an ideological and thematic “Hoffmann’s complex”. The complex includes a synthesis of arts, romantic irony and grotesque, psychologism, thematization of the problem of mechanization of life and man realized in the images–symbols of a mask, a doll, a puppet, a double, and a mirror, and is characterized by the integrity of the reproduced content. Awareness of “Hoffmann’s complex” as a whole and its reinterpretation is observed in the works of V. Bryusov, A. Blok, A. Bely, F. Sologub, Z. Gippius, D. Merezhkovsky, and others. In works of small and medium genres, one of the elements of the complex is used: doubleness (A. Bely’s “Story #2”), mirroring (Z. Gippius’ *Mirrors*, V. Bryusov’s *In the Mirror*), animating the inanimate (L. Andreev’s “Thought”). In the symbolist novel, “Hoffmann’s complex” is presented systemically (F. Sologub’s *The Petty Demon*, A. Bely’s *Petersburg*). An important aspect of the article is the analysis of the transformation of “Hoffmann’s complex” in the works of symbolists. The technique of “animating the inanimate” also applies to abstract concepts (silence, lies, thought). The image of a mirror symbolizes a departure from reality (Z. Gippius’ *Mirrors*, A. Bely’s *Petersburg*). The mask and costume gain power over the person. Hoffmann’s doubleness is manifested in symbolists’ works in the reception of the “doubling of reality” (V. Bryusov’s “Flat”, A. Bely’s *Petersburg*). The synthesis of arts is reflected in the attempt to connect the word with music (A. Bely’s *Symphonies*, *Petersburg*). Following Hoffmann, symbolists base their worldview on “destructive” irony. “Hoffmann’s complex” is also becoming a key element in the dramatic art of the Silver Age. Hoffmann’s irony and grotesque are transformed into self-irony and self-fertility in the comic plays of V. Solov'yov. The idea of synthesis of arts formed the basis of the “musical” organization of narration in A. Bely’s *Symphonies*. “Hoffmann’s complex” is fully revealed in the dramatic works of A. Blok (*The Puppet Show*, *The Rose and the Cross*). Symbolist dramas of Andreev enrich the complex with new techniques (abstract concepts as acting characters). Russian literature and literary life were influenced by the active functioning of “Hoffmann’s complex” at the turn of the 20th century.

References

1. Shtraykh, S.Ya. (ed.) (1930) *Polyeka russkoy zhizni. Vospominaniya A.I. Del'viga. 1820–1870* [Half a Century of Russian Life. Memories of A.I. Delvig. 1820–1870]. Vol. 1. Moscow; Leningrad: Academia.
2. Pypin, A.N. (1876) *Belinskiy, ego zhizn' i perepiska* [Belinsky, His Life and Correspondence]. Saint Petersburg: Tipografiya M.M. Stasyulevicha.
3. Ignatov, S.S. (1914) Pogorel'skiy i Gofman [Pogorelsky and Hoffmann]. *Russkiy filologicheskiy vestnik*. 3–4 (72).
4. Izrailevich, L. (1939) K voprosu o vliyanii Gofmana na Gogolya [On the issue of the influence of Hoffmann on Gogol]. *Uchenye zapiski Leningradskogo universiteta*. 33-2.
5. Tamarchenko, N. & Belyantseva, A. (2003) [Traditions of Gogol and Hoffmann in Dostoevsky’s “The Double”]. *Gogol' kak yaylenie mirovoy literatury* [Gogol as a Phenomenon of World Literature]. Proceedings of the International Conference Dedicated to the 150th Anniversary of the Death of N.V. Gogol. Moscow. 31 October – 2 November 2002. Moscow: Gorky Institute of World Literature RAS. pp. 345–351. (In Russian).

6. Botnikova, A.B. (1977) *E.T.A. Gofman i russkaya literatura* [E.T.A. Hoffmann and Russian Literature]. Voronezh: Voronezh State University.
7. Keldysh, V.A. (ed.) (2001) *Russkaya literatura rubezha vekov (1890-e – nachalo 1920-kh godov)* [Russian Literature at the Turn of the Century (1890s – early 1920s)]. Moscow: Gorky Institute of World Literature RAS, Nasledie.
8. Mednis, N.E. (2003) *Tekst i ego granitsy. Sverkhteksty v russkoy literature* [Text and Its Borders. Supertexts in Russian literature]. Novosibirsk: Novosibirsk State Pedagogical University.
9. Kuz'mina, H.A. (2004) *Intertekst i ego rol' v protsessakh evolyutsii poeticheskogo yazyka* [Intertext and Its Role in the Evolution of Poetic Language]. Moscow: Editorial URSS.
10. Kuzmin, M. (2005) *Dnevnik 1908–1915 godov* [Journal of 1908–1915]. Saint Petersburg: Izd-vo Ivana Limbaka.
11. Ivanov, Vyach. (1987) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Brussels: Foyer Oriental Chrétien.
12. Prikhod'ko, I.S. (1999) *A. Blok i russkiy simvolizm: mifopoeticheskiy aspekt* [A. Blok and Russian Symbolism: Mythopoetic Aspect]. Vladimir: Vladimir State Pedagogical University.
13. Prikhod'ko, I.S. (1999) Vechnye sputniki D.S. Merezhkovskogo. K probleme mifologizatsii kul'tury ["Eternal Companions" by Merezhkovsky. (On the problem of the mythologization of culture)]. In: Keldysh, V.A., Koretskaya, I.V. & Nikitina, M.L. (eds) *D.S. Merezhkovskiy: Mysl' i slovo* [D. S. Merezhkovsky: Thought and word]. Moscow: Nasledie. pp. 198–206.
14. Blok, A.A. (1961–1963) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
15. Belyy, A. (1994–2018) *Sobranie sochineniy* [Collected Works]. Moscow: Respublika.
16. Belyy, A. (1989) *Kniga 1. Na rubezhe dvukh stolietiy* [Book 1. At the turn of two centuries]. Moscow: Khudozhestvennaya literatura.
17. Chulkov, G. (1930) *Sovremenniki. (Gody stranstviy)* [Contemporaries. (Years of Wandering)]. Public Domain.
18. Koroleva, V.V. (2019) Myth about Leonardo the Artist in the novels "Resurrection of Gods. Leonardo Da Vinci" by Dmitry Merezhkovsky and "The Devil's Elixirs" by E.T.A. Hoffmann. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2 (24). pp. 159–165. (In Russian).
19. Koroleva, V.V. (2016) Ernst Theodor Amadeus Hoffmann's style features in the novel "The Petty Demon" by Fyodor Sologub. *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova*. 5 (22). pp. 100–106. (In Russian).
20. Koroleva, V.V. (2016) Hoffmann's layer of "Alien Words" in the novel by Andrei Bely "Petersburg". *Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta im. N.A. Nekrasova*. 3 (22). pp. 74–79. (In Russian).
21. Koroleva, V.V. (2015) [Multiple personality split in V. Bryusov's novel "The Fiery Angel" and "The Devil's Elixirs" by E.T.A. Hoffmann]. *Pushkinskie chteniya – 2015. Khudozhestvennye strategii klassicheskoy i novoy literatury: zhanr, avtor, tekst* [Pushkin Readings – 2015. Artistic Strategies of Classical and New Literature: Genre, Author, Text]. Proceedings of the XX International Conference. Saint Petersburg. 6–7 June 2015. Saint Petersburg: Pushkin Leningrad State University. pp. 83–92. (In Russian).
22. Belyy, A. (1994) *Sobranie sochineniy. Peterburg: Roman v 8 glavakh s prologom i epilogom* [Collected Works. Petersburg: A novel in 8 chapters with a prologue and an epilogue]. Moscow: Nauka.
23. Koroleva, V.V. (2019) "Hoffmann's Complex" in The Theater Aesthetics of the Silver Age. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 439. pp. 18–25. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/439/3

УДК 82.02
DOI: 10.17223/19986645/71/17

В.Т. Фаритов

ПОЭТИКА ТРАНСГРЕССИИ: Н.В. ГОГОЛЬ, А. БЕЛЫЙ, Ф. НИЦШЕ¹

Проводится сравнительное исследование поэтики прозы Н.В. Гоголя и Ф. Ницше в рецепции А. Белого. Предметом исследования выступает работа А. Белого «Мастерство Гоголя» (1934). Показывается, что проза Гоголя предвосхищает многие стилистические приемы прозы Ницше. В статье обосновывается тезис, что общие черты стиля прозы Гоголя и Ницше имеют своим основанием общность онтологических воззрений. В результате проведенного исследования достигается углубление в понимании проблемы влияния Ницше на русскую литературу.

Ключевые слова: предел, граница, экстаз, трансгрессия, становление, фикция, Н.В. Гоголь, А. Белый, Ф. Ницше

Статью о Гоголе 1909 г. Андрей Белый завершает такой формулировкой: «Быть может, Ницше и Гоголь – величайшие стилисты всего европейского искусства, если под стилем разуметь не слог только, а отражение в форме жизненного ритма души» [1. С. 431]. И в своем фундаментальном исследовании, увидевшем свет в 1934 г., Белый отмечает: «Только у Фридриха Ницше ритм прозы звучит с гоголевской силой» [2. С. 295]. Данный момент заслуживает внимания исследователя. Ни Тургенев, ни Толстой, ни Достоевский не получили у Белого столь высокой оценки, как Ницше, удостоившийся титула едва ли не единственного наследника мастера русской словесности: «После Гоголя ни русская, ни мировая проза долго не знала таких звуков; они вырвались позднее... из прозы Ницше» [2. С. 295]. Дело не только в звуках. Стиль для Белого есть «форма жизненного ритма души». Соответственно, стилистическая общность указывает на родственность внутреннего мира, на общие тенденции в мышлении и мировосприятии. Отсюда следует, что в русской культуре вовсе не соперничавшие за звание «русского Ницше» Л. Шестов, В.В. Розанов или Н.А. Бердяев обнаруживают наибольшую близость взглядам немецкого философа. Подлинным соратником Ницше, согласно Белому, следует признать Гоголя. Точнее, Ницше следует считать истинным последователем Гоголя. Ключ к этому внутреннему родству лежит не в провозглашаемых идеях, вошедших в учебники по истории литературы и философии, но в поэтике прозы Гоголя и Ницше. Именно анализ поэтики позволит вскрыть тот глубинный

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РFFI в рамках научного проекта № 19-011-00910 «Маргинальные феномены человеческого бытия (Антрапология ad Marginem)».

жизненный ритм души, который, по Белому, объединяет Гоголя и Ницше больше, чем кого бы то ни было.

Сам Ницше не знал, да и не мог знать об этом родстве. В «По ту сторону добра и зла» философ упоминает Гоголя в одном ряду с Байроном, Мюссе, По, Леопарди и Клестом. Все эти поэты уличаются в «фабрикации фальшивых монет»: «Эти великие поэты, например эти Байроны, Мюссе, По, Леопарди, Клейсты, Гоголи, – если взять их такими, каковы они на самом деле, какими они, пожалуй, должны быть, – люди минуты, экзальтированные, чувственные, ребячливые, легкомысленные и взбалмошные в недоверии и в доверии; с душами, в которых обыкновенно надо скрывать какой-нибудь изъян; часто мстящие своими произведениями за внутреннюю загаженность, часто ищащие своими взлетами забвения от слишком верной памяти» [3. С. 208]. Для того чтобы оценить Гоголя по достоинству, чтобы правильно понять его место и значение в русской и мировой культуре, у Ницше не было средств – знания русского языка. Поэтому достаточно редкие высказывания Ницше о Гоголе в настоящем исследовании в счет не идут. Предметом нашего анализа является рецепция наследия Гоголя и Ницше в работах А. Белого.

Для начала укажем, что общего в содержательном плане находил Белый у обоих величайших стилистов. В творчестве Гоголя Белый видит предвосхищение новой души: «далекое прошлое человечества (зверье) и далекое будущее (ангельство) видел Гоголь в настоящем. Но настоящее разложилось в Гоголе. Он – еще не святой, уже не человек. Провидец будущего и прошлого зарисовал настоящее, но вложил в него какую-то нам неведомую душу. И настоящее стало прообразом чего-то...» [1. С. 431]. Формула гоголевского мироизречения: «еще не, уже не». Гоголь для Белого экстасичен, он устремлен по ту сторону настоящего, человеческая душа видится и зарисовывается им в состоянии перехода, «мирового экстаза». Человек дан в этом движении над пропастью между дочеловеческой и сверхчеловеческой душой: «Но подходим мы не к школе – к душе Гоголя; а страдания, муки, восторги этой души на таких вершинах человеческого (или уже сверхчеловеческого) пути, что кощунственно вершины эти мерить нашим аршином; и аршином ли измерять высоту заоблачных высот и трясину бездонных болот?» [1. С. 431]. Здесь Белый прочитывает Гоголя в образах и символах ницшеского «Заратутстры»: «Человек – это канат, закрепленный между зверем и сверхчеловеком, – канат над пропастью» [4. С. 15]. («Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, – ein Seil über einem Abgrunde» [5. S. 9]). И значение Ницше, по Белому, характеризуется предошущением «стиля новой души», в образе сверхчеловека рисует он «прообраз предела»: «этим пределом является новая разновидность человеческого рода». «Бренную душу у нас вырывает Ницше для того, чтобы мы превратили ее в колыбель будущего» [6. С. 883, 881].

Такова, в общих чертах, тенденция прозы как Гоголя, так и Ницше в истолковании Белого. Теперь необходимо показать, как эта философская тенденция обнаруживает себя непосредственно в словесной ткани произ-

ведений Гоголя. Филологическое по методу и материалу исследование «Мастерство Гоголя» богато философскими импликациями, раскрытию которых посвящена настоящая работа.

Бытие как становление: Гоголь и Гераклит

Выявляя стилистические различия прозы Пушкина и Гоголя, Белый сразу же дает указание на философский смысл данного обстоятельства. Истоки стилистических расхождений следует искать в противостоянии двух древних философских школ. Пушкин – эллеец, Гоголь – гераклитианец: «Пушкин элеец, замыкающий бытие произведения в круг; ...в разбитии Форм, в размыкании круга бытия одного произведения Гоголь – гераклитианец, охваченный огненным вихрем, в котором таки сгорел и он» [2. С. 22]. Так вопрос о стиле прозы оказывается для Белого проблемой онтологического характера. В основе различных способов организации художественного текста лежат различные способы понимания бытия. В прозе Пушкина и Гоголя возобновляется спор школы Парменда и Гераклита. Элеаты постулировали замкнутый, самотождественный характер бытия, Гераклит размыкает этот круг, утверждая вечное становление, подвижность и текучесть любых форм, их перманентный переход друг в друга. Этими двумя противоположными способами понимания бытия объясняется специфика поэтики пушкинской и гоголевской прозы. Онтология Парменида и Гераклита получает свое выражение в образной ткани произведений Пушкина и Гоголя: «Образы Пушкина даны в положительной степени; они – устойчивы; Гоголь – текучий переход к сравнительной, пре-восходной и даже суперпревосходной степеням... Образы даны как бы в парообразном состоянии: в меняющей, подобно облаку, очертания гиперболической напущенности, переходящей в бесформенность, в безобразность просто, отчего вместо образа – итог, учет: риторическая сентенция (в последней творческой Фазе)» [2. С. 26]. Именно различием онтологических установок объясняется устойчивость и пластичность образов Пушкина и текучесть, трансгрессивность образов Гоголя.

Противоположность онтологических установок Парменида и Гераклита является основным мотивом Ницшевской критики метафизики. Ницше, как и Гоголь, выступает в качестве сторонника Гераклита и противника элеатов: «Видимый нами мир знает лишь становление и исчезновение, но не знает пребывания» [7. С. 326]. И в «Заратустре» утверждается формула Гераклита «Все течет»: «О братья мои, разве *теперь* не все течет в потоке?» [4. С. 206]. («O meine Brüder, ist *jetzt* nicht Alles im Flusse?») [5. S. 154].

Гераклитизм как Гоголя, так и Ницше обуславливает сугубо музыкальный характер прозы обоих. Белый постоянно подчеркивает напевность, ритмичность, контрапунктность стиля Гоголя, особенно в первой фазе творчества. В «Вечерах на хуторе близ Диканьки» дух музыки доминирует над фабулой и над тенденцией: «Страницы «Страшной мести» можно перекладывать в короткие строчки, внимая паузам и пульсации ритма; пуль-

сация создает струеение образов, подобное пляске серебряных месячных змей (вместо месяца); струеение дробит образы, их вытягивая в условные линии, завитые риторикой и гонимые пульсом; они – в становлении; они – не готовы» [2. С. 106]. Преобладающее значение ритма в гоголевской прозе – один из центральных пунктов, позволяющих Белому провести параллель между прозой Гоголя и Ницше: «Только у Фридриха Ницше ритм прозы звучит с гоголевскою силой: «*Einen goldenen Kahn sah ich blinken... einen sinkenden, trinkenden, wieder winkenden goldenen Schaukel-Kahn*» (*inken-inkenden-inkenden, wieder winkenden*) и т. д. Ритм усилен составом звуков, но... как у Гоголя, который до Ницше, – гремит, шепчет и заливается звуками» [2. С. 295]. Белый приводит цитату из «*Also sprach Zarathustra*» (*Das andere Tanzlied* [5. S. 174]) – наиболее музыкального из всех произведений Ницше. К.А. Свасыян отмечает по этому поводу следующее: «В целом едва ли было бы преувеличением сказать, что эта книга должна и может быть не просто прочитана, а *исполнена* в прочтении, на манер музыкального произведения» [8. С. 785]. Для стиля «Так говорил Заратустра» характерна установка на преодоление границ словесного языка и музыки. В произведении перед читателем предстает «язык, осуществляемый как непрерывная *attaca subito* на собственные границы – в сущности, границы, отделяющие его от царства музыки; здесь в чудовищном максимуме пороговых ситуаций, и перестает слово подчиняться канонам лингвистической pragmatik, имитируя правила контрапунктической оркестровки и преображая фонетику в оркестровое звучание» [8. С. 786]. Но согласно Белому, эта установка на преодоление границ между языком и музыкой уже до Ницше определяла стилистику гоголевских «Вечеров»: Гоголь «сломал в прозе «прозу»», он «за полстолетия до Верлена предугадал: литература, начавшись с песни, ею и кончится» [2. С. 295].

Такое тяготение к музыке имеет под собой не только литературные, но и философские мотивы. Стиль, ориентированный на преодоление границ музыки и литературы, представляет собой выражение гераклитовского способа понимания бытия. В первом периоде своего творчества Ницше характеризовал такую онтологию с помощью термина «дионисийское начало». В «Рождении трагедии из духа музыки» проводится идея, что именно музыка есть сфера непосредственного выражения дионисийского, которое должно быть уравновешено аполлоновским началом. Здесь Ницше находится под влиянием идей А. Шопенгауэра и Р. Вагнера с его установкой на синтез музыки и слова. В дионисийском начале бытие раскрывается как вечное становление, которое не знает завершения. Впоследствии М.М. Бахтин в своем исследовании народно-смеховой культуры будет использовать термин «неготовость бытия». В пространстве литературы формой выражения этой «неготовости» становится гротеск: «Подлинный гротеск менее всего статичен: он именно стремится захватить в своих образах само становление, рост, вечную незавершенность, неготовость бытия» [9. С. 75]. Гротеск и гиперболизм Гоголя служит средством выражения этой же «неготовость бытия», а в «Вечерах» ее дополнительно передает ритм:

«в «Страшной мести» Гоголь нашел удивительную форму для передачи читателю неготовости в нем сюжетной тенденции, как бы приглашая его искать вместе, и для этого заражая его внятно слышимым ритмом, в котором таится она» [2. С. 107]. Так Гоголь оказывается символистом до символизма. В сфере художественной прозы он достигает того, что стремился воплотить Вагнер на оперной сцене и к чему пытался прийти Ницше в «Рождении трагедии из духа музыки».

Гераклитовский мир «это море бушующих сил и их потоков», «раскаленное, дикое, противоречащее самому себе» [10. С. 549]. Стиль прозы, имманентный такому пониманию бытия, должен быть взрывным, вихреобразным. Все эти характеристики Белый с избытком находит в творчестве Гоголя. Так, фраза гераклитианца Гоголя представляет собой взрыв: «У Гоголя фраза взорвана, разметанная осколками придаточных предложений, подчиненных главному, соподчиненных между собой; нарушено равновесие между существительным, прилагательным, глаголом» [2. С. 107]. Работая со словом, Гоголь часто «оставляет лишь корень существительного, образуя вокруг него вихрь приставок и окончаний» [2. С. 280]. Характерный для Гоголя способ употребления глаголов выражает установку на раскрытие универсальной подвижности и текучести предметного мира: «Гоголь глаголами срывает с места предметы, обычно пребывающие в неподвижности» [2. С. 263]. Последователь Гераклита не признает статики, не признает застывшего и неподвижного бытия элеатов; для него все течет. Нарушение границ предметного мира и пространства возведено у Гоголя в принцип организации художественного текста. На эту особенность указывает Ю.М. Лотман: «Понятие границы и отграниченнего пространства вводится лишь затем, чтобы его нарушить и сделать переход не просто движением, а освобождением, актом воли. <...> Одновременно происходит разрушение собственности, вещей, жилища (которые выступают здесь как синонимы и образуют архисему с признаком пространственной отгороженности и зафиксированности) и переход к движению («садилось на коня»)» [11. С. 327]. Стиль гоголевской прозы трансгрессивен, поскольку ориентирован на нарушение границ. Раннее мы отмечали, что у Гоголя «трансгрессия выступает одновременно в качестве основного принципа пространственной организации сюжета и в качестве содержания идейного пласта» [12. С. 63].

Стиль Ницше во многих принципиальных аспектах обнаруживает близость к стилистике гоголевской прозы. Тексты Ницше также обладают мощным взрывным потенциалом, способным вызывать вихрь и нарушение равновесия в сфере языка, мысли и представления: «Насильственное перемешивание тончайших лингвистических несовместимостей порождало прозу, которая в своих лучших проявлениях была искрящейся и взрывоопасной и в то же время служила средством освобождения человеческого сознания» [13. С. 14].

Таким образом, поэтика Гоголя и Ницше представляет собой тончайший инструмент, настроенный на выражение средствами языка прозы гераклитовского мироощущения.

Бытие как фикция: Гоголь и Ницше

Последователь Гераклита не признает замкнутое, самотождественное бытие элеатов. Для него оно – фикция. Основополагающий пункт ницшевской критики метафизики состоит в раскрытии понятия бытия Парменида как фикции: «Признаки, которыми наделили «истинное Бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на *ничто*. «Истинный мир» построили из противоречия действительному миру – вот на самом деле кажущийся мир, поскольку он является лишь *морально-оптическим обманом*» [14. С. 32]. («Die Kennzeichen, welche man dem «wahren Sein» der Dinge gegeben hat, sind die Kennzeichen des Nicht-Seins, des *Nichts*, – man hat die «wahre Welt» aus dem Widerspruch zur wirklichen Welt aufgebaut: eine scheinbare Welt in der Tat, insofern sie bloß eine *moralisch-optische Täuschung* ist» [15. S. 756]). Если бытие элеатов (*wahren Sein*) лишь указывающая на *ничто* фикция (*Nicht-Sein*), то что же представляет собой «действительный мир» (*wirklichen Welt*)? Этому понятию должен был бы соответствовать гераклитовский поток вечного становления. Однако, это не тот мир, в котором мог бы жить человек, такая «действительность» для него губительна. Для своего существования человек нуждается в той самой морально-оптической иллюзии (*moralisch-optische Täuschung*). Круг замыкается. Бытие элеатов признается фикцией, но фикцией полезной и необходимой. Так Ницше приходит к эстетическому оправданию бытия. В исследовательской литературе данный подход получил название «артистической метафизики» [16].

В исследовании Белого наиболее сложные и богатые философскими импликациями страницы посвящены фигуре фикции у Гоголя. Хрестоматийным примером такой фигуры является характеристика Чичикова из первого тома «Мертвых душ»: «не слишком толст, не слишком тонок». Согласно Белому, здесь имеет место «ограничение крайностей (преумаления и превознесения) без указания степени ограничения» [2. С. 331]. Это и есть фигура фикции: «фигура неопределенности под формой позитивного знания того, что есть предмет неузнання, – тоже повторный ход; называю его фигурой фикции; он создает фикцию отрицательной реальности; опровергением двух гипербол без данного между ними предмета гипербол; фигура фикции – третий тип замаскированной гиперболы» [2. С. 331–332]. Данное определение заслуживает внимания не только с литературоведческой, но и с философской точки зрения. Что представляет собой «предмет неузнання»? И что представляет собой форма позитивного знания о таком «предмете»? Белый прошел период увлечения системой И. Канта и учеником Г. Когена. Несколько упрощая базовые положения кантианства, можно сказать, что предмет неузнання – это трансцендентная, недоступная опыту сфера «вещей в себе». В строгом смысле, эта сфера не может являться предметом познания. Формой позитивного знания выступают категории рассудка. Знание является позитивным в том случае, если эти категории прилагаются к предмету возможного опыта. Позитивное знание предмета неузнання – это мыслительный ход, на который Кант наложил запрет в

«Критике чистого разума», незаконное применение категорий к тому, что не является предметом возможного опыта.

Но Белый не кантианец, Канта и Когена оставил он в прошлом (в личном, биографическом, и в историческом, культурном). Следует обратить внимание, что компонентами фигуры фикции являются преумаление и преувеличение. Фигура строится на движении их взаимоперехода и двойной нейтрализации. Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что оба направления у Гоголя не ограничены: писатель не ставит границ ни преумалению, ни преувеличению. В итоге каждый ход доводится до своего крайнего предела. Для преувеличения таким пределом является категория «все» (у Гоголя это часто употребляемая формула «все, что ни есть»). Для преумаления – это ничто. Конкретный предмет (вполне соответствующий понятию предмета в кантовском смысле; предмет, данный в опыте), например, нос, гиперболически преувеличивается, раздувается до «всего». Такое расширение границ предметной сферы переносит читателя из мира повседневности на космический уровень существования. Однако затем происходит умаление: расширенная до бытия как такового предметность сжимается к крайним пределам, «все» переходит в «ничто». Вспомним, например, сцену с делением листа бумаги из «Мертвых душ» – разделив лист до минимальных размеров, Плюшкин думает, нельзя ли разделить его еще – меньше меньшего. Но меньше меньшего – это уже ничто, отсутствие предмета.

Так бытие предметного мира приводится у Гоголя к нейтрализации посредством постоянного перехода границ предметной сферы (трансгрессии) по направлению к предельным категориям «все» и «ничто»: «Между «все» и «ничто» бег ограничительных, уступительных, разделительных штампов; «все» – гипербола утверждения; «ничто» – гипербола отрицания; в третьей фазе частицы стереотипы – ограничения «ничто» категорией «все»; и обратно: «несколько», «ничто», «в некотором роде»; они дают фикцию равновесия между гиперболическими тенденциями положительного и отрицательного рельефа» [2. С. 331]. Было бы поспешным и ошибочным, хотя и соблазнительным решением увидеть здесь гегелевскую диалектику, а Белого записать в ряды гегельянцев. Оперирование категориями «все» и «ничто» в их взаимном переходе на первый взгляд как будто взято из первых страниц «Науки логики»: все-ничто-становление (*Sein-Nichts-Werden*). Но Гегель в результате диалектического движения мысли через «все» и «ничто» приходит к позитивному и определенному бытию. Напротив, у Гоголя это движение не разрешается ни в какой положительный синтез. Результатом становится утверждение неопределенности, фикции: «суть ее: в показываемом нет ничего, кроме неопределенного ограничения двух категорий: «все» и «ничто»; предмет охарактеризован отстоянием одной стороны от «все», другой – от «ничто»; отстояние «от» – не характеристика, а пародия на нее; предмет – пустое и общее место, на котором нарисована «фикция»: не больше единицы, не меньше ноля; подан весь ряд дробей от ноля к единице частичками «ни» и «не»: он – не «то» и не «се»; «то» – некоторое отстояние от «все»; «все» – от «ничто»» [2. С. 112–113]. У Гегеля

диалектическим синтезом бытия и ничто выступает «нечто». У Гоголя вместо синтеза дана нейтрализация: «не то, не се», не «все» и не «ничто».

Философский смысл фигуры фикции у Гоголя следует искать не в учениях Канта или Гегеля, но в ницшевской критике метафизики: «Признаки, которыми наделили «истинное Бытие» вещей, суть признаки не-бытия, признаки, указывающие на ничто» [14. С. 32]. У Ницше бытие (Sein) оказывается ничто (Nicht-Sein) не в гегелевском смысле, а в смысле фикции. У Гоголя гиперболизм заканчивается «возведением бесконечности в бесконечную степень, равную бесконечности, или дедукцией абстракции (лягушку дуют, а она не лопается)» [2. С. 334].

Вместе с тем гиперболизм Гоголя имеет и позитивное значение. Не во всех случаях гипербола сопряжена с фикцией. Гиперболические сравнения не всегда производят впечатление раздувания лягушки до размеров бесконечности. Иногда гиперболы становятся аффирмативными. Происходит размыкание границ предметности по направлению к целому без последующей нейтрализации. В ряде произведений встречаются сравнения, «размыкающие круг признаков одного предмета в признаки ряда предметов; когда этот ряд – целое, сравнения – гиперболичны; появляется космический фон предмета» [2. С. 350]. Границы отдельного предмета размыкаются в ряд, пределом которого является бесконечность. У Ницше подобный ход представлен в идее вечного возвращения. В черновых заметках мыслителя есть следующая запись: «Нужно хотеть исчезнуть, чтобы снова возникнуть – перейти из одного дня в другой. *Превращение* через тысячи душ – вот что должно быть твоей жизнью, твоей судьбой. И в конце концов – снова пожелать пройти все это» [17. С. 181]. В оригинале у Ницше написано не «все это», но «diese ganze Reihe» – весь этот ряд [18. С. 17]. Ницше пытается придать онтологический статус тому, что у Гоголя было художественным приемом. Гиперболическое сравнение становится новым принципом осмыслиения бытия и новым способом придания ценности. Единичному предмету, индивиду предписывается стремление к исчезновению. Но это исчезновение предполагает не нигилистическое мироотрицание и погружение в ничто, но размыкание собственных границ в ряд, уходящий в бесконечность. Ницше здесь гиперболичен: утверждается превращение через тысячи душ (в оригинале, правда, было: «durch hundert Seelen» – через сотни душ, но дело здесь не в числовой конкретике). Но и этого для Ницше мало: он требует не просто пройти ряд превращений через тысячи душ, но – пожелать весь этот ряд снова («diese ganze Reihe noch einmal wollen!»), бесконечное число раз. Бесконечность у Ницше возводится в бесконечную степень. Предмет ширится до размеров мирового целого, взятого в бесконечном круговороте повторений. Онтология смыкается с космологией, приобретает черты мифа. Подобный прием неоднократно встречается у русского писателя: «Таковы ширящие сравнения Гоголя; они часто – мифы; в них гиперболизм телескопичен» [2. С. 351]. Сравнения Гоголя трансгрессивны, они нарушают замкнутость предмета в собственных границах, выводят его из горизонта самотождественности и сопрягают с рядом (пре-

дел которого – в бесконечности): «В сравнениях от предмета к предмету протягивается ряд нитей; предмет оплетается тканью пересечений; мир сравнений – организм» [2. С. 348].

Таковы особенности поэтики гоголевской прозы в онтологической перспективе исследования. Стиль прозы Гоголя разворачивает определенный способ понимания бытия мира. Онтологию, которая утверждается в произведениях писателя, можно охарактеризовать как трансгрессивную. Бытие здесь понимается как перманентное становление, переход пределов и нарушение установленных границ. Такое понимание бытия Гоголь раскрывает не с помощью философских конструкций, но через движение стиля. Заслуга исследования стиля гоголевской прозы с этой точки зрения принадлежит А. Белому. В соответствии с тенденциями в культуре и литературе ведении послереволюционной России книга Белого получила полный пакет обвинений в формализме и пренебрежении материалистической диалектикой [19. С. 5]. Сейчас уже можно сказать, что в своем исследовании Белый во многом ориентировался на Ницше. Белый опирался не на популярный набор штампов «ницшеанства» о сверхчеловеке и воли к власти, но на особенности стиля философской прозы Ницше. В этой сфере Гоголь опережает и предвосхищает многое из того, что впоследствии станет визитной карточкой одного из мастеров немецкой словесности.

В настоящем исследовании мы обосновывали тезис, что выявленное А. Белым стилистическое родство прозы Гоголя и Ницше имеет под собой общность онтологических взглядов. Философия Гоголя и Ницше укоренена не в отвлеченных рассуждениях, которые оказываются по преимуществу лишь риторикой. Подлинная их философия имманентна стилю, который – в деталях, в мелочах, в оттенках. На это указывает Белый: «Мой пробег по деталям – лишь демонстрация опыта чтения; его задание – показать, как надо читать, чтобы извлечь оттенки; «Мертвые души» – *оттеночны*; вне оттенка – лишь голый каркас рассуждений Гоголя о сюжете своем» [2. С. 141]. Оттеночен и стиль Ницше, по его собственным словам, «желающий от вещей доброй доли зыбкости и стирающей противоположности, потому что предпочитает оттенки, тени, послеполуденные блики и безбрежные моря» [20. С. 131]. Такой стиль трансгрессивен и предполагает понимание бытия как трансгрессии. В отношении Ницше, как и в отношении Гоголя, от читателя требуется навык извлечения философии из особенностей поэтики.

Литература

1. Белый А. Собрание сочинений. Арабески. Книга статей. Луг зеленый. Книга статей. М. : Республика, Дмитрий Сечин, 2012. 590 с.
2. Белый А. Мастерство Гоголя: Исследование. М. : Книжный Клуб Книговек, 2011. 416 с.
3. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 5: По ту сторону добра и зла. К генеалогии морали. Случай «Вагнер». М. : Культурная революция, 2012. 480 с.
4. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. М. : Культурная революция, 2007. 432 с.

5. Nietzsche F. Gesammelte Werke. Köln : Anaconda Verlag GmbH, 2012.
6. Ницше: pro et contra / сост. Ю.В. Синеокая. СПб. : РХГИ, 2001. 1076 с.
7. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 1/1: Рождение трагедии. Из наследия 1869–1873 годов. М. : Культурная революция, 2012. 416 с.
8. Свасьян К.А. Примечания // Ницше Ф. Сочинения : в 2 т. Т. 2. М., 1998. 864 с.
9. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М. : Эксмо, 2015. 640 с.
10. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 11: Черновики и наброски 1884–1885 гг. М. : Культурная революция, 2012. 688 с.
11. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. СПб. : Азбука, 2015. 416 с.
12. Фаритов В.Т. Семиотика трансгрессии: Ю.М. Лотман как литературовед и философ // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 419. С. 60–67. DOI: 10.17223/15617793/419/7
13. Данто А. Ницше как философ. М. : Идея-пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. 280 с.
14. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 6: Сумерки идолов. Антихрист. Ecce homo. Дионисовы дифирамбы. Ницше contra Вагнер. М. : Культурная революция, 2009. 408 с.
15. Wohlfahrt G. Artisten-Metaphysik // Nietzscheforschung. Bd. 8 / Hrsg. R. Reschke. Berlin ; Boston : De Gruyter, 2001. S. 35–37.
16. Фаритов В.Т. Идея вечного возвращения в русской поэзии XIX – начала XX веков. СПб. : Алетейя, 2018. 290 с.
17. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 10: Черновики и наброски 1882–1884 гг. М. : Культурная революция, 2010. 640 с.
18. Nietzsche F. Also sprach Zarathustra. Köln : Anaconda Verlag GmbH, 2005.
19. Мани Ю. «Сквозь магический кристалл...» // Мастерство Гоголя. М., 2011. С. 5–12.
20. Ницше Ф. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 12: Черновики и наброски 1885–1887 гг. М. : Культурная революция, 2005. 560 с.

The Poetics of Transgression: Nikolai Gogol, Andrei Bely, Friedrich Nietzsche

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 282–293. DOI: 10.17223/19986645/71/17

Vyacheslav T. Faritov, Ulyanovsk State Technical University (Ulyanovsk, Russian Federation). E-mail: vfar@mail.ru

Keywords: limit, border, ecstasy, transgression, becoming, fiction, N.V. Gogol, A. Bely, F. Nietzsche.

The study is supported by the Russian Foundation for Basic Research, Project No. 19-011-00910.

The article presents a comparative study of the poetics of prose by Nikolai Gogol and Friedrich Nietzsche in the reception of Andrei Bely. The subject of research is Bely's *Gogol's Artistry* (1934). The aim of the article is to show how philosophical ideas reveal themselves directly in the verbal fabric of the works of Gogol and Nietzsche. Bely's philological research on the method and material is rich in philosophical implications; the present work is devoted to its disclosure. The author substantiates the thesis that the style of Gogol's prose is transgressive, since it is focused on breaking borders. The article shows that Nietzsche's style in many fundamental aspects reveals a closeness to the style of Gogol's prose. Nietzsche's texts also have a powerful explosive potential, capable of causing a whirlwind and imbalance in the sphere of language, thought and representation. Thus, the poetics of Gogol and Nietzsche is the subtlest instrument, tuned to express the prose of the Heraclitian attitude. The article analyzes the features of the poetics of Gogol's prose in the ontological perspective of the study.

Gogol's style of prose unfolds a certain way of understanding the existence of the world. The ontology, which is affirmed in the writer's works, can be described as transgressive. Being here is understood as a permanent formation, the transition of limits and violation of established boundaries. Gogol does not reveal such an understanding of being through philosophical constructions, but through the movement of style. The merit of studying the style of Gogol's prose from this point of view belongs to Bely. In accordance with the trends in the culture and literary criticism of post-revolutionary Russia, Bely's book received accusations of formalism and neglect of materialistic dialectics. Now we can already say that in his study Bely was largely oriented towards Nietzsche. Moreover, he relied not on the popular set of stamps of vulgar Nietzscheanism about the superman and the will to power, but on the particular style of Nietzsche's philosophical prose. In this area, Gogol is ahead and anticipates much of what will subsequently become the hallmark of one of the masters of German literature. The present study substantiates the thesis that the stylistic relationship between the prose of Gogol and Nietzsche revealed by Bely is based on a community of ontological views. The philosophy of Gogol and Nietzsche is not rooted in abstract reasoning, which turns out to be primarily only rhetoric. Their true philosophy is immanent in style, which is in details and shades. This style is transgressive and requires an understanding of being as transgression. With respect to Nietzsche, as well as with respect to Gogol, the reader is required to learn philosophy from the peculiarities of poetics.

References

1. Belyy, A. (2012) *Sobranie sochineniy*. [Collected Works]. Vol. 8. Moscow: Respublika, Dmitriy Sechin.
2. Belyy, A. (2011) *Masterstvo Gogolya. Issledovanie*. [Gogol's Artistry. A study] Moscow: Knizhnyy Klub Knigovek.
3. Nietzsche, F. (2012) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 5. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
4. Nietzsche, F. (2007) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 4. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
5. Nietzsche, F. (2012) *Gesammelte Werke*. Köln: Anaconda Verlag GmbH.
6. Sineokaya, Yu.V. (ed.) (2001) *Nitsshe: pro et contra* [Nietzsche: Pro et Contra]. Saint Petersburg: Russian Christian Humanitarian Institute.
7. Nietzsche, F. (2012) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 1/1. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
8. Svas'yan, K.A. (1998) Primechaniya [Notes]. In: Nietzsche, F. *Sochineniya* [Works]. Vol. 2. Moscow: RIPOL KLASSIK.
9. Bakhtin, M. (2015) *Tvorchestvo Fransa Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Renessansa* [Creativity of Francois Rabelais and Folk Culture of the Middle Ages and Renaissance]. Moscow: Eksmo.
10. Nietzsche, F. (2012) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 11. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
11. Lotman, Yu.M. (2015) *V shkole poeticheskogo slova: Pushkin, Lermontov, Gogol'* [At the School of the Poetic Word: Pushkin, Lermontov, Gogol]. Saint Petersburg: Azbuka.
12. Faritov, V.T. (2017) Semiotics of transgression: Yu.M. Lotman as a literary critic and philosopher. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 419. pp. 60–67. (In Russian). DOI: 10.17223/15617793/419/7
13. Danto, A. (2000) *Nitsshe kak filosof* [Nietzsche as a Philosopher]. Moscow: Ideyapriss, Dom intellektual'noy knigi.
14. Nietzsche, F. (2009) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 6. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
15. Wohlfahrt, G. (2001) *Artisten-Metaphysik*. In: Reschke, R. (ed.) *Nietzschesforschung*. Vol. 8. Berlin; Boston: De Gruyter. pp. 35–37.

16. Faritov, V.T. (2018) *Ideya vechnogo vozvrashcheniya v russkoy poezii XIX – nachal XX vekov* [The Idea of Eternal Return in Russian Poetry of the 19th – Early 20th Centuries]. Saint Petersburg: Aleteyya.
17. Nietzsche, F. (2010) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 10. Moscow: Kul'turnaya revolyutsiya.
18. Nietzsche, F. (2005) *Also sprach Zarathustra*. Köln: Anaconda Verlag GmbH.
19. Mann, Yu.V. (2011) “Skvoz’ magicheskiy kristall...” [“Through the magic crystal...”]. In: Belyy, A. *Masterstvo Gogolya. Issledovanie* [Gogol’s Artistry. A study]. Moscow: Knizhnyy klub Knigovek. pp. 5–12.
20. Nietzsche, F. (2005) *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Translated from German. Vol. 12. Moscow: Kul’turnaya revolyutsiya.

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/71/18

А.А. Шунейко, О.В. Чибисова

СТО ЛЕТ «ЗАБЛУДИВШЕГОСЯ ТРАМВАЯ» Н.С. ГУМИЛЕВА В ОТРАЖЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНАЛИТИКИ

Сделан обзор наиболее значимых исследований «Заблудившегося трамвая» Н. Гумилева. Предлагается представительный свод интерпретаций стихотворения, классифицированных по четырем основаниям. Выявлены интертекстуальные связи данного текста с текстами мировой литературы и самого поэта. Проанализированы составляющие «Заблудившегося трамвая» и их соотношение с реальностью. Установлено, что стихотворение воспринимается как воспроизведение биографических фактов или как отражение эзотерических обобщений.

Ключевые слова: Н.С. Гумилев, поэзия, «Заблудившийся трамвай», обзор, научная литература

В декабре 1919 г. [1. С. 162; 2. С. 144; 3. Т. 4. С. 285], в марте 1920 г. [4. С. 40; 5. С. 20] или весной / летом 1921 г. [6. С. 382; 7. С. 48; 8. С. 50] Н.С. Гумилев написал «Заблудившийся трамвай». За сто лет существования стихотворения в пространстве языка и культуры России и мира ему было посвящено большое количество работ, которые стали самостоятельным направлением филологической мысли. Их непрекращающееся появление продуцируется несколькими факторами: сложностью текста, его дискуссионностью, непосредственной связью с трагической судьбой поэта и степенью его влияния на русскую литературу. Первый обзор этого направления был сделан в комментариях к четвертому тому Полного собрания сочинений Н.С. Гумилева в 2001 г. [3. Т. 4. С. 285–304]. Необходимость нового обзора диктуется значительным увеличением числа научных работ за последние двадцать лет и очевидной потребностью скомпоновать разрозненные наблюдения в единое целое. Авторы отобрали те работы, которые не содержат тривиальных констатаций и повторов ранее сказанного. С помощью семантического анализа все эти работы были рассмотрены на предмет выявления способов интерпретации опорных для текста стихотворения смыслов, понятий и оценок. В результате получился информационный комплекс, который дает полное представление о способах прочтения текста его исследователями. Этот комплекс позволяет воспринимать проведенные изыскания не как сольные партии, а как, пусть и нестройный, но всё же хор, по-иному взглянуть на проблематику, выявить основные точки напряжения и обозначить недостающие звенья в общей цепи интерпретаций.

Во всех исследованиях «Заблудившегося трамвая» реализуются четыре типа существенно различающихся по широте охватываемого материала интерпретаций: текст как целостность, текст как компонент творчества

поэта, текст как компонент литературного процесса, текст как реализация внешних событий. Эти четыре типа в конкретных исследованиях могут быть между собой связаны или нет, предопределять или нет друг друга. Исследователи, как правило, преимущественно обращаются к какому-либо одному типу, попутно затрагивая иные или просто демонстрируя свою приверженность к ним. По этим причинам для ясности картины целесообразно воспроизводить их по отдельности. Это позволяет получить полный перечень того, что именно аналитики исследуют, какие именно выводы и на какой базе они делают в каждом конкретном случае.

Текст как целостность, которая воспринимается без разбиения на компоненты. В данном случае интерпретации осуществляются в границах поэтического текста, базируются на характеристиках, замеченных (выявленных) непосредственно в «Заблудившемся трамвае», и предполагают констатации его определенной структурной или содержательной уникальности относительно той или иной совокупности текстов.

И.В. Одоевцева, повторяя слова Гумилева, называет «Заблудившийся трамвай» магическим стихотворением [6. С. 385]. Это определение задает тематическую область, в которой читатели воспринимают текст как нереалистический.

Вне зависимости от позитивной или негативной оценки «Заблудившегося трамвая» его символическую природу отметили самые первые читатели: Г.П. Струве, И.С. Ежов и Е.И. Шамурин [3. Т. 4. С. 288]. Эту характеристику активно поддерживают современные исследователи [9. С. 179; 10. Т. 60. С. 27; 11. С. 82; 12. С. 101]. В результате указание на символичность стало констатацией, которая мало что объясняет в тексте, если не сопровождается конкретными дешифровками строк. Уточнением этой оценки является позиция П.Е. Спиваковского, который видит в стихотворении символистско-акмеистический синтез [4. С. 39].

Соотношение (совмещение или наложение) в стихотворении реального и ирреального планов отметил Н.А. Оцуп [1. С. 162–163]. Со временем эту характеристику стали либо повторять, либо называть иными словами и подтверждать различными строчками или всей композицией. Е.Ю. Куликова воспринимает «Заблудившийся трамвай» как образец сюрреалистической поэтики [13. С. 130]. Е.В. Федулова и Е.В. Сомова называют «Заблудившийся трамвай» модернистским [14. С. 147]. Р.М. Сафиуллина видит в «Заблудившемся трамвае» предвосхищение постмодернистских открытий, в частности таких, как перемещение в пространственных и временных пластиах или смещение ноумenalного и феноменального смыслов [15. Т. 7. С. 391]. О сновидческом характере у изображаемого сегмента мира говорит Е.Ю. Куликова [13. С. 130].

Звуковую организацию текста рассматривал Л. Аллен, считавший что настоящее действие осуществляется посредством дисгармонической звукописи с усиленной инструментовкой звука *p* [16. С. 114]. А.А. Ильясова установила, что многоточия перед повторами нескольких стихов по своей функции аналогичны репризе в музыкальном произведении [17. Т. 4. С. 374].

Особенности темпоральной организации текста, проявляющиеся в симультанности коллапсирующих и протяженных форм, которая создается специфическим распределением предикатов со значением динамичности и статичности, фиксируют Н.Ю. Зябликова и Н.В. Новикова [18. С. 46]. «Все стихи, отклоняющиеся от заданного стандарта, приобретают свойства ритмического курсива», – делает вывод О.И. Федотов [7. С. 51].

Характеризуя жанровую природу текста, исследователи чаще всего в нем видят балладу [16. С. 145; 4. С. 42; 19. С. 29; 17. Т. 4. С. 372; 7. С. 48; 2. С. 144], но также воспринимают его как реализацию средневекового жанра видения [4. С. 39].

Степень влияния текста на русскую литературу раскрывают работы, которые обнаруживают и характеризуют произведения, созданные под непосредственным влиянием «Заблудившегося трамвая» или со значимыми отсылками к нему. К таким текстам с различной степенью обоснованности относят: «Поэму без героя» [11. Т. 10. С. 80; 20. С. 76], «Путем всея земли» А.А. Ахматовой [11. Т. 10. С. 79; 20. С. 70]; «Царскосельскую оду» А.А. Ахматовой [11. Т. 10. С. 81]; «Ночную прогулку» А.В. Еременко [21. С. 108]; «Доктора Живаго» Б.Л. Пастернака [22. С. 75-76]; «Желтую стрелу» В.О. Пелевина [23. С. 52]; «Свернул трамвай на улицу Титова...» и «Если в прошлое, лучше трамваем...» Б.Б. Рыжего [21. С. 111]. О.А. Дашевская утверждает, что мысль Н. Гумилева: «...наша свобода / Только оттуда бьющий свет» – является ключевой у Д.Л. Андреева [24. С. 59].

При этом в ряде случаев констатации влияния «Заблудившегося трамвая» на тексты современников сопровождаются стремлением *детально* включить факт этого влияния в литературный процесс. Например, С.Л. Слободнюк оспаривает выводы Л. Аллена о том, что полемическое осмысление гоголевской тройки в finale «Доктора Живаго» показывает влияние «Заблудившегося трамвая» на роман. Но вслед за этим исследователь концентрируется именно на этом влиянии, фиксирует ряд аналогий между стихотворением и романом и приходит к выводу, что антитетичность «Заблудившегося трамвая» и «Доктора Живаго» предопределяется тем, что Б.Л. Пастернак интуитивно проецирует на судьбу Живаго противопоставление Гумилева и Блока с явным предпочтением второго [22. С. 70].

Отметим, что если фактом влияния «Заблудившегося трамвая» на позднейшие тексты считать, как это часто делают исследователи, простое упоминание трамвая, то прямыми последователями «Заблудившегося трамвая» придется объявить «12 стульев» И. Ильфа и Е. Петрова, «Вот какой рассеянный» С.Я. Маршака, «Тараканище» К.И. Чуковского и еще множество текстов, где присутствуют трамваи. Подобные сближения для некоторых исследователей обычны, например О.И. Федотов пишет о троллейбусе из комедии «Берегись автомобиля» как о проекции «Заблудившегося трамвая» [7. С. 49]. Авторам парадоксальных сближений все же необходимо помнить: трамваи в России существовали до, после и вне зависимости от «Заблудившегося трамвая».

Таким образом, «Заблудившийся трамвай» оказал реальное влияние на литературный процесс, поскольку стихотворение является текстом мисти-

ческим, символическим, сюрреалистическим, сновидческим со сложным взаимодействием различных повествовательных планов. В принципе все эти характеристики не отрицают друг друга.

Текст как компонент творчества поэта. В данном случае интерпретации осуществляются в границах поэтического мира Н.С. Гумилева, базируются на общих особенностях поэтики или аналоговых текстах. Они предполагают выявление единства поэтического мира автора в многообразии его семантически единых реализаций. Подобные указания имеют различную степень обобщения: обнаруживают проекции на творчество в целом или на конкретные тексты.

Общие характеристики включают указание на так или иначе понимаемые темы, мотивы, характерные ситуации, представленные в творчестве. Е.Г. Раздъяконова говорит о ситуации потерянности героя во времени [25. Т. 1. С. 198]. С.Л. Слободнюк [22. С. 75] акцентирует внимание на том, что в произведениях Гумилева поэт нередко принимает мученическую смерть. Е.Ю. Куликова настаивает на том, что для поэта частотен мотив блуждания через пространство и время, коридоры, по которым осуществляется это блуждание, и оно само представлено во многих текстах [13. С. 135].

В качестве непосредственно связанных с «Заблудившимся трамваем» текстов Гумилева называют следующие: «Абиссиния» [3. Т. 4. С. 298; 26. С. 33], «Андрей Рублев» [9. С. 184], «Африканская охота» [4. С. 44], «Баллада» [17. Т. 4. С. 372], «Беатриче» [4. С. 46], «Блудный сын» [13. С. 133], «Венеция» [13. С. 136], «Вечное» [27. С. 68], «Возвращение» [27. С. 68], «Волшебная скрипка» [3. Т. 4. С. 298; 9. С. 178; 14. С. 149], «Гондла» [3. Т. 4. С. 298; 9. С. 178; 14. С. 149], «Дева света» [10. С. 28], «Египет» [26. С. 33], «К синей звезде» [9. С. 184], «Маскарад» [13. С. 135; 14. С. 148], «Отравленный» [4. С. 49], «Память» [25. Т. 1. С. 198; 4. С. 40; 9. С. 186; 27. С. 68; 14. С. 148], «Пантум» [28. С. 49], «Прапамять» [4. С. 45; 14. С. 148], «Разговор» [3. Т. 4. С. 298; 9. С. 178], 14. С. 149], «Родос» [10. Т. 60. С. 28], «Роши пальм и заросли алоэ...» [3. Т. 4. С. 298; 9. С. 178; 14. С. 149], «Северный раджа» [3. Т. 4. С. 298; 9. С. 178; 29. С. 211; 14. С. 149], «Слово» [4. С. 51], «Сонет» [14. С. 148], «Старый конкистадор» [13. С. 133], «Стокгольм» [29. С. 215; 13. С. 130; 4. С. 52; 18. С. 49; 14. С. 152], «У цыган» [1. С. 164], «Тот другой» [27. С. 68], «Ужас» [13. С. 135], «Фра Беато Анджелико» [4. С. 53], «Швеция» [29. С. 213], «Шестое чувство» [30. С. 251].

Как правило, основой констатации единства является тематическая близость, но в качестве базы могут выступать и иные характеристики текстов. Например, единство между «Заблудившимся трамваем» и «Стокгольмом» различные исследователи видят в восприятии времени как дискретного континуума, имеющего переходы между тремя традиционно понимаемыми временами. Отметим, что такое восприятие времени представлено в кинематографе у В. Хасса, в современной физике и у Бергсона.

«Заблудившийся трамвай» концентрирует в себе многие актуальные для Н. Гумилева и развиваемые им на протяжении всей жизни темы: страннические, восточные, северные, мистические мотивы. Мистическое и

реальное странничество Н. Гумилева осуществлялось в самых различных сферах. Среди них не последнее место занимает пространство литературы.

Текст как компонент литературного процесса. В данном случае интерпретации осуществляются в границах художественной литературы, с позиции иных поэтических систем и традиций. Точками отсчета для них являются определенные стили или творчества иных писателей, с которыми обнаруживает взаимодействие автор. Они предполагают установление единства литературного процесса и языкового пространства и исходят из мысли о том, что всё в нем связано.

«Заблудившийся трамвай» на различных основаниях связывают с множеством текстов мировой литературы, с творчеством писателей различных эпох и культур, с всевозможными литературными направлениями и стилями.

К числу текстов, содержательную и структурную связь с которыми обнаруживает «Заблудившийся трамвай», относят: «Туфельку Нелидовой» С.А. Ауслендера [31. С. 227]; «Умирая, томлюсь о бессмертье...» А.А. Ахматовой [11. Т. 10. С. 81]; «Интеллигенция и революция» А.А. Блока [12. С. 101]; «На смерть Комиссаржевской» А.А. Блока [10. Т. 60. С. 25]; «Предвечернею порою...» А.А. Блока [4. С. 51]; «Стихи о прекрасной dame» А.А. Блока [9. С. 186]; «Я Гамлет» А.А. Блока [10. Т. 60. С. 25]; «Карлик Нос» В. Гауфа [29. С. 216; 14. С. 151]; «Ночь перед рождеством», «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя [12. С. 102]; «Мертвые души» Н.В. Гоголя [16. С. 114; 5. С. 20]; «Божественную комедию» Данте [9. С. 186; 4. С. 41; 14. С. 150; 7. С. 45]; стихотворения Г.Р. Державина, обращенные к Е.Я. Державиной-Бастион, [9. С. 189; 14. С. 149]; «Старый отшельник» Л. Дьеркса [13. С. 136]; «Эоловую арфу» В.А. Жуковского [17. Т. 4. С. 374]; «Мне сказали, что ты умерла...» Н.А. Клюева [11. Т. 10. С. 81]; «Пьяный корабль» А. Рембо [13. С. 137]; «Солнце и плоть» А. Рембо [13. С. 137]; «Три свидания» В.С. Соловьева [9. С. 186]; «Зверинец» В. Хлебникова [14. С. 150]; «Змей поезда» В. Хлебникова [7. С. 49]; «Записки из подполья» Ф.М. Достоевского [16. С. 120], «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле [4. С. 43].

К числу авторов, с которыми, так или иначе (прямо или опосредованно), связан «Заблудившийся трамвай», приписывают: С. Ауслендера, А.А. Ахматову, А.А. Блока, В. Гауфа, Н.В. Гоголя, А. Данте, Г.Р. Державина, Л. Дьеркса, В.А. Жуковского, Н. Клюева, Ф. Рабле; А. Рембо, В.С. Соловьева, В. Хлебникова, Ф.М. Достоевского. Как и во многих других случаях, в этом очень востребованной оказывается пушкинистика. На связь с текстами А.С. Пушкина, главным образом «Капитанской дочкой» и «Медным всадником», обращают внимание Л. Аллен [16. С. 119]; Р.Д. Тименчик [32. С. 139–140] В.С. Малых [27. С. 65], И.В. Одевцева [6. С. 384], П.Е. Спиваковский [4. С. 49]; О.И. Федотов [7. С. 50], Д.М. Магомедова [31. С. 226], А.Б. Перзеке [8. С. 51], Е.В. Федулова и Е.В. Сомова [14. С. 149–150]. Р.С. Давиденко предлагает каждый микросюжет «Заблудившегося трамвая» толковать одновременно и через пушкинскую, и через гоголевскую систему координат [12. С. 101].

В качестве оснований связи называются самые различные характеристики текста, такие как сюжет, поэтика, специфика конкретных образов, характеристики лирического героя, художественные символы, отдельные слова и словосочетания, темы и др.

Например, Л. Аллен выделяет связь с гоголевской тройкой и усматривает пародийные элементы в интерпретации этого образа Гумилевым [16. С. 114]. Е.Ю. Куликова акцентирует внимание на влиянии на Н. Гумилева сюрреалистической поэтики А. Рембо, в первую очередь представленной в «Пьяном корабле» [13. С. 130]. Это утверждение получает массу конкретизаций, связанных с тем, что сюжет о заблудившемся герое в своем подтексте имеет легенды об исчезновении [13. С. 130]. «Зоологический сад планет», в плотную приближенная к Петербургу астрологическая карта неба, напоминает «стада миров» из третьей части поэмы А. Рембо «Солнце и плоть» [13. С. 137], а образ трамвая-корабля, который потерял управление, обнаруживает аналогии со стихотворением Л. Дьеркса «Старый отшельник» [13. С. 136].

Текст как реализация внешних событий – отражение, воплощение, фиксация жизни поэта и культуры разного уровня конкретики и обобщения. В данных случаях в качестве отправных точек содержания и структуры повествования выступают реальные, реконструируемые или вымышленные события биографии и истории, на базе воплощения которых в тексте формулируются обобщения. Традиционно именно такие интерпретации вызывают наибольший интерес, что объясняет наличие обширной литературы, посвященной тому, как «Заблудившийся трамвай» соотносится с реальностью и что за этим соотношением скрывается. Основными образами в тексте являются: трамвай, Машенька, вагоновожатый, палач, мертвые головы, летящий всадник.

Трамвай практически всегда воспринимается как сложно организованный объект, который перемещается одновременно в пространстве и во времени и подчиняет свое движение различным нетривиальным законам. Р.Д. Тименчик, рассматривая образ трамвая в поэзии начала XX в., выявил тенденцию к его анимизации [32. С. 135], причем «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилева сыграл в ней определяющую роль [32. С. 141]. Но это не уменьшает количества попыток обнаружить прямые соответствия самому трамваю и его маршруту среди реальных объектов. С лодкой, кораблем, судном, Летучим голландцем земной суши трамвай сближают Л. Аллен [16. С. 123] и Е.Ю. Куликова [13. С. 130]. П. Спиваковский имеет трамвай «внекронотопической ловушкой» и мистической клеткой [4. С. 51]. Л. Аллен считает, что упоминание «ящика скользкого» отсылает к «французской гильотине во время революционного террора» [16. С. 128]. Предельное воплощение метафоры смерти, фатума, апокалиптического коня, летучего голландца, лодку Харона видит в трамвае П. Золина [33. С. 43], а Р.М. Сафиуллина – аллегорический концепт человечества в технологической трактовке [15. Т. 7. С. 391]. О.И. Федотов называет трамвай машиной времени, символом апокалипсиса XX в. [7. С. 50], Н.Ю. Зябликова и Н.В. Новикова – символом вихревого потока времени [18. С. 48].

Движение трамвая в стихотворении интерпретируется различными способами. Тип восприятия образа «трамвая» прямо связан с характеристиками пространства его перемещения. Оно воспринимается как реальное пространство, суша-вода, время, время-пространство, пространство памяти, пограничная среда между миром живых и мертвых. Различные комбинации этих основных типов понимания хронотопа воплощаются в конкретных оценках сути перемещения.

Пространственные топонимические соответствия между движением в тексте и реальным Петербургом выявляет А.Б. Перзеке [8. С. 51]. Ю.Л. Кроль обнаруживает значимые для жизни Гумилева локусы и утверждает, что путешествие осуществляется по биографическому времени [29. С. 208]. К.Э. Слабых центральным топосом считает Царское Село [20. С. 77], С.В. Бурдина уточняет, что «дом в три окна» – это описание дома Ахматовой в Царском Селе [11. Т. 10. С. 81]. О.А. Никонов, и Д.А. Макеев утверждают, что заблудившийся трамвай «застрял на берегах Невы» [34. С. 563]. Ю.В. Зобнин считает, что путешествие осуществляется по загробному миру в *её* понимании Данте [9. С. 185]. Р.М. Сафиуллина извилистый путь трамвая воспринимает как жизненный путь человечества, а входящих и выходящих пассажиров – как символическое обозначение смены поколений [15. Т. 7. С. 391]. О.И. Федотов воспринимает движение героя в метафизическом времени и пространстве, где стерта грань между жизнью и смертью [7. С. 50].

В тексте стремятся видеть антитезу, наполняя ее компоненты различной семантикой. Антитезу «эзотерических красавостей» и мира православия России воспринимает в качестве основы текста П.Е. Спиваковский [4. С. 46]. По его мнению, путь трамвая отражает не пространственные, а духовные блуждания поэта, является ретроспективным путешествием в себя, способом познания себя [4. С. 53]. Трамвай заблудился в исторических судьбах и собственной истории поэта, считает А. Ранне [35. С. 198].

С.В. Бурдина рассматривает окно как символ черты, рубежа, границы между жизнью и смертью, знак перехода в иное измерение, признак трансцендентального и реального пространства [11. Т. 10. С. 81].

Вагоновожатый – мистическая сущность, в определении природы которой у исследователей нет единства. В.С. Малых считает, что это таинственный посланник, который является проекцией пушкинского юноши с книгой, готовящего лирического героя к суду [27. С. 68]. О.И. Федотов уверен, что за образом скрывается «восставший против небесных сил Демон» [7. С. 50], а А.А. Ильясова – судьба [17. Т. 4. С. 374].

«Всадника длань в железной перчатке» традиционно воспринимается как отсылка к памятнику Петру I и/или образу этого памятника в «Медном всаднике» А.С. Пушкина и «К Медному всаднику» В.Я. Брюсова. Но есть исследователи, которые разделяют мнение А.А. Ахматовой о том, что это фиксация образа смерти. П.Е. Спиваковский и А.Б. Перзеке во Всаднике видят саму идею монархии и ее мистическое воплощение [4. С. 49; 8. С. 52], в котором ожившая статуя воплощает угрозу и преследование человека властью [8. С. 51].

«Мертвые головы» наделяются исследователями широким спектром характеристик и воспринимаются как проекции самых различных мифологических, литературных и исторических событий. Они входят в контекст фольклорных, литературных, религиозных и мифопоэтических представлений, отождествляющих круглые предметы и головы людей. Они связаны с реальными событиями гражданской войны в преломлении расправы с пугачевским восстанием [16. С. 125]. Они фиксируют мир во власти смерти [11. Т. 10. С. 82], а также демонический и вместе с тем будничный характер массовых репрессий, когда человеческая жизнь и смерть становятся предметом купли-продажи [36. С. 76]. Они перекочевали в текст из сказки Гауфа «Карлик Нос» [14. С. 151]. Они являются проекцией средневековой нидерландской легенды (и картин на ее сюжет) о городе Еекло, где человек мог получить новую голову [14. С. 151]. Они прямо отражают реалии Великой французской революции [4. С. 43; 35. С. 198]. Картины абсурдного иррационального послереволюционного мира во власти смерти видят здесь С.В. Бурдина [11. Т. 10. С. 83], а М.А. Шестакова – экспрессионистические алогичные образы [2. С. 144]. Л.Л. Бельская с жуткой фантасмагорической картиной в зеленой лавке связывает понимание Гумилевым ада [5. С. 21–22].

Как пророчество собственной скорой насилиственной смерти «мертвые головы» воспринимают Е.В. Меркель [36. С. 76], П.Е. Спиваковский [4. С. 44], Е.В. Федулова и Е.В. Сомова [14. С. 151], А.Б. Перзеке [8. С. 52], Л.Л. Бельская [5. С. 22] и др. Кроме того, Н.С. Гумилев трезво осознает ту силу, которая его убьет [37. С. 242].

Палач с мертвыми головами находится в отношениях взаимного отражения, они совместно транслируют единые смыслы, усиливая их [2. С. 144]. При этом его наделяют и дополнительными характеристиками, считают проекцией палача из «Капитанской дочки», приравнивают «некой роковой силе, карающей человека извечно, во все времена» [7. С. 51].

Строчка «только оттуда бьющий свет», по мнению Р.Д. Тименчика, свидетельствует о новом понимании Гумилевым пространства свободы и переоценке им ценности неба [32. С. 140]. Е.Г. Раздьяконова фиксирует представление поэта о божественном сверхбытии как возможности разрешения личностных и онтологических конфликтов [25. Т. 1. С. 199]. Эта идея в различных огласовках повторяется чаще всего: трансцендентальная символика инобытия [11. Т. 10. С. 82] и подобное. Ю.В. Зобнин считает, что свет – Образ Божий пришел в «Заблудившийся трамвай» из религиозной философии Фомы Аквинского [9. С. 185]. Д.М. Магомедова видит источник строк в новелле С. Ауслендера [31. С. 227].

«Зоологический сад планет», как полагает Р.Д. Тименчик, это звезды, символизирующие в стихотворении небо, к которому тянутся живые люди и души усопших (зодиакальный бестиарий) [32. С. 140], а вход в сад является входом в загробную жизнь. Е.В. Федулова и Е.В. Сомова предлагают для объяснений смысла словосочетания биографические обстоятельства посещения Н.С. Гумилевым парижского Ботанического сада, где кроме растений находились и животные, а также его увлечение астрономией [14.

С. 148]. Они также соотносят его с образом рая из поэмы В. Хлебникова «Зверинец», который населен разными животными [14. С. 150]. Ю.В. Зобнин отождествляет «зоологический сад планет» с «домом в три оконца» [9. С. 184].

«Машенька в то первое утро называлась Катенькой. Катенька превратилась в Машеньку только через несколько дней, в честь “Капитанской дочки” из любви к Пушкину», – категорично заявляет И.В. Одоевцева [6. С. 384]. Двойственность Машеньки / Катеньки стала отправной точкой для поиска различных литературных, реальных и религиозных прототипов.

Среди персонажей упоминаются: Маша Миронова из «Капитанской дочки» [16. С. 128; 11. Т. С. 81]; Машенька Минаева из новеллы С. Ауслендера «Туфелька Нелидовой» [31. С. 227]; Беатриче [16. С. 141; 9. С. 183; 4. С. 46; 14. С. 151]. Реальные лица: рано умершая двоюродная сестра поэта М.А. Кузьмина-Караваева [9. С. 187; 11. Т. 10. С. 81]; первая жена Державина Е.Я. Державина-Бастион [9. С. 190; 14. С. 149]; А. Ахматова [29. С. 211; 4. С. 48; 11. Т. 10. С. 81; 35. С. 199]. Воплощение Пресвятой Девы видит в Машеньке Ю. Зобнин [9. С. 184], ему вторят Е.В. Федулова и Е.В. Сомова [14. С. 151].

Ряд исследователей склонны трактовать образ как «многослойный». Так, О.И. Федотов, повторяя большую часть приведенных вариантов, добавляет к ним «явных и тайных возлюбленных Гумилева» [7. С. 50]. Подчеркивая, что искать единственный прототип «не представляется грамотным научным подходом», А.А. Жукова, следуя за идеей Ю.В. Зобнина, предлагает отнести Машеньку к категории возвышенного и неземного обрата-Идеала и добавляет в число прототипов Офелию в ее интерпретации А.А. Блоком [10. Т. 60. С. 27].

Вне зависимости от прототипа появившийся на его базе образ наделяют характером максимального обобщения. Видят в нем «подлинный символ России» [16. С. 141; 31. С. 227], представительницу идиллического эдемского пространства [38. Т. 22. С. 23], символ софийной любви [8. С. 51], символ вечной женственности [10. С. 28; 12. С. 102].

«Индия духа» видится исследователям в качестве духовной реальности и духовной реализации [4. С. 45], что, собственно, без труда читается в несогласованном определении. Н.А. Даренская, отмечая, что в образе можно увидеть одновременно мечту о новой духовной цивилизации, высшую ступень развития человеческого сознания, символ некой благодатной земли, призывает ключи для понимания искать в стихотворении «Пантум», которое содержит концепцию синтеза христианства и буддизма [28. С. 49]. Связь номинации с традицией немецких романтиков и словами Г. Гейне отмечают многие: С.В. Бурдина [11. Т. 10. С. 82]; Н.Ю. Зябликова и Н.В. Новикова [18. С. 49], Е.В. Федулова и Е.В. Сомова [14. С. 151]. Ю.В. Зобнин склонен к прочтению «Индии духа» как идеала совершенной красоты искусства [9. С. 178–179]. Ю.Л. Кроль видит исток номинации в поэме «Северный раджа» [29. С. 211–212]. В качестве аналога номинации С.В. Бурдина упоминает «Избянную Индию» Н. Клюева [11. Т. 10. С. 82], но

при этом она упускает из виду его же стихотворение «Белая Индия» (1916), которое по семантике тождественно «Заблудившемуся трамваю» или транслирует сходные смыслы через иной ряд образов. Не следует исключать возможность связи упоминания «Индии духа» с поиском бессмертия в виде реинкарнаций – мотив, уже явившийся в образе «простого индийца, задремавшего у ручья».

Интерпретации конкретных образов служат базой для выводов общего характера. Их сложно привести в единую систему. С одной стороны, все они связаны общей семантикой духовных поисков, осуществляемых лирическим героем в рамках одного или нескольких существований (воплощений). С другой стороны, говорить о каком-либо едином векторе этих поисков не представляется возможным, поэтому приходится ограничиться перечислением.

Л.Л. Бельская считает, что в «Заблудившемся трамвае» разворачивается биографическое и историческое время [5. С. 21]. Другие исследователи добавляют, что при этом реализуется целостная модель человеческой жизни, сосуществование в душе человека разных времен и пространств [26. С. 34; 37. С. 242], происходит нравственное осмысление культурной памяти [38. Т. 22. С. 22]. «Лирический герой Гумилева ищет свои истоки в разных культурных эпохах <...> и находит их случайно и “условно” в “Индии Духа”», – утверждает О.А. Дашевская [24. С. 54]. В.С. Малых воспринимает стихотворение как совокупность «колossalных по своей значимости и духовной энергии мистических прорывов в трансцендентные сферы бытия духа» [27. С. 65]. А.Г. Бичевин воспринимает текст как восхождение от незнания к знанию [19. С. 31]. Аллегорией путешествия в загробный мир называет текст О.А. Порутчик [23. С. 54]. Экзистенциальную и антологическую составляющую трамвайного путешествия, где трамвай связывает мир мертвых и живых, акцентирует Р.Н. Скалон [39. С. 140]. «Заблудившийся трамвай» реализует противопоставление мертвого пространства настоящего (Петербурга) и идеального пространства духовного прошлого «Индии духа» [11. Т. 10. С. 83], а земной и вселенский миры противостоят человечности [30. С. 251]. Интересна также точка зрения Д.В. Соколовой, в соответствии с которой лирическое «я» в «Заблудившемся трамвае» изображается то живым, то мертвым. В первых строках стихотворения перед нами уже мертвый герой (поэтому ему окружение «незнакомо»), а оживая, он приобретает точные географические знания. В промежутке между воплощениями он загадочным образом садится в трамвай, который уносит его не в будущее, а вниз по спирали времени в предыдущее существование [40. С. 66]. «Для Гумилева Египет стал символом всего Востока. В его стихотворении «Заблудившийся трамвай» мелькают многие увиденные им картины: роща пальм, Нева, Нил и Сена, нищий старик из Бейрута» [34. С. 560–561].

Помимо этих рассуждений есть ряд попыток вписать текст в уже существующие парадигмы представлений о мире, видеть в нем прямую реализацию картины мира, характерной для той или иной мировоззренческой концепции. На связь типа фиксации реальности в «Заблудившемся трамвае» с бергсонианским представлением о времени первым обратил внимание

ние Н.А. Оцуп [1. С. 161]. Е.Ю. Куликова видит в тексте реализацию феномена «бездна времен», отрицающего любую последовательность и хронологию во взаимодействии событий, смешение всех времен в ретроспективном самоанализе [13. С. 137]. Л. Аллен считает, что в качестве основы текста использован эффект парамнезии – обманчивая локализация во времени и в пространстве, сопряженная с эффектом иллюзии уже пережитого [16. С. 128]. П.Е. Спиваковский доказывает, что «сама идея путешествия во времени и пространстве навеяна Гумилеву немым кинематографом» [4. С. 50]. Лирический герой транслирует стереотипы, представленные в мифах о Сизифе и Прометеем, считает А.А. Жукова [10. Т. 60. С. 26]. Сквозь призму буддийских представлений прочитывают «Заблудившийся трамвай» многие исследователи. Они видят в тексте последовательное отражение учения о сансаре как о непрерывной череде рождения, смерти и нового рождения [14. С. 152]; как о трагедии продолжения жизни, в которой невозможно ничего изменить [22. С. 74], как о перевоплощении, пройдя через которые, душа достигает освобождения [28. С. 48]. Связь «Заблудившегося трамвая» с масонством обнаруживает А.А. Шунейко, который воспринимает событийный каркас текста как отражение обряда инициации [41. С. 38].

Следовательно, наиболее обсуждаемой темой оказался тип координации лирического героя со временем и пространством. При этом сам лирический герой воспринимается в самых разных ипостасях: как мертвый, живой, воскресающий, умирающий, перерождающийся. А время и пространство при этом видятся как реальные, ирреальные и разворачивающиеся в различных направлениях. В общих интерпретациях представлены различные варианты взаимодействия этих объектов. Все возможные типы соотношения еще не исчерпаны.

Заглавие «Заблудившийся трамвай» содержит легко читаемый оксюоморон [39. С. 140]: если заблудившийся, то не трамвай, если трамвай, то заблудиться не может. Этот оксюоморон задает поэтику текста и предполагает более радикальные выводы. Можно предположить, что хаос «заблудившегося пространства и времени» воплотился в клубящемся хаосе интерпретаций текста, которые действительно кружатся вокруг этой точки, а во вселенной Гумилёва его собственное движение включается в таинственное коловорощение мира.

Литература

1. *Оцуп Н.А.* Николай Гумилев. Жизнь и творчество СПб. : Logos, 1995. 198 с.
2. *Шестакова М.А.* Экспрессионистическое начало в лирике О.Э. Мандельштама и Н.С. Гумилева // Уральский филологический вестник. 2016. № 3. С. 139–146.
3. *Баскер М., Вахитова Т.М., Зобнин Ю.В., Михайлов А.И., Прокофьев В.А., Филиппов Г.В.* Примечания к текстам // Гумилев Н.С. Полн. собр. соч. : в 10 т. Т. 4: Стихотворения. Поэмы (1918–1921). М. : Воскресенье, 2001. 394 с.
4. *Спиваковский П.Е.* «Индия Духа» и Машенька: «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилева как символистско-акмеистическое видение // Вопросы литературы. 1997. № 5. С. 39–54.
5. *Бельская Л.Л.* Как «заблудившийся трамвай» превратился в «трамвай-убийцу» // Русская речь. 1998. № 2. С. 20–30.
6. *Одоевцева И.В.* На берегах Невы. СПб. : Азбука-классика, 2008. 448 с.

7. *Федотов О.И.* В поисках утраченного времени (стиховедческий комментарий к стихотворениям Н. Гумилева, предусмотренным школьной программой) // Филологический класс. 2015. № 1 (39). С. 43–52.
8. *Перзеке А.Б.* Поэма Н. Гумилева «Заблудившийся трамвай» в свете интертекстуальных связей с поэмой А.С. Пушкина «Медный всадник» // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Сер.: Літературознавство. 2009. № 4 (1). С. 50–56.
9. *Зобин Ю.В.* «Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилева: (К вопросу о дешифровке текста) // Русская литература. 1993. № 4. С. 176–192.
10. *Жукова А.А.* Образ вечной женственности в поздней лирике Н.С. Гумилева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. Т. 60, № 3. С. 24–29.
11. *Бурдина С.В.* Гумилевские подтексты в поэмах А. Ахматовой // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10, № 1. С. 79–87.
12. *Давиденко Р.С.* Контекстуальные параллели книги Н.С. Гумилева «Огненный столп» // Вестник МГОУ. Серия: Русская филология. 2015. № 4. С. 100–108.
13. *Куликова Е.Ю.* «Я заблудился навеки...»: «сюрреализм» Н. Гумилева и А. Рембо // Сибирский филологический журнал. 2015. № 3. С. 130–139.
14. *Федулова Е.В., Сомова Е.В.* Литературные пути «Заблудившегося трамвая» // Актуальные вопросы современной филологии: теория, практика, перспективы развития : материалы международной научно-практической конференции молодых ученых. Краснодар, 2016. С. 147–153.
15. *Сафиуллина Р.М.* Евримен Н.С. Гумилева в сборнике «Огненный столп» // Российский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7, № 5. С. 386–395.
16. *Аллен Л.* Этюды о русской литературе. Л. : Худож. лит., 1989. 156 с.
17. *Ильясова А.А.* «Баллада» («Пять коней подарил мне мой друг Люцифер...») и «Заблудившийся трамвай» Н. Гумилева: жанровый динамизм // Мова і культура. 2013. Т. 4, № 16. С. 371–377.
18. *Зябликова Н.Ю., Новикова Н.В.* Время реальное и перцептуальное в поэтической картине мира (по произведению Н.С. Гумилева (Заблудившийся трамвай)) // Вестник ТГУ, Гуманитарные науки. 2001. № 4 (24). С.46–51.
19. *Бичевин А.Г.* Субъектная реализация темы познания в сборнике Н.С. Гумилева «Огненный столп» // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 391. С. 29–33.
20. *Слабких К.Э.* Литературоведение 2000-х годов о творческом диалоге Ахматовой и Гумилева // Филологические науки. 2010. № 2. С. 70–79.
21. *Сажина У.В.* Образ трамвай в русской поэзии XX века // Актуальные вопросы филологической науки XXI века: сборник статей VII Международной научной конференции молодых ученых. Екатеринбург, 2018. С. 107–113.
22. *Слободнюк С.Л.* Птица тройка, два трамвая и смерть Доктора Живаго (опыт сопоставительного анализа) // Искусство слова. 2018. № 3 (5). С. 67–76.
23. *Порутчик О.А.* Мир как иллюзия в произведениях Виктора Пелевина // Вестник РУДН. Литературоведение. Журналистика. 2008. № 1. С. 51–55.
24. *Дашевская О.А.* Оккультная традиция Н. Гумилева в творчестве Д. Андреева (к постановке проблемы) // Культура и текст. 2005. № 10. С. 52–62.
25. *Раздъяконова Е.Г.* Хронотопические особенности лирики Н. Гумилева сквозь призму конфликта // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. 2015. Т. 1, № 1 (23). С. 193–199.
26. *Верхоломова Е.В.* Время в поэзии Николая Гумилева // Русская речь. 2009. № 1. С. 29–34.
27. *Малых В.С.* Пушкинская традиция в творчестве Н.С. Гумилева // Известия Уральского федерального университета. Серия 2. Гуманитарные науки. 2012. № 1. С. 63–69.
28. *Даренская Н.А.* Индия в творчестве Н.С. Гумилева // XV Международные научные чтения : сборник статей Международной научно-практической конференции. М., 2017. С. 43–51.

29. Кроль Ю.Л. Об одном необычном трамвайном маршруте: («Заблудившийся трамвай» Н.С. Гумилева) // Русская литература. 1990. № 1. С. 208–218.
30. Эйдинова В.В., Сакс Т.С. Пространственно-временной мир лирики Н. Гумилева и его жанровое воплощение («Костер», «Огненный столп») // Русская литература: национальное развитие и региональные особенности: материалы международной научной конференции. Екатеринбург, 2007. № 2. С. 248–255.
31. Магомедова Д.М. Об одной пушкинской аллюзии в «Заблудившемся трамвае» Н.С. Гумилева // Новый филологический вестник. 2007. № 2 (5). С. 225–228.
32. Тименчик Р.Д. К символике трамвая в русской поэзии // Семиотика. Труды по знаковым системам. Символ в системе культуры. Тарту, 1987. С. 135–143.
33. Золина П. Трамвай как метафора нового времени в контексте русской литературы начала XX века // *Nová rusistika*. 2013. № 2. С. 41–48.
34. Никонов О.А., Макеев Д.А. Образ Египта в творчестве и судьбе Николая Гумилева // Запад и Восток: история и перспективы развития: сборник статей 30-й юбилейной международной научно-практической конференции. Рязань, 2019. С. 555–565.
35. Ранне А. Метаморфозы национальной идеи России // Богословие и культура : труды кафедры богословия. 2019. № 2 (4). С. 192–202.
36. Меркель Е.В. Семантика крови в поэтике акмеизма // Вестник ТвГУ. Сер.: Филология. 2013. № 1. С. 74–80.
37. Корчикова С.Л. Из истории русской поэзии Серебряного века // Горный информационно-аналитический бюллетень. 1999. № 1. С. 238–244.
38. Завельская Д.А. Мотив культурной памяти и идиллический дискурс у Бунина, Гумилева и Ивана Савина // Вестник РУДН. Сер.: Литературоведение. Журналистика. 2017. Т. 22, № 1. С. 17–27.
39. Скалон Н.Р. Путешествие по старому маршруту (трамвай в русской поэзии 20–30-х гг. XX в. Филологический дискурс: Филологические прогулки по городу // Вестник филологического факультета ТюмГУ. 2001. № 2. С. 137–144.
40. Соколова Д.В. Лирический герой Н.С. Гумилева: воин, путешественник, маг или эстет? // Вестник Московского университета. Сер. 9: Филология. 2011. № 3. С. 63–69.
41. Шунейко А.А. Репрезентация масонской символики в языке русской художественной литературы XVIII – начала XXI веков : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Владивосток, 2007. 51 с.

One Hundred Years of Nikolay Gumilyov's “The Lost Tram” in the Reflection of Russian Analytics

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 294–309. DOI: 10.17223/1998645/71/18

Alexander A. Shuneyko, Olga V. Chibisova, Komsomolsk-na-Amure State University (Komsomolsk-on-Amur, Russian Federation). E-mail: a-shuneyko@yandex.ru / olgachibisova@yandex.ru

Keywords: Nikolay Gumilev, poetry, “The Lost Tram”, review, academic literature.

The article deals with the problem of a literary text's existence in the culture space and the variety of its interpretations generated by the characteristics of the text as an aesthetic whole embodying the meanings of various types and eras. The aim of the article is to analyze all the ways of reading Nikolay Gumilyov's poem “The Lost Tram” proposed by domestic and foreign researchers for the hundred years of its presence in Russian and world literature. The study was carried out on the basis of forty sources: research articles, critical notes and memoirs of contemporaries. These texts were published at different times; they are partially combined, partially autonomous and, in their totality, represent the prevailing direction of philosophical thought, which does not lose its relevance and needs a generalized comprehension. The main research problem was the classification of the material, which was investigated

using methods of semantic and thematic analyses. The latter suggest that, within each text, keywords related to the poem and methods for their semantic filling are identified. The study includes several stages: (1) collection of texts for analysis; (2) identification of specific objects in the texts (nominations, images, key motifs, linguistic traits, intertextual connections of the poem) and methods of their interpretation (types of reading, evaluation and conclusions made on their basis); (3) classification and combination of objects and their interpretations from various texts; (4) designing of a general model of text perception. As a result of the work done, it has been revealed that all ways of perceiving the poem can be divided into four types: the text as a self-sufficient object, as a component of the poet's creativity, as a component of the literary process, and as a component of the cultural process in the broad sense of the word. The listed types have inventories of specific art forms. In the first case, textual characteristics are proved to be important from the standpoint of a general stylistic assessment, in particular, its understanding as a mystical and symbolic-Acmeistic synthesis. In the second and third cases, the intertextual connections of the poem inside and outside the poet's works are exposed. The interaction was found with 33 Gumilyov's texts and 16 texts of different domestic and foreign writers. In the fourth case, the key characters and symbols of the poem are described: "tram", "Mashenka", "carriage driver", "executioner", "heads of the dead", "flying horseman", "India of the Soul", "zoological garden of planets". The numerous versions of these images vary broadly from analogies with the real facts of the poet's life to his broadcasts of a spectrum of esoteric ideas. At present, no consensus has been reached on any of the interpretations; their number remains open.

References

1. Otsup, N.A. (1995) *Nikolay Gumilev. Zhizn' i tvorchestvo* [Nikolay Gumilyov. Life and work]. Saint Petersburg: Logos.
2. Shestakova, M.A. (2016) Expressionistic origin of O.E. Mandelstam and N.S. Gumilyov lyrics. *Ural'skiy filologicheskiy vestnik. Seriya: Russkaya literatura XX-XXI vekov: napravleniya i techeniya – Ural Philological Herald. Series Russian Literature of XX-XXI Centuries: Directions and Trends.* 3. pp. 139–146. (In Russian).
3. Basker, M. et al. (2001) Primechaniya k tekstam [Notes to the Texts]. In: Gumilev, N.S. *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete Works]. Vol. 4. Moscow: Voskresen'e.
4. Spivakovskiy, P.E. (1997) "Indiya Dukha" i Mashen'ka: "Zabludivshiyся tramvay" N.S. Gumileva kak simvolistsko-akmeisticheskoe videnie ["India of the Spirit" and Mashenka: "The Lost Tram" by N.S. Gumilyov as a symbolist-acmeistic vision]. *Voprosy Literatury.* 5. pp. 39–54.
5. Bel'skaya, L.L. (1998) Kak "zabludivshiyся tramvay" prevratilsya v "tramvay-ubiytsu" [How the "lost tram" turned into the "killer tram"]. *Russkaya Rech'.* 2. pp. 20–30.
6. Odoevtseva, I.V. (2008) *Na beregakh Nevy* [On the Banks of the Neva River]. Saint Petersburg: Azbuka-klassika.
7. Fedotov, O.I. (2015) In search of the lost time (versification comment to poems of N. Gumilev by school programs). *Filologicheskiy klass – Philological Class.* 1 (39). pp. 43–52. (In Russian).
8. Perzeke, A.B. (2009) Poema N. Gumileva "Zabludivshiyся tramvay" v svete intertekstual'nykh svyazey s poemoy A.S. Pushkina "Mednyy vsadnik" [N. Gumilyov's poem "The Lost Tram" in the light of intertextual connections with the A.S. Pushkin's poem "The Bronze Horseman"]. *Naukovyi zapiski Kharkivs'kogo natsional'nogo pedagogichnogo universitetu im. G. S. Skovorodi. Ser.: Literaturoznavstvo.* 4 (1). pp. 50–56.
9. Zobnin, Yu.V. (1993) "Zabludivshiyся tramvay" N.S. Gumileva: (K voprosu o deshifrovke teksta) ["The Lost Tram" by N.S. Gumilyov: (On the issue of decoding the text)]. *Russkaya literatura.* 4. pp. 176–192.
10. Zhukova, A.A. (2016) Obraz vechnoy zhenstvennosti v pozdney lirike N.S. Gumileva. *Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki – Philology. Theory & Practice.* 3 (60). pp. 24–29. (In Russian).

11. Burdina, S.V. (2018) Implications of Gumilev's works in poetry by A. Akhmatova. *Vestnik Permskogo universiteta. Rossiyskaya i zarubezhnaya filologiya – Perm University Herald. Russian and Foreign Philology*. 1 (10). pp. 79–87. (In Russian). DOI: 10.17072/2037-6681-2018-1-79-87
12. Davidenko, R.S. (2015) Literary context of the book "Pillar of Fire" by N. Gumilev. *Vestnik MGOU. Seriya: Russkaya filologiya – Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Russian Philology*. 4. pp. 100–108. (In Russian). DOI: 10.18384/2310-7278-2015-4-100-108
13. Kulikova, E.Yu. (2015) "I have lost forever...": N. Gumilev and A. Rimbaud's "Surrealism". *Sibirskiy filologicheskiy zhurnal – Siberian Journal of Philology*. 3. pp. 130–139. (In Russian).
14. Fedulova, E.V. & Somova, E.V. (2016) [Literary paths of "The Lost Tram"]. *Aktual'nye voprosy sovremennoy filologii: teoriya, praktika, perspektivy razvitiya* [Topical Issues of Modern Philology: Theory, practice, development prospects]. Proceedings of the International Conference. Krasnodar. 9 April 2016. Krasnodar: Izdatel'skiy Dom – Yug. pp. 147–153. (In Russian).
15. Safiulina, R.M. (2018) Gumilyov's everyman in his poetic collection "The Pillar of Fire". *Rossiyskiy gumanitarnyy zhurnal – Liberal Arts in Russia*. 5 (7). pp. 386–395. (In Russian). DOI: 10.15643/libartrus-2018.5.5
16. Allen, L. (1989) *Etyudy o russkoy literature* [Studies on Russian Literature]. Lenigrad: Khudozhestvennaya literatura.
17. Il'yasova, A.A. (2013) "Ballada" ("Pyat' koney podaril mne moy drug Lyutsifer...") i "Zabludivshisya tramvay" N. Gumileva: zhanrovyy dinamizm ["Ballad" ("My friend Lucifer gave me five horses ...") and "The Lost Tram" by N. Gumilyov: genre dynamism]. *Mova i kul'tura – Language & Culture*. 16 (4). pp. 371–377.
18. Zyablikova, N.Yu. & Novikova, N.B. (2001) Real and perceptual time in the poetic picture of the world (with examples from N.S. Gumilev's "The Lost Tram"). *Vestnik TGU, Gumanitarnyye nauki – Tambov University Review: Series Humanities*. 4 (24). pp. 46–51. (In Russian).
19. Bichevin, A.G. (2015) Subjective realization of the theme of cognition in N. Gumilev's collection The Pillar of Fire. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta – Tomsk State University Journal*. 391. pp. 29–33. (In Russian).
20. Slabkikh, K.E. (2010) Literaturovedenie 2000-kh godov o tvorcheskem dialoge Akhmatovoy i Gumileva [Literary criticism of the 2000s about the creative dialogue between Akhmatova and Gumilyov]. *Filologicheskie Nauki*. 2. pp. 70–79.
21. Sazhina, U.V. (2018) [The image of tram in the Russian poetry of the 20th century]. *Aktual'nye voprosy filologicheskoy nauki XXI veka* [Actual Problems of Philological Science of the 21st Century]. Proceedings of the VII International Conference. Yekaterinburg. 9 February 2018. Yekaterinburg: Izd-vo UMTs UPI. pp. 107–113. (In Russian).
22. Slobodnyuk, S.L. (2018) The troika-bird, two trams and the death of the Doctor Zhivago (the experience of the comparative analysis). *Iskusstvo slova – Art Logos*. 3 (5). pp. 67–76. (In Russian).
23. Porutchik, O.A. (2008) The world as an illusion in the works of Victor Pelevin. *Vestnik RUDN. Ser.: Literaturovedenie. Zhurnalistika – RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism*. 1. pp. 51–55. (In Russian).
24. Dashevskaya, O.A. (2005) Okkul'tnaya traditsiya N. Gumileva v tvorchestve D. Andreeva (k postanovke problemy) [Occult tradition of N. Gumilyov in the work of D. Andreev (to the problem statement)]. *Kul'tura i Tekst*. 10. pp. 52–62.
25. Razd'yakonova, E.G. (2015) Chronotopic features of N. Gumilev's poetry in the light of conflict. *XXI vek: itogi proshloga i problemy nastoyashchego plus – XXI Century: Resumes of the Past and Challenges of the Present Plus*. 1–1 (23). pp. 193–199. (In Russian).
26. Verkholomova, E.V. (2009) Vremya v poezii Nikolaya Gumileva [Time in the poetry of Nikolai Gumilyov]. *Russkaya Rech'*. 1. pp. 29–34.

27. Malykh, V.S. (2012) Pushkinian Tradition in N. Gumilev's Creative Work. *Izvestiya Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki – Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts.* 1. pp. 63–69. (In Russian).
28. Darenetskaya, N.A. (2017) [India in the works of N. S. Gumilyov]. *XV Mezhdunarodnye nauchnye chteniya* [15th International Scientific Readings]. Proceedings of the International Conference. Moscow. 1 October 2017. Moscow: EFIR. pp. 43–51. (In Russian).
29. Krol', Yu.L. (1990) Ob odnom neobychnom tramvaynom marshrute: (“Zabludivshiiysya tramvay” N.S. Gumileva) [About one unusual tram route: (“The Lost Tram” by N.S. Gumilyov)]. *Russkaya Literatura.* 1. pp. 208–218.
30. Eydinova, V.V. & Saks, T.S. (2007) [The space-time world of N. Gumilyov's lyrics and its genre embodiment (“Bonfire”, “Pillar of Fire”)]. *Russkaya literatura: natsional'noe razvitiye i regional'nye osobennosti* [Russian Literature: national development and regional features]. Proceedings of the International Conference. 2. Yekaterinburg. 5–7 October 2006. Yekaterinburg: Soyuz pisatelyey. pp. 248–255.
31. Magomedova, D.M. (2007) Ob odnoy pushkinskoy allyuzii v “Zabludivshemsya Tramvay” N.S. Gumileva [About one Pushkin allusion in “The Lost Tram” by N.S. Gumilyov]. *Novyy filologicheskiy vestnik – New Philological Bulletin.* 2 (5). pp. 225–228.
32. Timenchik, R.D. (1987) K simvolike tramvaya v russkoy poezii [On the symbolism of the tram in Russian poetry]. *Semiotika. Trudy po znakovym sistemam – Sign Systems Studies.* 21. pp. 135–143.
33. Zolina, P. (2013) Tram as a metaphor for a new time in the context of Russian Literature of the early 20th century. *Nová Rusistika.* 2. pp. 41–48. (In Russian).
34. Nikonorov, O.A. & Makeev, D.A. (2019) [The image of Egypt in the creativity and the destiny of Nikolay Gumilev]. *Zapad i Vostok: istoriya i perspektivy razvitiya* [West and East: History and development prospects]. Proceedings of the 30th Anniversary International Conference. Ryazan. 18–19 April 2019. Ryazan: IP Konyakhin Aleksandr Viktorovich. pp. 555–565. (In Russian).
35. Ranne, A. (2019) Metamorphosis of the national idea of Russia. *Bogoslovie i kul'tura. Trudy kafedry bogosloviya.* 2 (4). pp. 192–202. (In Russian).
36. Merkell', E.V. (2013) The Semantics of Blood in the Poetics of Acmeism. *Vestnik TGU. Ser.: Filologiya.* 1. pp. 74–80. (In Russian).
37. Korchikova, S.L. (1999) Iz istorii russkoy poezii Serebryanogo veka [From the history of Russian poetry of the Silver Age]. *Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten' – Mining Informational and Analytical Bulletin.* 1. pp. 238–244.
38. Zavel'skaya, D.A. (2017) The motif of cultural memory and the idyllic discourse of Bunin, Gumilev and Ivan Savin. *Vestnik RUDN. Ser.: Literaturovedenie. Zhurnalistika – RUDN Journal of Studies in Literature and Journalism.* 1 (22). pp. 17–27. (In Russian). DOI 10.22363/2312-9220-2017-22-1-17-27
39. Skalon, N.R. (2001) Puteshestvie po staromu marshrutu (tramvay v russkoy poezii 20–30-kh gg. XX v. Filologicheskiy diskurs: Filologicheskie progulki po gorodu [Traveling along the old route (tram in Russian poetry of the 1920s – 1930s of the 20th century. Philological discourse: Philological walks around the city]. *Vestnik filologicheskogo fakul'teta TyumGU – Vesniki TSU. Philology.* 2. pp. 137–144.
40. Sokolova, D.V. (2011) N.S. Gumilev's lyrical hero: a warrior, a traveller, a magician or an aesthete? *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 9: Filologiya – Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology.* 3. pp. 63–69. (In Russian).
41. Shuneyko, A.A. (2007) *Reprezentatsiya masonskoy simvoliki v yazyke russkoy khudozhestvennoy literatury XVIII – nachala XXI vekov* [Representation of Masonic symbolism in the language of Russian fiction of the 18th – early 21st centuries]. Abstract of Philology Dr. Diss. Vladivostok.

ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 004.738.5

DOI: 10.17223/19986645/71/19

К.Л. Зуйкина, Д.В. Соколова

ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИЕЙ

Исследуются особенности восприятия фейковых новостей молодежной аудиторией. На базе анкетирования молодежи Москвы (собрано 200 анкет, возраст респондентов 18–35 лет) делаются выводы о сложностях при идентификации фейковых новостей. Отмечается, что основным критерием доверия являются источник информации (29,6%), ссылка на известную личность или организацию (21,1%). Выявлено, что молодежь склонна завышать собственный уровень медиаграмотности.

Ключевые слова: фейк, фейковые новости, новости, молодежь, интернет, социальные сети, социальные медиа, восприятие

Введение

Российский дипломат ввезд в Чехию яд рицин, дед премьер-министра Армении Николы Пашияна воевал на стороне фашистов во время Второй мировой, коронавирус является биологическим оружием, созданным с целью проведения чипирования населения и установления глобального мирового порядка – фейковые новости появляются с поражающей частотой. По данным компании «Медиалогия»¹, в 2018 г. на 33% выросло количество фейковых новостей в российском медиапространстве. Не становятся панацеей от недостоверных новостей и штрафы за распространение искаженной информации, введенные правительствами разных стран мира (Франция, Германия, Россия, Китай, Малайзия, Египет). В публичном пространстве продолжает увеличиваться количество фейковых новостей, чему способствовала в том числе пандемия коронавирусной инфекции: по данным Генеральной прокуратуры РФ, в период пандемии было выявлено в 10 раз больше недостоверной общественно значимой информации².

Как показывают исследовательские данные, фейковые новости распространяются быстрее, глубже и масштабнее, чем правдивые новости, особенно это касается политических фейков [1]. Недостоверная, искаженная

¹ FAKE NEWS за 2017 и 2018 годы. Медиалогия. URL: <https://www.mlg.ru/ratings/research/6438/> (дата обращения: 22.06.2020).

² Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии. ТАСС. URL: <https://tass.ru/obschestvo/8673695> (дата обращения: 22.06.2020).

информация, таким образом, воспринимается и запоминается аудиторией, а также воспроизводится с помощью репостов. Потребители информации далеко не всегда могут отличить реальную новость от искаженной, поскольку не обладают ни навыками фактчекинга, ни необходимым уровнем медиаграмотности. Масштаб проблемы отмечает и генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров: по его словам, каждый второй россиянин не может отличить достоверную информацию от ложной¹.

Почему аудитория настолько восприимчива к фейковым новостям и чем руководствуется при определении истинности или ложности опубликованной информации – вопросы, которые представляют интерес для исследователей.

Теоретические основы исследования

Фейковые новости – явление давнее, хотя, безусловно, само выражение «фейковые новости» стало более используемым в последние годы. Ранее под фейком могли подразумевать дезинформацию и мисинформацию – преднамеренное и непреднамеренное распространение недостоверной информации соответственно [2–4]. Говоря об истории фейковых новостей, исследователи часто обращаются также к анализу различных мистификаций и истории желтой прессы [5–8].

Отношение исследователей к термину «фейковые новости» неоднозначное: некоторые считают его избыточным, апеллируя к тому, что фейковые новости по сути своей являются дезинформацией [9] и корректнее было бы называть данное явление «информационный выброс» (‘information pollution’) или «информационное расстройство» (‘information disorder’) [10]. Также интересен термин «bullshit», который выделяют как отдельный подтип мисинформации, при котором источнику этой информации не важна ее истинность или ложность, поскольку конечная цель – убеждение или провокация [11].

Giglietto, Iannelli, Valeriani & Rossi [12] рассматривают фейковые новости как уникальный процесс, многовариантное сочетание лжи и новостей. В основе фейковых новостей лежит компонент ложности, противоположность истинности. Это может быть как частичное искажение фактов, так и полная выдумка. Фейковые новости буквально мимикируют под реальные, достоверные новости, повторяя их на структурном уровне [13]. При этом информация может быть искажена частично, новость может быть полностью выдуманной, изображения могут быть обработаны с помощью ПО таким образом, что искажается первоначальный смысл, а могут быть и целые поддельные сайты.

После того как социальные медиа стали занимать все более значимое место в структуре медиапотребления аудитории, фейковый контент широко распространился не только в медиа, но и в социальных сетях, в блогах.

¹ Каждый второй россиянин верит фейковым новостям, заявил глава ВЦИОМ // РИА Новости. URL: <https://ria.ru/20190626/1555944841.html> (дата обращения: 22.06.2020).

госфере. Соответственно, возникли новые классификации. Основываясь на трех основных компонентах фейковых новостей (фабрикация, мистификация и сатира), исследователи Университета Западного Онтарио [14] выделяют серьезную фабрикацию (тип А), крупномасштабную мистификацию (тип В) и юмористические фейки (тип С). Эта классификация охватывает разные проявления фейковых новостей, в том числе желтую прессу, кликбейт, фальсификации в соцсетях и др. Существует и другая академическая классификация фейковых новостей, разделяющая их на сатиру, пародию, фабрикацию, манипуляцию, пропаганду и рекламу [15]. Основываясь на соотношении недостоверной и правдивой информации в рамках одной единицы контента, российские исследователи [16] выделяют: 1) «новость», представляющую собой ложь от начала до конца; 2) «новость», содержащая ложь на фоне в целом достоверной информации, представленной выборочно; 3) «новость», в основе которой лежит реальное событие, отдельные фрагменты которого искажены. На более глубоком уровне, основанном на конечной цели создания фейковых новостей, можно также классифицировать недостоверные новости как: (1) жанр, включающий преднамеренное ее создание псевдожурналистикой; (2) ярлык, обозначающий политическую инструментализацию термина для делигимитизации новостных медиа [17].

При изучении фейковых новостей не стоит забывать и об аудитории, о роли, которую она играет в распространении недостоверной информации. Существует точка зрения, что аудитория сама является соавтором недостоверных новостей: если новости создаются журналистами, то фейковые новости создаются совместно с аудиторией, поскольку успешность подобного контента зависит во многом от того, воспримет ли аудитория фальшивку как реальность, а без этого фейковая новость будет просто фантастикой, плодом чьего-то воображения [15].

Для развития доверия к фейковым новостям важен принцип повторяемости: даже если человек хоть раз прочел фейковую новость, это повышает вероятность того, что в будущем он будет доверять недостоверной информации [18–20].

Также в аспекте восприятия ложной информации можно обратиться к исследованиям, сконцентрированным на психологических особенностях восприятия ложной и истинной информации [21, 22], а также к способности людей вспомнить ранее прочитанную или увиденную ложную, неточную информацию [23–25]. Целый кластер исследований посвящен способности людей определять истинность или ложность текстов и представленной в них информации, основываясь на контексте, причем в данных исследованиях ключевым аспектом является повторное прочтение текстов через короткий и более длительный промежутки времени [26–28].

Чтобы распознать в тексте недостоверную, искаженную информацию, люди опираются на уже имеющиеся у них знания, что действительно помогает им определить, истинна информация или ложна [29]. Однако более позднее исследование, объектом которого является восприятие не просто

искаженной информации, но именно фейковых новостей, показывает, что накопленный багаж знаний не спасет от доверия фейковой информации: Rapp, Slavovich [30] пришли к выводу, что даже если люди опираются на имеющиеся знания, если они хорошо образованы, обладают критическим мышлением, они все равно могут быть подвержены воздействию фейковой информации.

Pennycuok and Rand [31] предположили зависимость восприимчивости к фейковым новостям от способности аналитически мыслить. Они выявили взаимосвязь между тестом когнитивной рефлексии (CRT) и восприятием заголовков политических фейковых новостей: люди, демонстрировавшие более высокие показатели текста CRT, лучше отличали фейковые заголовки от заголовков реальных новостей, вне зависимости от собственных политических убеждений, которые влияют на принятие решения об истинности или ложности информации.

Примечательно, что именно реакция аудитории на недостоверную информацию и способность отличить реальные новости от фейковых не изучены отечественными медиаисследователями. По данной теме можно выделить только работу научного журналиста Борислава Козловского [32]. В существующих статьях и монографиях внимание уделено природе фейковых новостей [33, 34] и лингвистическим особенностям подобных текстов [35, 36]. В данной работе предпринимается попытка изучить особенности восприятия фейковых новостей молодежной аудиторией, а также критерии, по которым потребители информации принимают решение о ее истинности или ложности.

Методика исследования

Для того чтобы понять, насколько наша молодежь, будущее страны, способна отличить фейковую информацию от реальной, а также определить, по каким критериям молодые люди определяют новость как фейковую, авторы провели пилотное социологическое исследование в Москве среди молодежи преимущественно в возрасте от 18 до 35 лет. Объем выборки составил 200 человек. Выборка неслучайная, сформирована по принципу «снежного кома» (отбор респондентов по рекомендациям уже опрошенных участников исследования). На стадии формирования выборки были условно выделены квоты, которые позволили сформировать неоднородный состав респондентов (пол, возраст, статус образования, профиль специальности обучения (социально-гуманитарный, естественно-технический, творческий) (см. табл. 1, 2). При этом принципиальным решением было исключить из выборки студентов-журналистов, т.е. респондентов, которых обучают грамотной работе с информацией, и профессиональных журналистов.

В качестве метода исследования использовано онлайновое анкетирование. Период исследования – май – июль 2019 г.

Таблица 1
Соотношение половозрастных характеристик респондентов, %

Возрастные группы	Пол		Итого
	Мужской	Женский	
15–17	2	2	4
18–24	23	30	53
25–35	16	27	43
Итого	41	59	100

Таблица 2
Соотношение уровня образования с полом респондентов, %

Уровень образования	Пол		Итого
	Мужской	Женский	
Абитуриент	3	5	8
Высшее неоконченное (студент)	17	20	37
Среднее проф. образование (ПТУ)	3	2	5
Высшее (диплом бакалавра, магистра, специалиста)	16	27	43
Аспирантура	2	5	7
Итого	41	59	100

В анкете респондентам было предложено оценить на предмет истинности 8 новостей различной тематики (политика, общество, наука, спорт), половину из которых составляли реальные новости, а половину – фейковые. Затем нужно было указать, по каким критериям новость была классифицирована как реальная или фейковая (в данном случае использовались полузакрытые вопросы). В выборку вошли материалы, опубликованные как в федеральных СМИ в Сети, так и в социальных медиа. Часть новостей сопровождалась фото. В качестве фейковых рассматривались новостные сообщения, истинность которых была опровергнута в публичном пространстве.

Так, для исследования использовались следующие новости (табл. 3).

Таблица 3
Новости, отобранные для исследования

Заголовок	Источник	Фейк / реальная новость
NASA: космос радиально изменил ДНК астронавта на МКС	Российская газета	Фейк
Минздрав подготовил закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года	ПРАВМИР	Реальная новость
Гражданин Украины пожаловался на Жириновского в полицию после драки на митинге	Коммерсантъ	Реальная новость
Календари с фотографиями Путина стали хитом в Великобритании	Известия	Фейк
Эксперимент в сфере квантовой физики предположил отсутствие объективной реальности	Курилка Гутенберга	Реальная новость
Портрет Сталина появился под штукатуркой в метро Арбатская	Блогер ЖЖ Александр «Russos» Попов	Фейк
В Москве полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Тертиаковке	ТАСС	Реальная новость
Одному из болельщиков ЦСКА стало плохо на матче с «Ромой» из-за последствий ножевого ранения	Спорт-Экспресс	Фейк

Отметим, что исследование носило экспериментальный характер, поскольку впервые была апробирована подобная методика.

Результаты

Анализ полученных данных показал, что отличить достоверную новость от фейковой для молодежи, оказывается, не так просто. В целом респонденты дали 68% правильных ответов, т.е. неверным был каждый тре-

тий ответ. В абсолютных величинах лишь 4 респондента из 200 смогли верно идентифицировать все фейковые новости.

Более детальное рассмотрение ответов по каждому кластеру позволяет сделать вывод, что, например, не прослеживается четкой корреляции между полом респондента и способностью определить фейк (табл. 4). Соотнеся количество данных неверных ответов с полом респондента, мы видим, что женщины дали больше верных ответов, но разница с аналогичным показателем у мужчин – 18%.

Таблица 4
Соотношение количества неверных ответов и пола респондента, %

Количество неверных ответов	Пол		Итого
	Мужской	Женский	
0, все ответы верны	1	3	4
1–2 неверных ответа	18	26	44
3–4 неверных ответа	20	24	44
5–7 неверных ответов	2	6	8
Все ответы неверные	0	0	0
Итого	41	59	100

Для более корректного сравнения выделим доли неверных ответов внутри группы мужской аудитории и женской (табл. 5), поскольку последняя больше в количественном отношении. Получается, что женщины и мужчины практически в равной степени ошибаются при определении истинности и ложности новости.

Таблица 5
Соотношение количества неверных ответов и пола респондента, %

Количество неверных ответов	Пол	
	Мужской	Женский
0, все ответы верны	3	4
1–2 неверных ответа	45	45
3–4 неверных ответа	47	41
5–7 неверных ответов	5	10
Все ответы неверные	0	0
Итого	100	100

Рассмотрение соотношения уровня образования и количества неверных ответов, выявило равномерное распределение ответов (табл. 6), что позволяет говорить о слабом влиянии высшего образования на способность критически осмыслять информацию и определять фейковые новости. В процентном соотношении студенты ссузов и абитуриенты демонстрируют сопоставимые результаты (преимущественно 3–4 неверных ответа из 8), так же как и студенты и выпускники высших учебных заведений, аспиранты приблизительно одинаково справлялись с задачей, поставленной в рамках исследования.

Таблица 6
Соотношение уровня образования и количества неверных ответов
(% от опрошенных по каждой группе с определенным уровнем образования)

Уровень образования	Количество неверных ответов				Итого
	0	1–2	3–4	5–7	
Абитуриент	0	20	80	0	100
Высшее неоконченное (студент)	2	55	31	12	100
Среднее проф. образование	0	14	86	0	100
Высшее (бакалавр, магистр, специалист)	7	41	46	6	100
Аспирантура	0	50	40	10	100

В рамках исследования респондентам было необходимо не только идентифицировать все фейковые новости, но также объяснить, по каким критериям принималось решение об истинности или ложности каждой предложенной новости. При анализе полученные данные были сгруппированы отдельно для реальных и отдельно для фейковых новостей, что позволяет разделить те признаки, по которым аудитория понимает, фейковая перед ней новость или реальная. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что аудитория, прежде всего, обращает внимание на источник информации, когда речь идет о достоверных, неискаженных новостях (табл. 7). Респонденты считают, что уважаемое СМИ не станет публиковать фейковую новость, таким образом, репутация издания является ключевым фактором доверия аудитории его контенту. Также свидетельством истинности новости, по мнению респондентов, служит ссылка на известную персону или организацию, поскольку в фейковых новостях вряд ли будут фигурировать личности или компании, известные всем.

Интересно, что критерии фейковой новости (табл. 8) для респондентов не были столь однозначными: сопоставимый процент получили такие кри-

терии, как лексико-стилистические особенности текста, отсутствие ссылки на источник информации и собственно источник информации, который не вызывает доверия. Названные респондентами параметры могут говорить о высоком уровне медиаграмотности столичной молодежи, однако результаты (лишь 4 человека из 200 смогли идентифицировать все фейковые новости) свидетельствуют об обратном.

Т а б л и ц а 7

**Критерии определения истинности новости
(% от общего числа ответов по данному вопросу)**

Критерий	%
Источник информации (уважаемое СМИ вряд ли позволит себе публикацию фейковой новости)	29,6
Длина текста (больше подробностей у реальной новости)	13,5
Наличие изображения (фото, видео служат дополнительным фактом подтверждения реальности)	11,6
Ссылки на известную личность / организацию (ссылки вряд ли встретятся в фейковой новости)	21,1
Масштаб новостного повода (сложнее придумать фейковую новость про мировое событие / общезвестную личность)	15,8
Другое	8,4

Т а б л и ц а 8

**Критерии определения новости-фейка
(% от общего числа ответов по данному вопросу)**

Критерий	%
Источник информации (СМИ не вызывает доверия)	22,9
Отсутствие ссылки на источник информации в тексте	23,2
Лексико-стилистические особенности текста (брюкские заголовки, оценочная лексика...)	26,4
Обилие визуальных материалов (фото, видео, скрины, графики) в тексте	5,4
Автор ссылается на лица / организации / исследования, которые не вызывают доверия	16,7
Другое	9,5

Более того, при детальном анализе каждого ответа были обнаружены случаи, когда респонденты отмечали фейковую новость как истинную, считая, что источник информации заслуживает доверия (в частности, «новость» о якобы появлении портрета Сталина под штукатуркой в метро «Арбатская», источник – блог в ЖЖ, пост сопровождается фотографией, обработанной с помощью ПО). Это говорит о том, что молодежь, не обладающая журналистским образованием, не проводит четких различий между источниками информации и склонна завышать собственную медиаграмотность.

Также респонденты могли дополнительно отметить критерии, которыми они руководствовались, принимая решение. Примечательно, что респонденты часто опирались на собственные догадки («маловероятно» / «почти полностью уверен, что реальна» / «по ощущениям новость реальная» / «просто такое возможно» / «мне подсказывает внутренний голос»), что свидетельствует об отсутствии критического восприятия информации.

Анализ реакции молодежи на каждую новость, включенную в выборку, выявил достаточно высокий процент ошибочной реакции. Так, от 20 до 40 молодежи не справилось с определением фейковых и реальных новостей в разных новостях. Наибольшее затруднение вызвала новость о появлении портрета Сталина под обвалившейся штукатуркой на станции метро «Арбатская» – 40% респондентов посчитали ее реальной. Новость, которая была опубликована в ЖЖ, сопровождалась фотографиями: крупный план портрета и общий план, на котором видны станция и проходящие мимо пассажиры. Реальные фотографии станции метро были обработаны с помощью ПО, был добавлен портрет Сталина. Данные изображения ввели в заблуждение респондентов: из тех, кто посчитал новость реальной, 60% опирались на фотографии.

Наличие фотографии, как показывают данные исследования, не помогают аудитории верно идентифицировать новость. Часто СМИ для иллюстрации новостей используют так называемые заглушки – изображения, как правило из фотобанков, которые напрямую не относятся к новости, но косвенно связаны с тематикой (например, изображения врача, надевающего перчатки, могут использовать для публикаций о системе записи к врачам, о сезонных прививках, о выборе профессии медика и т.п.). Подобные изображения использовала «Российская газета» для иллюстрации новости «NASA: космос радикально изменил ДНК астронавта на МКС». Однако в данном случае респонденты опирались не только на наличие изображения, а в первую очередь на источник информации, заслуживающий доверия («Российская газета»). Однако газета не является первоисточником: в статье она ссылается на публикацию портала Live Science, который, в свою очередь, ссылается на пресс-релиз НАСА (реальный первоисточник). Новость действительно опубликовали многие, в том числе качественные СМИ, поскольку пресс-служба НАСА заслуживает доверия, однако позднее выяснилось, что описанное в пресс-релизе оказалось неправдой.

Источник информации, который респонденты отмечали при определении истинности или ложности новости, как показывает анализ результатов,

воспринимается столичной молодежной аудиторией совсем не так, как журналистами, четко разделяющими источники на заслуживающие и не заслуживающие доверия. Так, новость «В Москве полиция разыскивает мужчину, обнажившегося перед картиной в Третьяковке» каждый третий респондент посчитал фейковой, отмечая «отсутствие ссылки на источник информации», хотя информацию дал ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Более того, данное событие произошло за два месяца до проведения исследования и, по мнению авторов, могло остаться в памяти респондентов, но результаты свидетельствуют об обратном.

Часть респондентов была введена в заблуждение реальными новостями. Новость «Минздрав подготовил закон о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года» была опубликована на портале «Православие и мир». Факт публикации на не самом известном портале позволил 38% респондентов отнести реальную новость к фейковой, хотя издание ссылается на официальный портал законопроектов и, пройдя по ссылке в статье, можно убедиться в истинности новости.

Полученные результаты показывают, что молодежная аудитория слабо ориентируется в медиаландшафте страны, а также не обращает внимания на реальный первоисточник информации.

Дискуссия

В наши дни аудитория медийных ресурсов находится в непростой ситуации: увеличившееся количество фейковых новостей не дает возможности потребителям информации получать лишь достоверную информацию, не задумываясь, реальные ли факты перед ним или искажения. Фейковые новости публикуются не только в социальных сетях и мессенджерах, на малоизвестных интернет-порталах, но также в крупных федеральных СМИ. Обилие недостоверной информации снижает доверие аудитории к СМИ: как показывает «Барометр доверия Edelman», в 2019 г. из 26 стран мира самый низкий уровень доверия к СМИ был зафиксирован именно в России¹. Социологические службы, например ФОМ², «Левада Центр»³, также фиксируют у россиян снижение доверия к СМИ.

В условиях появления в повестке фейковых новостей, безусловно, встает вопрос о восприятии аудиторией информации и способности отличить достоверную информацию от недостоверной. Статистика ВЦИОМ показывает, что половина россиян не может отличить фейковую новость от ре-

¹ Edelman Trust Barometer 2020. Global Report. URL: <https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2020-01/2020%20Edelman%20Trust%20Barometer%20Global%20Report.pdf> (дата обращения: 28.06.2020).

² Источники новостей и доверие СМИ. ФОМ. URL: <https://fom.ru/SMI-i-internet/14170> (дата обращения: 28.06.2020).

³ Источники новостей и доверие СМИ. Левада Центр. URL: <https://www.levada.ru/2020/02/27/istochniki-novostej-i-doverie-smi/> (дата обращения: 28.06.2020).

альной¹. Проблема актуальна для всей аудитории, хотя молодежная часть потребителей информации полагает, что определить недостоверную новость не так сложно. Мы предположили, что молодежная аудитория за счет активного медиапотребления действительно способна распознавать фейки, и провели пилотное исследование среди московской молодежи.

Анализ собранных данных показал, что молодежная аудитория склонна занижать собственный уровень медиаграмотности, кроме того, аудитория, не обладающая журналистскими навыками, воспринимает источники информации и их потенциальную достоверность совсем не так, как профессиональные журналисты. Большинство респондентов не видит разницы между государственным информагентством, тематическим интернет- порталом и записью в социальных сетях, хотя в своих ответах декларирует источник информации как основной критерий доверия или недоверия новости. Как отмечали сами респонденты, зачастую они опирались на собственные ощущения и догадки.

Также потребители информации не склонны проверять увиденное или прочитанное: даже переходить по ссылке, указанной в новости, чтобы убедиться в ее истинности, аудитория не будет, что автоматически снимает вопрос о начальных навыках фактчекинга. Аудитория возлагает необходимость проведения фактчекинга на профессиональных журналистов, что поднимает вопрос о качестве работы и качестве контента и, следовательно, доверия к медийным структурам в целом.

Также данные исследования позволяют говорить о слабом влиянии высшего образования на способность критически осмысливать информацию и определять фейковые новости. Студенты и выпускники вузов справлялись с идентификацией фейков чуть лучше, чем абитуриенты и студенты ссузов, но разница в результатах не является принципиальной. Полученные данные коррелируются с данными американских исследователей [30], которые обнаружили, что даже хорошо образованные люди могут доверять фейковым новостям. Мы предполагаем, что на способность распознавать истинность и ложность информации влияет не уровень образования (человек, например, может иметь диплом выпускника ссузов, но при этом заниматься саморазвитием и много читать), а способность критически осмысливать увиденное или прочитанное, способность мыслить аналитически, и в этом свете исследование психологов Йельского университета [31] о взаимосвязи между когнитивной рефлексией и восприятием заголовков политических фейковых новостей показывает, что данное умозаключение не безосновательно. Следовательно, одним из направлений будущих исследований фейковых новостей может быть изучение зависимости восприятия фейковых новостей от аналитического мышления.

Данное исследование является пилотным и в дальнейшем планируется масштабировать его, охватив аудиторию более зрелую, а также пользователей из других регионов Российской Федерации.

¹ Люди в цифре: эпоха постправды. ВЦИОМ. URL: https://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2019/2019-12-13_mediaforum.pdf (дата обращения: 28.06.2020).

Литература

1. *Vosoughi et al.* The spread of true and false news online // *Science*. 2018. № 359. P. 1146–1151.
2. *Lewandowsky S., Ecker U.K.H., Seifert C.M., Schwarz N. et al.* Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing // *Psychological Science in the Public Interest*. 2012. № 13 (3). P. 106–131.
3. *Wardle Cl.* «Fake News». It's Complicated. 2017. URL: <https://medium.com/1st-draft/fake-news- its-complicated-d0f773766c79>
4. *Самошкин Е.А.* Институты борьбы с дезинформацией и мисинформацией в СМИ // Вестник Московского университета. Сер. 10: Журналистика. 2017. № 6. С. 176–190.
5. *Endres K.L.* Evolution of journalism and mass communication // *Journalism and mass communication*. 2009. Vol. 1. EOLSS. URL: <http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-33-01.pdf>
6. *Finneman T., Thomas R.J.* A family of falsehoods: Deception, media hoaxes and fake news // *Newspaper Research Journal*. 2018. № 39 (3). P. 350–361. DOI: 10.1177/0739532918796228
7. *Uberti D.* 'Fake News' is Dead // *CJR.org*. February 14, 2017. URL: http://www.cjr.org/criticism/fake_news_trump_white_house_cnn.php? (accessed: Feb. 20 2017).
8. *Raspopova S., Bogdan E.* Misinformation As Ignoring Professional Principles Of Journalism // *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*. 2019. P. 456–461. doi: 10.15405/epsbs.2019.08.02.53.
9. *Fallis D.* What is disinformation? // *Library Trends*. 2015. № 63 (3). P. 401–426.
10. *Wardle C., Derakhshan H.* Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making // *Council of Europe Report DGI*. 2017. 09. Council of Europe.
11. *Frankfurt H.G., Bischoff M.* On Bullshit. Princeton, NJ : Princeton University Press, 2005.
12. *Giglietto F., Iannelli L., Valeriani A., Rossi L.* 'Fake news' is the invention of a liar: How false information circulates within the hybrid news system // *Current Sociology*. 2019. № 67 (4). P. 625–642. DOI: 10.1177/0011392119837536
13. Зуйкина К.Л., Соколова Д.В. Специфика контента российских фейковых новостей в Интернете и на телевидении // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. 2019. № 4. С. 3–22. DOI: 10.30547/vestnik.journ.4.2019.322
14. *Rubin V., Chen Y., Conroy N.* Deception Detection for News: Three Types of Fakes // *The Proceedings of the Association for Information Science and Technology Annual Meeting (ASIST 2015)*. 2015, Nov. 6–10. St. Louis.
15. *Edson C., Tandoc, Zheng W., Ling R.* Defining 'fake news' // *Digital Journalism*, 2018. Vol. 6, № 2. P. 137–153.
16. Сухоболов А.П., Бычкова А.М. «Фейковые новости» как феномен современного медиапространства: понятия, виды, назначение, меры противодействия // Вопросы теории и практики журналистики. 2017. Т. 6, № 2. С. 143–169. DOI: 10.17150/2308-6203.2017.6(2).143-169
17. *Egelhofer J., Lecheler S.* Annals of the international communication association. 2019. Vol. 43, № 2. P. 97–116.
18. *Fazio L.K., Brashier N.M., Payne B.K., Marsh E.J.* Knowledge Does Not Protect Against Illusory Truth // *Journal of Experimental Psychology. General*. 2015. № 144. P. 993–1002. doi: 10.1037/xge0000098
19. *Pennycook G., Cannon T. D., Rand D.G.* Prior Exposure Increases Perceived Accuracy of Fake News // *Journal of Experimental Psychology: General*. 2018. DOI: 10.1037/xge0000465
20. *Wang, Wei-Chun, Brashier Nadia, Wing Erik, Marsh Elizabeth, Cabeza Roberto.* On Known Unknowns: Fluency and the Neural Mechanisms of Illusory Truth // *Journal of cognitive neuroscience*. 2016. № 28. P. 1–8. doi: 10.1162/jocn_a_00923.

21. *Hasson Uri, Simmons Joseph, Todorov Alexander.* Believe It or Not On the Possibility of Suspending Belief // *Psychological science.* 2005. № 16. P. 566–571. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2005.01576.x.
22. *Bulevich J.B., Thomas A.K.* Retrieval Effort Improves Memory and Metamemory in the Face of Misinformation // *Journal of Memory and Language.* 2012. № 61 (1). P. 45–58.
23. *Gilbert D.T., Krull D.S., Malone P.S.* Unbelieving the unbelievable: Some problems in the rejection of false information // *Journal of Personality and Social Psychology.* 1990. № 59. P. 601–613.
24. *Gilbert D.T., Tafarodi R.W., Malone P.S.* You can't not believe everything you read // *Journal of Personality and Social Psychology.* 1993. № 65. P. 221–233.
25. *Pantazi Myrto, Kissine Mikhail, Klein Olivier.* The Power of the Truth Bias: False Information Affects Memory and Judgment Even in the Absence of Distraction // *Social Cognition.* 2018. Vol. 36, № 2. P. 167–198. DOI: 10.1521/soco.2018.36.2.167
26. *Hinze S.R., Slaten D.G., Horton W.S., Jenkins R., Rapp D.N.* Pilgrims sailing the Titanic: Plausibility effects on memory for facts and errors // *Memory & Cognition.* 2014. № 42. P. 305–324.
27. *Jacovina M.E., Hinze S.R., Rapp D.N.* Fool Me Twice: The Consequences of Reading (and Rereading) Inaccurate Information // *Applied Cognitive Psychology, Appl. Cognit. Psychol.* 2014. № 28. P. 558–568. DOI: 10.1002/acp.3035
28. *Rapp D.N.* How do readers handle incorrect information during reading? // *Memory & Cognition.* 2008. № 36. P. 688–701.
29. *Richter T., Schroeder S., Wöhrmann B.* You don't have to believe everything you read: Background knowledge permits fast and efficient validation of information // *Journal of Personality and Social Psychology.* 2009. № 96. P. 538–558.
30. *Rapp D., Slavovitch N.* Can't we just disregard fake news? The consequences of exposure to inaccurate information // *Behavior and Brain Science.* 2018. Vol. 5 (2). P. 232–239.
31. *Pennycook G., Rand D.G.* Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning // *Cognition.* 2018. DOI: 10.1016/j.cognition.2018.06.011
32. Козловский Б. Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям. М. : Альпина Паблишер, 2018.
33. Ильченко С.Н. Фейк в практике электронных СМИ: критерии достоверности // Медиаскоп. 2016. Вып. 4. URL: <http://www.mediascope.ru/2237>
34. Иссерс О.С. Медиафейки: между правдой и мистификацией // Коммуникативные исследования. 2014. № 2. С. 112–123.
35. Петрова А.А. Фейковые новости в аспекте лингвистической экспертизы // Лингвополитическая персонология: дискурсивный поворот : материалы Международных научных конференций / отв. ред. Н.Б. Руженцева. 2019. С. 165–169.
36. Саркисянц В.Р., Рябова М.В. Фейковые новости: коммуникативный и лингвокоридический аспекты // Гуманитарные и социальные науки. 2019. С. 209–220. DOI: 10.23683/2070-1403-2019-77-6-209-220

Fake News: Can Young People Distinguish Fact from Fiction?

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 310–326. DOI: 10.17223/19986645/71/19

Kristina L. Zuykina, Daria V. Sokolova, Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russian Federation). E-mail: chris-zu@yandex.ru / darina0306@gmail.com

Keywords: fake, fake news, news, youth, Internet, social networks, social media, perception.

The aim of this article is to investigate the specificity of fake news perception by the youth audience and the criteria of truth or falsity. The research method was online surveying. The pilot study involved 200 young residents of Moscow aged 18 to 35; there were no professional journalists among them. The respondents were offered eight news items: four real and

four fake ones. Some of the news contained photographs. The respondents were supposed to determine if the news was real or fake and mark criteria they used to make the decision. The findings show that every third respondent's answer was wrong, i.e. the young audience finds it fairly difficult to identify fake news. Only four respondents managed to identify all the eight news items correctly. The obtained data show that the capability of distinguishing accurate information from distorted information does not depend on the person's gender, and even the level of education does not make an essential difference. The respondents give the source of information and reference to a known person or organization as the main criteria for trust. The respondents detect fake news by linguostylistic features of the text, the source of information, or lack of respective reference as such. A deeper analysis shows that the respondents, based on their own reliance, scarcely recognize how much the news can be trusted. Reliance is more intuitive than a clear comprehension of the positioning of this or that media, blogger or network group in the Russian media landscape. The primary call for trusting fake news is the lack of a critical perception of the news. In most cases, the respondents used their own guesses, feelings, and even inner voice as the main argument for defining fake news as real. Also, the obtained data makes it possible to conclude that the presence of an image does not allow the audience to determine the truth or falsity of the news, since most respondents do not recognize photos processed with special software as fake, even if they illustrate doubtful news from an unauthorized source. Photos that do not directly relate to the event but contain the image of the person in question in fake news can also mislead the reader. The mere presence of an image is often perceived as a proof of truth. The authors come to the conclusion that even Moscow youth, typically characterized by active media consumption and constant online presence, is not able to cope with the identification of fake news. In future studies, the authors plan to expand the sampling and investigate the perception of doubtful news by the older audience, as well as the audience of other subjects of the Russian Federation.

References

1. Vosoughi, S. et al. (2018) The spread of true and false news online. *Science*. 359. pp. 1146–1151.
2. Lewandowsky, S. et al. (2012) Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*. 13 (3). pp. 106–131.
3. Wardle, Cl. (2017) "Fake News". *It's Complicated*. [Online] Available from: <https://medium.com/1st-draft/fake-news- its-complicated-d0f773766c79>.
4. Samoshkin, E.A. (2017) Institutions Fighting Disinformation and Misinformation in Mass Media. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika – Moscow State University Bulletin. Series 10: Journalism*. 6. pp. 176–190. (In Russian).
5. Endres, K.L. (2009) Evolution of journalism and mass communication. In: *Journalism and mass communication*. Vol. 1. EOLSS. [Online] Available from: <http://www.eolss.net/sample-chapters/c04/e6-33-01.pdf>.
6. Finneman, T. & Thomas, R.J. (2018) A family of falsehoods: Deception, media hoaxes and fake news. *Newspaper Research Journal*. 39 (3). pp. 350–361. DOI: 10.1177/0739532918796228
7. Uberti, D. (2017) *Fake News is Dead*. CJR.org. February 14. [Online] Available from: http://www.cjr.org/criticism/fake_news_trump_white_house_cnn.php? (Accessed: 20.02.2017).
8. Raspopova, S. & Bogdan, E. (2019) Misinformation as Ignoring Professional Principles of Journalism. *The European Proceedings of Social & Behavioural Sciences*. pp. 456–461. DOI: 10.15405/epsbs.2019.08.02.53
9. Fallis, D. (2015) What is disinformation? *Library Trends*. 63 (3). pp. 401–426.
10. Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017) Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making. In: *Coucil of Europe Report DGI*. Council of Europe.

11. Frankfurt, H.G. & Bischoff, M. (2005) *On Bullshit*. Princeton, NJ: Princeton University Press.
12. Giglietto, F. et al. (2019) 'Fake news' is the invention of a liar: How false information circulates within the hybrid news system. *Current Sociology*. 67 (4). pp. 625–642. DOI: 10.1177/0011392119837536
13. Zuykina, K.L. & Sokolova, D.V. (2019) Content Specifics of Russian Fake News on the Internet and on Television. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 10: Zhurnalistika – Moscow State University Bulletin. Series 10: Journalism*. 4. pp. 3–22. (In Russian). DOI: 10.30547/vestnik.journ.4.2019.322
14. Rubin, V., Chen, Y. & Conroy, N. (2015) Deception Detection for News: Three Types of Fakes. *The Proceedings of the Association for Information Science and Technology Annual Meeting (ASIST 2015)*. Nov. 6–10. St. Louis.
15. Edson, C. et al. (2018) Defining 'fake news'. *Digital Journalism*. 6 (2). pp. 137–153.
16. Sukhodolov, A.P. & Bychkova, A.M. (2017) Fake News as a Modern Media Phenomenon: Definition, Types, Role of Fake News and Ways of Taking Measures against It. *Voprosy teorii i praktiki zhurnalistiki – Theoretical and Practical Issues of Journalism*. 6 (2). pp. 143–169. (In Russian). DOI: 10.17150/2308-6203.2017.6(2).143-169
17. Egelhofer, J. & Lecheler, S. (2019) Fake news as a two-dimensional phenomenon: a framework and research agenda. *Annals of the International Communication Association*. 43 (2). pp. 97–116.
18. Fazio, L.K. et al. (2015) Knowledge Does Not Protect Against Illusory Truth. *Journal of Experimental Psychology: General*. 144. pp. 993–1002. DOI: 10.1037/xge0000098
19. Pennycook, G., Cannon, T.D. & Rand, D.G. (2018) Prior Exposure Increases Perceived Accuracy of Fake News. *Journal of Experimental Psychology: General*. DOI: 10.1037/xge0000465
20. Wang, W.-Ch. et al. (2016) On Known Unknowns: Fluency and the Neural Mechanisms of Illusory Truth. *Journal of Cognitive Neuroscience*. 28. pp. 1–8. DOI: 10.1162/jocn_a_00923
21. Hasson, U., Simmons, J. & Todorov, A. (2005) Believe It or Not On the Possibility of Suspending Belief. *Psychological Science*. 16. pp. 566–571. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2005.01576.x
22. Bulevich, J.B. & Thomas, A.K. (2012) Retrieval Effort Improves Memory and Metamemory in the Face of Misinformation. *Journal of Memory and Language*. 61 (1). pp. 45–58.
23. Gilbert, D.T., Krull, D.S. & Malone, P.S. (1990) Unbelieving the unbelievable: Some problems in the rejection of false information. *Journal of Personality and Social Psychology*. 59. pp. 601–613.
24. Gilbert, D.T., Tafarodi, R.W. & Malone, P.S. (1993) You can't not believe everything you read. *Journal of Personality and Social Psychology*. 65. pp. 221–233.
25. Pantazi, M., Kissine, M. & Klein, O. (2018) The Power of the Truth Bias: False Information Affects Memory and Judgment Even in the Absence of Distraction. *Social Cognition*. 36 (2). pp. 167–198. DOI: 10.1521/soco.2018.36.2.167
26. Hinze, S.R. et al. (2014) Pilgrims sailing the Titanic: Plausibility effects on memory for facts and errors. *Memory & Cognition*. 42. pp. 305–324.
27. Jacobina, M.E., Hinze, S.R. & Rapp, D.N. (2014) Fool Me Twice: The Consequences of Reading (and Rereading) Inaccurate Information. *Applied Cognitive Psychology, Appl. Cognit. Psychol.* 28. pp. 558–568. DOI: 10.1002/acp.3035
28. Rapp, D.N. (2008) How do readers handle incorrect information during reading? *Memory & Cognition*. 36. pp. 688–701.
29. Richter, T., Schroeder, S. & Wöhrmann, B. (2009) You don't have to believe everything you read: Background knowledge permits fast and efficient validation of information. *Journal of Personality and Social Psychology*. 96. pp. 538–558.
30. Rapp, D. & Slavovich, N. (2018) Can't we just disregard fake news? The consequences of exposure to inaccurate information. *Behavior and Brain Science*. 5 (2). pp. 232–239.

31. Pennycook, G. & Rand, D.G. (2018) Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. *Cognition*. DOI: 10.1016/j.cognition.2018.06.011
32. Kozlovskiy, B. (2018) *Maksimal'nyy repost. Kak sotsseti zastavlyayut nas verit' feykovym novostyam* [Maximum repost. How social media make us believe fake news]. Moscow: Al'pina Publisher.
33. Il'chenko, S.N. (2016) Fake in the Practice of Electronic Media: Validation Criteria. *Mediaskop – Mediascope*. 4. [Online] Available from: <http://www.mediascope.ru/2237>. (In Russian).
34. Issers, O.S. (2014) Mediafake: Between Truth and Hoax. *Kommunikativnye issledovaniya – Communication Studies*. 2. pp. 112–123. (In Russian).
35. Petrova, A.A. (2019) [Fake news in the aspect of linguistic expert examination]. *Lingvopoliticheskaya personologiya: diskursivnyy poverot* [Linguopolitical personology: a discourse turn]. Conference Proceedings. Yekaterinburg: [s.n.]. pp. 165–169. (In Russian).
36. Sarkis'yants, V.R. & Ryabova, M.V. (2019) Fake news: communicative and lingualegal aspects. *Gumanitarnye i sotsial'nye nauki*. 6. pp. 209–220. DOI: 10.23683/2070-1403-2019-77-6-209-220

РЕЦЕНЗИИ, КРИТИКА, БИБЛИОГРАФИЯ

УДК 821.161.1

DOI: 10.17223/19986645/71/20

НАУЧНОЕ РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
В ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНАХ
ЖАНР, ИССЛЕДОВАНИЯ, ТЕКСТЫ



«Дело рецензирования»: рецензия в мире современной науки как артефакт, институция и форма рефлексии. Рецензия на книгу: Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: Жанр, исследования, тексты: коллект. моногр. / сост. и отв. ред. Н.М. Долгорукова, А.А. Плешков ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. 287, [1] с.

Какое значение для становления норм научной критики имеет жанр рецензии? Насколько «зависим» текст рецензии и как рецензии влияют на оформление новых исследовательских направлений и переопределение субдисциплинарных границ? Воздействуют ли на практики рецензирования внешние, внеакадемические факторы? Какое место занимают

рецензии в структуре научной коммуникации и как рецензирование встраивается в образовательный процесс? Как написать рецензию и как пишут рецензии классики? Эти и многие другие вопросы рассматриваются в данной книге.

Издание адресовано не только студенческой филологической аудитории, но и сообществу российских гуманитариев в целом.

Не секрет, что кажущаяся вторичность рецензии в системе научных публикаций надолго предопределила репутацию этого жанра, придавая ему оттенок второсортности. При этом не имело значения ни то, что написания рецензий не чурались самые известные ученые, ни то, что отдел рецензий издавна являлся неотъемлемой частью любого солидного научного журнала. Резкие перемены в мире современной науки, в системе ее глобальной организации, в переоценке ее традиционных институций и даже оценочного инструментария заметно сказались и на отношении к рецензии как к продукту научного творчества и к институту рецензирования как таковому.

Сегодня можно говорить о двух противоположных тенденциях: значительная часть журналов отказывается от рецензии на своих страницах, с другой стороны, требования «слепого рецензирования», «двойного рецензи-

рования» и пр. – обязательная часть публикационного процесса, без которой само издание не может восприниматься экспертным сообществом всерьез. Еще один важный элемент современной науки – обязательное рецензирование квалификационных работ различного уровня. Тем более что отзывы официальных оппонентов и ведущих организаций, научных руководителей и консультантов, отзывы на авторефераты размещаются в открытом доступе, лишаясь присущего им в прошлом закрытого характера и оказываясь на всеобщем обозрении на сайте диссертационного совета или Высшей аттестационной комиссии. Все это позволяет говорить об институте рецензий как о сложном и даже противоречивом феномене, обладающем собственным многоголосием и разнообразием форм, каждая из которых может послужить, в свою очередь, предметом научного осмысления и вдумчивого анализа. Именно эту цель поставили перед собой авторы коллективной монографии «Научное рецензирование в гуманитарных дисциплинах: Жанр, исследования, тексты». Думается, общее понимание места и роли рецензии в гуманитарном пространстве сформулировал в книге известный историк философии и переводчик В.Л. Махлин: «Рецензирование – жанр научной работы, интересный и поучительный как “жанр речи”. Качество рецензирования – индикатор состояния научного сообщества (и общества в целом), его открытости новому опыту, его заинтересованности и способности обсуждать “общные” проблемы, вопросы и задачи. Научное сообщество, в принципе, заинтересовано не просто в получении новой информации и не только в новых идеях, но также в современных отзывах и откликах, в рецепции написанного и созданного современниками, и дело рецензирования – прояснить, комментировать, оппонировать, развивать, словом – актуализовать опубликованную (и, значит, притязывающую на внимание других) “чужую речь” в направлении возможной дискуссии» (с. 141).

Теория и история рецензирования, рецензионная практика, примеры из научной и литературной жизни далекого и относительно недавнего прошлого оказываются в центре монографии, авторы которой уверены в том, что навык рецензирования является обязательной составляющей научных компетенций сегодняшнего гуманитария. Этим обусловлена структура монографии, которая включает предисловие редакторов, «Историко-теоретическое введение», три раздела («Из истории становления жанра», «Из истории научного рецензирования (XX век)», «Рецензия как жанр академического письма») и приложение «Рецензирование и классики». В книге обобщены результаты трехлетней работы «Школы рецензирования» – проекта, который посвящен «осмыслинию жанра научной рецензии в гуманитарных и социальных науках» и направлен на «вовлечение студентов и аспирантов в научную деятельность через написание рецензий» (с. 5).

Научная и методическая составляющие реализованного в монографии замысла заслуживают особого разговора, ибо именно здесь коренятся причины как очевидных достоинств задуманного, так и некоторых просчетов, о которых речь пойдет ниже.

Отметим, что книга возникла не на пустом месте, часть поставленных в ней проблем уже обсуждалась в предшествующих публикациях авторов на страницах журналов «Laboratorium» [1] и «Новое литературное обозрение» [2, 3].

Характерная для исследователей ориентация на модели западного академического дискурса, на приемы и практику «Academic English» сформировали особое их отношение и к институту рецензирования, и к практике написания рецензий. Впрочем, некоторый схематизм и очевидная вера в готовые формулы современного рецензирования ведут к неизбежному упрощению проблемы. Здесь возникают закономерные вопросы: достаточно ли одного только понимания рецензии как формы академического дискурса и нужно ли обучать студента навыкам создания научной рецензии как исключительно «формульного» текста? Ни в коем случае не посягая на право студента или аспиранта высказывать мнение о том или ином научном труде, задумаемся, хватает ли молодому автору знаний по проблеме, чтобы судить о масштабной научной публикации и покажется ли его мнение компетентным и убедительным профессиональному читателю? Показательно, что подобные проблемы остаются за пределами монографии, нет в ней места и живой личности рецензента, характеру его взаимоотношений с редакциями, проблеме «заказных» рецензий и т.д. Хотя, как кажется, случаи, рассмотренные, например, О.В. Морозовым в интересной по материалу главе «”Грубейшая брань”, или Отрицательные рецензии на историю Казанского университета в Российской империи», должны были бы подвести автора к разговору на эту тему.

Еще одно противоречие, которого не смог избежать авторский коллектив, коренится в сугубо схематическом представлении о теории жанра. Ориентируясь преимущественно на англоязычный опыт второй половины прошлого века в историко-теоретическом введении, Б.Е. Степанов выстраивает несложную модель, для которой почему-то практика историков, социологов и лингвистов оказывается существеннее достижений в этой области литературоведов или философов. Нельзя, однако, не согласиться с исследователем, полагающим, что «на материале рецензий можно увидеть, как переопределяется характер знаний, вырабатываемых наукой о самой себе» (с. 10). Увы, приоритеты англоязычного дискурса сыграли с автором злую шутку: возникает термин «книжная рецензия» (калька английского «book review»), под которым подразумевается рецензия на книгу, а вовсе не рецензия в книге, как мог бы подумать русскоговорящий читатель, с неизбежностью воспринимающий книжную рецензию по аналогии с рецензией журнальной. Но в целом историко-теоретический обзор достигает своей цели и наглядно очерчивает круг проблем, связанных с осмыслением жанра рецензии в контексте эволюции гуманитарной мысли второй половины XX – начала XXI в., и определяет основные тенденции в восприятии рецензии как формы академического дискурса, ее роль в сегодняшней научной жизни. «Рецензирование находится в нормальном состоянии кризиса жанра. Недовольство состоянием жанра и даже прогнозы о скорой

смерти скорее говорят о его жизнеспособности, в пользу которой свидетельствуют и практики рецензирования, и многообразие ее форм, и способность встраиваться в новые режимы коммуникации» (с. 38) – таков оптимистический вывод Б.Е. Степанова.

Несомненной удачей книги становятся ее «исторические» главы, в основе которых лежат вводимый в научный оборот архивный материал, а также давно забытые или мало известные источники. Так, К.А. Ильина в главе «Рецензирование диссертаций в российских университетах первой половины XIX века» последовательно показывает процесс университетской суверенизации практики защиты магистерских и докторских диссертаций, место и роль в этом процессе профессорской корпорации, осознание экспертным сообществом дела рецензирования как профессионального долга. Нет сомнений, что любому читателю, так или иначе вовлеченному в сегодняшний процесс вузовской аттестации, будет небезынтересно взглянуть на то, как формировались требования и процедуры, институты защиты и рецензирования в позапрошлом столетии.

Столкновение личных амбиций и сведение счетов как элемент рецензионной полемики на страницах журнала оказываются в центре уже упоминавшейся главы О.В. Морозова, детально исследующего реакцию на создание Н.Н. Буличем и Н.П. Загоскиным юбилейных историй Казанского университета. Показателен и анализ А.А. Лихацким рецензионного опыта российских профессиональных исторических журналов, ориентирующихся, по убеждению автора, на модель критико-библиографической оценки, предложенной в немецких научных изданиях.

Таким образом, «история становления жанра», заявленная во втором разделе, представлена достаточным числом эпизодов, позволяющих с уверенностью утверждать, что к концу XIX – началу XX столетия в России вполне сложилась высокопрофессиональная система научного рецензирования, существовавшая как в университетских стенах, так и на страницах периодических изданий не только научного, но общественно-литературного характера.

Смена научных, социокультурных и идеологических парадигм в XX в. отразилась в характерных изменениях содержательных и жанровых параметров рецензий. Об этом подробно говорится в материалах третьего раздела монографии. Примечательно, что в разделе исследуется не только отечественный, но и зарубежный опыт. Героями глав становятся самые разные персонажи: от последовательно борющихся с врагами народа на страницах советской исторической периодики 1930-х гг. (В. Блаватский, А. Смирнов, И. Лурье) до философа М. Хайдеггера и литературоведа Э. Курциуса. Нет сомнений, что посвященная хайдеггеровской рецензии на книгу «Психология мировоззрений» К. Ясперса глава В.Л. Махлина является одной из несомненных удач книги. Исследователь смог не только представить малоизвестный эпизод из истории немецкой философии рубежа 1910–1920-х гг., но и показать, как полемическое восприятие «чужого слова» М. Хайдеггера ведет, по замыслу последнего, к конструктивному

диалогу с оппонентом: «Рецензия Хайдеггера, с одной стороны, позволяет зафиксировать рождение едва ли не самого “популярного” философского направления XX в. – экзистенциализма – до того, как он стал “трендом” и “брендом”; а с другой стороны, эта рецензия дает возможность проиллюстрировать феномен так называемой революционной науки, но не в естественно-научной эпистемологии (как в знаменитой книге Т. Куна), а в гуманитарной эпистемологии, т.е. в философии общественно-исторического опыта мира жизни» (с. 143).

Увлеченность реконструкцией интеллектуальных споров и рецензионных практик достаточно далекого времени, соблазн исследовательского поиска и обаяния находок иногда приводят авторов в сферы, довольно далеко отстоящие от того, что декларируется в названии и преамбуле к книге. И если Н.М. Долгорукова в главе «Вокруг “Мимесиса” Э. Ауэрбаха» уделяет определенное место «обменным» рецензиям Э. Курциуса и Э. Ауэрбаха, хотя большая ее часть отдана иному историко-литературному сюжету, то глава Ю.М. Козицкой, затрагивающая важную проблему формирования «русского лица» советской казахской литературы, к проблемам научного рецензирования отношения не имеет совсем. В этой хорошо написанной и увлекательно читающейся главе речь о рецензиях, конечно, идет, однако это внутренние рецензии издательства «Советский писатель» на русские переводы художественных произведений казахских авторов.

Четвёртый раздел книги наглядно свидетельствует о том, что индустрия современного университета ориентирована на конвейерное воспроизведение самых разных компетенций, в том числе и в сфере научных коммуникаций. В результате навык рецензирования грозит смертью самого акта творчества, подменяемого механическим воспроизведением формул и приемов. Если Б.Е. Степанов сосредоточивает свое внимание на коммуникативном потенциале научного рецензирования и существующих методиках выработки этих навыков в современных университетских практиках (преимущественно западных), то у И.О. Дементьева несколько иная задача. Его глава, не лишенная самоиронии, – попытка представить собственный опыт написания рецензий и используемые при этом приемы как своего рода дидактический материал для молодого читателя, желающего овладеть секретами и тайнами «профессионального мастерства».

Творческим ориентиром для начинающих авторов должны, по-видимому, послужить рецензии М.Н. Покровского, А.Я. Гуревича, С.С. Аверинцева, П.П. Гайденко, А.В. Михайлова, опубликованные в приложении. Здесь представлено многообразие возможностей жанра в его исторической ретроспективе: от отзыва М.Н. Покровского на лекционный курс В. Ключевского до размышлений П.П. Гайденко о книге А.Л. Добротхотова. Можно только пожалеть, что в этот раздел не попали тексты рецензий М. Хайдеггера, Э. Курциуса и Э. Ауэрбаха, которые могли бы стать развернутыми иллюстрациями к тому, о чем писали В.Л. Махлин и Н.М. Долгорукова. А если бы составители поставили рядом с рецензией А.Я. Гуревича на книгу М.М. Бахтина о Рабле рецензии Л.Е. Пинского и

Л.М. Баткина, был бы реконструирован исторический диалог историка-медиевиста, литературоведа и философа культуры вокруг одного рецензийного сюжета.

В заключение отметим, что рецензируемая монография не просто касается важной и серьезной проблемы, раскрывает малоизвестные страницы интеллектуальной истории России и Запада, но – что еще важнее – она намечает точки дальнейшего разговора: от того, кого и как нужно учить рецензированию, до построения типологии рецензии, выявления характерных особенностей жанра, его прагматики, поэтики, сюжетики и даже стилистики.

С.А. Дубровская, В.П. Киржакова

Литература

1. Степанов Б.Е. «Кризис жанра»: книжные рецензии в перспективе исследований научной коммуникации // *Laboratorium*. 2016. № 8 (1). С. 82–106. URL: <https://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/620/1586>
2. Ильина К.А. Оценивание магистерских и докторских диссертаций в российских университетах первой половины XIX века // *Новое литературное обозрение*. 2018. Т. 150, № 2. С. 116–128. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_ozobrenie/150_nlo_2_2018/article/19571/
3. Плешков А.А. Классикализация и рецензирование в современной аналитической теологии: случай неоэтернализма // *Новое литературное обозрение*. 2018. Т. 150, № 2. С. 148–163. URL: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_ozobrenie/150_nlo_2_2018/article/19575

“The Work of Reviewing”: The Review as an Artefact, Institution and Form of Reflection in the Academic World of Today. BOOK REVIEW: Dolgorukova, N.M. & Pleshkov, A.A. (eds) (2020) *Nauchnoe Retsenzirovaniye v Gumanitarnykh Distsiplinakh: Zhanr, Issledovaniya, Teksty* [Academic Reviewing in the Humanities: Genre, Studies, Texts]. Moscow: Higher School of Economics

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filologiya – Tomsk State University Journal of Philology. 2021. 71. 327–332. DOI: 10.17223/19986645/71/20

Svetlana A. Dubrovskaya, Vera P. Kirzhaeva, Mordovia State University (Saransk, Russian Federation). E-mail: s.dubrovskaya@bk.ru / kirzhaeva_vera@mail.ru

References

1. Stepanov, B.E. (2016) Crisis of the genre: Book reviews in studies of scholarly communication. *Laboratorium*. 8 (1). pp. 82–106. (In Russian). [Online] Available from: <https://www.soclabo.org/index.php/laboratorium/article/view/620/1586>.
2. Il'ina, K.A. (2018) The Evaluation of Masters' and Doctoral Dissertations in Russian Universities During the First Half of the Nineteenth Century. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 150. pp. 116–128. (In Russian). [Online] Available from: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_ozobrenie/150_nlo_2_2018/article/19571/.
3. Pleshkov, A.A. (2018) Classicalization and Reviewing in Contemporary Analytical Theology: The Case of Neoeternalism. *Novoe literaturnoe obozrenie – New Literary Observer*. 150. pp. 148–163. (In Russian). [Online] Available from: https://www.nlobooks.ru/magazines/novoe_literaturnoe_ozobrenie/150_nlo_2_2018/article/19575.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

БАЛАШОВА Любовь Викторовна – д-р филол. наук, профессор кафедры теории, истории языка и прикладной лингвистики Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.
E-mail: balashova53@yandex.ru

БАРКОВСКАЯ Нина Владимировна – д-р филол. наук, профессор кафедры литературы и методики ее преподавания Уральского государственного педагогического университета (г. Екатеринбург).
E-mail: n_barkovskaya@list.ru

БОЛОТНОВ Алексей Владимирович – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка Томского государственного педагогического университета.
E-mail: _avb_@sibmail.com

ГРОМИНОВА Андрея – PhDr., зав. кафедрой русистики Университета Св. Кирилла и Мефодия в Трнаве (Словакия).
E-mail: andrea.grominova@gmail.com

ГУБИНА Галина Васильевна – студентка Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: golovanic@gmail.com

ГУЗИКОВА Мария Олеговна – канд. ист. наук, зав. кафедрой лингвистики и профессиональной коммуникации на иностранных языках Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).
E-mail: m.o.guzikova@urfu.ru

ДАНИЛИНА Наталья Ивановна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского и латинского языков Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
E-mail: danilina_ni@mail.ru

ДУБРОВСКАЯ Светлана Анатольевна – д-р филол. наук, зам. директора Центра М.М. Бахтина, профессор кафедры русского языка как иностранного Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск).
E-mail: s.dubrovskaya@bk.ru

ЗУБОВ Артем Александрович – канд. филол. наук, преподаватель кафедры общей теории словесности Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры гуманитарных дисциплин Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).
E-mail: artem_zubov@mail.ru

ЗУЙКИНА Кристина Львовна – канд. филол. наук, ст. науч. сотр. кафедры социологии массовых коммуникаций Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
E-mail: chris-zu@yandex.ru

ИБАТУЛЛИНА Гузель Мртазовна – д-р филол. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.

E-mail: guzel-anna@yandex.ru

ИОНКИНА Екатерина Юрьевна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков Волгоградского государственного технического университета.

E-mail: katya_dzhandalie@mail.ru

КАЯНИДИ Леонид Геннадьевич – канд. филол. наук, доцент кафедры литературы и журналистики Смоленского государственного университета.

E-mail: leonideas@bk.ru

КИРЖАЕВА Вера Петровна – д-р пед. наук, профессор кафедры русского языка Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарёва (г. Саранск).

E-mail: kirzhaeva_vera@mail.ru

КОРОВУШКИН Пётр Валерьевич – канд. филол. наук, независимый исследователь (г. Череповец).

E-mail: korovushkin.petr@mail.ru

КОРОЛЕВА Вера Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры журналистики и связей с общественностью Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых.

E-mail: queenvera@yandex.ru

ЛЕНЕЦ Анна Викторовна – д-р филол. наук, зав. кафедрой немецкой филологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

E-mail: annalenets@sfedu.ru

МЕРЗЛИКИНА Ольга Викторовна – канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков № 2 Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва).

E-mail: o.merzlikina@rambler.ru

ОВСИЕНКО Татьяна Владимировна – канд. филол. наук, доцент кафедры немецкой филологии Южного федерального университета (г. Ростов-на-Дону).

E-mail: tvovsienko@sfedu.ru

ОГОРОДОВА Вероника Владимировна – аспирант кафедры русского языка и литературы Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета.

E-mail: vodorodova@mail.ru

ПАНАСЕНКО Наталья Ивановна – д-р филол. наук, профессор кафедры языковой коммуникации Университета св. Кирилла и Мефодия в Трнаве (Словакия).

E-mail: lartispanasenko@gmail.com

РАЗУМОВСКАЯ Елена Александровна – канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского.

E-mail: razumovskaja@mail.ru

СОКОЛОВА Дарья Валерьевна – канд. филол. наук, ст. преподаватель кафедры новых медиа и теории коммуникации Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

E-mail: darina0306@gmail.com

СОКОЛОВА Марина Геннадьевна – канд. пед. наук, доцент кафедры «Русский язык, литература и лингвокриминалистика» Тольяттинского государственного университета.

E-mail: msok71@mail.ru

ТИХАЕВА Виктория Викторовна – канд. пед. наук, доцент кафедры иностранных языков Волгоградского государственного технического университета.

E-mail: tilsitka@yandex.ru

ФАРИТОВ Вячеслав Тависович – д-р филос. наук, профессор кафедры философии Ульяновского государственного технического университета.

E-mail: vfar@mail.ru

ЧИБИСОВА Ольга Владимировна – канд. культурологии, доцент кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

E-mail: olgachibisova@yandex.ru

ЧИРШЕВА Галина Николаевна – д-р филол. наук, зав. кафедрой германской филологии и межкультурной коммуникации Череповецкого государственного университета.

E-mail: chirsheva@mail.ru

ШПИЛЬНАЯ Надежда Николаевна – д-р филол. наук, профессор кафедры общего и русского языкоznания Алтайского государственного педагогического университета (г. Барнаул).

E-mail: venata85@mail.ru

ШУНЕЙКО Александр Альфредович – д-р филол. наук, профессор кафедры лингвистики и межкультурной коммуникации Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

E-mail: a-shuneyko@yandex.ru

ОТ РЕДАКЦИИ

Научный журнал «Вестник Томского государственного университета. Филология» был выделен в самостоятельное периодическое издание из общенаучного журнала «Вестник Томского государственного университета» в 2007 г.

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-29496 от 27 сентября 2007 г.), ему присвоен международный стандартный номер serialного издания (ISSN 1998-6645).

«Вестник ТГУ. Филология» выходит 6 раз в год и распространяется по подписке, его подписной индекс – 44041 в объединенном каталоге «Пресса России».

Полнотекстовые версии вышедших номеров выкладываются на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Все статьи, поступающие в редакцию журнала, подлежат обязательному рецензированию; рукописи не возвращаются. Публикации в журнале осуществляются на некоммерческой основе.

Ознакомиться с требованиями к оформлению материалов можно на сайте журнала: <http://journals.tsu.ru/philology>

Редакция не вступает с авторами в переписку по методике написания и оформлению научных статей и не занимается доведением статей до необходимого для публикации уровня.

Редакция может не разделять точку зрения авторов статей. Ответственность за содержание публикуемых материалов несет автор. При любом использовании материалов ссылка на журнал обязательна.

Адрес редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, Томский государственный университет, филологический факультет.

Телефон 8(382-2)52-96-67

Ответственный секретарь редакции журнала – Д.А. Катунин.

E-mail: katunin@mail.tsu.ru

Научный журнал

**ВЕСТНИК
ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ФИЛОЛОГИЯ**

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOLOGY

2021. № 71

Редактор Т.В. Зелева

Редактор-переводчик В.В. Кашпур

Оригинал-макет А.И. Лелоюр

Дизайн обложки Л.Д. Кривцова

Подписано в печать 29.06.2021 г. Формат 70×100 $\frac{1}{16}$.

Печ. л. 21,1; усл. печ. л. 27,4. Цена свободная.

Тираж 50 экз. Заказ № 4734.

Дата выхода в свет 23.07.2021 г.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36
Томский государственный университет

Журнал отпечатан на оборудовании Издательства ТГУ
634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 52-98-49
<http://publish.tsu.ru>; e-mail; rio.tsu@mail.ru